И681

# Иностранная литература

8

1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

# Иностранная литература

8

Издательство «Известия»
*Москва*

АВГУСТ
1970

## СОДЕРЖАНИЕ

НИКИФОРОС ВРЕТТАКОС — Прощальное слово греческому солнцу . . . . . 3
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС — Сто лет одиночества *(Роман. Окончание.* Послесловие В. Столбова) . . . . . 6
ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ — Стихи разных лет . . . . . 106
ДЖОН ЧИВЕР — Буллет-Парк *(Роман. Окончание.* Послесловие А. Мулярчика) . . . . . 113
РЭМОН КЕНО *(Стихи)* . . . . . 162
МИШЕЛЬ БЮТОР — Изменение *(Роман)* . . . . . 172

**Критика**

Л. ЭЙДЛИН — Идеи и факты (Несколько вопросов по поводу идеи китайского Возрождения) . . . . . 214

**Отклики, встречи, впечатления**

С. ПАРХОМОВСКАЯ — Разговор друзей . . . . . 229
ВАСИЛ КОЛЕВСКИЙ — Ленин, социализм, литература . . 230

**Публицистика**

САНТЬЯГО ХЕНОВЕС — Человек — война или мир? . . . 236

**Культура и современность**

**Заметки на полях зарубежных газет и журналов**

А. ПИОТРОВСКАЯ — «Все меньше экзотики, все больше проблем». М. САЛГАНИК — «Будущее в нас болит» . . . 248

**Изобразительное искусство за рубежом**

М. БЫЛИНКИНА — Тревога за людей, гордость за людей (Аргентинский художник Хуан Карлос Кастаньино) . . . . 255

**Наши гости**

Л. СИМОНЯН — Еще одна встреча . . . . . 262

**Среди книг**

**Издано в СССР**

Т. Гончарова — Снова в Испании. ◆ А. Зверев — De profundis Курта Воннегута. ◆ Григорий Левин. Писать стихи по-французски ◆ Б. Львов-Анохин — Мужество и горечь Ануя . . . . . 264

**Издано за рубежом**

В. Макаренко — Последний роман Амадо В. Эрнандеса ◆ Морис Вакс махер — Всю жизнь он шел в Гёттервальд 271

**Из месяца в месяц** (Хроника) . . . . . 275

**Авторы этого номера** . . . . . 288

*На обложке: Польский народный орнамент (работа Юзефы Стрыхарской)*

# НИКИФОРОС ВРЕТТАКОС

## *Прощальное слово греческому солнцу*

Солнце моей родины, ты — чистое,
как душа задумчивого ангела,
ты — кудесник, сотворивший краски,
вкрапленные в греческие камни,
ты — и хлеб, и молоко для нищего мальчишки,
и когда безмолвное движенье губ
этого голодного ребенка
создает стихи о красоте,
твое имя — в первой же строке;
я ласкал тебя во всем, что осязаю,
погружал в твои лучи свои печали,
погружался сам в твои лучи
и в одежде, сотканной лучами,
шел, как принц из доброй детской сказки.

Солнце моей родины, прощай,
покидаю склоны этих гор,
голые, словно судьба моя и муки,
голые, словно судьба заложника-народа,
на руках которого, в страданьях,
беззащитный, юный и прекрасный,
умирает раненый Адонис.

Я решил уйти. Чем жить под взглядом
осквернителей Афины-Девы,
предпочел я посох и котомку.
Слаще рабства — горькая пустыня
одиночества в изгнании. Песок
станет мягкою травою под ногой,
если душу я спасу
и слово.
Ну а ты останешься. Как прежде,
чистое, ты будешь проплывать
над извечной этой колыбелью

камня, так смотри же, приласкай
ребятишек, в чьих глазах стоит
скорбный лик Псары и память Дистомо [1],
ласково взгляни на матерей
наших мучеников и святых,
ты увидишь их с восхода до заката
у ворот темниц; недвижные, как камень,
они будут ждать — быть может, им покажут
их детей. О солнце, добрым будь
к этому народу, что так щедро
выжимает кровь свою из сердца
на алтарь свободы, посмотри,
как он бледен в злом кольце убийц.

Крики жертв несутся из темниц,
их не удержать, не заглушить
мраку подземелий. Ловит слух
позывные горя, и поэт
рассылает их во все концы
людям, не забывшим голос долга.
Ты, светило, будешь, как и прежде,
вольно проплывать над этим краем,
ну а я не в силах больше видеть
осквернённые святыни, я не в силах
видеть, как нагая добродетель
в трепете стоит перед шакалом,
пожирающим ее покровы,
загрязняющим твой свет, мое светило.

Жалкие, ничтожные монархи,
их советники с нейлоновыми душами,
царедворцы с выучкой Освенцима
каждый день расстреливают истину —
стоит только ей поднять глаза,
ранят Парфенон и тех, кто некогда
«здесь костьми полег» [2] и здесь покоится,
истребляют буквы алфавита,
изгоняют поэтическое слово;
и сиротами бредут без крова
те, кого венком почтила вечность,
дух Эсхила не находит места,
даже гнездышка себе не может
свить, как чайка, на утесе голом
над Эгейским морем.
Если боль
в самом деле — вечная святыня,
пред которой должно преклоняться,
знайте же, что слезы половодьем
переполнили все русла сердца

---

[1] Псара — небольшой островок Эгейского моря, подвергшийся в 1824 году нападению турецкого флота; две трети населения острова погибли, все строения были сожжены и сметены с лица земли. Дистомо — греческая деревня, сожженная гитлеровскими оккупантами в годы второй мировой войны; после диких надругательств оккупанты истребили всех жителей Дистомо.

[2] Из эпиграммы Симонида:
«Путник, поди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли».

*(Перевод Л. Блуменау)*

и рекою вечной будут литься
в поисках сердец, способных слышать.
Эти скалы, что как люди дышат,
мой родной Тайгет, наставник мудрый,
высотой своею научивший
высоту ценить,— останутся с тобою,
солнце, ну а я уйду в скитанья
без судьбы и родины, с надеждой
на потомков тех великих предков,
что вписали в завещание Элладу,
я — ее цветок, ее песчинка,
ее крик, взрывающий молчанье:
«Варвары пришли на землю греков,
варвары попрали их надежды.
Если мир созрел лишь на погибель,
позабудьте про Элладу; если ж
есть еще любовь и состраданье —
протяните руки ей на помощь»

*Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ*

# ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

# *Сто лет одиночества*

РОМАН

*Перевод с испанского Н. БУТЫРИНОЙ и В. СТОЛБОВА*

Лицо чужеземца выражало изумление и страдание, казалось, он молча борется с обуревающим его вожделением, чтобы дивный мираж не рассеялся. Ремедиос Прекрасная решила, что он мучается страхом, как бы под ним не провалилась черепица, и постаралась вымыться быстрее обычного, не желая долго оставлять человека в опасности. Обливаясь водой, девушка заметила, что очень скверно, когда крыша в таком состоянии и, наверное, скорпионы лезут в купальню из прогнивших от дождей листьев, которыми завалена черепица. Чужеземцу эта болтовня показалась ширмой, скрывающей благосклонность, и когда Ремедиос Прекрасная стала намыливаться, он не удержался от соблазна попытать счастья.

— Позвольте мне намылить вас,— прошептал он.

— Благодарю за доброе намерение,— ответила она,— но я обойдусь своими двумя руками.

— Ну хоть спинку,— умолял чужеземец.

— Зачем? — удивилась она.— Где это видано, чтобы люди мыли себе спину мылом?

Пока она вытиралась, чужеземец, с глазами полными слез, умолял ее выйти за него замуж. Она чистосердечно ответила, что никогда не выйдет за простака, который способен потерять целый час, рискуя даже остаться без обеда, лишь бы увидеть купающуюся женщину. Когда, в заключение, Ремедиос Прекрасная облеклась в свой балахон и чужеземец собственными глазами удостоверился, что она действительно, как многие и подозревали, надевает его прямо на голое тело, он почувствовал себя навеки заклейменным раскаленным железом открывшейся ему тайны и не смог этого вынести. Он вытащил еще две черепицы, чтобы спуститься в купальню.

— Здесь очень высоко,— испуганно предупредила девушка.— Вы убьетесь!

Прогнившая крыша рухнула вниз со страшным грохотом горного обвала, мужчина едва успел испустить крик ужаса, свалился на цементный пол, расколол себе череп и тут же умер, даже без агонии. Чужеземцы, которые прибежали из столовой на шум и поспешили унести труп, заметили, что кожа его источает ошеломляющий запах Ремедиос Прекрасной. Этот запах так прочно вошел в тело покойного, что из

Окончание. Начало в №№ 6, 7.

трещин в черепе вместо крови сочилась амбра, насыщенная тем же таинственным ароматом; тогда все поняли, что запах Ремедиос Прекрасной продолжает терзать мужчин даже и по ту сторону смерти, пока кости их не обратятся в прах. Однако никто не связал страшное происшествие с гибелью первых двух мужчин, умерших из-за Ремедиос Прекрасной. Понадобилась еще одна жертва, прежде чем чужеземцы и многие коренные жители Макондо перестали считать легендой рассказы о том, что от Ремедиос Буэндиа исходит не дыхание любви, а губительное веяние смерти. Случай убедиться в справедливости этих толков представился через несколько месяцев, в тот день, когда Ремедиос Прекрасная пошла в компании своих подруг смотреть банановые плантации. У жителей Макондо стало модным развлечением бродить по нескончаемым, пропитанным сыростью коридорам между рядами банановых деревьев; тишина там была совсем новенькая, такая нетронутая, словно ее перенесли из каких-то других мест, где никто ни разу ею не пользовался и потому она еще не умела передавать голоса. Иной раз нельзя было расслышать сказанного на расстоянии полметра от вас, а то, что произнесли на другом конце плантации, доносилось с абсолютной отчетливостью. Девушки Макондо обратили это странное свойство в игру, в повод для смеха и испуга, шуток и страшаний, а вечерами вспоминали о прогулке как о нелепом сне. Тишина банановых аллей стяжала себе в Макондо столь громкую славу, что Урсула не решилась отказать Ремедиос Прекрасной в невинном развлечении и пустила ее на плантации, поставив условием надеть шляпку и все, что полагается. Как только девушки вступили в пределы плантации, воздух сразу наполнился смертельным ароматом. Мужчины, копавшие оросительные канавы, почувствовали себя во власти некоего странного колдовства, под угрозой какой-то невидимой опасности, и многие из них уступили непреодолимому желанию разрыдаться. Ремедиос Прекрасная и ее перепуганные подруги едва успели спрятаться в ближайшем доме от толпы разъяренных самцов, готовой броситься на них. Немного погодя девушки были освобождены из своего убежища четырьмя Аурелиано, чьи кресты из пепла внушали всем священный ужас, как если бы они являлись знаком высшей касты, печатью неуязвимости. Ремедиос Прекрасная никому не рассказала, что один из рабочих, воспользовавшись суматохой, судорожно вцепился в ее живот рукой,— так орел цепляется лапой за край пропасти. Словно яркая вспышка на мгновение ослепила девушку, она повернулась к обидчику и увидела отчаянный взгляд, который проник в ее сердце и затеплил там уголек жалости. Вечером, на улице Турков, этот рабочий похвалялся своей дерзостью и кичился своим счастьем, а несколько минут спустя удар лошадиного копыта раздробил ему грудь; толпа чужеземцев, собравшаяся над умирающим, смотрела, как он бьется в агонии посреди мостовой, захлебываясь своей собственной кровью.

Предположение о том, что Ремедиос Прекрасная наделена способностью приносить смерть, было теперь подтверждено четырьмя неоспоримыми доказательствами. Хотя кое-кому из бойких на язык мужчин нравилось говорить, что за одну ночь любви с такой соблазнительной женщиной стоит отдать жизнь, на самом деле никто из них не был на это способен. А ведь для того, чтобы покорить Ремедиос Прекрасную и даже сделать себя неуязвимым для связанных с ней опасностей, было бы достаточно столь первобытного и простого чувства, как любовь, но именно это никому и не приходило в голову. Урсула совсем перестала заниматься правнучкой. Раньше, все еще рассчитывая спасти девушку для мира, она пыталась заинтересовать ее простыми домашними делами. «Мужчинам нужно больше, чем ты думаешь,— говорила она загадочно.— Кроме того, о чем ты думаешь, надо еще без конца готовить,

подметать, страдать из-за всякой мелочи». В глубине души Урсула понимала, что обманывает себя, стараясь подготовить правнучку к семейному счастью, ибо твердо знала: нет на земле такого мужчины, который, удовлетворив свою страсть, способен будет вынести, хотя бы в течение одного дня, превосходящую всякое понимание нерадивость Ремедиос Прекрасной. Рождение последнего Хосе Аркадио и непоколебимое желание вырастить из него папу вынудили Урсулу отказаться от забот о правнучке. Она предоставила девушку ее судьбе, веря, что рано или поздно произойдет чудо и в этом мире, где есть все, найдется и человек, обладающий достаточным хладнокровием, чтобы взвалить на себя Ремедиос Прекрасную. Амаранта значительно раньше Урсулы оставила всякие попытки приспособить Ремедиос Прекрасную к хозяйственным делам. Уже в те далекие вечера в рабочей комнате, когда ее воспитанница с трудом соглашалась даже на то, чтобы крутить ручку швейной машины, Амаранта пришла к заключению, что Ремедиос Прекрасная просто дурочка. «Придется разыграть тебя в лотерею»,— говорила Амаранта, озабоченная полным безразличием девушки к разговорам о мужчинах. Позже, когда Урсула велела Ремедиос Прекрасной, отправляясь в церковь, закрывать лицо мантильей, Амаранта подумала, что эта таинственность может оказаться очень привлекательной и скоро объявится мужчина, любопытство которого будет столь велико, что он начнет терпеливые поиски уязвимого места в сердце красавицы. Но после того как девушка безрассудно оттолкнула претендента, во многих отношениях казавшегося заманчивей любого принца, Амаранта потеряла последнюю надежду. Что касается Фернанды, то она даже не пыталась понять Ремедиос Прекрасную. Увидев ее во время кровавого карнавала в костюме королевы, Фернанда решила, что это необыкновенное существо. Но когда она обнаружила, что Ремедиос Прекрасная ест пальцами и не способна сказать в ответ ни одного слова, которое не было бы верхом глупости, она пожалела, что полоумные в роду Буэндиа живут так долго. И хотя полковник Аурелиано Буэндиа продолжал верить и повторять, что Ремедиос Прекрасная в действительности самое здравомыслящее человеческое создание из всех, кого ему довелось видеть, и каждую минуту доказывал это со своей удивительной способностью издеваться над людьми, родные покинули девушку на волю божью. И Ремедиос Прекрасная стала блуждать в пустыне одиночества, не испытывая, впрочем, от этого никаких мук, и постепенно становилась взрослой во время своих снов, лишенных кошмаров, своих бесконечных купаний, беспорядочной еды, долгого и глубокого молчания, в котором не таилось воспоминаний. Так оно и шло до того самого мартовского дня, когда Фернанда, собираясь снять с веревки в саду простыни и сложить их, кликнула на подмогу всех женщин. Не успели они приступить к делу, как Амаранта заметила, что Ремедиос Прекрасная вдруг стала удивительно бледной, даже как будто прозрачной.

— Тебе плохо? — спросила она.

Ремедиос Прекрасная, державшая в руках другой конец простыни, ответила ей с улыбкой сострадания:

— Напротив, мне никогда еще не было так хорошо.

Едва только Ремедиос Прекрасная произнесла эти слова, как Фернанда почувствовала, что ласковый, напоенный сиянием ветер вырывает у нее из рук простыни, и увидела, как он расправил их в воздухе во всю ширину. Амаранта же ощутила таинственный трепет кружев на своих юбках и в ту минуту, когда Ремедиос Прекрасная стала возноситься, вцепилась в свой конец простыни, чтобы не упасть. Одна лишь Урсула, почти совсем уже слепая, сохранила ясность духа и сумела опознать природу этого неодолимого ветра — она оставила простыни на милость его лучезарных струй и глядела, как Ремедиос Прекрасная

машет ей рукой на прощанье, окруженная ослепительно-белым трепетанием поднимающихся вместе с ней простынь — вместе с ней они покинули слой воздуха, в котором летали жуки и цвели георгины, и пронеслись с нею через воздух, где уже не было четырех часов дня, и навсегда исчезли с нею в том дальнем воздухе, где ее не смогли бы догнать даже самые высоколетающие птицы памяти.

Чужеземцы, конечно, решили, что девушка покорилась наконец своему неотвратимому жребию пчелиной царицы, а семья пытается спасти честь сказкой о вознесении. Мучимая завистью, Фернанда со временем все же признала чудо и долго потом надоедала богу мольбами вернуть ей простыни. Большинство коренных жителей Макондо тоже уверовали в чудо и даже зажгли свечи и стали читать заупокойные молитвы. Вероятно, люди еще долго не говорили бы ни о чем другом, если бы вскоре удивление не было вытеснено ужасом, в который привело город известие о варварском истреблении всех Аурелиано. Полковник Аурелиано Буэндиа в какой-то мере предчувствовал трагический конец своих сыновей, хотя и не определил свои ощущения как пророчество. Когда Аурелиано Пильщик и Аурелиано Аркайя, те двое, что прибыли вместе с потоком чужеземцев, заявили о желании остаться в Макондо, отец пытался отговорить их. Он не понимал, что они будут делать в городе, который теперь с наступлением темноты превращается в опасное место. Но Аурелиано Ржаной и Аурелиано Печальный, поддержанные Аурелиано Вторым, дали братьям работу на своих предприятиях. Полковник Аурелиано Буэндиа имел основания, ему самому пока не очень ясные, не одобрять их решения. С той минуты, как он увидел господина Брауна в первом появившемся в Макондо автомобиле — оранжевой машине с откидным верхом и гудком, наводящим своим гнусавым тявканьем ужас на городских собак,— бывший воин не переставал возмущаться раболепством людей перед этим гринго и понял: что-то изменилось в нравах мужчин с тех пор, когда они закидывали за плечо ружье, оставляли своих жен и детей и уходили на войну. После Неерландского перемирия местной властью в Макондо были алькальды, лишенные инициативы, судьи для вида, выбранные из числа мирных и уставших консерваторов города. «Это правление убожеств,— замечал полковник Аурелиано Буэндиа, глядя на идущих мимо босых полицейских, вооруженных только деревянными дубинками.— Мы столько воевали, и все ради того, чтобы нам не перекрасили дома в голубой цвет». Когда появилась банановая компания, местные чиновники были заменены деспотичными чужеземцами, которых господин Браун поселил в электрифицированном курятнике, чтобы они наслаждались преимуществами своего высокого сана и не страдали от жары, москитов и бесчисленных неудобств и лишений, выпадавших на долю тех, кто жил в городе. Место прежних полицейских заняли наемные убийцы с мачете. Сидя в мастерской, полковник Аурелиано Буэндиа размышлял над этими переменами и впервые за все долгие годы своего молчаливого одиночества почувствовал мучительную и твердую уверенность в том, что с его стороны было ошибкой не довести войну до решительного конца. Как раз в один из этих дней брат уже давно забытого всеми полковника Магнифико Висбаля подошел вместе с семилетним внуком к одному из лотков на площади, чтобы выпить лимонаду. Ребенок случайно пролил напиток на мундир оказавшегося поблизости капрала полиции, и тогда этот варвар своим острым мачете изрубил мальчика в куски и одним ударом снес голову его деду, пытавшемуся спасти внука. Весь город смотрел на обезглавленное тело старика, когда несколько мужчин несли его домой, на голову, которую какая-то женщина держала в руке за волосы, и на окровавленный мешок с останками ребенка.

Это зрелище положило конец искуплению грехов полковником Аурe-

лиано Буэндиа. Он снова был охвачен возмущением, таким же, какое пережил в молодости возле трупа женщины, забитой прикладами за то, что ее укусила бешеная собака. Он поглядел на любопытных, столпившихся на улице, и своим прежним громовым голосом, воскрешенным его безмерным презрением к самому себе, обрушил на них весь груз ненависти, уже не умещавшийся в его сердце.

— Погодите,— крикнул он,— на днях я дам своим мальчикам оружие, чтобы они покончили с этими сволочами гринго.

Всю эту неделю неизвестные преступники охотились по всему побережью на семнадцать сыновей полковника, как на кроликов; они целились точно в середину крестов из пепла. Аурелиано Печальный выходил из дома своей матери в семь часов вечера, вдруг в темноте прогремел выстрел, и пуля пробила ему лоб. Аурелиано Ржаной был найден в своем гамаке на фабрике, где он обычно спал, меж бровей у него торчал ломик для колки льда, вогнанный по самую рукоятку. Аурелиано Пильщик проводил свою невесту домой из кино и возвращался к себе по ярко освещенной улице Турков,— убийца, так и не обнаруженный среди толпы, выстрелил в него из револьвера, и он упал прямо на котел с кипящим маслом. Через пять минут после этого кто-то постучал в дверь комнаты, где Аурелиано Аркайя находился с женщиной, и крикнул: «Торопись, там убивают твоих братьев». Женщина рассказывала потом, что Аурелиано Аркайя вскочил с постели и открыл дверь, за дверью его встретил выстрел из маузера, раздробивший ему череп. В эту ночь смертей, пока в доме готовились читать молитвы над четырьмя покойниками, Фернанда как безумная металась по городу в поисках мужа, которого Петра Котес, думая, что уничтожают всех, кто носит имя полковника, спрятала в платяном шкафу. Петра Котес выпустила Аурелиано Второго из шкафа только на четвертый день, когда из полученных телеграмм стало понятно, что ярость невидимого врага направлена только против братьев, отмеченных крестами из пепла. Амаранта разыскала книжечку, где были записаны данные о племянниках, и, по мере того как прибывали телеграммы, вычеркивала оттуда имена, пока не осталось лишь одно — имя самого старшего. Этого человека со смуглой кожей и светлыми зелеными глазами очень хорошо помнили в доме. Звали его Аурелиано Влюбленный, он был плотником и жил в селении, затерянном среди отрогов горного хребта. Прождав напрасно две недели сообщения о его смерти, Аурелиано Второй отправил гонца предупредить Аурелиано Влюбленного о нависшей над ним угрозе, думая, что он ни о чем не знает. Гонец вернулся с известием, что Аурелиано Влюбленный находится в безопасности. В ночь истребления к нему пришли двое и разрядили в него свои револьверы, но не сумели попасть в крест из пепла. Аурелиано Влюбленному удалось перескочить через забор и скрыться в горах, где он знал каждую тропинку благодаря своей дружбе с индейцами, продававшими ему древесину. Больше о нем не слышали.

Для полковника Аурелиано Буэндиа это были черные дни. Президент республики выразил ему соболезнование телеграммой, в которой обещал провести тщательное расследование и восхвалял покойных. По приказу президента алькальд явился на похороны с четырьмя венками и хотел возложить их на гробы, но полковник выставил его на улицу. После похорон он написал и лично отнес в почтовую контору резкую телеграмму на имя президента республики, телеграфист отказался ее передать. Тогда полковник Аурелиано Буэндиа обогатил текст послания крайне недружелюбными выражениями, положил в конверт и отправил почтой. Как это случилось с ним после смерти жены и столько раз случалось в войну, когда умирали его лучшие друзья, он испытывал не горе, а слепую, беспредметную ярость, опустошающее бессилие. Он

даже объявил, что падре Антонио Исабель — соучастник убийц и намеренно пометил его сыновей неизгладимыми крестами, чтобы враги могли их узнать. Дряхлый служитель божий, уже немного повредившийся в рассудке и в своих проповедях с амвона пугавший прихожан нелепыми толкованиями Священного писания, явился в дом с чашкой, в которой обычно держал пепел для первого дня поста, и хотел помазать этим пеплом всю семью и доказать, что он легко смывается водой. Но страх перед несчастьем так глубоко проник в души, что даже сама Фернанда не согласилась подвергнуться опыту, и никто больше не видел, чтобы хоть один Буэндиа преклонил колени в исповедальне в первый день поста.

Время шло, а полковник Аурелиано Буэндиа все не мог вернуть себе утраченное спокойствие. Он забросил изготовление золотых рыбок, ел лишь через силу и бродил по дому, словно сомнамбула, волоча по полу плащ и пережевывая, как жвачку, свой глухой гнев. К концу третьего месяца волосы его совсем поседели, прежде подкрученные кончики усов обвисли над выцветшими губами, но зато глаза снова стали теми горящими, как два угля, глазами, что испугали всех при его рождении и в былое время одним лишь своим взглядом заставляли двигаться стулья. Сжигаемый муками ярости, полковник Аурелиано Буэндиа тщетно старался пробудить в себе предчувствия, которые в молодости вели его по тропинкам опасности к пустыне славы. Он погибал, заблудившись в этом чужом доме, где никто и ничто уже не вызывало в нем ни малейшей привязанности. Однажды он вошел в комнату Мелькиадеса, пытаясь обнаружить следы того прошлого, что предшествовало войнам, но увидел лишь мусор, грязь да кучи всякой дряни, накопившейся после стольких лет запустения. Переплеты на книгах, которые уже давно никто не читал, и раскисшие от сырости пергаменты были покрыты мертвенно-бледной растительностью, а в воздухе, когда-то самом чистом и светлом в доме, стоял невыносимый запах прогнивших воспоминаний. В другой раз, утром, он увидел под каштаном Урсулу, она плакала, припав головой к коленям своего покойного мужа. Полковнику Аурелиано Буэндиа, единственному из всех обитателей дома, не дано было видеть мощного старика, сгорбленного от полувековых бурь и непогоды. «Поздоровайся с отцом»,— сказала Урсула. Он задержался на минуту возле дерева и еще раз убедился, что даже это опустевшее место не рождает в нем никаких чувств.

— Ну, что он говорит сегодня? — спросил полковник Аурелиано Буэндиа.

— Он грустит,— ответила Урсула,— ему кажется, что ты должен скоро умереть.

— Скажи ему,— улыбнулся полковник,— что человек умирает не тогда, когда должен, а тогда, когда может.

Пророчество покойного отца лишь перемешало последние угли гордыни, которые еще тлели в сердце полковника Аурелиано Буэндиа, но он принял их короткую вспышку за внезапный прилив былой силы. И стал допытываться у матери, где закопала она золотые монеты, найденные в гипсовом святом Иосифе. «Никогда тебе этого не узнать,— сказала она ему с твердостью, вызванной горьким опытом прошлого.— Вот объявится хозяин денег, он и выкопает». Никто не мог понять, почему человек, всегда отличавшийся бескорыстием, вдруг принялся с такой алчностью мечтать о деньгах, и не о скромных суммах на повседневные нужды, а о целом состоянии — при одном упоминании о его размерах даже Аурелиано Второй остолбенел от удивления. Бывшие сотоварищи по партии, к которым полковник Аурелиано Буэндиа обратился с просьбой о деньгах, прятались, чтобы не встречаться с ним. Как раз к этому времени относятся его слова: «Единственное различие меж-

ду либералами и консерваторами заключается сейчас в том, что либералы посещают раннюю мессу, а консерваторы — позднюю». Однако он проявил такую настойчивость, так умолял, до такой степени поступался своими понятиями о собственном достоинстве, что понемногу с молчаливым усердием и безжалостным упорством проник повсюду и сумел собрать за восемь месяцев больше денег, чем их было спрятано Урсулой. После этого он отправился к больному полковнику Херинельдо Маркесу, чтобы тот помог ему поднять новую беспощадную войну.

Какое-то время полковник Херинельдо Маркес был действительно единственным человеком, который мог, несмотря даже на приковавший его к качалке паралич, привести в движение покрытые ржавчиной рычаги восстания. После Неерландского перемирия, пока полковник Аурелиано Буэндиа искал забвения у своих золотых рыбок, полковник Херинельдо Маркес поддерживал связи с теми из повстанческих офицеров, кто до самого конца не изменил ему. Вместе с ними он прошел через войну ежедневных унижений, прошений и докладных записок, бесконечных «придите завтра», «вот уже скоро», «мы изучаем ваше дело с должным вниманием»; это была война, обреченная на поражение, война против «уважающих вас», «ваших покорных слуг», которые все обещали выдать, да так никогда и не выдали ветеранам пожизненные пенсии. Другая — кровавая, длившаяся двадцать лет война не причинила ветеранам столько ущерба, сколько эта разрушительная война вечных отсрочек. Сам полковник Херинельдо Маркес, который спасся от трех покушений на него, остался в живых после пяти ранений, вышел невредимым из бесчисленных тяжелых боев — не выдержал жестокого натиска вечного ожидания и принял последнее, окончательное поражение — старость; он сидел в своей качалке, разглядывая квадраты солнечного света на полу, и думал об Амаранте. Своих соратников он больше не видел, кроме одного раза — в газете на фотографии, где несколько ветеранов стояли рядом с очередным президентом республики, имени его полковник Херинельдо Маркес не знал, на лицах бывших воинов читалось возмущение: президент только что подарил им значки со своим изображением, чтобы они носили их на лацканах, и вернул одно из покрытых пылью и кровью знамен, чтобы они могли возлагать его на свои гробы. Остальные ветераны, самые достойные, все еще ждали извещения о пенсии в темных углах общественной благотворительности, одни из них умирали от голода, другие, питаемые кипевшей в них яростью, продолжали жить и медленно гнили от старости в отборном дерьме славы. Поэтому, когда полковник Аурелиано Буэндиа явился со своим предложением возжечь пожар беспощадной — не на жизнь, а на смерть — войны, которая сотрет с лица земли этот позорный, прогнивший насквозь режим, поддерживаемый иностранными захватчиками, полковник Херинельдо Маркес не смог подавить в себе чувства жалости.

— Ах, Аурелиано,— вздохнул он,— я знал, что ты постарел, но только сегодня понял, что ты гораздо старее, чем кажешься.

■

В суматохе последних лет Урсула все еще не успела выбрать свободное время для подготовки Хосе Аркадио к занятию папского престола, как уже подошел срок отправлять его в семинарию, и пришлось спешно нагонять упущенное. Сестра Хосе Аркадио — Меме, заботы по воспитанию которой делили между собой суровая Фернанда и унылая Амаранта, почти в ту же пору достигла возраста, позволявшего поступить в монастырскую школу, где из нее должны были сделать виртуоза игры на клавикордах. Урсулу мучили тяжелые сомнения — ей казалось, что методы, какими она пытается закалить дух вялого кандидата в папы, недостаточно действенны, но она винила в этом не свою спотыкающуюся

старость, не черные тучи, заволакивающие ей зрение — сквозь них она теперь различала, да и то с трудом, лишь контуры окружающих предметов,— все зло Урсула видела в неком явлении, которое и сама не умела определить с точностью, но смутно представляла себе как постоянно прогрессирующее ухудшение качества времени. «Годы теперь идут совсем не так, как раньше»,— жаловалась она, чувствуя, что повседневная реальность ускользает у нее из рук. Раньше, думала Урсула, дети вырастали очень медленно. Стоит вспомнить, как много ушло времени, прежде чем Хосе Аркадио, ее старший сын, бежал с цыганами, и сколько всего случилось до того, как он вернулся домой, разрисованный, словно змея, и с непонятными, будто у астролога, речами, и все, что произошло в доме, прежде чем Амаранта и Аркадио забыли язык индейцев и научились говорить по-испански. Подумать только, сколько ночей и дней просидел бедный Хосе Аркадио Буэндиа под своим каштаном и как долго оплакивали его смерть, прежде чем в дом принесли умирающего полковника Аурелиано Буэндиа, а ему тогда еще даже пятидесяти лет не исполнилось, и это после таких долгих войн и стольких страданий. Раньше она, бывало, целый день крутится со своими леденцами и успевает еще приглядеть за детьми и заметить по их глазам, что пора дать им касторки. А сейчас, когда она совершенно свободна и с утра до ночи только и нянчится с Хосе Аркадио, из-за того, что время испортилось, она не успевает довести до конца ни одного дела. Правда же заключалась в том, что Урсула, давно уже потеряв счет своим годам, все еще не желала признавать старости: она всюду толклась, во все мешалась, надоедала чужеземцам своим вечным вопросом — не они ли оставили в доме гипсового святого Иосифа, чтобы он постоял, пока не пройдет дождь. Никто не мог сказать с достоверностью, в какое время Урсула начала терять зрение. Даже в последние годы ее жизни, когда она уже не вставала с постели, все думали, что она просто побеждена дряхлостью, и ни один человек не заметил, что Урсула совсем ослепла. Сама Урсула начала чувствовать приближение слепоты незадолго до рождения Хосе Аркадио. Сперва она приняла это за временное недомогание, потихоньку пила бульон из мозговых костей и капала в глаза пчелиный мед, но скоро убедилась, что безнадежно погружается в потемки; ей так и не довелось получить ясное представление об электричестве, ибо когда в Макондо установили первые электрические фонари, Урсула могла воспринимать их лишь как некое смутное сияние. Ни одной живой душе не говорила она о том, что слепнет,— ведь это было бы публичным признанием своей бесполезности. Тайком от всех Урсула стала упорно изучать расстояния между предметами и голоса людей, чтобы продолжать видеть с помощью памяти, когда тени катаракты совсем закроют от нее мир. Позже она обрела неожиданное подспорье в запахах, они определялись в темноте гораздо отчетливее, чем контуры и цвета, и окончательно спасли ее от позорного разоблачения. Несмотря на окружающую ее тьму, Урсула могла вдеть нитку в иголку, и обметать петлю, и вовремя обнаружить, что молоко закипает. Она так хорошо помнила, в каком месте находится каждая вещь, что иногда и сама забывала о своей слепоте. Однажды Фернанда раскричалась на весь дом, что у нее пропало обручальное кольцо, а Урсула отыскала кольцо на полочке в детской спальне. Объяснялось это очень просто: пока все остальные беспечно расхаживали взад-вперед по дому, Урсула всеми оставшимися у нее четырьмя чувствами следила за любым их движением, чтобы никто не мог захватить ее врасплох, и вскоре она открыла, что каждый член семьи, сам того не замечая, ходит день изо дня по одним и тем же путям, повторяет одни и те же действия и произносит в одни и те же часы почти одни и те же слова. Следовательно, потерять что-либо Буэндиа рисковали лишь в том случае, если привычный распорядок нарушался. Поэтому, заслышав при-

читания Фернанды, Урсула вспомнила, что единственным необычным действием, предпринятым Фернандой в этот день, было проветривание циновок с детских кроватей, так как накануне ночью Меме обнаружила клопа. Поскольку при уборке присутствовали дети, Урсула решила, что Фернанда положила кольцо в единственное недосягаемое для них место — на полку. Фернанда же, напротив, искала кольцо только там, где пролегали ее обычные пути, не ведая, что именно повседневные привычки затрудняют нахождение потерянных вещей, из-за них эти вещи и бывает так трудно найти.

Занятия воспитанием Хосе Аркадио помогали Урсуле подмечать даже самые незначительные изменения, происходящие в доме. Стоило ей услышать, например, что Амаранта одевает святых в спальне, и она притворялась, будто учит мальчика различать цвета.

— Ну,— говорила она ему,— а теперь ответь мне: какого цвета одежда святого архангела Рафаила.

Таким образом, ребенок давал Урсуле те сведения, в которых ей отказывали глаза, и задолго до того, как он уехал в семинарию, Урсула научилась определять на ощупь, по ткани, цвета одежды святых. Иной раз случалось и что-нибудь непредвиденное. Однажды Урсула наткнулась на Амаранту, сидевшую с вышиванием в галерее бегоний.

— Ради бога,— возмутилась Амаранта,— смотри, куда ты идешь.

— Это ты,— ответила Урсула,— сидишь не там, где должна сидеть.

Урсула была совершенно убеждена в своей правоте и, поразмыслив, сделала неожиданное открытие, которое до нее никому и в голову не приходило: по мере чередования времен года солнце постепенно и незаметно изменяло свое положение в небе, и те, кто сидел в галерее, понемногу, и сами того не замечая, передвигались и меняли свои места. С тех пор Урсуле надо было только вспомнить, какое сегодня число, чтобы безошибочно определить, где сидит Амаранта. Хотя руки Урсулы дрожали с каждым днем все заметней, а ноги словно наливались свинцом, никогда еще ее маленькую фигуру не видели в стольких местах сразу. Урсула была почти столь же расторопной, как в те времена, когда на ее плечах лежали все заботы по дому. Но в лишенном света одиночестве своей глубокой старости она обрела способность с такой необычайной проницательностью разбираться даже в самых незначительных семейных событиях, что впервые увидела со всей ясностью ту правду, разглядеть которую мешала ей прежде ее вечная занятость. К тому времени, когда Хосе Аркадио стали готовить в семинарию, Урсула произвела уже доскональнейший обзор всей жизни семьи Буэндиа, начиная с основания Макондо, и полностью пересмотрела свое мнение о потомках. Она пришла к убеждению, что полковник Аурелиано Буэндиа утратил привязанность к семье не из-за того, что его ожесточила война, как Урсула думала раньше, просто он никогда никого не любил — и свою жену Ремедиос, и бесчисленных возлюбленных на одну ночь, прошедших через его жизнь, и в особенности своих сыновей. Она догадалась, что он проделал столько войн не из-за идеализма, как все считали, отказался от неизбежной победы не из-за усталости, как все думали, а и победы одерживал и поражения терпел по одной и той же причине — из-за самого настоящего греховного тщеславия. Она заключила, что этот ее сын, за которого она пожертвовала бы жизнью, от природы лишен способности любить. Однажды ночью, в те времена, когда Урсула еще носила его в своем чреве, она услышала, как он заплакал. Плач был жалобный и такой отчетливый, что спавший рядом Хосе Аркадио Буэндиа проснулся и обрадовался — наверное, ребенок родится чревовещателем. Другие предсказывали, что он будет ясновидящим. Сама же Урсула содрогнулась от уверенности, что это утробное мычание — первый предвестник страшного свиного хвоста, и стала молить бога уничтожить ребенка у

нее в чреве. Но в прозрении старости она поняла и неоднократно затем повторяла, что плач ребенка в животе матери не признак его чревовещательных или пророческих дарований, а безошибочное указание на неспособность к любви. Эта переоценка сына внезапно пробудила в ней всю ту жалость, которую она ему недодала. Напротив, Амаранта, чья душевная черствость пугала Урсулу, чья затаенная горечь печалила ее, теперь показалась матери воплощением женской нежности, и с проницательностью, порожденной состраданием, Урсула поняла, что несправедливые мучения, которым Амаранта подвергла Пьетро Креспи, объясняются не жаждой возмездия, как все думали, а медленная пытка, исковеркавшая жизнь полковника Херинельдо Маркеса, вызвана не злым, желчным, неизлечимым горем, как все считали. На самом деле и то и другое было следствием борьбы не на жизнь, а на смерть между безграничной любовью и непреодолимой трусостью и в конце концов в этой борьбе восторжествовал неразумный страх, неотступно терзавший измученное сердце Амаранты. Как раз в это время Урсула стала все чаще произносить имя Ребеки, она вызывала в памяти ее образ с прежней любовью, усиленной запоздалым раскаянием и внезапным восхищением, она поняла, что только Ребека, та, которая не была вскормлена ее молоком, а ела землю земли и известку стен, та, в чьих жилах текла не кровь Буэндиа, а неизвестная кровь неизвестных, кости которых продолжали клохтать даже в могиле, Ребека с нетерпеливым сердцем, Ребека с необузданным чревом — единственная из всех обладала той безудержной смелостью, о которой Урсула мечтала для отпрысков своего рода.

— Ребека,— бормотала она, ощупывая стены,— как мы были к тебе несправедливы!

Все считали, что Урсула просто бредит, особенно после того, как ей вздумалось ходить, вытянув вперед правую руку, словно архангел Гавриил. Однако Фернанда заметила, что мрак этого бреда освещается иной раз солнцем ясновидения,— ведь Урсула могла без запинки ответить, сколько денег потрачено в доме за прошедший год. Та же мысль появилась у Амаранты, когда однажды на кухне ее мать, помешивая в горшке суп и не зная, что ее слушают, сказала вдруг, что мельница для кукурузы, купленная у первых цыган и исчезнувшая еще до того, как Хосе Аркадио семьдесят пять раз объездил вокруг света, стоит до сих пор у Пилар Тернеры. Тоже почти достигшая столетнего возраста, но крепкая и живая, несмотря на невероятную свою толщину, которой пугались дети, как некогда голуби пугались ее звонкого смеха, Пилар Тернера не удивилась словам Урсулы: она уже начинала убеждаться, что бдительность стариков нередко быстрей приводит к цели, чем гадание на картах.

Тем не менее, когда Урсула обнаружила, что у нее не хватит времени утвердить Хосе Аркадио в его призвании, она впала в уныние. Стала допускать ошибки, пробуя разглядеть глазами те предметы, которые гораздо яснее видела с помощью интуиции. Однажды утром она вылила на голову мальчика содержимое чернильницы, думая, что это цветочная вода. В своем упорном желании во все вмешиваться она делала промах за промахом, чувствовала, как на нее все чаще обрушиваются приступы тоски, и тщетно пыталась вырваться из паутины мрака, опутывавшей ее все больше и больше. Тогда-то Урсуле и пришло в голову, что ее промахи — это не свидетельство первой победы, одержанной над ней дряхлостью и тьмой, а следствие какого-то повреждения в самом времени — порчи времени. Раньше, думала она, пока бог не плутовал еще с месяцами и годами, вроде турка, отмеряющего вам ярд перкаля, все шло по-иному. Теперь же не только дети вырастают быстрее, но даже чувствуют люди не так, как раньше. Не успела Ремедиос Прекрасная вознестись душой и телом на небо, и бессовестная Фернанда тут же стала ворчать

по углам, зачем у нее забрали простыни. Не успели еще остыть в могилах тела шестнадцати Аурелиано, как Аурелиано Второй уже снова привел к себе толпу пьяниц играть на аккордеоне и наливаться шампанским, словно умерли не христиане, а собаки, и этот сумасшедший дом, на который ушло столько ее здоровья и столько фигурок из леденца, был создан лишь для того, чтобы превратиться в вертеп порока. Пока укладывали сундук Хосе Аркадио, Урсула, перебирая горькие воспоминания, спрашивала себя, не лучше ли лечь в могилу и быть засыпанной землей, и бесстрашно вопрошала бога, действительно ли он считает, что люди сделаны из железа и могут перенести столько горя и страданий, но, спрашивая и вопрошая, она только больше запутывалась и в ней поднималось непреодолимое желание начать говорить все, что взбредет в голову, как делают чужеземцы, позволить себе, наконец, взбунтоваться хотя бы на один миг, на тот короткий миг, которого она так горячо жаждала и который столько раз откладывала, сделав самоотречение основой своего существования, ей страстно хотелось плюнуть хоть один раз на все, вывалить из сердца бесконечные груды дурных слов, которыми она вынуждена была давиться в течение целого века покорности.

— Гадина! — крикнула Урсула.

Амаранта, начавшая складывать в сундук одежду, решила, что мать укусил скорпион.

— Где он? — испуганно спросила она.

— Кто?

— Скорпион,— объяснила Амаранта.

Урсула ткнула пальцем в сердце.

— Здесь,— сказала она.

В один из четвергов, в два часа дня, Хосе Аркадио отправился в семинарию. Урсула всегда будет помнить его таким, каким представила себе при расставании — томным и серьезным, не пролившим, как она его и учила, ни единой слезы, задыхающимся от жары в костюмчике из зеленого бархата с медными пуговицами и с накрахмаленным бантом у ворота. Когда Хосе Аркадио ушел, в столовой остался резкий запах цветочной воды, которой Урсула поливала мальчику голову, чтобы легче было находить его в доме. Пока шла прощальная трапеза, семья скрывала свое волнение за веселой болтовней и с преувеличенным воодушевлением откликалась на шутки падре Антонио Исабеля. Но когда унесли обитый бархатом сундук с серебряными наугольниками, все почувствовали себя так, словно из дома вынесли гроб. Полковник Аурелиано Буэндиа отказался участвовать в проводах.

— Только этого нам недоставало,— пробурчал он себе под нос.— Святейший папа!

Через три месяца Аурелиано Второй и Фернанда отвезли Меме в монастырскую школу и возвратились с клавикордами, которые заняли место пианолы. Как раз в это время Амаранта начала ткать себе погребальный саван. Банановая лихорадка уже поуспокоилась. Коренные обитатели Макондо обнаружили, что они оттерты на задний план чужеземцами, но, с трудом сохранив свои прежние скудные доходы, они все же испытывали радость, будто им посчастливилось спастись во время кораблекрушения. В доме Буэндиа все еще продолжали приглашать к столу толпы гостей, и прежняя спокойная жизнь восстановилась через несколько лет, когда перестала существовать банановая компания. Однако традиционное гостеприимство претерпело основательные изменения, потому что теперь власть перешла в руки Фернанды. Урсула находилась в изгнании в стране тьмы, Амаранта с головой погрузилась в шитье савана,— и бывшая кандидатка на королевский престол обрела полную свободу выбирать сотрапезников по своему вкусу и навязывать им строгие нормы, внушенные ей родителями. Благодаря суровой руке Фернан-

ды дом Буэндиа превратился в оплот ушедших в прошлое обычаев, среди города, потрясенного вульгарностью, с которой чужеземцы расточали свои легко нажитые состояния. Фернанда считала порядочными людьми только тех, кто не имел ничего общего с банановой компанией. Даже ее свояк, Хосе Аркадио Второй, пал жертвой ее дискриминаторского рвения, потому что в сумятице первых дней банановой лихорадки он снова продал своих великолепных бойцовых петухов и поступил надсмотрщиком к банановой компании.

— Чтобы ноги его здесь не было, пока на нем зараза от этих чужеземцев,— сказала Фернанда.

Жизнь в доме сделалась такой суровой, что Аурелиано Второму стало определенно уютнее у Петры Котес. Сначала, под тем предлогом, что хочет облегчить своей супруге бремя забот, он перенес туда свои пиршества. Потом, под тем предлогом, что скот утрачивает свою плодовитость, переместил хлев и конюшни. И, наконец, под тем предлогом, что в доме любовницы не так жарко, перенес туда маленькую контору, где вел свои дела. Когда Фернанда заметила, что превратилась в соломенную вдову, было уже поздно. Аурелиано Второй почти не ел дома, он являлся только ночевать. Это была единственная его дань внешним приличиям, впрочем, она никого не обманывала. Как-то раз он оплошал, и утро застало его в постели Петры Котес. Вопреки всем ожиданиям, он не услышал от жены не только ни малейшего упрека, но даже самого легкого вздоха обиды, однако в тот же день Фернанда отправила в дом любовницы два сундука с его одеждой. Отправила среди бела дня и приказала нести посредине улицы, на виду у всего города, думая, что заблудший супруг не вытерпит позора и со склоненной выей вернется в стойло. Но этот героический жест только еще раз доказал, как плохо знала Фернанда характер своего мужа и нравы Макондо, не имевшие ничего общего с нравами ее родителей,—каждый, кто видел сундуки, говорил себе, что вот наконец-то завершилась, как и следовало ожидать, история, интимные подробности которой ни для кого уже не были тайной, а Аурелиано Второй отпраздновал дарованную ему свободу трехдневным пиром. К довершению несчастий супруги, она в своих темных и длинных одеяниях, со своими вышедшими из моды медальонами и неуместной гордостью выглядела преждевременно постаревшей, в то время как облаченная в яркие платья из натурального шелка любовница, глаза которой сияли радостью от сознания, что ее попранные права восстановлены, казалось, цвела второй молодостью. Аурелиано Второй снова отдался Петре Котес, отдался с юным пылом, как в былые времена, когда она спала с ним потому, что принимала его за его брата-близнеца и, живя с обоими братьями, думала, что бог послал ей невиданное счастье — мужчину, умеющего любить за двоих. Вновь возродившаяся страсть была неутолимой,— не раз случалось, уже сев за стол, они внезапно посмотрят друг другу в глаза и, ни слова не сказав, закроют кастрюли крышками и отправляются в спальню — умирать от голода и любви. Вдохновленный тем, что ему довелось увидеть во время своих тайных вылазок к французским гетерам, Аурелиано Второй купил Петре Котес кровать с балдахином, как у архиепископа, повесил на окна бархатные шторы, покрыл потолок и стены спальни огромными зеркалами из горного хрусталя. Он стал еще большим весельчаком и сумасбродом, чем прежде. Каждый день, в одиннадцать часов утра, поезд доставлял ему ящики с шампанским и бренди. Возвращаясь с ними со станции, Аурелиано Второй увлекал за собою, словно в импровизированной кумбиамбе[1], любое человеческое существо, попадавшееся ему навстречу,— местное или пришлое, знакомое или незнакомое, без всякого разбора. Он соблазнил зазывными жестами и увертливого господина Брауна, объ-

[1] Народный танец.

яснявшегося только на своем непонятном языке, и тот несколько раз мертвецки напивался в доме Петры Котес, а однажды даже заставил своих злых немецких овчарок, повсюду его сопровождавших, плясать под техасские песни, которые он сам кое-как промямлил под музыку аккордеона.

— Плодитесь, коровы,— кричал Аурелиано Второй в приступе веселья.— Плодитесь — жизнь коротка!

Никогда еще он не выглядел лучше, чем в ту пору, никогда еще его не любили больше, никогда его скот не размножался с такой необузданностью. Для бесконечных пиршеств было зарезано столько телят, свиней и кур, что земля во дворе стала черной и вязкой от крови. Сюда без конца выбрасывали кости и внутренности, сваливали объедки, и приходилось чуть ли не каждый час сжигать все это, чтобы ауры[1] не выклевали гостям глаза. Аурелиано Второй потолстел, лицо его стало багрово-фиолетовым, расплылось и напоминало теперь черепашью морду, а все по вине его чудовищного аппетита, с которым не мог сравниться даже аппетит Хосе Аркадио после его возвращения из кругосветных скитаний. Слава о невероятной прожорливости Аурелиано Второго, его неслыханном мотовстве, его непревзойденном гостеприимстве вышла за пределы долины и привлекла внимание самых знаменитых чревоугодников. Со всех концов побережья в Макондо прибывали легендарные обжоры, чтобы принять участие в безрассудных гастрономических турнирах, проводившихся в доме Петры Котес. Аурелиано Второй непременно одерживал победу над всеми до той роковой субботы, когда явилась Камила Сагаустуме, женщина, напоминавшая своими формами тотемическую скульптуру и известная во всей стране под выразительной кличкой Слониха. Состязание длилось до утра вторника. Уничтожив за первые сутки теленка с гарниром из маниоки, ямса и жареных бананов и выпив, кроме того, полтора ящика шампанского, Аурелиано Второй был совершенно уверен в своей победе. Он считал, что в нем больше воодушевления и жизни, чем в его невозмутимой сопернице; стиль еды у нее был, конечно, более профессиональным, но именно поэтому он вызывал меньше восторга у переполнявшей дом разношерстной публики. В то время как Аурелиано Второй, в жажде победы забыв всякий стыд, рвал мясо зубами, Слониха рассекала его на части с искусством хирурга и ела не торопясь, даже испытывая определенное удовольствие. Была она огромной и толстой, но чудовищная тучность вознаграждалась нежной женственностью: Слониха обладала таким красивым лицом, такими изящными и холеными руками и таким непреодолимым обаянием, что когда она вошла в дом, Аурелиано Второй вполголоса заметил, что предпочел бы провести турнир не за столом, а в постели. А когда он увидел, как Слониха расправилась с целым телячьим окороком, не нарушив при этом ни одного правила благовоспитанности самого высокого класса, он совершенно серьезно заявил, что это деликатное, очаровательное и ненасытное хоботное является, в определенном смысле, идеальной женщиной. И он не ошибся. Слухи о том, что Слониха — прожорливый орел-ягнятник, предшествовавшие ее появлению, не имели оснований. Она была не мясорубкой для перемалывания быков, не бородатой женщиной из греческого цирка, как говорили, а директрисой школы пения. Есть она научилась, будучи уже почтенной матерью семейства, когда пыталась найти способ заставить своих детей лучше питаться, но не путем искусственного возбуждения аппетита, а при помощи создания абсолютной душевной успокоенности. Ее проверенная практикой теория основывалась на том, что человек, у которого все дела совести в полном порядке, способен есть без перерыва до тех пор, пока не устанет. Таким образом, она бросила свою школу и семейный очаг не из спортивного честолюбия,

[1] Стервятники.

а по причинам морального порядка — чтобы вступить в единоборство с человеком, прославившимся на всю страну как едок без принципов. Лишь только Слониха увидела Аурелиано Второго, она сразу же поняла, что подведет его не желудок, а характер. И действительно, к концу первой ночи Слониха сохранила всю свою боеспособность, а Аурелиано Второй чувствовал себя обессиленным из-за того, что много смеялся и болтал. Они поспали четыре часа. Затем каждый выпил сок от пятидесяти апельсинов, восемь литров кофе и тридцать сырых яиц. На второе утро, после долгих часов бодрствования, прикончив двух свиней, гроздь бананов и четыре ящика шампанского, Слониха стала подозревать, что Аурелиано Второй, сам того не ведая, открыл ее собственный метод, но, в отличие от нее, открыл совершенно стихийно. Итак, противник оказался опаснее, чем она предполагала. Между тем, когда Петра Котес принесла на стол двух жареных индюков, Аурелиано Второй был уже на шаг от апоплексического удара.

— Если не можете, не ешьте больше,— предложила ему Слониха.— Пусть будет ничья.

Она сказала это от чистого сердца — ведь и сама она не смогла бы съесть ни кусочка, зная, что каждый глоток приближает смерть соперника. Но Аурелиано Второй понял ее слова как новый вызов, набил себя индюком и, превысив свою невероятную вместительность, потерял сознание. Он свалился ничком на блюдо с обглоданными костями, изо рта у него бежала пена, как у бешеной собаки, и вырывался предсмертный хрип. Среди темноты, в которую он внезапно окунулся, Аурелиано Второму почудилось, будто его швырнули с самой верхушки какой-то башни в бездонную пропасть, и при последней, короткой вспышке сознания он уяснил себе, что в конце этого долгого падения его ждет смерть.

— Отнесите меня к Фернанде,— еще успел он сказать.

Доставившие его домой друзья решили, что он выполняет данное жене обещание не умирать в постели любовницы. Петра Котес начистила лакированные ботинки, в которых он хотел лежать в гробу, и уже искала, с кем бы их отослать, когда ей сообщили, что Аурелиано Второй вне опасности. И правда, через неделю он уже был здоров, а еще через две недели отметил свое воскрешение из мертвых невиданным доселе пиром. Он продолжал жить в доме Петры Котес, но каждый день навещал теперь Фернанду и иногда оставался обедать с семьей, словно судьба поменяла все местами, сделав его мужем наложницы и любовником жены.

Фернанда наконец смогла немного передохнуть. Невыносимо скучные дни одиночества покинутой жене скрашивали только игра на клавикордах в часы сиесты да письма от детей. Дважды в месяц она сама отправляла Хосе Аркадио и Меме подробные послания, не содержавшие ни одной строчки правды. Фернанда скрывала от детей свои несчастья. Умело прятала печаль этого дома, который, несмотря на залитые солнечным светом бегонии, несмотря на удушливую полуденную жару, несмотря на частые взрывы праздничного веселья, проникавшие в него с улицы, с каждым днем становился все более похожим на мрачный дом ее родителей. Фернанда одиноко бродила среди трех живых призраков и одного мертвого — призрака Хосе Аркадио Буэндиа, имевшего обыкновение усаживаться в темном углу гостиной и с напряженным вниманием слушать, как она играет на клавикордах. От прежнего полковника Аурелиано Буэндиа осталась лишь тень. С того дня, когда он в последний раз вышел из дому, намереваясь уговорить полковника Херинельдо Маркеса развязать новую, безнадежную войну, он оставлял свою мастерскую только, чтобы справить нужду возле каштана. Он никого больше не принимал, кроме парикмахера, который заходил каждые три недели. Питался тем, что ему раз в день приносила Урсула, и хотя все еще с прež-

ним усердием мастерил своих золотых рыбок, но уже не продавал их, узнав, что покупают их не как украшения, а как исторические реликвии. Однажды он разжег во дворе костер из кукол Ремедиос, украшавших его спальню со дня свадьбы. Бдительная Урсула обнаружила, что делает ее сын, но не смогла остановить его.

— У тебя сердце из камня,— сказала она.

— При чем тут сердце,— ответил он,— в комнате полно моли.

Амаранта все ткала свой саван. Фернанда не могла взять в толк, почему Амаранта время от времени пишет письма Меме и даже шлет ей подарки, а о Хосе Аркадио и говорить не желает. «Они так и умрут, не узнав почему»,— ответила Амаранта, когда Фернанда, через Урсулу, спросила ее об этом; ответ Амаранты Фернанда сохранила в своем сердце как загадку, которую ей так и не суждено было разгадать. Высокая, прямая, надменная Амаранта, всегда облаченная в пышные, белоснежные, как пена, юбки, сохранившая, несмотря на годы и тяжелые воспоминания, исполненный превосходства вид, казалось, носила на лбу свой собственный крест из пепла — крест девственности. Она его и в самом деле носила, но только на руке — под черной повязкой, ее Амаранта не снимала даже на ночь и сама стирала и гладила. Вся жизнь Амаранты проходила за изготовлением савана. Было похоже, что сотканное днем ночью она снова распускает, и делает это не для того, чтобы спастись от своего одиночества, а совсем напротив — чтобы сохранить его.

Во время разлуки с мужем Фернанду больше всего беспокоила мысль, что Меме, приехав на каникулы, не увидит дома отца. Апоплексический удар положил конец ее страхам. К тому моменту, когда Меме вернулась, ее родители договорились обо всем, чтобы девочка не только поверила, будто Аурелиано Второй остается покорным мужем, но даже не заметила бы печали, наполняющей дом. Каждый год Аурелиано Второй два месяца подряд играл роль примерного супруга и устраивал праздники, где гостей угощали мороженым и печеньем; веселая и живая воспитанница монахинь украшала эти сборища своей игрой на клавикордах. Уже тогда было видно, что она очень мало унаследовала от характера матери: Меме казалась скорее вторым изданием Амаранты, Амаранты-девочки в двенадцать-четырнадцать лет, до того, как тайная страсть к Пьетро Креспи навсегда сбила ее сердце с правильного пути. Но в отличие от Амаранты, в отличие от всех остальных чувство одиночества, которым судьба наделила членов этой семьи, в Меме еще не проявлялось, девочка выглядела совершенно довольной окружающим миром, даже когда в два часа дня отправлялась в гостиную, чтобы с железной дисциплинированностью упражняться в игре на клавикордах. Было совершенно очевидно, что дома ей нравится, что она целый год мечтает о той шумной радости, с какой встречает ее молодежь, и что Меме не чужда отцовской склонности к развлечениям и неумеренному гостеприимству. Первые признаки этой злополучной наследственности обнаружились во время третьих каникул, когда Меме явилась домой в сопровождении четырех монахинь и шестидесяти восьми подружек по классу, которых она, ни у кого не спросившись и никого не предупредив, пригласила погостить недельку в доме.

— Что за несчастье,— стонала Фернанда,— это создание так же безрассудно, как ее отец!

Пришлось просить у соседей кровати и гамаки, установить питание в девять смен, составить график пользования купальней и одолжить сорок табуреток, чтобы девочки в синих форменных платьях и мужских башмаках не слонялись целый день взад-вперед по дому. Все шло из рук вон плохо: едва шумная ватага кончала с завтраком, как уже надо было кормить первые очереди обедом, а потом ужином; за всю неделю

школьницы только и успели, что сходить на плантации. С наступлением ночи монашки выбивались из сил, чтобы загнать своих подопечных в постели, но как ни старались, во дворе всегда еще оставалась целая толпа неутомимых отроковиц, распевающая унылые школьные гимны. Однажды девицы чуть не сбили с ног Урсулу, которая всегда появлялась со своими услугами именно там, где она больше всего могла помешать. В другой раз монашки подняли страшный шум из-за того, что полковник Аурелиано Буэндиа помочился возле каштана в присутствии школьниц. А по вине Амаранты едва не возникла самая настоящая паника: когда Амаранта солила суп, в кухню вошла одна из монашек и ничего другого не придумала, как спросить, что это за белый порошок бросают в котел.

— Мышьяк,— ответила ей Амаранта.

В первый вечер школьницы замучились, пытаясь попасть в уборную перед сном,— около часу ночи последние из них только еще туда входили. Тогда Фернанда купила семьдесят два горшка, но добилась этим лишь того, что превратила ночную проблему в утреннюю: теперь с самого рассвета около уборной выстраивалась длинная вереница девочек с горшками в руках — каждая ждала очереди помыть свой горшок. Хотя некоторые из школьниц простудились, а у других на покусанной москитами коже вздулись пузыри, большинство проявило непоколебимую стойкость перед лицом самых тягчайших испытаний, и даже в самые жаркие часы дня они ухитрялись бегать по саду. К тому времени, когда гости наконец уехали, все цветы были вытоптаны, мебель сломана, стены покрыты рисунками и надписями, но Фернанда была так рада отъезду, что простила причиненный ущерб. Кровати и табуретки она вернула соседям, а семьдесят два горшка составила штабелями в комнате Мелькиадеса. Заброшенное помещение, вокруг которого в былые времена вращалась вся духовная жизнь дома, стало с тех пор известно под названием «горшечной комнаты». По мнению полковника Аурелиано Буэндиа, название было самое подходящее, ведь хотя вся семья продолжала удивляться, что жилище Мелькиадеса недоступно для пыли и разрушения, полковнику оно казалось просто свалкой. Как бы то ни было, но он, видимо, вовсе не интересовался, на чьей стороне правда, и о постигшей комнату судьбе узнал лишь потому, что Фернанда целый день бегала мимо него с горшками, мешая ему работать.

В ту пору в доме снова появился Хосе Аркадио Второй. Ни с кем не здороваясь, он проходил в конец коридора и скрывался в мастерской, где вел какие-то разговоры с полковником. Видеть его Урсула уже не могла, но она изучала стук его тяжелых сапог — сапог надсмотрщика — и удивлялась, какое неодолимое расстояние отделяет его от семьи, даже от брата-близнеца, с которым в детстве он играл в хитрые игры с переодеваниями, а сейчас не имел ни одной общей черточки. Хосе Аркадио Второй был длинный и худой, держался надменно, и какой-то мрачный отблеск лежал на его смуглом лице, задумчивом и грустном, как у сарацина. Он больше походил на свою мать, Санта Софию де ла Пьедад, чем на Буэндиа, и, случалось, Урсула, говоря о семье, даже забывала упомянуть его имя, хотя и ругала себя за это. Когда она обнаружила, что Хосе Аркадио Второй снова ходит по дому и полковник, отрываясь от работы, принимает его в мастерской, Урсула перебрала старые воспоминания и утвердилась в своем подозрении — Хосе Аркадио Второй в детстве поменялся местом со своим братом-близнецом и именно он, а не тот должен зваться Аурелиано. Никто не знал подробностей его жизни. Одно время было известно, что у него нет определенного местожительства, что он выращивает бойцовых петухов в доме Пилар Тернеры, иногда там спит, а почти все остальные ночи проводит в спальнях французских гетер. Он плыл по воле волн, не имея ни привязанностей, ни че-

столюбивых стремлений — блуждающая звезда в планетарной системе Урсулы.

Собственно говоря, Хосе Аркадио Второй перестал принадлежать своей семье и утратил способность принадлежать любой другой уже с того далекого утра, когда полковник Херинельдо Маркес повел его в казарму — не для того, чтобы показать ему расстрел, а для того, чтобы мальчик на всю жизнь запомнил грустную и немножко насмешливую улыбку расстрелянного. Это воспоминание было не только самым давним, но и единственным, сохранившимся у него от детства. Не считая еще одного — образа старика в допотопного вида жилете и шляпе с полями, как вороновы крылья, который рассказывал всякие чудеса возле сияющего квадрата окна. Но Хосе Аркадио Второй не знал, к какому времени относится это воспоминание. Оно было туманным, не оставило в нем горького осадка и ничему его не научило, в отличие от первого, которое, в сущности, определило направление всей его жизни и, по мере того как он старел, возникало в памяти все более отчетливо, словно течение времени приближало его. Урсула попыталась прибегнуть к помощи Хосе Аркадио Второго, чтобы извлечь полковника Аурелиано Буэндиа из его заточения. «Уговори его пойти в кино,— просила она.— Картины ему, правда, не нравятся, да пусть хоть подышит свежим воздухом». Но очень скоро она заметила, что Хосе Аркадио Второй так же нечувствителен к ее мольбам, как сам полковник, и оба они покрыты одинаковой броней, непроницаемой для всяких привязанностей. Хотя Урсула не знала, да и никто не знал, о чем они толковали долгие часы, запершись в мастерской, но она понимала, что это единственные два человека в семье, связанные внутренней близостью.

По правде говоря, Хосе Аркадио Второй и не смог бы выполнить просьбу Урсулы, даже если бы захотел. Нашествие школьниц переполнило чашу терпения полковника. Под тем предлогом, что спальня все еще находится во власти моли, хотя аппетитные куклы Ремедиос уже уничтожены, он повесил в мастерской гамак и теперь выходил из нее только во двор — справить нужду. Урсуле не удавалось втянуть его даже в самый обычный разговор. Идя к сыну, она уже наперед знала: он и не посмотрит на тарелки с едой, а отодвинет их на дальний конец стола и будет доделывать золотую рыбку, совсем не беспокоясь о том, что суп покрывается пленкой жира, а мясо остывает. С тех пор как полковник Херинельдо Маркес отказался помочь ему в задуманной на старости лет войне, он все больше и больше ожесточался. Ушел в себя и заперся там на засов, и семья в конце концов стала думать о нем так, словно он уже умер. Никто не замечал, чтобы полковник проявлял какие-нибудь человеческие чувства до того дня одиннадцатого октября, когда он вышел на крыльцо поглядеть на проходивший мимо цирк. Этот день был для полковника Аурелиано Буэндиа таким же, как все остальные дни последних лет. В пять часов утра его разбудил шум, который подняли во дворе жабы и сверчки. По-прежнему моросил дождь, начавшийся еще в субботу, и даже если бы полковник не слышал его настырного шепота в листве деревьев в саду, по холоду в своих костях он все равно бы почувствовал, что идет дождь. На полковнике Аурелиано Буэндиа, как всегда, был шерстяной плащ и длинные, из грубой ткани кальсоны, которые он носил для удобства, хотя сам же называл «готскими подштанниками» из-за крайне старомодного вида. Он надел узкие брюки, но не застегнул их и не вдел в воротник рубашки всегдашнюю золотую запонку, потому что собирался искупаться. Потом натянул плащ на голову, словно капюшон, расправил пальцами обвисшие усы и пошел во двор справить нужду. До восхода солнца было далеко, и Хосе Аркадио Буэндиа еще спал под своим навесом из прогнивших от дождей пальмовых листьев. Полковник, как обычно, не увидел отца и, когда призрак, разбуженный полившейся

внезапно ему на ботинки струей горячей мочи, обратился к сыну с какой-то непонятной фразой, тот ее не услышал. Он решил, что искупается попозже — не из-за холода и сырости, а из-за гнетущего душу октябрьского тумана. Когда он возвращался в мастерскую, до него донесся запах дыма от печей, которые растапливала Санта София де ла Пьедад, и он подождал на кухне, пока закипит кофейник, чтобы взять с собой свою чашку кофе без сахара. Санта София де ла Пьедад спросила его, как всегда спрашивала по утрам, какой сегодня день недели, и он ответил, что вторник, одиннадцатое октября. Глядя на спокойное, позолоченное отблеском огня лицо стоявшей перед ним женщины, в реальности существования которой он в эту минуту, да, впрочем, и раньше, никогда не был до конца убежден, он вдруг вспомнил, что однажды, в разгар войны, тоже одиннадцатого октября, он проснулся от инстинктивной животной уверенности, что спящая рядом с ним женщина мертва. Так оно и было, он сохранил в памяти число, потому что женщина, за час до случившегося, тоже спросила его, какой сегодня день. Но даже вспомнив это, полковник Аурелиано Буэндиа все еще не заметил, насколько его покинули предчувствия, и, пока закипал кофейник, он из чистого любопытства, без всякого риска впасть в тоску, продолжал думать о той женщине, имени ее он никогда не знал и лица ее ни разу не видел, потому что она пришла к его гамаку, спотыкаясь в кромешной темноте. Той же дорогой приходило в его жизнь великое множество женщин, и поэтому он не вспомнил, что именно она в безумии первых объятий чуть не утонула в собственных слезах и за час до того, как умереть, поклялась любить его до самой смерти. Вернувшись в мастерскую, он уже не думал ни об этой, ни о какой другой женщине и зажег свет, чтобы сосчитать золотых рыбок, которых хранил в жестяной банке. Их было семнадцать. С тех пор как он решил не продавать рыбок, он делал каждый день по две штуки и, когда число их доходило до двадцати пяти, снова расплавлял их в тигле и начинал сначала. Он работал все утро, целиком уйдя в свое дело, ни о чем не думая, и не заметил, что в десять часов дождь усилился и кто-то прошел мимо мастерской, крича, чтобы закрыли двери, а то зальет весь дом, и забыл даже о самом себе, пока не вошла Урсула с едой и не погасила свет.

— Какой дождь! — сказала Урсула.

— Октябрь,— ответил он.

Произнося эти слова, он не поднял взгляда от первой за день золотой рыбки, потому что вставлял ей рубиновые глаза. Только кончив работу и положив рыбку в банку к остальным, он взялся за суп. Потом съел, очень медленно, кусок мяса, тушенного с луком, рис и ломтики жареного банана, лежавшие на той же тарелке. Аппетит его оставался всегда одинаковым и в хороших и в самых тяжелых условиях. После еды ему захотелось отдохнуть. Из-за в некотором роде научно обоснованного суеверия он никогда не работал, не читал, не купался, не занимался любовью, пока не пройдут два часа, отведенные на пищеварение, его вера в необходимость этого была настолько закоренелой, что несколько раз полковник Аурелиано Буэндиа задерживал начало военных операций, чтобы не подвергать войска риску апоплексического удара. Он улегся в гамак, поковырял в ушах перочинным ножом и очень скоро заснул. Ему приснилось, будто он входит в пустой дом с белыми стенами, испытывая тягостное чувство, что он — первое переступающее этот порог человеческое существо. Во сне он вспомнил, что то же самое ему снилось прошлой ночью и еще много раз за последние годы, и понял: стоит ему проснуться, и все тотчас же сотрется в памяти, потому что его возвращающийся сон имеет одно свойство — вспомнить его можно только в таком же сне. И действительно, когда через минуту в дверь мастерской постучал парикмахер, полковник Аурелиано Буэндиа открыл

глаза с полным впечатлением, что он нечаянно задремал на несколько секунд и ему ничего еще не успело присниться.

— Сегодня не надо,— сказал он парикмахеру.— Увидимся в пятницу.

У него была трехдневная борода, пестреющая седыми волосами, но он не счел нужным побриться — в пятницу все равно надо стричь волосы и можно сделать то и другое сразу. После нездорового дневного сна он покрылся липкой испариной, под мышками заныли шрамы от нарывов. Дождь перестал, но солнце все еще не взошло. Полковник Аурелиано Буэндиа звучно рыгнул и ощутил на нёбе кислый вкус супа, это был как бы приказ организма накинуть плащ и отправиться в уборную. Он задержался там дольше, чем было необходимо, потом привычка подсказала ему, что надо идти работать. В уборной он вспомнил, что сегодня вторник и Хосе Аркадио Второй не пришел в мастерскую, потому что по вторникам банановая компания рассчитывается со своими рабочими. Это воспоминание, как всегда случалось с воспоминаниями в последние годы, незаметно навело его на мысли о войне. Он вспомнил, что полковник Херинельдо Маркес однажды обещал достать ему лошадь с белой звездочкой на лбу, да так никогда больше об этом не заикался. Потом он стал перебирать отдельные эпизоды войны, но возвращение к прошлому не будило в нем ни радости, ни огорчения, потому что, не имея возможности избежать мыслей о войне, он научился думать о ней спокойно, не тревожа своих чувств. По дороге в мастерскую он заметил, что воздух стал суше, и решил искупаться, но купальня уже была занята Амарантой. Он взялся за вторую рыбку. Он уже приделывал ей хвост, когда вдруг солнце вырвалось из-за горизонта с такой силой, что, казалось, все вокруг заскрипело, как старый рыбачий шлюп. Воздух, умытый трехдневным дождем, наполнился летающими муравьями. Тут полковник заметил, что давно хочет помочиться, но все откладывал это до тех пор, пока не кончит собирать рыбку. Как только он вышел во двор, в четыре часа десять минут, до его слуха донеслись отдаленные звуки медных труб, раскаты большого барабана и ликующие крики детей, и в первый раз со времен своей юности он умышленно ступил в западню тоски и снова пережил тот чудесный день с цыганами, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Санта София де ла Пьедад оставила дела, которыми занималась в кухне, и побежала на улицу.

— Это цирк,— крикнула она.

Вместо того чтобы идти к каштану, полковник Аурелиано Буэндиа тоже вышел на улицу и смешался с толпой любопытных, созерцавших двигавшуюся по улице процессию. Он увидел облаченную в золотые одежды женщину на спине у слона. Увидел печального одногорбого верблюда. Увидел медведя, наряженного голландкой, который отбивал такт, хлопая ложкой по кастрюле. Увидел паяцев, выделывающих разные штуки на натянутом канате в самом конце процессии, и после того как все прошли и на улице ничего не осталось, кроме залитого светом пустого пространства, летающих муравьев и нескольких зевак, завязнувших в трясине нерешительности, снова встретился лицом к лицу со своим жалким одиночеством. Тогда он, думая о цирке, направился к каштану и, пока мочился, пытался продолжать думать о нем, но уже ничего не мог вспомнить. Втянул голову в плечи и застыл, уткнувшись лбом в ствол дерева. Семья узнала о случившемся только на следующий день, в одиннадцать часов утра, когда Санта София де ла Пьедад пошла на задний двор выбросить мусор и заметила, что к каштану слетаются ауры.

■

Последние каникулы Меме совпали с трауром по случаю смерти полковника Аурелиано Буэндиа. В доме, наглухо закрывшем свои двери

и окна, теперь было не до праздников. Говорили шепотом, ели молча, трижды в день читали молитву, даже упражнения на клавикордах в жаркие часы сиесты звучали, как похоронная музыка. Несмотря на свою скрытую враждебность к полковнику, именно Фернанда установила такой строгий траур, потрясенная торжественностью, с которой правительство почтило память умершего врага. Аурелиано Второй, как обычно во время каникул дочери, ночевал дома, и, очевидно, Фернанда предприняла кое-что для восстановления своих законных супружеских прав, ибо в следующий приезд, через год, Меме увидела недавно родившуюся крохотную сестренку, названную вопреки желанию матери Амарантой Урсулой.

Меме закончила свое обучение. Диплом, аккредитовавший ее в качестве талантливой клавикордистки, был единодушно ратифицирован после того, как она с блеском исполнила народные мелодии семнадцатого века на празднике, организованном, чтобы отметить завершение ее учебы и положившем конец трауру. Еще больше, чем искусство Меме, гостей восхитила ее необычная двойственность. Легкомысленный и даже немного ребячливый характер, казалось, делал ее неспособной к любой серьезной деятельности, между тем, усевшись за клавикорды, она совершенно преображалась, в ней появлялась неожиданная зрелость, придающая ей вид вполне взрослого человека. Так случалось всегда. По правде говоря, Меме не имела особого призвания к музыке, но, не желая перечить матери, она заставила себя достигнуть высокого совершенства в игре на клавикордах. С таким же успехом ее могли бы принудить к изучению любого другого дела. Уже в детстве ей докучала суровость Фернанды, ее обыкновение решать все за других, и Меме готова была принести еще более тяжелую жертву, лишь бы не сталкиваться с непреклонностью матери. На выпускном акте девушка испытала такое чувство, словно пергамент с готическим шрифтом и разукрашенными заглавными буквами освобождает ее от обязательств, которые она приняла на себя не столько из послушания, сколько ради собственного спокойствия, и она думала, что отныне даже упрямая Фернанда не станет больше вспоминать об инструменте, ведь сами монахини называли его музейным ископаемым. В первые годы Меме показалось, что ее расчеты были ошибочными, потому что, хотя уже полгорода успело выспаться под музыку ее клавикордов и на семейных приемах, и на всех благотворительных концертах, школьных вечерах и патриотических чествованиях, Фернанда все еще продолжала приглашать в дом каждого нового человека, если считала его способным оценить талант дочери. Только после смерти Амаранты, когда семья снова на время погрузилась в траур, Меме удалось запереть клавикорды и спрятать ключ в один из шкафов, не опасаясь, что мать начнет расследовать, в какой момент и по чьей вине ключ затерялся. А до тех пор девушка переносила публичную демонстрацию своих талантов с тем стоицизмом, с которым в свое время разучивала упражнения. Она платила этим за свою свободу. Фернанда была так довольна покорностью дочери, так горда всеобщим восхищением, вызванным ее искусством, что без возражений позволяла Меме наводнять дом подругами, гулять по плантациям, ходить в кино с Аурелиано Вторым или достойными доверия дамами — разумеется, если фильм одобрен с амвона падре Антонио Исабелем. В минуты развлечений выявлялись истинные вкусы Меме. То, что делало ее счастливой, не имело никакого отношения к порядку и дисциплине — ей нравились шумные праздники, она любила целыми часами сидеть, уединившись с подружками, в укромном уголке, где они сплетничали, кто в кого влюблен, учились курить, говорили о мужчинах, а однажды распили три бутылки тростникового рома, после чего разделись и стали сравнивать и измерять различные части своего тела. Меме никогда не забудет того

вечера: пережевывая кусок солодкового корня, она вошла в столовую, где в полном молчании ужинали Фернанда и Амаранта, и села за стол,— никто не заметил, что она не в себе. Перед этим Меме провела два потрясающих часа в спальне подружки, смеясь до слез и плача от страха, но когда кризис миновал, почувствовала внезапный прилив храбрости, которой ей так недоставало, чтобы убежать из монастырской школы и заявить матери, в более или менее пристойных выражениях, пусть она вставит себе клавикорды вместо клизмы. Сидя во главе стола и поедая куриный бульон, вливавшийся ей в желудок, как живая вода, Меме вдруг увидела Фернанду и Амаранту в беспощадном свете истины. Она с трудом удержалась, чтобы не бросить им в лицо их ханжество, их скудоумие, их бредовые мечты о величии. Еще во время вторых каникул Меме стало известно, что отец живет в доме только ради соблюдения приличий, и, хорошо зная Фернанду, а позже, ухитрившись создать себе представление и о Петре Котес, она взяла сторону отца. Она бы предпочла иметь матерью его любовницу. В алкогольном опьянении Меме с наслаждением думала о том, какой скандал разразится сейчас, выскажи она свои мысли вслух, и тайное удовлетворение, которое она при этом испытывала, было так велико, что Фернанда его заметила.

— Что с тобой? — спросила она.

— Ничего,— ответила Меме.— Просто я только теперь поняла, как я вас обеих люблю.

Амаранту испугала ненависть, явственно прозвучавшая в этих словах. Но Фернанда была так тронута, что чуть не сошла с ума, когда в полночь Меме проснулась с разламывающейся от боли головой и ее стало рвать. Фернанда дала дочери выпить целый флакон касторового масла, поставила ей на живот припарки, а на голову положила пузырь со льдом и пять дней не выпускала ее из дому, держа на диете, как прописал новый доктор, чудаковатый француз, который после более чем двухчасового исследования Меме пришел к туманному заключению, что у нее обычное женское недомогание. Мужество покинуло Меме, она совершенно упала духом, и в этом жалком состоянии ей ничего не оставалось, как только ждать. Уже совсем ослепшая, но все еще живая и проницательная Урсула, единственная из всех, интуитивно поставила точный диагноз. «По-моему,— сказала она себе,— как раз такое самое лечение прописывают пьяницам». Но тут же отогнала эту мысль и даже упрекнула себя в несерьезности. Когда Аурелиано Второй заметил подавленное настроение Меме, он почувствовал угрызения совести и дал слово в будущем уделять ей больше внимания. Так и родились между отцом и дочерью отношения веселого товарищества, которые на время освободили его от горького одиночества среди пьяного веселья, а ее — от постылой опеки Фернанды, предотвратив, казалось, уже неизбежное столкновение между Меме и ее матерью. В те дни Аурелиано Второй мог отложить любое свидание, лишь бы только провести вечер с Меме, пойти с ней в кино или в цирк,— он отдавал ей большую часть досуга. За последние годы характер Аурелиано Второго начал портиться, виной тому была обременительная тучность, лишавшая его возможности самому зашнуровывать свои ботинки и удовлетворять, как прежде, свои разнообразные желания. Общество дочери вернуло Аурелиано Второму былую веселость, а удовольствие, которое он получал в ее присутствии, постепенно отдаляло его от разгульного образа жизни. Меме расцвела, словно плодовое дерево весной. Она не была красавицей, как никогда не была красавицей Амаранта, но зато отличалась миловидностью, простотой и способностью нравиться с первого взгляда. Присущий ей дух современности оскорблял старомодную умеренность и плохо скрытую черствость Фернанды, но нравился Аурелиано Второму, и тот его всячески поощрял. Это Аурелиано Второй извлек Меме из спальни, которую она

занимала с детских лет и где робкие взгляды святых питали ее ребяческие страхи; новую комнату дочери он украсил кроватью, похожей на трон, большим туалетным столом и бархатными портьерами, не заметив, что создает копию жилища Петры Котес. Он был так щедр, что даже не знал, сколько денег дает Меме, она сама брала их у него из карманов. Аурелиано Второй снабжал ее всеми новинками по части женской красоты, которые только можно было достать в магазине банановой компании. Спальня Меме наполнилась подушечками для полирования ногтей, щипцами для завивки волос, эликсирами, придающими блеск зубам, глазными каплями, придающими томность взгляду, и бесчисленным множеством других новинок косметики и приспособлений для наведения красоты; всякий раз, входя в эту комнату, Фернанда с возмущением думала, что у ее дочери, наверное, такой же туалетный стол, как у французских гетер. В ту пору Фернанда была всецело погружена в заботы о капризной и болезненной Амаранте Урсуле и в волнующую переписку с невидимыми целителями. Поэтому, когда она обнаружила сообщничество между отцом и дочерью, она ограничилась лишь тем, что вырвала у Аурелиано Второго обещание никогда не водить Меме в дом Петры Котес. Эта предосторожность была излишней, ибо Петру Котес так расстроила дружба ее возлюбленного с дочерью, что она даже и слышать не хотела о Меме. Любовницу Аурелиано Второго мучил незнакомый ей доселе страх, словно инстинкт подсказывал ей, что стоит Меме захотеть — и она добьется того, чего не могла добиться Фернанда, и лишит Петру Котес любви, которая, казалось, уже была ей обеспечена до самой смерти. И тут Аурелиано Второму впервые довелось увидеть злые взгляды и услышать ядовитые насмешки в доме любовницы, он даже стал побаиваться, как бы не пришлось его перелетным сундукам проделать обратный путь в дом супруги. Но до этого не дошло. Никто еще не изучил ни одного мужчину лучше, чем Петра Котес своего возлюбленного; она знала — сундуки останутся там, куда были присланы, ведь ничто не вызывало у Аурелиано Второго большего отвращения, чем необходимость усложнять свою жизнь разными исправлениями и переменами. Поэтому сундуки остались на месте, а Петра Котес принялась отвоевывать любовника единственным оружием, которое не могла оспаривать у нее дочь. Она тоже зря тратила силы — Меме никогда и не собиралась вмешиваться в дела отца, а если бы сделала это, то лишь в пользу Петры Котес. У Меме не оставалось времени, чтобы причинять кому-нибудь неприятности. Каждый день она сама, как ее научили монахини, убирала спальню и стелила постель. По утрам занималась в галерее своей одеждой — вышивала себе что-нибудь или шила на старой ручной машине Амаранты. В то время как другие после обеда ложились спать, она два часа упражнялась на клавикордах, зная, что эта ежедневная жертва обеспечит ей спокойствие Фернанды. Из тех же соображений она продолжала выступать с концертами на церковных базарах и школьных праздниках, хотя приглашения поступали все реже. Вечером она надевала одно из своих простых платьев и высокие ботинки на шнурках, и если не шла никуда с отцом, то отправлялась до самого ужина к подругам. Но Аурелиано Второй почти всегда являлся за ней и уводил ее в кино.

В число приятельниц Меме входили три молодые американки, которые вырвались из электрифицированного курятника и завязали дружбу с девушками Макондо. Одной из этих американок была Патриция Браун. В благодарность за гостеприимство Аурелиано Второго господин Браун открыл Меме двери своего дома и пригласил ее на субботние танцы,— только во время них гринго и общались с туземцами. Узнав о приглашении, Фернанда забыла на минуту об Амаранте Урсуле и невидимых целителях и разыграла душераздирающую мелодраму. «Толь-

ко представь себе,— сказала она Меме,— что подумает об этом полковник в своей могиле». Фернанда не преминула обратиться за поддержкой к Урсуле. Но, вопреки всем ожиданиям, слепая старуха решила, что ничего предосудительного в посещении танцев и дружбе Меме со сверстницами-американками не будет, если девушка, разумеется, сохранит твердость своих убеждений и не позволит обратить себя в протестантскую веру. Меме очень хорошо уловила мысль прапрабабки и теперь на следующий день после танцев всегда вставала раньше, чем обычно, и шла к мессе. Фернанда оставалась в оппозиции, пока не была обезоружена сообщением дочери, что американцы хотели бы послушать ее игру на клавикордах. Инструмент еще раз вытащили из дома и отвезли к господину Брауну, где юная музыкантка была награждена самыми искренними аплодисментами и самыми горячими поздравлениями. С тех пор ее приглашали уже не только на танцы, но также на воскресные купанья в бассейне и раз в неделю к обеду. Меме научилась плавать, как профессиональная пловчиха, играть в теннис и есть виргинскую ветчину с ломтиками ананаса. Танцуя, плавая, носясь по теннисному корту, она незаметно освоила английский язык. Аурелиано Второй был в таком восторге от успехов дочери, что купил ей у бродячего торговца английскую энциклопедию в шести томах с многочисленными цветными вклейками, и в свободное время Меме ее читала. Чтение отвлекло девушку от уединений с подружками и сплетен про любовь, и не потому, что она вменила себе в обязанность читать, а просто Меме потеряла всякое желание заниматься обсуждением секретов, известных всему городу. О своем опьянении она вспоминала уже как о детской шалости, которая казалась такой забавной, что она рассказала о ней Аурелиано Второму, ему эта история показалась еще более забавной. «Если бы твоя мать узнала!» — повторял он, задыхаясь от смеха; так он говорил всегда, когда дочь признавалась ему в чем-нибудь. Он взял с нее обещание столь же откровенно рассказать ему о своей первой любви, и вскоре Меме сообщила отцу, что ей нравится один рыжий американец, приехавший на каникулы к своим родителям в Макондо. «Вот так штука! — смеялся Аурелиано Второй.— Если бы твоя мать узнала!» Но позже Меме известила его, что молодой человек вернулся в свою страну и не подает признаков жизни. Зрелый ум Меме способствовал упрочению семейного мира, и Аурелиано Второй постепенно снова зачастил к Петре Котес. Хотя теперь празднества не веселили его тело и душу так, как раньше, он все же не упускал случая поразвлечься и вынуть из чехла аккордеон, несколько клавиш которого были теперь подвязаны сапожными шнурками. Дома Амаранта без конца вышивала саван, а Урсула позволила старости увлечь себя в глубины тьмы, откуда ей уже ничего не удавалось разглядеть, кроме призрака Хосе Аркадио Буэндиа под каштаном. Фернанда укрепила свою власть. Письма, которые она каждый месяц посылала сыну, не содержали в то время ни одной строчки неправды, мать скрывала от Хосе Аркадио лишь свою переписку с невидимыми целителями, они определили у нее доброкачественную опухоль толстой кишки и готовили Фернанду к телепатическому оперативному вмешательству.

Уже можно было бы сказать, что в уставшем от жизненных передряг семействе Буэндиа воцарились на долгие годы мир и благоденствие, но тут несвоевременная смерть Амаранты вызвала новый переполох. Смерть эта явилась для всех неожиданностью. Амаранта была уже стара и чужда всему окружающему, тем не менее держалась она еще очень прямо, выглядела крепкой и, казалось, все еще сохраняла свое железное здоровье. С того самого дня, как она окончательно оттолкнула полковника Херинельдо Маркеса и заперлась, чтобы хорошенько выплакаться, никто не знал, о чем она думает. Когда Ама-

ранта вышла из спальни, весь ее запас слез был исчерпан навсегда. Она не плакала ни после вознесения Ремедиос Прекрасной, ни после уничтожения всех Аурелиано, ни после смерти полковника Аурелиано Буэндиа, человека, которого она любила больше всех в мире, хотя поняла это лишь в ту минуту, когда его труп нашли под каштаном. Она помогла поднять с земли мертвеца. Обрядила его в военную форму, причесала, побрила, подкрутила ему усы лучше, чем это делал сам полковник во времена своей славы. Никто не увидел в ее действиях проявления любви, все уже привыкли к тому, что Амаранта хорошо знакома с похоронными обрядами. Фернанда с возмущением говорила, что Амаранта не понимает связей католицизма с жизнью и видит лишь его связи со смертью, словно католицизм не религия, а свод правил погребения. Но Амаранта, далеко углубившаяся в чащу своих воспоминаний, не слышала ее хитроумных речей в защиту католической религии. Она вошла в старость, сохранив живыми все свои печали. При звуках вальсов Пьетро Креспи ей по-прежнему, так же, как в юности, хотелось плакать, словно время и горький опыт ничему ее не научили. Хотя она своими руками выбросила на свалку цилиндры с музыкой под тем предлогом, что картон сгнил от сырости, у нее в памяти они продолжали вращаться и сообщать движение молоточкам. Иногда Амаранта мучилась тем, что оставила за собой в жизни целый поток страданий, а иной раз это приводило ее в такую ярость, что она колола себе пальцы иголкой, но больше всего ее мучил, бесил и печалил благоуханный и изъеденный червями цветник любви, который должен был умереть лишь вместе с ней. Как полковник Аурелиано Буэндиа не мог не думать о войне, так Амаранта не могла не думать о Ребеке. Но ее брат сумел лишить свои воспоминания остроты, она же только еще больше раскалила свои. В течение многих лет Амаранта молила бога лишь об одном, чтобы он не послал ей наказания умереть раньше Ребеки. Каждый раз, проходя мимо дома былой соперницы и замечая в нем все новые разрушения, Амаранта радовала себя мыслью, что ее молитва услышана. Однажды, занимаясь шитьем в галерее, она вдруг почувствовала глубокую уверенность, что будет сидеть на том же самом месте, в том же самом положении, при том же освещении, когда ей сообщат о смерти Ребеки. С тех пор Амаранта сидела и ждала, как ждут письма, и одно время, это совершенно точно, даже отрывала пуговицы и снова их пришивала, чтобы праздность не сделала ожидание более долгим и томительным. Никто в доме не подозревал, что саван, который ткет Амаранта, предназначен Ребеке. Когда Аурелиано Печальный рассказал, что Ребека превратилась в загробное видение с морщинистой кожей и несколькими желтоватыми травинками на черепе, Амаранта не удивилась, потому что описанный им призрак в точности походил на тот, который она уже давно представляла себе в своем воображении. Она решила, что приведет в порядок труп Ребеки, замажет парафином разрушения на лице и сделает ей парик из волос святых. Соорудит красивый труп, завернет его в полотняный саван, уложит в гроб, обитый снаружи плюшем, а внутри пурпуром, и в сопровождении великолепной похоронной процессии отправит в распоряжение червей. Кипя ненавистью, составляла Амаранта свой план, когда внезапно ей пришло в голову, что, люби она Ребеку, она сделала бы для нее то же самое. Эта мысль привела Амаранту в содрогание, но она не пала духом и продолжала так тщательно усовершенствовать все детали своего замысла, что скоро стала не просто специалистом, а настоящим виртуозом по части похоронного ритуала. Одного не учла она в своем чудовищном плане, что, несмотря на мольбы, обращенные к богу, может умереть раньше Ребеки. Так оно и случилось. Но в последнюю минуту Амаранта почувствовала себя не обманутой в своих надеждах, а, напротив, освобожденной от всякой печали

во всяком случае смерть оказала ей милость и за несколько лет предупредила о близости кончины. Амаранта увидела свою смерть в один жаркий полдень, вскоре после того, как Меме отправили в монастырскую школу: смерть сидела и шила в галерее рядом с Амарантой, и та сразу же ее узнала; в ней не было ничего страшного — просто женщина в синем платье, длинноволосая, немножко старомодная и чем-то похожая на Пилар Тернеру тех времен, когда Пилар помогала Урсуле по хозяйству. Несколько раз в галерее сидела и Фернанда, но она не видела смерти, хотя смерть была такой реальной, так походила на человека, что однажды даже попросила Амаранту оказать ей любезность — вдеть нитку в иголку. Смерть не сообщила, в какой день и месяц и в каком году умрет Амаранта и наступит ли ее час раньше, чем час Ребеки, а только приказала ей начать ткать саван для себя самой с шестого дня ближайшего апреля. Она позволила сделать его таким затейливым и красивым, как Амаранте вздумается, но предупредила, что трудиться над ним надо столь же добросовестно, как над саваном Ребеки, и сказала затем, что умрет Амаранта без мучений, без тоски и страха ночью того дня, когда закончит работу. Стараясь потратить как можно больше времени, Амаранта заказала пряжу из отборного льна и стала ткать полотно сама. Она делала это так тщательно, что только на одно тканье ушло четыре года. Потом приступила к вышиванию. Чем меньше оставалось до неотвратимого конца, тем яснее понимала Амаранта, что лишь чудо может позволить ей затянуть изготовление савана до дня смерти Ребеки, но постоянная сосредоточенность на работе сообщила ей спокойствие, необходимое, чтобы примириться с мыслью о крушении своих надежд. Именно тогда до Амаранты дошел смысл порочного круга из золотых рыбок, созданного полковником Аурелиано Буэндиа. Внешний мир теперь ограничился для нее поверхностью ее тела, а внутренний был недосягаем никаким огорчениям. Она жалела, что не сделала этого открытия на много лет раньше, когда еще можно было очистить свои воспоминания и перестроить вселенную в новом свете: без содрогания вызывать в памяти запах лаванды в вечерних сумерках, исходивший от Пьетро Креспи, извлечь Ребеку из нищеты — не по любви, не в силу ненависти, а из-за глубокого понимания тяжести ее одиночества. Ненависть, которую Амаранта угадала однажды вечером в словах Меме, встревожила ее не потому, что была направлена против нее, а потому, что Амаранта почувствовала себя повторенной в чужой юности, казавшейся такой же чистой, какой должна была казаться ее собственная, и тем не менее уже обезображенной злобой. Но сознание, что исправить теперь ничего нельзя, даже не взволновало Амаранту, настолько она уже смирилась со своей судьбой. Единственной ее заботой было кончить саван. Вместо того чтобы затягивать работу всякими ненужными выдумками, как она это делала вначале, Амаранта заспешила. Когда до конца осталась неделя, она высчитала, что сделает последний стежок вечером четвертого февраля, и, не указывая причины, попыталась заставить Меме отложить концерт на клавикордах, назначенный на пятое число, но Меме не придала значения ее намекам. Тогда Амаранта стала изыскивать способ опоздать на сорок восемь часов и даже решила, что смерть идет навстречу ее желанию, так как вечером четвертого февраля буря вывела из строя электростанцию. Но на следующий день в восемь часов утра Амаранта все же сделала последний стежок на самом красивом саване, который когда-либо был изготовлен женскими руками, и объявила спокойно, без всякой нарочитости, что вечером умрет. Она предупредила об этом не только семью, но и весь город, поскольку пришла к заключению, что может искупить свою скаредную жизнь, сделав напоследок людям какое-нибудь доброе дело, и самым подходящим для такой цели будет доставка писем умершим.

Известие о том, что Амаранта Буэндиа вечером снимается с якоря и отплывает вместе с почтой в царство мертвых, распространилось по всему Макондо еще до полудня, а в три часа дня в гостиной уже стоял ящик, доверху наполненный письмами. Те, кто не хотел писать, передавали Амаранте свои послания устно, и она записывала их в книжечку вместе с фамилией адресата и датой его смерти. «Не волнуйтесь,— успокаивала она отправителей.— Первое, что я сделаю по прибытии, это узнаю о нем и передам ваше письмо». Все происходящее напоминало фарс. У Амаранты не было заметно никакой тревоги, никаких признаков горя, от сознания исполненного долга она казалась даже помолодевшей. Прямая и стройная, как всегда, она выглядела бы гораздо моложе своих лет, если бы не ввалившиеся щеки и не отсутствие передних зубов. Она сама распорядилась, чтобы письма были уложены в просмоленный ящик, и объяснила, как его поставить в могиле для лучшего предохранения от сырости. Утром она позвала столяра и, пока он снимал с нее мерки для гроба, стояла так спокойно, словно он собирается шить ей платье. В самые последние часы она проявила столько энергии, что у Фернанды зародилось подозрение — а не подшутила ли Амаранта над ними, объявив о своей смерти. Урсула, знавшая обыкновение всех Буэндиа умирать не болея, верила, что Амаранта действительно имела предвестие о смерти, но побаивалась, как бы со всей этой суетой вокруг доставки писем и беспокойством о том, чтобы они дошли поскорее, ошалевшие отправители не похоронили ее дочку заживо. Поэтому, крича и споря, Урсула стала освобождать дом от посторонних и к четырем часам дня добилась своего. К этому времени Амаранта кончила раздавать свои вещи и оставила себе на простом гробу из струганых досок только смену белья да вельветовые туфли без задников, их должны были надеть на нее после смерти. Она не преминула позаботиться о туфлях, памятуя, что, когда умер полковник Аурелиано Буэндиа, пришлось покупать ему новые ботинки, так как у него оставались только шлепанцы, которые он носил в мастерской. Незадолго до пяти часов Аурелиано Второй пришел за Меме, проводить ее на концерт, и удивился, что дом убран, как для похорон. Если кто-нибудь и выглядел живым в тот час, так это Амаранта, она была исполнена невозмутимости и нашла время даже срезать себе мозоли. Аурелиано Второй и Меме шутливо простились с ней и пообещали устроить через неделю пир в честь ее воскресения. В пять часов, привлеченный молвой, что Амаранта Буэндиа собирает письма для умерших, падре Антонио Исабель явился соборовать ее и вынужден был ждать больше двадцати минут, пока умирающая выйдет из купальни. Когда она предстала перед ним в рубахе из мадаполама и с распущенными по спине волосами, престарелый священник счел, что над ним посмеялись, и отослал мальчика со святыми дарами. Но решил все же воспользоваться случаем и исповедать Амаранту, которая почти двадцать лет уклонялась от исповеди. Амаранта без обиняков заявила ему, что не нуждается ни в какой духовной помощи, ибо совесть у нее чиста. Фернанду это возмутило. Не заботясь о том, что ее могут услышать, она громко спросила себя, какой такой страшный грех совершила Амаранта, что предпочитает кощунство смерти без покаяния позору признания. Тогда Амаранта легла и вынудила Урсулу публично засвидетельствовать ее девственность.

— Пусть никто не обольщается,— крикнула она, чтобы слышала Фернанда.— Амаранта Буэндиа уходит из этого мира такой же, как пришла в него.

Больше она уже не вставала. Откинувшись, словно больная, на подушки, заплела свои длинные косы и уложила их над ушами — смерть объяснила ей, что так им полагается быть в гробу. Потом Амаранта попросила Урсулу принести зеркало и снова, после перерыва почти в сорок

лет, увидела свое лицо, разрушенное годами и страданиями, и удивилась, что оно совсем такое, как она себе представляла. По наступившей в спальне тишине Урсула поняла, что начинает смеркаться.

— Простись с Фернандой,— взмолилась она.— Минута примирения дороже целой жизни, прожитой в дружбе.

— Да, пожалуй, уже не стоит,— ответила Амаранта.

Меме все еще не могла избавиться от мысли об Амаранте, когда на импровизированной сцене снова зажгли свет и началось второе отделение программы. Посредине пьесы, которую она исполняла, кто-то шепнул ей на ухо о случившемся, и концерт прервали. Войдя в дом, Аурелиано Второй вынужден был проталкиваться через толпу, чтобы увидеть тело престарелой девственницы — она лежала, некрасивая, бледная, с черной повязкой на руке, завернутая в роскошный саван. Гроб стоял в гостиной возле ящика с почтой.

После девяти ночей поминания Амаранты Урсула слегла и больше уже не вставала. Ее взяла на попечение Санта София де ла Пьедад. Носила ей в спальню еду, воду для умывания и рассказывала обо всем, что происходило в Макондо. Аурелиано Второй часто навещал Урсулу и дарил ей разную одежду, она складывала ее возле кровати рядом с самыми необходимыми для каждодневного пользования вещами и скоро сотворила себе на расстоянии протянутой руки целый мир. Ей удалось завоевать любовь маленькой Амаранты Урсулы, которая во всем на нее походила, и она обучила девочку чтению. Никто даже и теперь не догадывался о полной слепоте Урсулы, хотя все уже понимали, что видит она плохо, но ясность ее мыслей, умение обходиться без посторонней помощи заставляли предполагать, что она просто подавлена тяжестью своих ста лет. Свободное время и внутренняя тишина, которыми Урсула располагала в ту пору, давали ей возможность следить за жизнью дома, и она первая заметила молчаливые муки Меме.

— Поди сюда,— сказала Урсула девушке.— А теперь, когда мы с тобой одни, признайся бедной старухе, что с тобой происходит.

Меме со смущенным смешком уклонилась от разговора. Урсула не настаивала, но после того, как Меме перестала заходить к ней, подозрения ее усилились. Урсула знала, что Меме поднимается теперь раньше, чем обычно, и ни минуты не сидит спокойно, пока не наступит час, когда можно уйти из дому, что ночи напролет она ворочается с боку на бок на своей постели в соседней спальне и что ей все время мешает спать летающая по комнате бабочка. Однажды Урсула услышала, как Меме сказала, что идет к отцу, и подивилась недогадливости Фернанды, которая ничего не заподозрила, когда вскоре после этого пришел Аурелиано Второй и спросил, где дочь. У Меме завелись какие-то секретные дела, неотложные обязательства, тайные заботы — это было совершенно очевидно уже задолго до того вечера, когда Фернанда подняла на ноги весь дом, застав Меме целующейся с мужчиной в кино.

Всецело поглощенная своими переживаниями, Меме решила, что ее выдала Урсула. На самом деле она сама себя выдала. Уже давно оставляла она за собой цепочку следов, способных возбудить подозрение даже у слепого, и если Фернанде понадобилось так много времени, чтобы обнаружить их, то лишь потому, что она была отвлечена тайными сношениями с невидимыми целителями. Тем не менее и Фернанда в конце концов заметила, что дочь то надолго умолкает, то внезапно вздрагивает, что настроение у нее резко меняется и она стала неуступчивой. Фернанда установила за Меме скрытое, но беспощадное наблюдение. Разрешала выходить с подружками, помогала одеваться для субботних праздников и ни разу не задала нескромного вопроса, который мог бы насторожить девушку. Фернанда имела уже мно-

го доказательств, что Меме делает совсем не то, что собирается делать, судя по ее словам, и все же мать не обнаружила своих подозрений в ожидании решающей улики. Однажды вечером Меме заявила ей, что идет в кино с отцом. Немного погодя Фернанда услышала доносящееся от дома Петры Котес хлопанье праздничных ракет и звуки аккордеона Аурелиано Второго, который нельзя было спутать ни с каким другим аккордеоном. Тогда она оделась, пошла в кино и увидела в полумраке первых рядов партера свою дочь. Потрясенная тем, что подозрения ее подтвердились, Фернанда не успела разглядеть мужчину, целовавшего Меме, но различила среди свистков и оглушительных взрывов смеха его взволнованный голос. «Прости, любовь моя»,— услышала она и тут же, ни слова не сказав, выволокла Меме из зала, с позором протащила ее за руку по многолюдной улице Турков и заперла на ключ в спальне.

На следующий день, в шесть часов, к Фернанде явился визитер, и она узнала его голос. Пришедший был молод и печален, его темные, грустные глаза не поразили бы Фернанду так сильно, если бы ей довелось встречать цыган, а увидев мечтательное выражение этого лица, любая другая, менее жестокосердная женщина поняла бы Меме. На госте был изношенный полотняный костюм и туфли, покрытые растрескавшейся корой из нескольких слоев цинковых белил, свидетельствовавшей об отчаянных потугах придать обуви сносный вид, в руке он держал шляпу-канотье, купленную в прошлую субботу. Ему было страшно, как никогда в жизни еще не было и не будет страшно, но держался он с достоинством, не теряя самообладания, и это спасало его от унижения. В нем чувствовалось какое-то врожденное благородство — во всем, кроме рук, грязных, со слоящимися от тяжелой работы ногтями. Тем не менее стоило только Фернанде увидеть этого человека, и она сразу поняла, что имеет дело с мастеровым. Заметила, что он надел свой единственный воскресный костюм и что тело у него под рубашкой пропитано заразой банановой компании. Она не позволила ему раскрыть рот. Не позволила даже войти в дверь, которую через минуту вынуждена была затворить, потому что весь дом наполнился желтыми бабочками.

— Убирайтесь,— сказала она.— Вам нечего делать у приличных людей.

Его звали Маурисио Бабилонья. Он родился и вырос в Макондо и работал учеником механика в мастерских банановой компании. Меме познакомилась с ним случайно, когда отправилась с Патрицией Браун за автомобилем, чтобы поехать на плантации. Шофер был болен, вести машину поручили Маурисио Бабилонье, и благодаря этому Меме удалось наконец выполнить свое желание — сесть рядом с водителем и рассмотреть всю систему управления. Не в пример штатному шоферу, Маурисио Бабилонья наглядно все ей объяснил. В ту пору Меме только начала посещать дом господина Брауна и еще считала вождение автомобиля делом недостойным особ женского пола. Поэтому она удовлетворилась теоретическим объяснением и несколько месяцев не встречала Маурисио Бабилонью. Позже она вспомнила, что во время прогулки по плантациям его мужественная красота привлекла ее внимание,— не понравились лишь грубые руки,— и что потом она обсуждала с Патрицией Браун неприятное впечатление, оставленное его почти надменной самоуверенностью. В одну из суббот Меме пошла с отцом в кино и снова увидела Маурисио Бабилонью, он был в своем полотняном костюме и сидел неподалеку от них. Меме заметила, что он то и дело отрывается от картины и оборачивается назад поглядеть на нее, не столько для того, чтобы видеть ее, сколько для того, чтобы она заметила, что он смотрит. Девушку покоробила вульгарность этого приема. После сеанса Маурисио Бабилонья подошел поздороваться с Аурелиано Вторым, и только тогда Меме узнала, что они знакомы, так как Маурисио Бабилонья работал

раньше на маленькой электростанции Аурелиано Печального,— к ее отцу он обращался с почтительностью подчиненного. Это открытие освободило Меме от неприязни, которую вызывало в ней его высокомерие. Они не виделись наедине, не обменялись еще ни единым словом, кроме слов приветствий, как вдруг однажды ночью ей приснилось, что он спасает ее во время кораблекрушения, но она испытывает не чувство благодарности, а ярость. Во сне выходило так, будто она сама предоставила ему желанную возможность, а Меме жаждала иного не только от Маурисио Бабилоньи, но и от любого другого мужчины, который ею увлечется. Проснувшись, она возмутилась, что не возненавидела Маурисио Бабилонью, а чувствует непреодолимое желание с ним увидеться. По мере того как проходила неделя, ее беспокойство все возрастало, в субботу оно стало нестерпимым, и, когда Маурисио Бабилонья поздоровался с нею в кино, ей пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы он не заметил, что сердце у нее готово выпрыгнуть из груди. Ослепленная смешанным чувством счастья и гнева, она в первый раз протянула ему руку, и Маурисио Бабилонья в первый раз ее пожал. На какую-то долю секунды Меме раскаялась в своем порыве, но раскаяние тут же превратилось в жестокое удовлетворение, когда она заметила, что его рука тоже влажная и холодная как лед. Ночью Меме стало ясно, что у нее не будет ни минуты покоя, пока она не докажет Маурисио Бабилонье всю тщетность его надежд, и целую неделю она вертелась в кровати, думая об этом. Она безуспешно изобретала всевозможные уловки, пытаясь вынудить Патрицию Браун пойти с ней за автомобилем. Наконец воспользовалась приездом в Макондо рыжеволосого американца и потащила его в гараж якобы поглядеть на новые модели машин. Как только Меме увидела Маурисио Бабилонью, она перестала обманывать себя и поняла — все дело в том, что она умирает от желания остаться с ним наедине. Ее рассердила уверенность, что в первую же минуту, когда она появилась в дверях, он это тоже понял.

— Я пришла посмотреть новые модели,— сказала Меме.

— Что ж, это неплохой предлог,— ответил он.

Меме показалось, что пламя его высокомерия опалило ее, и она стала лихорадочно искать способ унизить Маурисио Бабилонью. Но он не дал ей времени сделать это. «Не бойтесь,— сказал он, понизив голос.— Не в первый раз женщина сходит с ума из-за мужчины». Она почувствовала себя такой беззащитной, что ушла из гаража, даже не взглянув на новые модели, и всю ночь напролет ворочалась с боку на бок в кровати и плакала от негодования. Рыжий американец, который, по правде говоря, уже начинал ее интересовать, казался ей теперь младенцем в пеленках. Именно тогда она заметила, что желтые бабочки предвещают появление Маурисио Бабилоньи. Она встречала их и раньше, чаще всего в гараже, но думала — их привлекает туда запах краски. Один раз Меме услышала, как они порхают над ее головой в темноте зрительного зала. Но только когда Маурисио Бабилонья стал преследовать ее, словно привидение, лишь ей одной видимое в толпе людей, Меме сообразила, что желтые бабочки имеют какое-то отношение к нему. На концертах, в кино, в церкви во время мессы Маурисио Бабилонья всегда находился среди публики, и, чтобы обнаружить его, Меме достаточно было отыскать взглядом желтых бабочек. Как-то Аурелиано Второй долго ворчал, проклиная их надоедливое кружение, и Меме чуть не доверила отцу свою тайну — ведь она ему обещала делиться с ним, но инстинкт подсказал ей — на этот раз он не засмеется как обычно: «Что бы сказала твоя мать, если бы узнала!» Однажды утром, когда Фернанда и Меме подстригали розы, Фернанда вдруг вскрикнула и оттащила дочь в сторону от того места, где та стояла,— с этого самого места сада вознеслась в небо Ремедиос Прекрасная.

Фернанду испугало трепетание, внезапно наполнившее воздух, и на мгновение ей показалось, что чудо сейчас повторится с ее дочерью. Но это были бабочки. Они появились перед глазами Меме так неожиданно, словно возникли прямо из солнечного света, и сердце у нее екнуло. В ту же минуту в сад вошел Маурисио Бабилонья с пакетом в руке, подарком от Патриции Браун, как он сказал. Усилием воли Меме согнала с лица краску смущения и, изобразив довольно непринужденную улыбку, попросила его положить пакет на подставку для цветов в галерее, так как у нее руки в земле. Фернанда почти не обратила внимания на человека, которого несколько месяцев спустя ей предстояло выгнать из своего дома, даже не вспомнив, что однажды она его уже видела, она заметила только нездоровый цвет его кожи.

— Очень странный человек,— сказала Фернанда.— По лицу видно, он не жилец на этом свете.

Меме решила, что мать все еще не может забыть бабочек. Кончив подрезать розы, она вымыла руки, унесла пакет в спальню и там открыла его. В пакете оказалось нечто вроде китайской игрушки — пять коробочек, вставленных одна в другую, в последней из них лежала открытка, на которой кто-то, едва умеющий писать, старательно вывел: «В субботу увидимся в кино». Меме испугалась задним числом, ведь пакет немалое время пролежал в галерее и Фернанда могла поинтересоваться его содержимым. Смелость и изобретательность Маурисио Бабилоньи понравились девушке. Однако его наивная уверенность в том, что она обязательно придет на свидание, задела ее. Меме знала, что в субботу вечером Аурелиано Второй занят. Но в течение всей недели она испытывала такое мучительное беспокойство, что в субботу уговорила отца отвести ее в кино, а после сеанса прийти за ней. Пока лампы в зале еще горели, над ее головой не переставая кружилась ночная бабочка. Потом это произошло. Огни погасли, и рядом с нею сел Маурисио Бабилонья. У Меме было такое чувство, словно она беспомощно бьется в страшной трясине и спасти ее может, как оно случилось во сне, только этот пропахший машинным маслом человек, еле различимый в темноте зала.

— Если бы вы не пришли,— сказал он,— вы бы меня никогда больше не увидели.

Меме ощутила на своем колене тяжесть его руки и поняла —с этого мгновения они оба уже не беззащитны.

— Что меня в тебе возмущает,— улыбнулась она,— так это твоя манера говорить как раз то, чего не следует говорить.

Она влюбилась в него до безумия. Потеряла сон и аппетит и так глубоко погрузилась в одиночество, что даже отец стал для нее помехой. Чтобы сбить с толку Фернанду, она выдумала большой и очень запутанный список разных приглашений и дел, забросила своих подруг и перешагивала через любые условности, лишь бы только повидаться с Маурисио Бабилоньей — все равно где и в какое время. Сначала ей не нравилась его грубость. Когда они в первый раз остались одни на пустыре за гаражом, он безжалостно довел ее до какого-то животного состояния, совершенно истощившего ее силы. Позже Меме поняла, что это тоже вид ласки; тогда она совсем потеряла покой и стала жить только своим любимым, мучимая страстным желанием снова и снова погружаться в сводящий с ума запах машинного масла, смешанного с жавелем. Незадолго до смерти Амаранты Меме вдруг на короткое время обрела ясность ума и затрепетала от неуверенности в будущем. Тогда она услышала об одной женщине, гадающей на картах, и тайком пошла к ней. Это была Пилар Тернера. Увидев Меме, она сразу же поняла скрытые причины, которые привели девушку в ее комнату. «Садись,— сказала Пилар Тернера.— Мне не нужны карты, чтобы предсказать

судьбу одной из Буэндиа». Меме не знала и так никогда не узнала, что столетняя пифия приходится ей прабабкой. Да она и не поверила бы этому, выслушав предельно откровенные объяснения Пилар Тернеры о том, что мучительное любовное томление может быть успокоено лишь в постели. Такой же точки зрения придерживался Маурисио Бабилонья, но Меме не хотела верить ему; в глубине души она считала: он говорит так, потому что невежествен, как всякий мастеровой. Она думала тогда, что одна разновидность любви уничтожает другую ее разновидность, ибо человек, в силу своей природы, насытив голод, теряет интерес к еде. Пилар Тернера не только рассеяла заблуждение Меме, но предложила к ее услугам старую веревочную кровать, где зачала Аркадио, деда Меме, а потом Аурелиано Хосе. Кроме того, она научила Меме, как предупредить нежелательную беременность с помощью испарений от горчичников, и дала ей рецепты напитков, которые, если уж несчастье случится, помогут избавиться от всего — «даже от угрызений совести». После этого разговора Меме ощутила такой же прилив мужества, как в день пьянки с подружками. Смерть Амаранты, однако, вынудила ее отложить исполнение задуманного. Пока длились десять поминальных ночей, она ни на минуту не расставалась с Маурисио Бабилоньей, который бродил среди толпившихся в доме людей. Потом начались долгий траур и обязательное затворничество, и влюбленным пришлось на время разлучиться. Это были дни, полные такого внутреннего волнения, таких безудержных томлений и таких сдержанных порывов, что в первый же вечер, когда Меме удалось выйти из дому, она отправилась прямо к Пилар Тернере. Она отдалась Маурисио Бабилонье без сопротивления, без стыда, без ломанья, проявив такую несомненную одаренность и такую мудрую интуицию, что более подозрительный мужчина мог бы спутать их с самой настоящей опытностью. Они любили друг друга дважды в неделю в течение более трех месяцев, защищенные невольным сообщничеством Аурелиано Второго, который бесхитростно подтверждал придуманные дочерью алиби, желая освободить ее из-под материнского ярма.

В тот вечер, когда Фернанда захватила врасплох в кино Меме и Маурисио Бабилонью, Аурелиано Второй почувствовал угрызения совести и пришел к дочери в спальню, где ее заперли, убежденный, что Меме станет легче, если она изольет перед ним душу, как обещала это делать. Но Меме все отрицала. Она была так уверена в себе, так цеплялась за свое одиночество, что Аурелиано Второму показалось, будто между ними уже нет никакой связи и никогда они не были ни товарищами, ни сообщниками,— все это лишь иллюзии прошлого. Он подумал, не поговорить ли ему с Маурисио Бабилоньей, может, авторитет бывшего хозяина заставит того отказаться от своих намерений, но Петра Котес убедила его не вмешиваться в женские дела.

Меме не выказывала никаких признаков горя и даже напротив — Урсула слышала из соседней комнаты, что она крепко спит ночью, спокойно занимается своими делами днем, регулярно ест и не испытывает никаких нарушений пищеварения. После почти двух месяцев содержания Меме под арестом Урсуле показалось странным только одно: почему она ходит в купальню не по утрам, как все остальные, а в семь часов вечера. Один раз Урсула хотела даже предостеречь ее против скорпионов, но Меме, считавшая, что это Урсула ее выдала, избегала разговоров с прапрабабкой, и та решила не донимать девушку своими стариковскими поучениями. Как только начинало смеркаться, дом наполнялся желтыми бабочками. Каждый вечер, возвращаясь из купальни, Меме встречала Фернанду, которая в полном отчаянии уничтожала их с помощью опрыскивателя. «Просто напасть какая-то,— стонала Фернанда.— Всю жизнь мне говорили, что ночные бабочки приносят

несчастье». Однажды, когда Меме находилась в купальне, Фернанда случайно вошла в ее комнату и увидела, что там дышать нечем от бабочек. Она схватила первую попавшуюся тряпку, чтобы выгнать их, и оцепенела от ужаса, увязав поздние купания дочери с разлетевшимися по полу горчичниками. Тут уж Фернанда не стала ждать удобного случая, как в прошлый раз. На следующий же день пригласила к обеду нового алькальда, уроженца гор, как и она сама, и попросила его поставить ночную стражу на заднем дворе: ей кажется, что у нее воруют кур. А через несколько часов стражник подстрелил Маурисио Бабилонью, когда тот поднимал черепицу, чтобы спуститься в купальню, где среди скорпионов и бабочек, голая и трепещущая от любви, ждала его Меме, как ждала почти каждый вечер все эти месяцы. Пуля, засевшая в позвоночном столбе, приковала Маурисио Бабилонью к постели до конца его жизни. Он умер стариком, в полном одиночестве, ни разу не пожаловавшись, не возмутившись, никого не выдав, умер, замученный воспоминаниями и ни на минуту не оставлявшими его в покое желтыми бабочками, ославленный всеми как похититель кур.

■

События, которым предстояло нанести смертельный удар всему Макондо, уже замаячили на горизонте, когда в дом принесли сына Меме Буэндиа. Город находился в таком смятении, что никто не был расположен заниматься семейными скандалами, поэтому Фернанда решила, воспользовавшись благоприятной обстановкой, спрятать мальчика и сделать вид, будто он и не появлялся на свет. Взять внука она была вынуждена — обстоятельства, при которых его доставили, исключали отказ. Вопреки ее желанию Фернанде предстояло терпеть этого ребенка до конца своих дней: в нужный час у нее не хватило мужества выполнить принятое было в глубине души решение и утопить его в бассейне купальни. Она заперла его в бывшей мастерской полковника Аурелиано Буэндиа. Санта Софию де ла Пьедад Фернанде удалось убедить в том, что она нашла младенца в плывшей по реке плетеной корзине. Урсуле суждено было умереть, так и не узнав его происхождения. Маленькая Амаранта Урсула, заглянувшая однажды в мастерскую, где Фернанда кормила малыша, тоже поверила истории о плавающей корзине. Аурелиано Второй, окончательно отдалившийся от жены из-за ее неразумного поведения, исковеркавшего жизнь Меме, узнал о существовании внука только три года спустя, когда тот по недосмотру Фернанды вырвался из своего плена и появился на минуту в галерее — голый, с нечесаными волосами, похожий не на человека, а на изображение людоеда в энциклопедии.

Фернанда не ожидала такой глупой выходки со стороны своей неисправимой судьбы. Вместе с ребенком в дом словно ворвался позор, который, как она считала, ей удалось изгнать навсегда. Не успели еще унести раненого Маурисио Бабилонью, а Фернанда уже продумала до мельчайших деталей план уничтожения всех следов бесчестия. Не посоветовавшись с мужем, она на следующий день собрала свой багаж, уложила в маленький чемодан три смены белья для дочери и за полчаса до отхода поезда явилась к Меме в спальню.

— Пошли, Рената,— сказала она.

Фернанда не дала никаких объяснений. Меме, со своей стороны, не ждала и не хотела их. Она не знала, куда они идут, ей это было безразлично, даже если бы ее повели на бойню. С того мгновения, как она услышала выстрел на заднем дворе и одновременно с ним крик боли, вырвавшийся у Маурисио Бабилоньи, Меме не сказала ни слова — и уже больше никогда не скажет. Когда мать велела ей выйти из спальни, она не причесалась, не умылась и села в поезд как сомнамбула, не обращая внимания даже на желтых бабочек, продолжавших кружиться над ее го-

ловой. Фернанда никогда не узнала, да и не пыталась выяснить, было ли каменное молчание дочери добровольным или девушка онемела после обрушившегося на нее удара. Меме почти не заметила, как они проехали по бывшим заколдованным землям. Она не видела и нескончаемых тенистых банановых плантаций по обе стороны железнодорожного полотна. Не видела белых домов гринго с садами, иссушенными жарой и пылью, и женщин в коротких брюках и полосатых сине-белых кофточках, игравших в карты на верандах. Не видела волов, которые тащили по пыльным дорогам повозки, нагруженные бананами. Не видела девушек, которые резвились в прозрачных реках, как рыбы, огорчая пассажиров поезда видом своих великолепных грудей, не видела грязных и нищих бараков, где жили рабочие,— вокруг этих бараков летали желтые бабочки Маурисио Бабилоньи, а в дверях сидели на своих горшках худые, зеленые дети и стояли беременные женщины, выкрикивавшие разные непристойности вслед проходящему поезду. Эти мимолетные картины раньше, при возвращении из монастырской школы домой, были для Меме праздником, теперь они скользнули по ее сердцу, не затронув его. Она не взглянула в окно, даже когда кончились плантации, пышущие влажным зноем, и поезд пересек поле маков, среди которых все еще торчал обугливший остов испанского галиона, и вышел потом в тот же прозрачный воздух, к тому же пенному и грязному морю, возле которого почти сто лет назад разбились иллюзии Хосе Аркадио Буэндиа.

В пять часов дня прибыли на конечную станцию долины, и Фернанда вывела Меме из вагона. Они сели в похожий на огромную летучую мышь экипаж, запряженный лошадью, задыхавшейся, как астматик, и проехали через унылый город; над его бесконечными улицами, над потрескавшейся от морской соли землей звучали такие же гаммы, которые в юности Фернанда слышала каждый день в часы сиесты. Они поднялись на речной пароход, чья железная, изъеденная ржавчиной обшивка дышала жаром, словно печь, а деревянное колесо, загребая воду лопастями, хлюпало, как пожарный насос. Меме заперлась в каюте. Дважды в день Фернанда ставила возле ее койки тарелку с едой и дважды в день уносила еду нетронутой, не потому, что Меме решила уморить себя голодом, а потому, что ей был противен запах пищи, и желудок ее извергал обратно даже воду. Меме еще не подозревала, что пары горчицы ей не помогли, так же как Фернанда не знала об этом до тех пор, пока, почти через год, ей не принесли ребенка. В душной каюте, измученная постоянным дрожанием железных переборок и невыносимым зловонием, исходящим от ила, поднимаемого со дна колесом парохода, Меме потеряла счет дням. Прошло много времени с тех пор, как на ее глазах погибла в лопастях вентилятора последняя желтая бабочка, и она наконец осознала, что Маурисио Бабилонья мертв и это уже непоправимо. Но Меме не отреклась от своего возлюбленного. Она продолжала думать о нем, пока они пробирались верхом на мулах через полную миражами пустыню, где блуждал Аурелиано Второй, искавший самую красивую женщину на земле, не переставала думать, и когда они по тропинкам, проложенным индейцами, поднялись в горы и вступили в мрачный город с каменистыми крутыми улицами, наполненными погребальным звоном колоколов тридцати двух церквей. Ночь они провели в старинном заброшенном доме, в комнате, кишащей молью, постелью им служили доски, разложенные на полу Фернандой. Сорвав с окон шторы, давно превратившиеся в лохмотья, она бросила поверх дерева это тряпье, при каждом движении тела рассыпавшееся в прах. Меме угадала, где они находятся, потому что, лежа без сна, с содроганием увидела, как мимо прошел одетый в черное кабальеро, тот самый, которого в далекий сочельник принесли к ним в свинцовом сундуке. На следующий день, после мессы, Фернанда отвела ее в здание мрачного вида. Меме

сразу узнала его по много раз слышанным рассказам матери о монастыре, где ее готовили в королевы, и поняла, что путешествие пришло к концу. Пока Фернанда разговаривала с кем-то рядом в конторе, она ждала в приемной, увешанной большими, старинными портретами испанских епископов, написанными маслом, и дрожала от холода, потому что на ней все еще было платье из легкой ткани в черных цветочках и высокие ботинки, покоробившиеся от льдов пустыни. Меме стояла посреди гостиной в потоках желтого света, льющегося сквозь витражи, и думала о Маурисио Бабилонье, а потом из конторы вышла очень красивая послушница, держа в руках ее чемоданчик с тремя сменами белья. Дойдя до девушки, она протянула ей руку и сказала:

— Пойдем, Рената.

Меме взяла эту руку и безропотно позволила увести себя. Когда Фернанда в последний раз увидела дочь, та шла, приноравливаясь к шагу послушницы, уже по ту сторону только что закрывшейся за ней железной решетки монастырского двора. Меме все еще думала о Маурисио Бабилонье — об исходившем от него запахе машинного масла, о свите из желтых бабочек,— и будет думать о нем каждый день своей жизни вплоть до того далекого осеннего утра, в которое она умрет от старости в мрачной больнице Кракова, умрет под чужим именем, так и не произнеся ни слова.

Фернанда возвратилась в Макондо в поезде, охраняемом вооруженными полицейскими. Во время путешествия ее поразили напряженные лица пассажиров, войска на улицах городов и поселков, разлитое в воздухе ожидание чего-то, что должно произойти, но Фернанда не понимала, в чем дело, пока не прибыла в Макондо и ей не рассказали, что Хосе Аркадио Второй подстрекает рабочих банановой компании к забастовке. «Только этого нам не хватало,— сказала себе Фернанда.— Анархист в семье». Забастовка началась через две недели и не имела тех драматических последствий, которых все опасались. Рабочие отказывались рубить и грузить банановые гроздья по воскресеньям, их требование выглядело совершенно справедливым, и сам падре Антонио Исабель одобрил его, найдя, что оно отвечает божеским законам. Победа этой забастовки, так же как и других, вспыхнувших в следующие месяцы, извлекла из безвестности бледную фигуру Хосе Аркадио Второго, до этого слывшего в народе человеком, способным лишь на то, чтобы наводнить город французскими шлюхами. С тем же внезапным приливом решительности, с каким он распродал некогда своих бойцовых петухов, собираясь организовать бессмысленное судоходное предприятие, Хосе Аркадио Второй отказался теперь от должности надсмотрщика банановой компании и встал на сторону рабочих. Очень скоро его объявили агентом международного заговора против общественного порядка. В одну из ночей омраченной зловещими слухами недели Хосе Аркадио Второй чудом спасся от четырех пуль, которые выпустил в него какой-то неизвестный, подкараулив его на пути с подпольного собрания. Атмосфера последующих месяцев была такой напряженной, что даже Урсула ощутила это в своем лишенном света мирке, и ей почудилось, будто она снова переживает те роковые времена, когда ее сын Аурелиано набивал свои карманы гомеопатическими пилюлями мятежа. Она хотела поговорить с Хосе Аркадио Вторым и поделиться с ним опытом пережитого, но Аурелиано Второй сообщил ей, что с ночи покушения никто не знает местопребывания его брата.

— Точь-в-точь Аурелиано,— воскликнула Урсула.— Похоже, что все в мире идет по кругу.

Фернанда была далека от треволнений этих дней. После страшной ссоры с мужем, возмущенным тем, что судьбой Меме распорядились без его согласия, Фернанда не соприкасалась с внешним миром. Аурелиано

Второй грозился освободить свою дочь из монастыря, если понадобится, то с помощью полиции, но Фернанда показала ему бумаги, из которых следовало, что Меме приняла монашеский обет по доброй воле. В действительности Меме подписала эти бумаги, находясь уже по другую сторону железной решетки, и сделала это с тем же пренебрежением ко всему, с каким позволила увезти себя из дому. В глубине души Аурелиано Второй не поверил подлинности предъявленных женой доказательств, как никогда не верил и тому, что Маурисио Бабилонья забрался к ним, намереваясь воровать кур, но оба объяснения помогли ему успокоить свою совесть, вернуться, не терзая себя, под крыло Петры Котес и возобновить в ее доме неистовое веселье и обильные пиры. Чуждая тревоге, охватившей весь город, глухая к страшным пророчествам Урсулы, Фернанда подкрутила последние гайки в механизме своего замысла. Она написала пространное письмо Хосе Аркадио, который скоро уже должен был получить сан клирика, и сообщила, что его сестра Рената заболела желтой лихорадкой и почила в мире. Потом предоставила Амаранту Урсулу заботам Санта Софии де ла Пьедад и принялась налаживать свою переписку с невидимыми целителями, расстроившуюся из-за несчастья с Меме. Прежде всего она назначила окончательную дату телепатической операции. Но невидимые целители ответили ей, что было бы неосторожно производить операцию, пока в Макондо не кончились беспорядки. Одержимая нетерпением и очень плохо осведомленная, Фернанда в следующем письме объяснила им, что никаких волнений нет, а все дело в глупых выходках ее сумасброда деверя, который теперь увлекается профсоюзными дурачествами, как раньше был помешан на петушиных боях и судоходстве. Они еще не пришли к согласию в ту жаркую среду, когда в дверь дома постучала старая монахиня с плетеной корзинкой на руке. Отворившая дверь Санта София де ла Пьедад подумала, что это чей-то подарок, и хотела взять у монашки ее ношу, покрытую изящной кружевной салфеткой. Но старуха запротестовала— ей приказали передать корзину лично и в строжайшей тайне донье Фернанде дель Карпио де Буэндиа. В корзине лежал сын Меме. Бывший духовник Фернанды объяснял ей в письме, что мальчик родился два месяца тому назад, и они позволили себе окрестить его именем Аурелиано в честь деда, поскольку мать даже не разжала губ, чтобы выразить свою волю. Внутри Фернанды все восстало против такого глумления судьбы, но у нее хватило сил скрыть это от монахини.

— Скажем, что нашли его в корзине, которая плыла по реке,— улыбнулась она.

— Никто этому не поверит,— заметила монахиня.

— Если все этому верят в Священном писании,— возразила Фернанда,— не вижу, почему бы им не поверить мне.

В ожидании обратного поезда монахиня осталась пообедать в доме и ни разу больше не упомянула о ребенке, как ей это и велели в монастыре, но все равно Фернанду угнетало присутствие нежелательного свидетеля ее позора, и она пожалела, что вышел из моды средневековый обычай вешать гонца, явившегося с дурными вестями. Тогда Фернанда и приняла решение: как только уедет монахиня, утопить младенца в бассейне, но у нее не хватило на это духу, и она предпочла терпеливо ждать, пока беспредельная благодать господня не избавит ее от обузы.

Новому Аурелиано уже исполнился год, когда напряжение, не оставлявшее Макондо, внезапно разрядилось взрывом. Хосе Аркадио Второй и другие профсоюзные вожаки, которые ушли в подполье, к концу недели неожиданно появились в городе и организовали демонстрацию в поселках банановой зоны. Полиция ограничивалась лишь наблюдением за порядком. Однако в ночь на понедельник профсоюзных руководите-

лей выволокли из постелей, надели им на ноги пятикилограммовые кандалы и отправили в тюрьму главного города провинции. Среди других были взяты Хосе Аркадио Второй и Лоренсо Гавилан, полковник, участник мексиканской революции, находившийся в изгнании в Макондо, который утверждал, что был свидетелем героических подвигов своего кума Артемио Круса [1]. Но меньше чем через три месяца все они уже снова оказались на свободе, потому что правительство и банановая компания не смогли прийти к соглашению о том, кто должен оплачивать питание арестованных. На этот раз недовольство рабочих было вызвано недоброкачественностью пищевых продуктов и каторжными условиями труда. Кроме того, рабочие жаловались, что им платят не деньгами, а бонами, на которые нельзя ничего купить, кроме виргинской ветчины в магазинах компании. Хосе Аркадио Второго посадили в тюрьму за то, что он разоблачил сущность системы бонов. Он объяснил, что система удешевляет содержание торгового флота компании, ибо обратным рейсом фруктовые суда везут товары для магазинов, и, не будь этого груза, им пришлось бы ходить порожняком от Нового Орлеана до портов, где они загружаются бананами. Остальные претензии рабочих касались бытовых условий и медицинского обслуживания. Врачи компании не осматривали больных, а просто выстраивали их в очередь перед амбулаторией, и медицинская сестра клала каждому на язык по пилюле цвета медного купороса, независимо от того, чем страдал пациент — малярией, триппером или запором. Это была до такой степени общая терапия, что дети становились в очередь по нескольку раз и вместо того, чтобы глотать пилюли, уносили их домой, где употребляли при игре в лото, вместо фишек. Рабочие жили в страшной скученности в развалившихся бараках. Инженеры вместо того, чтобы построить им отхожие места, завезли в поселки на рождество переносные уборные — по одной на каждых пятьдесят человек — и публично демонстрировали, как следует пользоваться этими сооружениями, чтобы они служили подольше. Одряхлевшие адвокаты в черных сюртуках, которые в былое время осаждали полковника Аурелиано Буэндиа, а теперь представляли интересы банановой компании, опровергали все обвинения рабочих с ловкостью, граничившей с колдовством. Когда рабочие составили общую, единогласно одобренную петицию, прошло немало времени, прежде чем удалось официально довести ее до сведения банановой компании. Стоило только господину Брауну услышать о петиции, как он прицепил к поезду свой великолепный вагон со стеклянной крышей и исчез из Макондо вместе с наиболее крупными представителями фирмы. Однако в следующую субботу рабочие разыскали одного из них в борделе, где он лежал голый с женщиной, согласившейся заманить его в ловушку, и заставили подписать копию петиции. Траурные законники тем не менее показали на суде, что этот человек не имел никакого отношения к банановой компании, и чтобы никто не усомнился в их аргументах, вынудили власти посадить его в тюрьму как самозванца. Позже рабочие захватили самого господина Брауна, путешествовавшего инкогнито в третьем классе, и заставили его подписать другую копию петиции. На следующий день он предстал перед судьями, волосы у него были выкрашены в черный цвет, и говорил он на безукоризненном испанском языке. Адвокаты доказали, что это не господин Джек Браун, главный директор банановой компании, уроженец города Пратвилл, штат Алабама, а безобидный торговец лечебными травами, родившийся в Макондо и там же окрещенный именем Дагоберто Фонсека. Вскоре, после новой попытки рабочих добраться до господина Брауна, законники развесили в общественных местах

[1] Артемио Крус — главный персонаж романа мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса», опубликованного в «Иностранной литературе» №№ 7, 8 за 1965 год.

копии свидетельства о его смерти, заверенного консулами и советниками посольства и удостоверявшего, что девятого июня Джек Браун был раздавлен пожарной машиной в Чикаго. Устав от этого казуистического бреда, рабочие махнули рукой на местные власти и обратились со своими жалобами в верховные судебные органы. Но и там фокусники от юриспруденции доказали, что требования рабочих совершенно незаконны по той простой причине, что банановая компания не имеет, никогда не имела и не будет иметь никаких рабочих у себя на службе — она их нанимала от случая к случаю и на работу, носившую временный характер. Так были развеяны лживые измышления о виргинской ветчине, чудодейственных пилюлях и рождественских уборных, и решением суда было установлено и торжественно провозглашено повсюду, что рабочих, как таковых, не существовало.

Началась мощная забастовка. Работы на плантациях прекратились, фрукты гнили на корню, поезда из ста двадцати вагонов стояли неподвижно в тупиках железной дороги. Города и селения наполнились безработными. На улице Турков наступила нескончаемая суббота, в бильярдной «Отеля Хакоба» у столов круглые сутки толклись игроки, ожидая своей очереди. В тот день, когда было объявлено, что армия получила приказ восстановить общественный порядок, Хосе Аркадио Второй как раз находился в бильярдной. Хотя он и не был наделен даром ясновидения, но это сообщение воспринял как предвестие о смерти, которой ждал с того далекого утра, когда полковник Херинельдо Маркес позволил ему посмотреть на расстрел. Однако дурное предчувствие не лишило его свойственной ему выдержки. Он ударил кием по шару и сделал предусмотренный карамболь. Через некоторое время грохот барабанов, лающие звуки горна, суета и крики на улице сказали ему, что не только партии в бильярд, но и другой молчаливой и одинокой игре, которую он со дня той казни на рассвете вел сам с собой, настал конец. Тогда он вышел на улицу и увидел их. Там было три полка, от их мерного шага под барабанный бой тряслась земля. Сияющий полдень пропитался зловонным дыханием этого многоглавого дракона. Солдаты были низкорослые, плотные, грубые. От них исходил запах лошадиного пота и распаренной на солнце сыромятной кожи, и чувствовалось в этих людях молчаливое и непроницаемое бесстрашие жителей гор. Хотя ушел целый час, пока они промаршировали мимо Хосе Аркадио Второго, можно было подумать, что тут не больше нескольких отделений, которые все ходят и ходят по кругу, до того они были похожи друг на друга, словно дети одной матери, и все с одинаково тупым видом несли на себе тяжесть ранцев и фляг, и позор винтовок с примкнутыми штыками, и чумной бубон слепого повиновения, и чувство чести. Со своего сумрачного ложа Урсула услышала их шаг и подняла руку, сложив пальцы крестом. Санта София де ла Пьедад на мгновение застыла, склонившись над расшитой скатертью, которую кончала гладить, и подумала о своем сыне, Хосе Аркадио Втором, а тот стоял в дверях «Отеля Хакоба» и невозмутимо смотрел, как проходят последние солдаты.

По законам военного положения войска должны были принять на себя роль посредника в споре, но никаких попыток к примирению сторон сделано не было. После того как солдаты продемонстрировали свою силу, пройдя через Макондо, они составили винтовки в козлы и начали рубить банановые гроздья и нагружать выведенные из тупиков поезда. Рабочие, до сих пор спокойно выжидавшие, с мачете в руках поднялись против штрейкбрехеров. Они сожгли усадьбы и магазины компании, перерезали телефонные и телеграфные провода, разобрали железнодорожное полотно, чтобы помешать движению поездов, которые теперь расчищали себе путь пулеметным огнем. Вода в оросительных канавах окрасилась кровью. Господин Браун, сидевший, живой и невредимый, в эле-

ктрифицированном курятнике, был под охраной солдат вывезен из Макондо вместе со своей семьей и соотечественниками и доставлен в безопасное место. События уже грозили перерасти в жестокую и кровопролитную гражданскую войну, когда власти обратились к рабочим с призывом собраться всем в Макондо. В обращении указывалось, что гражданский и военный глава провинции прибудет в город в следующую пятницу и разберется в конфликте.

Хосе Аркадио Второй находился в толпе, которая стеклась к станции с утра в пятницу. Накануне он принял участие в совещании профсоюзных руководителей — ему и полковнику Гавилану поручили смешаться с народом и направлять его действия в зависимости от обстоятельств. Хосе Аркадио Второму было не по себе; с тех пор как стало известно, что войска установили вокруг площади у станции пулеметы, а обнесенный железной решеткой городок банановой компании защищен пушками, он все время чувствовал во рту какой-то солоновато-горький привкус. Около двенадцати часов дня, ожидая запаздывающий поезд, более трех тысяч людей — рабочие, женщины и дети — заполнили пространство перед станцией и столпились в прилегающих улицах, которые солдаты перекрыли пулеметами. На первых порах это напоминало скорее праздничное гулянье. С улицы Турков притащили столы с фритангой и ларьки с напитками, и народ бодро переносил утомительное ожидание и палящее солнце. Незадолго до трех часов прошел слух, что поезд с официальными лицами прибудет не раньше завтрашнего дня. Уставшая толпа испустила вздох разочарования. Какой-то лейтенант поднялся на крышу станционного павильона, откуда глядели на толпу дула четырех пулеметов, и призвал всех к тишине. Возле Хосе Аркадио Второго стояла толстая босая женщина с двумя детьми, примерно четырех и семи лет. Она взяла на руки младшего и попросила Хосе Аркадио Второго, которого совсем не знала, поднять другого ребенка, чтобы тот мог лучше слышать, что скажут. Хосе Аркадио Второй посадил мальчика себе на плечи. Много лет спустя этот мальчик будет всем рассказывать и никто не будет ему верить, что он видел, как лейтенант читал в граммофонный рупор декрет номер четыре гражданского и военного главы провинции. Декрет был подписан генералом Карлосом Кортесом Варгасом и его секретарем майором Энрике Гарсиа Исасой и в трех параграфах из восьмидесяти слов объявлял забастовщиков «бандой преступников» и уполномочивал войска стрелять в них, не жалея патронов.

Декрет вызвал оглушительную бурю протестов, но тут лейтенанта на крыше павильона сменил капитан и, размахивая граммофонным рупором, показал, что он хочет говорить. Толпа снова замолкла.

— Дамы и господа,— сказал капитан тихо, медленно и немного устало,— в вашем распоряжении пять минут, чтобы разойтись.

Свист, улюлюканье, крики заглушили звуки горна, возвестившего начало срока. Никто не двинулся с места.

— Пять минут прошли,— сказал капитан тем же тоном.— Еще одна минута — и будет открыт огонь.

Хосе Аркадио Второй, покрывшийся ледяным потом, снял мальчика с плеч и передал его матери. «С этих сволочей станется начать стрельбу»,— прошептала она. Хосе Аркадио Второй не успел ответить, потому что в ту же минуту он узнал хриплый голос полковника Гавилана, который, словно эхо, громко повторил слова, сказанные женщиной. Опьяненный напряжением момента и поразительно глубокой тишиной, к тому же уверенный, что нет силы, способной сдвинуть с места эту толпу, оцепеневшую под пристальным взглядом смерти, Хосе Аркадио Второй поднялся на носки и, в первый раз за всю свою жизнь возвысив голос, крикнул через головы стоящих впереди:

— Сволочи! Подавитесь вы этой минутой!

Как только отзвучали эти слова, произошло нечто, вызвавшее у Хосе Аркадио Второго не ужас, а впечатление какой-то нереальности всего происходящего. Капитан дал приказ открыть огонь, и на него тотчас же откликнулись четырнадцать пулеметов. Но все это напоминало фарс. Казалось, что стреляют холостыми патронами: пулеметы захлебывались оглушительным треском, исступленно плевались огнем, но из плотно сбившейся толпы не вырвалось ни единого крика, даже ни единого вздоха, словно все внезапно окаменели и стали неуязвимыми. И вдруг предсмертный вопль, донесшийся со стороны станции, развеял чары: «А-а-а-а, мама!» Будто мощный сейсмический толчок с гулом вулкана, ревом потопа всколыхнул центр толпы и в одно мгновение распространился на всю площадь. Хосе Аркадио Второй едва успел схватить на руки мальчика, а мать со вторым ребенком уже была увлечена центробежной силой бегущей в панике толпы.

Много лет спустя мальчик все будет рассказывать, несмотря на то, что соседи объявят его выжившим из ума стариком, как Хосе Аркадио Второй поднял его над головой и, почти вися в воздухе, словно плавая в охватившем толпу ужасе, дал потоку увлечь себя в одну из прилегающих к площади улиц. Вознесенный над толпой, мальчик увидел сверху, как в этот момент влившаяся в улицу масса людей стала приближаться к углу и пулеметы, которые стояли там, открыли огонь. Несколько голосов крикнули одновременно:

— Ложись! Ложись!

Те, кто находился в передних рядах, уже легли, скошенные пулеметными очередями. Оставшиеся в живых, вместо того чтобы упасть на землю, повернули обратно на площадь. И тогда паника ударила своим хвостом, как дракон, и швырнула их плотной волной на другую, двигавшуюся им навстречу волну, отправленную другим ударом драконьего хвоста с противоположной улицы, где тоже без передышки стреляли пулеметы. Люди оказались запертыми, как скот в загоне; они крутились в гигантском водовороте, который постепенно стягивался к своему эпицентру, потому что края его все время обрезались по кругу — как это бывает, когда чистят луковицу,— ненасытными и планомерно действующими ножницами пулеметного огня. Мальчик увидел женщину со сложенными крестом руками, она стояла на коленях посреди пустого пространства, каким-то таинственным образом ставшего заповедным для пуль. Туда и сбросил ребенка Хосе Аркадио Второй, рухнув на землю, с лицом, залитым кровью, за мгновение до того, как нахлынувший гигантский человеческий вал смел и пустое пространство, и коленопреклоненную женщину, и сияние высокого знойного неба, и весь этот подлый мир, в котором Урсула Игуаран продала столько своих зверушек из леденца.

Когда Хосе Аркадио Второй пришел в себя, он лежал на спине, и вокруг было темно. Он понял, что едет в каком-то бесконечно длинном и бесшумном поезде: голова его сжата коркой засохшей крови, все кости болят. Невыносимо хотелось спать. Собираясь проспать много часов подряд здесь—в безопасности от всех ужасов и гнусностей.— Хосе Аркадио Второй повернулся на тот бок, который болел меньше, и только тут заметил, что лежит на трупах. Ими был набит весь вагон, лишь посредине оставался свободный проход. После бойни прошло, должно быть, несколько часов, потому что трупы были такой температуры, как гипс осенью, и, так же как гипс, напоминали на ощупь окаменевшую пену; и те, кто принес их сюда, имели время уложить их рядами, как укладывают обычно грозди бананов. Пытаясь спастись от этого кошмара, Хосе Аркадио Второй переползал из вагона в вагон к голове поезда и при вспышках света, мелькавшего в щелях вагонной обшивки, когда состав проносился через спящие города, видел мертвых мужчин, мертвых женщин, мертвых детей, которых везли, чтобы сбросить в море, как бра-

кованные бананы. Он узнал только двух — женщину, торговавшую прохладительными напитками на площади, и полковника Гавилана; на руке полковника все еще был намотан пояс с пряжкой из мексиканского серебра, с его помощью он пытался расчистить себе дорогу в охваченной паникой толпе. Добравшись до первого вагона, Хосе Аркадио Второй прыгнул в темноту и лежал в канаве, пока весь поезд не прошел мимо. Это был самый длинный состав из всех виденных им — почти двести товарных вагонов, по паровозу с каждого конца и третий паровоз в центре. На поезде не было никаких огней, даже красных и зеленых сигнальных фонарей, он бесшумно и стремительно скользил по рельсам. На крышах вагонов виднелись темные фигуры солдат возле пулеметов.

Около полуночи хлынул проливной дождь. Хосе Аркадио Второй не знал, где он выпрыгнул, но понимал, что если будет идти в направлении, противоположном тому, куда ушел поезд, то придет в Макондо. После более чем трех часов пути, промокнув до костей и испытывая головную боль, он увидел в рассветной полумгле первые дома города. Привлеченный запахом кофе, он вошел в кухню, где какая-то женщина, с ребенком на руках, стояла, склонившись над очагом.

— Здравствуйте,— сказал он, совершенно обессиленный.— Я Хосе Аркадио Второй Буэндиа.

Он произнес свое полное имя, буква за буквой, чтобы убедиться в том, что он жив. И хорошо сделал, так как женщина, увидев в дверях мрачного, истощенного человека, запачканного кровью и отмеченного печатью смерти, решила, что перед ней привидение. Она знала Хосе Аркадио Второго. Принесла одеяло, чтобы он завернулся, пока она высушит у очага его одежду, согрела воду, чтобы он мог промыть свою рану — у него была только содрана кожа,— и дала ему чистую пеленку, чтобы он перевязал себе голову. Потом принесла ему небольшую чашку кофе без сахара, как, ей рассказывали, пьют Буэндиа, и развесила одежду у огня.

Хосе Аркадио Второй не произнес ни слова, пока не допил кофе.

— Там было, наверное, тысячи три,— прошептал он.

— Чего?

— Мертвых,— объяснил он.— Наверное, все люди, которые собрались на станции.

Женщина посмотрела на него с жалостью. «Здесь не было мертвых,— сказала она.— Со времен твоего родича полковника Аурелиано Буэндиа в Макондо ничего не случалось». В трех кухнях, где побывал Хосе Аркадио Второй, прежде чем добраться до своего дома, ему сказали то же самое: «Не было мертвых». Он прошел через привокзальную площадь, увидел нагроможденные один на другой столы для фританги и не обнаружил никаких следов бойни. Улицы под непрекращающимся дождем были пустынны, в наглухо закрытых домах не было заметно даже признаков жизни. Единственным свидетельством того, что здесь есть люди, был звон колоколов, призывавший к утренней мессе. Хосе Аркадио Второй постучал в дверь дома полковника Гавилана. Беременная женщина, которую он до этого видел много раз, захлопнула дверь у него перед носом. «Он уехал,— сказала она испуганно.— Вернулся к себе на родину». У главного входа в электрифицированный курятник, как всегда, стояли двое местных полицейских, в своих плащах и клеенчатых шлемах они были похожи на каменные изваяния под дождем. На окраинной улочке антильские негры распевали хором псалмы. Хосе Аркадио Второй перепрыгнул через ограду двора и вошел в кухню дома Буэндиа. Санта София де ла Пьедад сказала ему полушепотом: «Смотри, чтоб тебя не увидела Фернанда. Она уже встала». Как будто выполняя некое тайное соглашение, Санта София де ла Пьедад отвела сына в «горшечную комнату», застелила ему полуразвалившуюся раскладную кровать

Мелькиадеса и в два часа дня, когда Фернанда легла поспать, передала ему в окно тарелку с едой.

Аурелиано Второй ночевал дома, потому что там его застал дождь, и в три часа дня он все еще ждал, когда прояснится. Санта София де ла Пьедад по секрету сообщила ему о появлении брата, и он пошел в комнату Мелькиадеса. Аурелиано Второй тоже не поверил ни в историю о бойне на площади, ни в ночной кошмар с нагруженным трупами поездом, который шел к морю. Накануне вечером в Макондо было опубликовано чрезвычайное коммюнике правительства, сообщавшее, что рабочие подчинились приказу покинуть вокзал и мирными колоннами разошлись по домам. Коммюнике также доводило до сведения народа, что вожаки профсоюзов, проникшись высоким патриотизмом, свели свои требования к двум пунктам: реформа медицинского обслуживания и постройка отхожих мест при бараках. Позже Аурелиано Второй узнал, что, уладив дело с рабочими, военные власти поспешили известить о том господина Брауна, а он не только согласился удовлетворить новые требования, но даже предложил устроить за счет компании трехдневное народное гулянье и отпраздновать примирение. Однако, когда военные спросили его, на какое число можно назначить подписание соглашения, он поглядел в окно на озаряемое вспышками молний небо и сделал жест, выражавший полную неопределенность.

— Вот разгуляется погода,— сказал он.— На время дождей мы приостанавливаем всякую деятельность.

Дождей не было целых три месяца — стоял засушливый сезон. Но лишь господин Браун объявил о своем решении, во всей банановой зоне хлынул тот самый проливной дождь, что захватил Хосе Аркадио Второго по дороге в Макондо. Ливень продолжался и через неделю после этого. Официальная версия, которую тысячу раз повторяли и вдалбливали населению всеми имевшимися в распоряжении правительства средствами информации, в конце концов была навязана каждому: мертвых не было, удовлетворенные рабочие вернулись к своим семьям, а банановая компания приостановила работы до конца дождей. Военное положение сохранялось на тот случай, если непрекращающиеся ливни вызовут какое-нибудь бедствие и понадобится принимать чрезвычайные меры, но войска были отведены в казармы. Днем солдаты, засучив штаны до колен, бродили по улицам, превратившимся в бурные потоки, и пускали с ребятишками кораблики. Ночью, после наступления комендантского часа, они вышибали ударами прикладов двери, вытаскивали подозреваемых из постелей и уводили туда, откуда не было возврата. Все еще велись поиски и уничтожение преступников, убийц, поджигателей и нарушителей декрета номер четыре, но военные отрицали это даже перед родными своих жертв, переполнявшими контору начальника гарнизона, пытаясь узнать о судьбе арестованных. «Я уверен, что вам это просто приснилось,— твердил начальник гарнизона.— В Макондо ничего не произошло, ничего не происходит и никогда ничего не произойдет. Это счастливый город». Так были уничтожены все руководители профсоюзов.

Уцелел лишь один Хосе Аркадио Второй. Однажды ночью, в феврале, двери дома затряслись от ударов прикладов. Этот резкий стук ни с чем нельзя было спутать. Аурелиано Второй, который все еще ждал, когда прояснится, чтобы выйти из дома, открыл дверь и увидел шесть солдат во главе с офицером в мокрых от дождя плащах. Не сказав ни слова, они обыскали дом, комнату за комнатой, шкаф за шкафом — все, от гостиных до кладовой. Урсула проснулась, когда зажгли свет в ее комнате, и, пока шел обыск, лежала, затаив дыхание, но сделала из пальцев крест и все время направляла его туда, куда переходили солдаты. Санта София де ла Пьедад успела разбудить Хосе Аркадио Второго, спавшего в комнате Мелькиадеса, однако ему сразу стало ясно, что ны-

таться бежать слишком поздно. Санта София де ла Пьедад снова заперла дверь, а он надел рубаху и ботинки и сел на кровать, ожидая, когда они появятся. В этот момент они обыскивали ювелирную мастерскую. Офицер приказал открыть висячий замок, быстрым взмахом фонаря обвел помещение, увидел рабочий стол, витраж, флаконы с кислотами, инструменты, лежавшие на тех же местах, где их оставил хозяин, и, казалось, понял, что в этой комнате никто не живет. Но тем не менее коварно спросил Аурелиано Второго, не ювелир ли он, тот объяснил, что здесь была мастерская полковника Аурелиано Буэндиа. «Так!» — сказал офицер, зажег свет и отдал приказ произвести тщательный обыск, от которого не укрылись восемнадцать золотых рыбок — оставшись нерасплавленными, они лежали под флаконами в жестяной банке. Офицер высыпал их на стол и внимательно рассмотрел каждую, после чего заметно смягчился. «Я бы хотел взять себе одну, если вы позволите,— сказал он.— В свое время они были опознавательным знаком мятежников, но сейчас это реликвия». Он был совсем молодой, почти юноша, но держался очень уверенно, и только теперь стало заметно, что в нем есть нечто привлекательное, располагающее. Аурелиано Второй подарил ему золотую рыбку. У офицера радостно, как у ребенка, заблестели глаза, он спрятал рыбку в карман, а остальные бросил в банку и поставил ее на место.

— Такому подарку цены нет,— заметил он.— Полковник Аурелиано Буэндиа был одним из наших самых великих людей.

Однако этот приступ человечности не повлиял на его профессиональное поведение. Перед дверью в комнату Мелькиадеса Санта София де ла Пьедад прибегла к последней оставшейся у нее в запасе уловке. «Здесь уже почти сто лет никто не живет»,— сказала она. Офицер заставил открыть комнату, пробежал по ней лучом фонаря, и Аурелиано Второй и Санта София де ла Пьедад увидели арабские глаза Хосе Аркадио Второго в тот момент, когда блик света скользнул по его лицу, и поняли, что это конец одной тревоги и начало другой, спасение от которой только в смирении. Однако офицер продолжал водить лучом фонаря по комнате и не проявил никаких признаков заинтересованности, пока не обнаружил семьдесят два горшка, сложенные штабелями в шкафу. Тогда он зажег свет. Хосе Аркадио Второй, более чем когда-либо торжественный и задумчивый, сидел на краю койки, готовый встать и пойти. За ним виднелись полки с растрепанными книгами и свертками пергаментов, все еще чистый и прибранный рабочий стол с чернильницами, все еще полными чернил. В комнате был тот же свежий и прозрачный воздух, та же неподвластность пыли и разрушению, которые помнил по своему детству Аурелиано Второй и которые не способен был замечать один лишь полковник Аурелиано Буэндиа. Но внимание офицера было приковано только к горшкам.

— Сколько человек живет в доме? — спросил он.

— Пять.

Офицер, очевидно, был в недоумении. Взгляд его остановился на том пространстве, где Аурелиано Второй и Санта София де ла Пьедад продолжали видеть Хосе Аркадио Второго, теперь и сам Хосе Аркадио Второй заметил, что военный смотрит на него, не видя его. Потом офицер выключил свет и прикрыл дверь. Когда он заговорил с солдатами, Аурелиано Второй понял, что молодой военный видел комнату Мелькиадеса теми же глазами, какими видел ее полковник Аурелиано Буэндиа.

— В эту комнату действительно уже лет сто по крайней мере никто не заглядывал,— сказал офицер своим солдатам.— Там, наверное, даже змеи водятся.

Когда дверь закрылась, Хосе Аркадио Второй почувствовал уверенность, что его война пришла к концу. За много лет до этого полковник Аурелиано Буэндиа рассказывал ему о притягательной силе войны и пы-

тался доказать свое утверждение бесчисленными примерами из собственного опыта. Хосе Аркадио Второй поверил ему. Но в ту ночь, пока офицер глядел на него, не видя его, он вспомнил о напряжении последних месяцев, о мерзостях тюрьмы, о панике на станции, о поезде, груженном трупами, и пришел к заключению, что полковник Аурелиано Буэндиа всего лишь шарлатан или дурак. Он не понимал, зачем нужно было тратить столько слов, чтобы объяснить, что ты испытываешь на войне, когда достаточно всего одного слова: страх. В комнате Мелькиадеса он, защищенный разлитым в ней колдовским светом, шумом дождя, чувством своей невидимости, обрел тот покой, которого не имел ни одной минуты за всю свою прошлую жизнь, единственное, что еще вызывало в нем трепет, было опасение, как бы его не похоронили заживо. Он рассказал об этом Санта Софии де ла Пьедад, носившей ему пищу, и та обещала сделать все возможное, прожить как можно дольше и удостовериться собственными глазами, что его хоронят не живым. Тогда, освободившись, наконец, от всяких страхов, Хосе Аркадио Второй занялся изучением пергаментов Мелькиадеса, и чем меньше он понимал их, тем с большим удовольствием продолжал изучать. Он привык к шуму дождя, который через два месяца превратился уже в новую форму тишины, и его одиночество нарушалось лишь появлением Санта Софии де ла Пьедад. Он упросил ее оставлять еду на подоконнике, а на дверь повесить замок. Другие члены семьи забыли о Хосе Аркадио Втором, даже Фернанда, не возражавшая против пребывания деверя в доме, с тех пор как ей стало известно, что офицер застал его в комнате, но не увидел. Через полгода заточения Хосе Аркадио Второго, когда войска покинули Макондо, Аурелиано Второй, жаждавший поболтать с кем-нибудь, пока перестанет дождь, снял замок с дверей комнаты. Как только он вошел, в нос ему сразу ударило зловоние от горшков, они стояли на полу и были неоднократно использованы по назначению. Хосе Аркадио Второй, облысевший, не замечающий тошнотворных, отравляющих воздух испарений, продолжал читать и перечитывать непонятные пергаменты. Он весь светился каким-то ангельским сиянием. При звуке открывшейся двери он лишь поднял глаза от стола и снова опустил их, но брату было достаточно и этого короткого мгновения, чтобы увидеть в его взгляде повторение непоправимой судьбы прадеда.

— Их было больше трех тысяч,— вот все, что сказал Хосе Аркадио Второй.— Я уверен теперь, что там были все, кто собрался на станции.

■

Дождь лил четыре года, одиннадцать месяцев и два дня. Порой он словно бы затихал, и тогда все жители Макондо в ожидании скорого конца ненастья надевали праздничные одежды, и на лицах у них теплились робкие улыбки выздоравливающих, однако вскоре население города привыкло к тому, что после каждого такого просвета дождь возобновляется с новой силой. Гулкие раскаты грома разрывали небо; с севера на Макондо налетали ураганные ветры, они сносили крыши, валили стены, с корнем вырывали последние банановые деревья, оставшиеся на плантациях. Но как и во времена бессонницы, которую Урсула часто вспоминала в те дни, само бедствие подсказывало лекарства против порожденной им скуки. Аурелиано Второй был одним из самых упорных борцов с бездельем. Накликанная господином Брауном буря захватила его в доме у Фернанды, куда он заглянул в тот вечер по какому-то пустяковому поводу. Фернанда предложила своему супругу поломанный зонтик, отыскавшийся в стенном шкафу. «Не нужно,— сказал Аурелиано Второй.— Я побуду здесь, пока не пройдет дождь». Конечно, эта фраза не могла считаться нерушимой клятвой, но Аурелиано Второй твердо намеревался сдержать свое слово. Его белье осталось в доме Петры

Котес, и каждые три дня он стаскивал с себя всю одежду и в одних трусах ждал, пока ему не постирают. Чтобы не скучать, он взялся устранить все изъяны, накопившиеся в доме. Он прилаживал дверные петли, смазывал замки, привинчивал засовы и выпрямлял шпингалеты. В течение нескольких месяцев можно было видеть, как он бродит по дому, таская под мышкой ящик с инструментами, который, должно быть, забыли цыгане еще при Хосе Аркадио Буэндиа, и никто не знал почему — то ли от физической работы, то ли от дьявольской скуки, то ли от вынужденного воздержания,— но его брюхо постепенно опадало, как пустеющий бурдюк с вином, его лицо, напоминающее блаженную морду гигантской черепахи, теряло свой багрово-красный оттенок, двойной подбородок сглаживался, и, наконец, Аурелиано Второй похудел настолько, что начал сам завязывать шнурки своих ботинок. Глядя, как он старательно прилаживает дверные щеколды и разбирает на части стенные часы, Фернанда подумала, не впал ли ее супруг в грех переливания из пустого в порожнее, подобно полковнику Аурелиано Буэндиа с его золотыми рыбками, Амаранте с ее пуговицами и саваном, Хосе Аркадио Второму с пергаментами и Урсуле, вечно пережевывающей свои воспоминания. Но это было не так. Просто дождь все перевернул вверх ногами и даже у бесплодных механизмов, если их не смазывали три дня, между шестеренками прорастали цветы, нити парчовых вышивок покрывались ржавчиной, а в отсыревшем белье заводились водоросли шафранного цвета. Воздух был настолько пропитан влагой, что рыбы могли бы проникнуть в дом через открытую дверь, проплыть по комнатам и выплыть из окон. Однажды утром Урсула проснулась, чувствуя страшную слабость — предвестие близкого конца — и уже попросила было положить ее на носилки и отнести к падре Антонио Исабелю, но тут Санта София де ла Пьедад обнаружила, что вся спина старухи усеяна пиявками. Раздувшихся тварей прижигали головешками и отрывали одну за другой, чтобы они не высосали из Урсулы последние остатки ее крови. Пришлось вырыть сточные канавы, отвести воду из дома, очистить комнаты от жаб и улиток, только после этого можно было вытереть полы, убрать кирпичи из-под ножек кроватей и ходить в ботинках. Занятый сотнями мелочей, которые требовали его внимания, Аурелиано Второй не замечал приближения старости, но однажды вечером, когда он неподвижно сидел в качалке, созерцая ранние сумерки, и думал о Петре Котес, он вдруг почувствовал, что стареет. Казалось, ничто ему не мешало вернуться в пресные объятия Фернанды, чья красота с приходом зрелости расцвела еще больше, но дождь смыл все желания и наполнил его безразличным спокойствием пресытившегося человека. Аурелиано улыбнулся при мысли, чего бы он только не вытворял раньше в такой дождь, затянувшийся на целый год. Одним из самых первых он привез в Макондо цинковые листы, и это было до того, как банановая компания ввела в моду цинковые крыши. Он раздобыл их только для того, чтобы покрыть спальню Петры Котес и наслаждаться ощущением глубокой близости, которое в те времена вызывал у него шум дождя. Но даже эти воспоминания о былых безумствах и причудах молодости не взволновали Аурелиано Второго, как будто в последней гулянке он истощил все запасы своей чувственности и в награду получил дивное свойство — способность думать о прошлых радостях без горечи и раскаяния. На первый взгляд казалось, что дождь наконец дал ему возможность спокойно сесть и поразмышлять на досуге, а ящик с масленками и плоскогубцами разбудил в его душе запоздалую тоску по тем полезным делам, которыми он мог бы заняться и не занялся. Но это было не так. Любовь к оседлости и домашнему уюту, одолевшая Аурелиано Второго, не зависела ни от воспоминаний, ни от горького жизненного опыта. Ее породил дождь, вызвал из прошлого, из того далекого детства, когда он читал в комнате Мелькиадеса

волшебные сказки о коврах-самолетах и китах, проглатывающих целые корабли со всем экипажем. В один из тех дней по недосмотру Фернанды и пробрался в галерею маленький Аурелиано. Аурелиано Второй сразу признал в нем своего внука. Он подстриг малышу волосы, одел его, научил не пугаться людей, и вскоре уже никто не сомневался в том, что это законный Аурелиано Буэндиа, наделенный всеми характерными родовыми признаками: торчащими скулами, удивленным взглядом и одиноким видом. С тех пор Фернанда успокоилась. Она давно уже пыталась обуздать свою гордыню, но не знала, как это сделать, ибо, чем больше она думала о разных возможных выходах из создавшегося положения, тем менее разумными они ей казались. Знай она, что Аурелиано Второй примет неожиданного внука так, как он это сделал,— с добродушной снисходительностью дедушки, она не прибегала бы к таким увертками и отсрочкам и еще с прошлого года отказалась бы от умерщвления своей плоти. Для Амаранты Урсулы, уже сменившей к тому времени молочные зубы на постоянные, племянник был живой игрушкой, которой она развлекалась в томительные часы дождя. Как-то раз Аурелиано Второй вспомнил, что в бывшей спальне Меме валяется всеми забытая английская энциклопедия. Он взялся показывать детям картинки: сначала изображения животных, потом географические карты, пейзажи далеких стран, портреты знаменитых людей. Аурелиано Второй не был знаком с английским и с трудом мог распознавать лишь самые известные города и наиболее популярных исторических деятелей, поэтому ему пришлось изобретать имена и самому выдумывать легенды, дабы удовлетворить ненасытное детское любопытство.

Фернанда была убеждена, что ее супруг не преминет вернуться к своей сожительнице, как только распогодится. В первые месяцы дождя она опасалась, как бы он не попытался проскользнуть в ее спальню, тогда ей пришлось бы пройти через постыдное объяснение и рассказать ему, что после рождения Амаранты Урсулы она утратила способность к супружеской жизни. Этими страхами и объяснялась усиленная переписка Фернанды с невидимыми целителями, прерываемая частыми нарушениями почтовой связи. В первые месяцы дождя буря вызвала ряд железнодорожных катастроф, и Фернанда из одного письма невидимых целителей поняла, что ее послания не дошли по назначению. Позже, когда связь с невидимыми корреспондентами окончательно прекратилась, она всерьез подумывала, не надеть ли ей маску тигра, которую носил ее муж на кровавом карнавале, и не пойти ли под вымышленным именем на прием к врачам банановой компании. Но от одной из женщин, часто заносивших в дом новые рассказы о бедствиях, причиненных потопом, она узнала, что компания вывезла свои амбулатории в те края, где нет дождей. Тогда Фернанда перестала надеяться. Она покорилась судьбе и принялась ждать, пока не утихнет дождь и снова не заработает почта, а до тех пор врачевала свои тайные недуги домашними средствами, ибо предпочла бы умереть, чем отдаться в руки последнего оставшегося в Макондо врача, экстравагантного француза, который питался травой, служившей кормом скоту. Она сблизилась с Урсулой, надеясь выведать у нее какой-нибудь спасительный рецепт. Но привычка не называть вещи своими именами заставила Фернанду поменять причины на следствия, заменить внутренние явления — внешними, объявить кровотечения — жаром. В таком виде ее болезни казались ей менее постыдными, и Урсула резонно заключила, что заболевание не утробного, а желудочного характера, и посоветовала принять таблетку каломели. Если бы не хворь, в которой любая другая женщина, не страдающая болезненной стыдливостью, не обнаружила бы ничего для себя позорного, и не пропади ее письма, Фернанда не обращала бы внимания на ливень, ибо в конце концов всю свою жизнь она жила так, словно за окном неистовствует

проливной дождь. Она не изменила часы трапез и не отказалась ни от одной из своих привычек. Под ножки стола подкладывали кирпичи, стулья громоздили на толстые доски — иначе обедающие промочили бы ноги,— а Фернанда по-прежнему продолжала стелить скатерти из голландского полотна, расставлять китайский сервиз и зажигать перед ужином свечи в канделябрах, так как, по ее глубочайшему убеждению, стихийное бедствие—это еще не повод для нарушения раз заведенных традиций. Никто из обитателей дома не показывался на улице. Если бы Фернанда могла, она бы навсегда закрыла все входные двери еще задолго до начала дождя, ибо, по ее мнению, двери были изобретены лишь для того, чтобы их запирать, а интересоваться событиями, происходящими на улице,— занятие, достойное проституток. И тем не менее она первой бросилась к окну, когда стало известно, что мимо дома несут гроб с телом полковника Херинельдо Маркеса, однако зрелище, увиденное через приоткрытое окно, до такой степени огорчило Фернанду, что еще долгое время она раскаивалась в своей минутной слабости.

Более убогой похоронной процессии нельзя было себе представить. Гроб стоял на простой повозке, запряженной волами, над ним колыхался навес из банановых листьев, но дождь лил, не переставая, колеса увязали по ступицу в грязи, и навес только чудом удерживался на повозке. Горестные потоки воды низвергались на лежащее поверх гроба знамя, уже и так промокшее насквозь, это было то самое знамя, покрытое пороховой копотью и кровью, которое вызывало ненависть всех заслуженных ветеранов. На гроб была возложена сабля с кистями из медных и шелковых нитей, та самая сабля, которую полковник Херинельдо Маркес оставлял на вешалке в гостиной, чтобы безоружным войти в комнату, где шила Амаранта. За гробом шлепали по грязи последние ветераны, оставшиеся в живых после Неерландской капитуляции, они шли, засучив штаны по колено, кое-кто даже босиком, и несли в одной руке тростниковую палку, а в другой венок из бумажных цветов, обесцвеченных дождем. Как процессия призраков проследовали они по улице, которая все еще носила имя полковника Аурелиано Буэндиа, дружно, как по команде, повернули головы и посмотрели на дом полковника, затем обогнули дом, вышли на площадь, там им пришлось молить о помощи, потому что импровизированный погребальный катафалк застрял в грязи. Урсула попросила Санта Софию де ла Пьедад поднести ее на руках к дверям. Никто не мог усомниться в том, что старуха видит — с таким вниманием смотрела она на процессию, а рука ее, протянутая вперед, рука архангела-благовестника, повторяла движения траурной колесницы, переваливавшей из ухаба в ухаб.

— Прощай, Херинельдо, сынок!— крикнула Урсула.— Передай нашим мое благословение и скажи, что мы увидимся, как только прояснеет.

Аурелиано Второй помог своей прабабке вернуться в постель и с обычной для него бесцеремонностью спросил, что хотела она сказать своими словами.

— Чистую правду,— ответила Урсула.— Я отойду, как только перестанет дождь.

Лавина грязи, заливавшая улицы, вызвала беспокойство Аурелиано Второго. Им овладела запоздалая тревога за судьбу своего скота, и он набросил на плечи брезент и отправился к Петре Котес. Петра Котес, стоя по пояс в воде во дворе своего дома, пыталась сдвинуть с места дохлую лошадь. Аурелиано Второй взял в руки деревянный кол и помог ей. Огромная раздувшаяся туша качнулась, словно колокол, и была унесена потоком жидкой грязи. С тех пор как начался дождь, Петра Котес только и делала, что очищала двор от падали. В первые недели она посылала записки Аурелиано Второму с просьбами срочно принять

какие-нибудь меры, но тот отвечал, что незачем торопиться, дела обстоят не так уж плохо, и он что-нибудь да надумает, как только дождь перестанет. Петра Котес послала ему сказать, что пастбища затоплены, а скот бежит в горы, там нет корма — животных пожирают ягуары и косят эпидемии. «Не волнуйся,— ответил ей Аурелиано Второй,— скотина будет, только бы дождь перестал». На глазах у Петры Котес животные падали десятками, и она едва успевала разрубить на части тех, что захлебнулись в грязи. Беспомощно смотрела она, как потоп неумолимо уничтожает состояние, некогда считавшееся самым большим и надежным в Макондо, теперь от него оставалось лишь одно зловоние. Когда Аурелиано Второй, наконец, решился пойти посмотреть, что там происходит, он нашел лишь одного истощенного мула, да еще труп лошади среди развалин конюшни. Петра Котес при виде своего сожителя не выказала ни удивления, ни радости, ни злости и только позволила себе иронически улыбнуться.

— Добро пожаловать! — сказала Петра Котес.

Она состарилась, страшно похудела, ее миндалевидные глаза, глаза дикого зверя, привыкнув видеть только дождь, светились печалью и покорностью судьбе. Аурелиано Второй задержался в ее доме больше чем на три месяца, и вовсе не оттого, что тут ему было приятнее жить, чем в своем родном гнезде, а потому, что в более короткий срок он не мог собраться с духом и решиться снова накинуть на себя брезент. «Куда спешить,— говорил он, как говаривал и в доме Урсулы.— Небо вот-вот прояснится». Первую неделю он свыкался с изменившейся внешностью Петры Котес — время и дождь нанесли красоте его возлюбленной немалый урон, но постепенно он начал смотреть на нее прежними глазами, вспомнил былые безумства, бешеную плодовитость, которую их любовь вызывала у скота, и как-то ночью на второй неделе, движимый отчасти желанием, отчасти корыстью, он разбудил женщину воодушевляющими ласками. Но Петра Котес осталась равнодушной. «Спи спокойно,— пробормотала она,— нынче не время для глупостей». И Аурелиано Второй увидел самого себя в зеркалах на потолке, увидел спинной хребет Петры Котес — вереницу катушек, обмотанных пучком жил, и понял, что женщина права, но изменилось не время, а они сами сделались непригодными для милых глупостей.

Аурелиано Второй вернулся в дом к Фернанде со своими сундуками, вернулся, убежденный в том, что не только Урсула, но и все обитатели Макондо ждут, когда перестанет дождь, чтобы умереть. Проходя по улицам, он видел в домах людей с остановившимся мертвым взглядом, они сидели, скрестив руки на груди, всем существом ощущая, как течет поток цельного, неукрощенного, неупорядоченного времени, ибо бесполезно делить его на месяцы и годы, на дни и часы, если нельзя заняться ничем другим, кроме созерцания дождя. Дети с шумным ликованием встретили Аурелиано Второго, и он опять принялся развлекать их игрой на своем аккордеоне, уже страдающем одышкой. Но младшему поколению Буэндиа больше нравилось разглядывать картинки в энциклопедии, и они снова стали собираться в спальне Меме, где пылкое воображение Аурелиано Второго превратило дирижабль в летающего слона, который ищет в облаках местечко поудобнее, где бы расположиться на ночлег. На другом листе он обнаружил изображение всадника; несмотря на экзотическую одежду в нем было что-то знакомое; изучив рисунок вдоль и поперек, Аурелиано Второй пришел к выводу, что перед ним портрет полковника Аурелиано Буэндиа. Он показал рисунок Фернанде, и та согласилась, что всадник похож, но не только на одного полковника, а на всех членов семьи в целом. В действительности на картинке был изображен татарский воин. Так Аурелиано Второй безмятежно коротал время между Колоссом Родосским и заклинателями змей, пока его суп-

руга не объявила ему, что в доме осталось всего лишь шесть килограммов солонины да мешок риса.

— Что же ты хочешь от меня? — спросил он.

— Не знаю,— ответила Фернанда.— Это мужское дело.

— Хорошо,— сказал Аурелиано Второй,— что-нибудь да придумаю, когда утихнет дождь.

Он по-прежнему больше интересовался энциклопедией, чем домашними делами, хотя на обед ему давали жалкий обрезок мяса и горстку риса. «Сейчас ничего нельзя предпринять,— говорил он.— Не может же дождь лить вечно». Чем дальше он откладывал заботы о пополнении кладовой, тем больше нарастало возмущение Фернанды, пока, наконец, ее жалобы, перемежавшиеся редкими роздыхами, не слились в один сплошной, неудержимый поток слов; шум его, начинаясь утром, напоминал монотонное звучание басовых струн гитары, а к вечеру поднимался до высоких нот, насыщаясь все более яркими оттенками. Аурелиано Второй сначала не обращал внимания на этот кошачий концерт, но на следующий день после завтрака его оглушило жужжание еще более назойливое и громкое, чем шум дождя. Это Фернанда бродила по всему дому, жалуясь, что воспитали ее как королеву, а она превратилась в служанку в этом сумасшедшем доме, мыкается с мужем — бездельником, безбожником и бабником, который валится на кровать, разевает пасть и ждет, что ему туда посыплется манна небесная, пока она гнет спину и тащит на себе этот дом, который держится на честном слове, дом, где она все чистит, убирает, чинит с рассвета до поздней ночи; и как спать ложиться, у нее глаза жжет, словно в них песку насыпали, и никто никогда не скажет ей: добрый день, Фернанда, хорошо ли тебе спалось, Фернанда; никто не спросит ее, хотя бы из вежливости, почему она так бледна, почему она просыпается с такими синяками под глазами, впрочем, она и не ждет никакого внимания от этой семьи, которая в конце концов всегда относилась к ней как к помехе, как к тряпке, которой снимают с плиты горячие котелки,— уродцу, намалеванному на стене; эта семейка всегда интриговала против нее по углам, называла ее ханжой, называла ее фарисейкой, называла ее притворой, и даже Амаранта — упокой, господи, ее душу — во всеуслышание объявила, что она, Фернанда, из тех, кто путает задний проход с великим постом,— боже милостивый, что за выражения,— и она терпела, покорно подчиняясь воле всевышнего, но больше не в силах терпеть; как-то раз этот негодяй, Хосе Аркадио Второй, сказал, что семья погибла потому, что впустила в дом качако в юбке, вообразите себе, властолюбивого качако в юбке — прости, господи, мое согрешение,— качако сучьей породы, из тех качако, что правительство послало убивать рабочих; и — подумать только — он имел в виду ее, Фернанду, крестницу герцога Альбы, даму столь знатного происхождения, что супруги президентов ей завидовали, чистокровную дворянку, которая имеет право подписываться одиннадцатью испанскими именами, единственную смертную в этом городишке ублюдков, которую не может смутить стол, накрытый на шестнадцать персон; а этот грязный прелюбодей, ее муж, сказал, умирая со смеху, что столько ложек и вилок и столько ножей и чайных ложечек потребно не добрым христианам, а разве что сороконожкам; и ведь только она одна знает, когда следует подавать белое вино, и с какой руки, и в какой бокал наливать, и когда следует подавать красное вино, и с какой руки, и в какой бокал наливать, не то, что эта деревенщина Амаранта — да покоится она с миром,— которая считала, что белое вино пьют днем, а красное вечером, она, Фернанда, единственная на всем побережье может похвастаться тем, что ходит только в золотой ночной горшок, а у этого злостного франкмасона, полковника Аурелиано Буэндиа — упокой, господи, его душу,— хватило дерзости спросить, почему она заслужила эту привиле-

гию, не потому ли, что испражняется хризантемами; а Рената, ее собственная дочь, нагло подсмотрела, как она справляет большую нужду в спальне, и потом рассказывала, что горшок действительно весь золотой и со многими гербами, но внутри его простое дерьмо, самое обыкновенное дерьмо и даже хуже, чем обыкновенное,— дерьмо качако,— представьте себе, ее собственная, родная дочь; что правда, то правда, она никогда не обманывалась относительно других членов семейства, но, во всяком случае, имела право ожидать хоть малую толику уважения со стороны своего мужа, ибо, как ни говори, он ее супруг перед богом и людьми, ее господин, ее заступник, который возложил на себя по своей доброй воле и по воле божьей великую ответственность и взял ее из родительского дома, где она жила, не зная нужды и забот, где она плела похоронные венки только ради времяпрепровождения, ведь ее крестный прислал ей письмо, скрепленное его собственноручной подписью и оттиском его кольца на сургучной печати, письмо, подтверждающее, что руки его крестницы сотворены не для трудов земных, а для игры на клавикордах; и, однако, этот бесчувственный чурбан, ее муж, извлек ее из родительского дома и, напутствуемый добрыми советами и предупреждениями, привез сюда, в адское пекло, где так жарко, что просто дышать нечем; и не успела она соблюсти воздержание, предписанное в дни поста, а он уже схватил свои перелетные сундуки и свой грязный аккордеон и отправился жить в беззаконии со всей наложницей, с этой жалкой потаскухой, достаточно взглянуть на ее задницу — пусть так, слово уже вылетело,— достаточно взглянуть, как она вертит своей задницей, здоровенной, как у молодой кобылы, и сразу станет ясно, что это за птица, что это за тварь, совсем другой породы, чем она, Фернанда, которая остается дамой и во дворце, и в свинарнике, и за столом, и в постели, прирожденной дамой, богобоязненной, законопослушной, покорной судьбе; она, конечно, не согласится вытворять разные грязные штучки, их можно вытворять с той, другой, та, другая, разумеется, готова на все, как француженки, и даже хуже их в тысячу раз, француженки хоть поступают честно и вешают на двери красный фонарь, еще бы не хватало, чтобы он вытворял такое свинство с нею, с Фернандой, единственной и возлюбленной дочерью доньи Ренаты Арготе и дона Фернандо дель Карпио, в особенности последнего, этого святого человека, истинного христианина, кавалера ордена Святой гробницы, они особой божьей милостью избегают тления в могиле, кожа у них и после смерти остается чистой и гладкой, как атласное платье невесты, а глаза живыми и прозрачными, как изумруды.

— Ну это уж неправда,— прервал ее Аурелиано Второй,— когда его привезли, он изрядно попахивал.

Он терпеливо слушал весь день, пока, наконец, не уличил Фернанду в неточности. Фернанда ничего не ответила, только понизила голос. В этот вечер за ужином ее сводящее с ума жужжание заглушило шум дождя. Аурелиано Второй сидел за столом, понурив голову, ел очень мало и рано ушел к себе в спальню. На следующий день за завтраком Фернанда вся тряслась, видно было, что она провела бессонную ночь, но воспоминания о былых обидах, казалось, перестали ее мучить. Однако, когда Аурелиано Второй спросил, не могла ли бы она дать ему вареное яйцо, она не ограничилась простым сообщением, что яйца кончились еще на прошлой неделе, но завела едкую обвинительную речь против мужчин, которые проводят время, любуясь своим грязным пупом, а затем имеют наглость требовать, чтобы им подали на стол печень жаворонка. Аурелиано Второй, как обычно, собрал детей и стал рассматривать с ними картинки в энциклопедии, но Фернанда сделала вид, что прибирает в спальне Меме, а на самом деле ей хотелось только одного — пусть он слышит, как она бормочет, что, разумеется, только тот, кто

потерял последний стыд, может внушать бедным, невинным созданиям, будто в энциклопедии нарисован полковник Аурелиано Буэндиа. Днем в часы сиесты, когда дети легли спать, Аурелиано Второй уселся в галерее, но Фернанда и там его нашла, она дразнила его, издевалась над ним, кружилась вокруг него с неумолимым жужжанием овода, она твердила, что, разумеется, пока в доме не останутся для еды одни камни, ее распрекрасный муженек будет сидеть, как персидский султан, и глазеть на дождь, потому что он лодырь, нахлебник, ничтожество, тряпка, привык жить за счет женщин и думает, что женился на супруге Ионы, которой можно заговорить зубы сказкой о ките. Аурелиано Второй слушал Фернанду больше двух часов, бесстрастный, будто глухой. Он не прерывал жену до позднего вечера и только тогда потерял терпение. Ее слова барабанным боем отзывались в его мозгу.

— Да замолчи ты Христа ради,— взмолился он.

Фернанда в ответ повысила голос.

— Не замолчу,— сказала она.— Тот, кому не по душе мои слова, пусть убирается вон.

Тогда Аурелиано Второй вышел из себя. Он медленно поднялся, словно собираясь потянуться, и с холодной яростью начал снимать с подставок один за другим горшки и вазоны с бегониями, папоротниками, душицей и один за другим бросал их на пол, разбивая вдребезги. Фернанда испугалась — до сих пор она не имела ясного представления о том, какой страшной скрытой силой воздействия обладает ее исступленная болтовня, но было уже слишком поздно, чтобы попытаться найти путь к примирению. Опьяненный внезапным и безудержным ощущением свободы, Аурелиано Второй разбил стеклянную горку, принялся доставать оттуда посуду и не спеша швырять на пол тарелки, стаканы, бокалы. Сохраняя полное спокойствие, он с серьезным, сосредоточенным видом и с той же тщательностью, с которой некогда оклеивал дом кредитками, бил об стены богемский хрусталь, цветочные вазы ручной росписи, картины, изображающие девушек в лодках, наполненных розами, зеркала в золоченых рамах и все, что можно было разбить во всех комнатах дома, начиная с гостиной и кончая кладовой. Последним попался ему под руку большой глиняный кувшин, стоявший на кухне. С грохотом, похожим на взрыв бомбы, кувшин разлетелся во дворе на тысячи кусков. Затем Аурелиано Второй вымыл руки, накинул на себя брезент и еще до полуночи вернулся с кусками жилистой солонины, с мешками, в которых были рис, кукуруза и долгоносики, и с несколькими жалкими гроздьями бананов. С тех пор в доме не было недостатка в съестных припасах.

Амаранта Урсула и маленький Аурелиано вспоминали дни и годы дождя как самое счастливое время своей жизни. Несмотря на запреты Фернанды, они шлепали по лужам во дворе, ловили ящериц и четвертовали их, играли в отравление супа, подсыпая в него тайком от Санта Софии де ла Пьедад пыльцу, снятую с крыльев бабочек. Но самой любимой игрушкой для них была Урсула. Они обращались с ней как с большой ветхой куклой, таскали по всем углам, наряжали в цветные тряпки, мазали лицо сажей и красной краской, а однажды чуть было не выкололи ей глаза садовыми ножницами, как выкалывали жабам. Особенно они веселились, когда старуха начинала бредить. На третий год дождя в мозгу Урсулы, очевидно, и в самом деле произошли какие-то сдвиги, она мало-помалу утрачивала чувство реальности, стала путать настоящее с отдаленными эпохами своей жизни и целых три дня безутешно рыдала, оплакивая смерть своей прабабки, Петронилы Игуаран, погребенной более ста лет тому назад. В голове ее все смешалось: она принимала маленького Аурелиано за своего сына-полковника в том возрасте, когда того повели посмотреть на лед, а семинариста Хосе Аркадио путала со

своим первенцем, бежавшим с цыганами. Урсула так много рассказывала о семье, что дети наловчились приводить к ней в гости родственников, умерших много лет назад и живших в самое различное время. Волосы у нее были посыпаны золой и глаза завязаны красным платком, но она была счастлива, сидя на кровати в компании своих родных, которых Амаранта Урсула и Аурелиано описывали во всех подробностях, как если бы на самом деле их видели. Урсула беседовала со своими пращурами о событиях, происшедших еще до ее рождения, живо интересовалась новостями, которые они ей сообщали, и вместе с ними оплакивала родичей, умерших уже после смерти ее воображаемых собеседников. Дети не замедлили обратить внимание на то, что Урсула упорно пытается выяснить, кто был тот человек, который однажды во время войны принес ей гипсовую статую святого Иосифа в натуральную величину и попросил сохранить, пока не перестанет дождь. Тут Аурелиано Второй вспомнил о сокровище, спрятанном в каком-то месте, известном только Урсуле, но все его расспросы и хитрые уловки ни к чему не привели — плутающая в лабиринте бреда Урсула все же сохраняла достаточно разума, чтобы не открыть тайны, она могла поверить ее только тому, кто докажет, что он и есть законный владелец спрятанного золота. Урсула была настолько хитра и так непреклонна, что когда Аурелиано Второй попытался выдать одного из своих старых собутыльников за владельца сокровища, она разоблачила самозванца, учинив ему кропотливый допрос и расставив множество незаметных западней.

Убежденный в том, что Урсула унесет свою тайну в могилу, Аурелиано Второй нанял артель землекопов, якобы собираясь вырыть во дворе и на заднем дворе осушительные канавы, и собственноручно истыкал всю землю железным прутом и исследовал ее с помощью всевозможных металлоискателей, но за три месяца изнурительных поисков не нашел ничего похожего на золото. Тогда, полагая, что карты видят лучше, чем землекопы, он обратился за содействием к Пилар Тернере, но та объяснила ему — карты смогут открыть истину только, если сама Урсула своей рукой снимет колоду. И все же гадалка подтвердила существование клада и даже уточнила, что он состоит из семи тысяч двухсот четырнадцати золотых монет в трех парусиновых мешках, завязанных медной проволокой и зарытых в круге, радиусом сто двадцать два метра, центром которого служит кровать Урсулы. Однако Пилар Тернера предупредила, что клад не дастся в руки до тех пор, пока не кончится дождь и после этого трижды не настанет месяц июнь и болота не высохнут под его солнцем. Изобилие и туманная скрупулезность этих сведений живо напомнили Аурелиано Второму рассказы о привидениях, и он тут же решил продолжать поиски, хотя дело было уже в августе и до того времени, когда исполнятся условия предсказания, оставалось по меньшей мере еще три года. Его чрезвычайно удивило и даже озадачило то обстоятельство, что от кровати Урсулы до изгороди заднего двора оказалось ровно сто двадцать два метра. Когда Фернанда увидела, как Аурелиано Второй измеряет комнаты, и услышала, как он велит землекопам углубить канавы еще на один метр, она испугалась, что ее муж рехнулся, как и его брат-близнец. Охваченный поисковой лихорадкой вроде той, которая терзала его прадеда на пути к великим изобретениям, Аурелиано Второй израсходовал свои последние мизерные запасы жира и его былое сходство с братом снова выступило наружу; он походил на Хосе Аркадио Второго не только худобой и угловатостью фигуры, но и рассеянным взглядом и отрешенным видом. Детьми он больше не занимался. Весь в грязи с головы до ног, он ел когда придется, забравшись в угол кухни, и едва отвечал на случайные вопросы Санта Софии де ла Пьедад. Видя, что Аурелиано Второй работает с таким рвением, какого в нем и заподозрить нельзя было, Фернанда приняла охвативший его

азарт за трудолюбие, его мучительную жажду наживы — за самоотверженность, его упрямство — за настойчивость; теперь ее мучили угрызения совести, когда она вспоминала все ядовитые слова, брошенные ему в лицо, чтобы вывести его из состояния апатии. Но Аурелиано Второй не замечал готовности Фернанды к примирению. Стоя по горло в трясине из мертвых веток и сгнивших цветов, он перекапывал сад, покончив уже со двором и задним двором, и так глубоко подрыл фундамент восточной галереи, что однажды ночью обитатели дома были разбужены подземными толчками и страшным треском, исходящим откуда-то из-под земли, они подумали было о землетрясении, но оказалось, что это провалился пол в трех комнатах дома, а в полу галереи открылась огромная трещина, доходившая до спальни Фернанды. Но и тут Аурелиано Второй не отказался от своих поисков. Хотя последняя надежда угасла и ему оставалось только цепляться за предсказания карт, все же он укрепил пошатнувшийся фундамент, залил трещину известковым раствором и продолжал свои раскопки уже на западной стороне. Там его и застигла вторая неделя июня месяца следующего года, с наступлением которой дождь, наконец, стал утихать. Облака рассеялись, и теперь со дня на день можно было ожидать прояснения. Так и случилось. В пятницу в два часа дня глупое доброе солнце осветило мир, и было оно красным и шершавым, как кирпич, и почти таким же свежим, как вода. И с этого дня дождь не шел целых десять лет.

Макондо лежал в развалинах. На месте улиц тянулись болота, там и сям из грязи и тины торчали обломки мебели, скелеты животных, поросшие разноцветными ирисами,— последняя память об ордах чужеземцев, которые бежали из Макондо так же поспешно, как и прибыли сюда. Дома, построенные с такой быстротой во времена банановой лихорадки, были покинуты. Банановая компания вывезла все свое имущество, на месте ее городка, обнесенного металлической решеткой, остались только груды мусора. Деревянные домики с прохладными террасами, где по вечерам беззаботно играли в карты, исчезли, словно их унес ветер,— предтеча того грядущего урагана, которому суждено было через несколько лет стереть Макондо с лица земли. После могучего дыхания этого ветра сохранилось лишь одно-единственное свидетельство того, что здесь некогда жили люди: перчатка, забытая Патрицией Браун в автомобиле, увитом анютиными глазками. Заколдованные земли, исследованные Хосе Аркадио Буэндиа во времена основания города, на которых позже процветали банановые плантации, теперь представляли собой болото, утыканное гнилыми пнями, и на его обнажившемся далеком горизонте в течение нескольких лет молчаливо пенилось серое море. Аурелиано Второй был ошеломлен, когда в первое воскресенье надел сухое платье и вышел посмотреть, что сталось с городом. Те, кто выжил после дождя — все это были люди, поселившиеся в Макондо еще до потрясений, вызванных банановым ураганом,— сидели посреди улицы, наслаждаясь первыми лучами солнца. Их кожа еще сохраняла зеленоватый оттенок, присущий водорослям, из нее еще не выветрился устойчивый запах чулана, приобретенный во время дождя, но на их лицах сияли радостные улыбки от сознания, что город, в котором они родились, снова принадлежит им. Великолепная улица Турков опять стала такой же, как в былые времена, когда арабы в туфлях без задников и с толстыми металлическими серьгами в ушах, скитавшиеся по земле, обменивая безделушки на попугаев, обрели в Макондо надежное пристанище и отдых после тысячелетних странствий. После дождя товары, разложенные на лотках, развалились на куски, товары, выставленные в дверях, заплесневели, прилавки были источены термитами, а стены разъедены сыростью, но арабы уже третьего поколения сидели на тех же местах и в тех же позах, что и их предки, отцы и деды, молчаливые.

бесстрастные, неподвластные ни времени, ни стихиям, такие же живые, а может, такие же мертвые, какими они были после эпидемии бессонницы или тридцати двух войн полковника Аурелиано Буэндиа. И душевная стойкость арабов, сохранившаяся среди останков игорных столов и столиков с фритангой, обломков стрелковых тиров и развалин переулка, где толковали сны и предсказывали будущее, внушала такое удивление, что Аурелиано Второй с присущей ему бесцеремонностью спросил их, какие тайные силы призвали они себе на помощь, чтобы не утонуть во время бури, как, черт побери, ухитрились не захлебнуться; он повторял этот вопрос, переходя от двери к двери, и везде встречал одну и ту же уклончивую улыбку, один и тот же мечтательный взгляд и один и тот же ответ:

— Мы плавали.

Из всех других жителей города только у одной Петры Котес в груди оказалось сердце араба. На ее глазах рушились стены хлевов и конюшен, но она не пала духом и поддерживала порядок в доме. В последний год она все пыталась вызвать Аурелиано Второго, посылая ему одну записку за другой, но тот отвечал, что ему неизвестно, в какой день он вернется в ее дом, но когда бы это ни случилось, он непременно принесет с собой мешок с золотыми монетами и выложит ими спальню. И Петра Котес начала копаться в тайниках своего сердца, ища силу, которая помогла бы ей перенести горестную судьбу, и нашла там злость, справедливую, холодную злость, и поклялась восстановить состояние, растраченное любовником и уничтоженное дождем. Это решение было настолько непоколебимым, что когда спустя восемь месяцев, после того как он получил последнюю записку, Аурелиано Второй пришел к Петре Котес, хозяйка дома, зеленая, растрепанная, с провалившимися глазами и кожей, изъеденной чесоткой, писала номера на клочках бумаги. превращая эти обрывки в лотерейные билеты. Аурелиано Второй был поражен и молча стоял перед ней такой тощий и такой церемонный, что Петре Котес даже показалось, будто она видит не своего возлюбленного, с которым провела всю свою жизнь, а его брата-близнеца.

— Да ты спятила,— сказал он.— Что ты думаешь разыгрывать? Уж не кости ли?

Тогда она предложила заглянуть в спальню, и в спальне Аурелиано Второй увидел мула. Мул был худущий, как его хозяйка — кожа да кости, но такой же решительный и живой, как она. Петра Котес питала его своей злостью, и когда больше не осталось ни травы, ни кукурузы, ни кореньев, она поместила его у себя в спальне и кормила перкалевыми простынями, персидскими коврами, плюшевыми одеялами, бархатными занавесками и покровом с архиепископской постели, вышитым золотыми нитями и украшенным шелковыми кистями.

■

Урсуле пришлось затратить немало усилий, чтобы выполнить свое обещание и умереть, как только перестанет дождь. Внезапные просветы в ее сознании, столь редкие во время дождя, участились с августа месяца, когда начал дуть знойный ветер, который удушил розовые кусты, превратил все болота в камень и навсегда засыпал жгучей пылью заржавленные цинковые крыши Макондо и его столетние миндальные деревья. Урсула заплакала от безграничной жалости к самой себе, узнав, что более трех лет служила игрушкой для детей. Она смыла сажу и краску с лица, сбросила с себя цветные лоскутки, сушеных ящериц и жаб, четки и ожерелья, развешанные по всему телу, и впервые после смерти Амаранты встала с постели сама, без посторонней помощи, готовая снова принять участие в жизни семьи. Неукротимое сердце направляло ее в потемках. Тот, кто замечал неуверенность ее движений

или неожиданно натыкался на ее архангельскую длань, неизменно вытянутую на высоте головы, сожалел о немощности старческой плоти, однако ему и в голову не приходило, что Урсула просто слепа. Но и отсутствие зрения не помешало Урсуле заметить, что цветочные клумбы, за которыми, начиная с первой перестройки дома, она так старательно ухаживала, размыты дождями и раскопаны Аурелиано Вторым, стены и полы иссечены трещинами, мебель расшаталась и выцвела, двери сорваны с петель, а в семье появился новый, незнакомый дух смирения и тоски. Пробираясь ощупью по пустым спальням, Урсула слышала немолчное гудение термитов, точивших дерево, и трепыхание моли в бельевых шкафах, и оглушительный шум, производимый огромными рыжими муравьями, которые, расплодившись за годы дождя, подрыли фундамент дома. Однажды она открыла сундук с бельем и одеждой и должна была позвать на помощь Санта Софию де ла Пьедад, так как из него толпами полезли тараканы, которые уже превратили в порошок все белье. «Невозможно жить в таком запустенье,— сказала она.— В конце концов эти твари слопают и нас». С этого дня Урсула не давала себе ни минуты покоя. Поднявшись с рассветом, она призывала на помощь всех, кого только могла, даже детей. Развешивала сушиться на солнце последнюю уцелевшую одежду и белье, которое еще можно было использовать, обращала в бегство тараканов, внезапно атакуя их всякими отравами, выскабливала ходы, проделанные термитами в дверях и оконных рамах, и душила негашеной известью муравьев в их норах. Движимая лихорадочным желанием все восстановить, она добралась до самых забытых покоев. Заставила очистить от мусора и паутины комнату, где Хосе Аркадио Буэндиа иссушил свои мозги в упорных поисках философского камня, привела в порядок ювелирную мастерскую, в которой солдаты все перевернули вверх дном, и, наконец, попросила ключи от комнаты Мелькиадеса, желая проверить, в каком она состоянии. Верная воле Хосе Аркадио Второго, запретившего впускать в это помещение кого бы то ни было до тех пор, пока не станет совершенно ясно, что он уже мертв, Санта София де ла Пьедад с помощью всякого рода уловок и отговорок попыталась заставить Урсулу отказаться от ее намерения. Но старуха упорствовала, твердо решив уничтожить насекомых в самых отдаленных уголках дома, она настойчиво преодолевала все чинимые ей препятствия и через три дня добилась своего — комнату Мелькиадеса открыли. Оттуда пахнуло густым зловонием, и Урсула должна была уцепиться за косяк двери, чтобы устоять на ногах, однако не прошло и двух секунд, как она вспомнила и то, что в этой комнате хранятся семьдесят два ночных горшка, купленных для школьниц, товарок Меме, и то, что в одну из первых дождливых ночей солдаты обшарили весь дом в поисках Хосе Аркадио Второго, но так и не нашли его.

— Господи боже мой! — воскликнула она, как если бы видела все своими глазами.— Столько трудов я затратила, чтобы приучить тебя к порядку, а ты зарос здесь грязью, как свинья.

Хосе Аркадио Второй продолжал разбирать пергаменты. Сквозь спутанную гриву волос, закрывавшую все его лицо, виднелись только зубы, покрытые зеленым налетом, и неподвижные глаза. Узнав голос своей прабабки, он повернул голову к двери, попытался улыбнуться и, сам того не зная, повторил слова, некогда сказанные Урсулой.

— А что ты думала? — пробормотал он.— Время-то идет.

— Конечно,— согласилась Урсула,— но все же.

Тут она вспомнила, что так же ответил ей полковник Аурелиано Буэндиа в камере смертников, и вновь содрогнулась при мысли, что время не проходит, как она в конце концов начала думать, а снова и снова возвращается, словно движется по кругу. Но и на этот раз Урсу-

ла не поддалась смирению. Она отчитала Хосе Аркадио Второго, словно малого ребенка, заставила его умыться, побрить бороду и потребовала помочь ей довершить восстановление дома. Мысль о необходимости покинуть комнату, где он обрел мир и покой, ужаснула добровольного затворника. Он закричал, что нет такой силы, которая заставила бы его выйти отсюда, потому что он не хочет видеть поезд из двухсот вагонов, груженных трупами, который каждый вечер отправляется из Макондо к морю. «Там все, кто был на станции! Три тысячи четыреста восемь!» Только тогда Урсула поняла, что Хосе Аркадио Второй живет в потемках, еще более непроницаемых, чем те, в которых обречена блуждать она,— в мире, столько же замкнутом и уединенном, как мир его прадеда. Она оставила Хосе Аркадио Второго в покое, но распорядилась снять с дверей его комнаты висячий замок, каждый день делать там уборку, выкинуть все ночные горшки, кроме одного, и содержать затворника в чистоте и порядке, не хуже, чем его прадеда во время долгого плена под каштаном. Вначале Фернанда приняла жажду деятельности, охватившую Урсулу, за приступ старческого слабоумия и с трудом сдерживала возмущение. Но тут подоспело письмо из Рима — Хосе Аркадио сообщал о своем намерении посетить Макондо перед принятием вечного обета, и эта добрая весть привела Фернанду в такой восторг, что она сама начала с утра до ночи убирать дом и поливать цветы по четыре раза на дню, лишь бы родовое гнездо не произвело дурного впечатления на ее сына. Она снова вступила в переписку с невидимыми целителями и расставила на галерее вазоны с папоротником и душицей, горшки с бегониями задолго до того, как Урсула узнала, что они были уничтожены Аурелиано Вторым в припадке разрушительной ярости. Затем Фернанда продала серебряный столовый сервиз и купила глиняную посуду, оловянные супницы и поварешки и оловянные приборы, после чего стенные шкафы, привыкшие хранить в своих недрах фаянсовые блюда Компании обеих Индий и богемский хрусталь, приобрели жалкий вид. Но Урсуле этого было мало. «Пусть откроют окна и двери,— кричала она.— Пусть жарят мясо и рыбу, покупают самых больших черепах, и пусть приходят иностранцы, пусть они раскладывают свои циновки во всех углах и мочатся прямо на розы, пусть садятся за столы и едят столько, сколько им влезет, и пусть они рыгают, пусть несут всякий вздор, и пусть лезут в своих сапожищах прямо в комнаты и всюду натаскивают грязь, и пусть делают с нами все, что им взбредет в голову, потому что только так можно отпугнуть разорение». Но Урсула хотела невозможного. Она была уже слишком стара, чересчур зажилась на этом свете и не в силах была повторить чудо с фигурками из леденца, а потомки не унаследовали ее жизненной стойкости. И по распоряжению Фернанды двери оставались запертыми.

Средств Аурелиано Второго, снова перетащившего свои сундуки в дом Петры Котес, едва хватало лишь на то, чтобы семья не умерла с голоду. Выручив деньги с лотереи, в которой был разыгран мул, Аурелиано Второй и Петра Котес купили новых животных и наладили примитивное лотерейное предприятие. Аурелиано Второй ходил по домам и предлагал билеты, он собственноручно разрисовывал их цветными чернилами, стараясь придать клочкам бумаги елико возможно соблазнительный и убедительный вид. Вероятно, он даже и не замечал, что многие покупали его билеты, движимые чувством благодарности, а большинство — из сострадания. Однако даже самые жалостливые покупатели вместе с билетом приобретали также и надежду выиграть свинью за двадцать сентаво или телку за тридцать два. Эта надежда приводила их в такое возбуждение, что по вторникам вечером на дворе у Петры Котес собиралась толпа людей, ожидавших минуты, когда выбранный наудачу мальчик вытащит из мешка счастливый номер. Сбо-

рища не замедлили превратиться в еженедельную ярмарку, и как только начинало вечереть, во дворе расставляли столы с фритангой и ларьки с напитками, и многие счастливцы тут же жертвовали выигранное животное в общий котел при условии, что кто-нибудь пригласит музыкантов и поставит спиртное; таким образом, Аурелиано Второй, помимо своей воли, снова взял в руки аккордеон, и ему опять пришлось принять участие в скромных турнирах чревоугодников. Это были жалкие пародии на пирушки былых времен, и самому Аурелиано Второму стало ясно, что выдохлась его былая энергия и иссякла некогда бившая ключом изобретательность главного заводилы и плясуна. Да, он изменился. Сто двадцать килограммов веса, обременявших его в тот день, когда он бросил вызов Слонихе, свелись к семидесяти восьми, лицо его, простодушное, распухшее от пьянства, похожее на черепашью морду, вытянулось и стало напоминать морду игуаны, с этого лица не сходило смутное выражение уныния и усталости. Но никогда еще Петра Котес не любила Аурелиано Второго так сильно, может быть потому, что принимала за любовь жалость, которую он ей внушал, и чувство солидарности, порожденное в обоих нищетой. Теперь их расшатанная кровать из пьедестала для любовных безумств превратилась в приют для конфиденциальных разговоров. Зеркала, повторявшие каждое их движение, были сняты и проданы и на вырученные деньги куплены животные для лотереи. Перкалевые простыни и плюшевые одеяла, возбуждавшие чувственность, сжевал мул, и теперь былые любовники бодрствовали допоздна с невинностью двух стариков, страдающих бессонницей, и то время, которое они прежде расточали в бурном расточительстве своих сил, теперь уходило у них на подведение итогов и подсчет сентаво. Иногда они засиживались до первых петухов, деля деньги на кучки, перекладывая монеты из одной кучки в другую так, чтобы этой кучки хватило на Фернанду, а той — на ботинки для Амаранты Урсулы, а той — для Санта Софии де ла Пьедад, которая не обновляла платья со времен беспорядков, а этой — для того, чтобы заказать гроб Урсуле в случае, если она умрет, а той — на покупку кофе, цена на который каждые три месяца повышается на один сентаво за фунт, а этой — на покупку сахара, который с каждым днем становится все менее сладким, а той — на дрова, еще не просохшие со времен дождя, а той — на бумагу и цветные чернила для лотерейных билетов, а этой, дополнительной — на возврат денег за билеты апрельской лотереи: в тот раз у телки появились признаки сибирской язвы, а почти все билеты были уже проданы, от нее чудом удалось спасти только шкуру. И такой чистотой отличались их обедни нищеты, что лучшую долю Аурелиано Второй и Петра Котес всегда выделяли Фернанде, и делали это не из-за угрызений совести и не милосердия ради, а потому, что благополучие Фернанды было им дороже их собственного. По правде говоря, оба они, сами того не сознавая, думали о Фернанде как о своей дочери, той, которую им так хотелось и не довелось иметь. Был случай, когда они целых три дня питались маисовой кашей, чтобы купить Фернанде скатерть из голландского полотна. Однако, как бы они ни убивались за работой, сколько бы денег ни выручали, какие бы хитрости ни изобретали — все равно их ангелы-хранители, не дождавшись, каждый раз засыпали от усталости, пока они раскладывали и перекладывали монеты, стараясь, чтобы хватило хотя бы на жизнь. Денег вечно недоставало, и, мучась бессонницей, они спрашивали себя, что такое произошло в мире, почему скот не плодится так же обильно, как прежде, почему деньги обесцениваются прямо в руках, почему те люди, которые совсем недавно беззаботно жгли пачки кредиток, танцуя кумбиамбу [1], теперь кри-

[1] Мужчины танцуют кумбиамбу с зажженными свечами в руках.

чат, что их грабят среди бела дня, когда у них просят каких-нибудь жалких двенадцать сентаво за право участвовать в лотерее, где разыгрывается шесть куриц. Аурелиано Второй думал — хотя и не говорил этого вслух,— что зло коренится не в окружающем мире, а где-то в потаенном уголке таинственного сердца Петры Котес, это там во время потопа что-то сдвинулось, и потому животных одолело бесплодие, а деньги стали текучими, как вода. Заинтригованный этой тайной, он глубоко заглянул в душу своей возлюбленной, но, ища выгоду, он неожиданно обрел любовь и, пытаясь из корыстных расчетов пробудить страсть в Петре Котес, кончил тем, что сам влюбился в нее. Со своей стороны Петра Котес любила Аурелиано Второго все с большей силой по мере того, как она чувствовала его возрастающую нежность,— в разгаре своей осени она вернулась к детски наивной вере в поговорку «где бедность, там и любовь». Теперь они оба со стыдом и досадой вспоминали безрассудные пирушки, переливающееся через край богатство, безудержное распутство былых лет и сетовали на то, что слишком дорогой ценой обрели они, наконец, рай одиночества вдвоем. Страстно влюбленные после стольких лет бесплодного сожительства, они как чудом наслаждались открытием, что можно любить друг друга за обеденным столом ничуть не меньше, чем в постели, и достигли такого счастья, что, несмотря на полное изнурение и старость, продолжали резвиться, как крольчата, и грызться между собой, как собаки.

Выручка от лотерей не увеличивалась. Первое время Аурелиано Второй три дня в неделю запирался в своей старой конторе торговца скотом и разрисовывал билет за билетом, довольно похоже изображая красную корову, зеленого поросенка или компанию синих куриц в зависимости от того, какие призы разыгрывались в лотерее, и старательно выводил печатными буквами название, которым Петре Котес вздумалось окрестить предприятие: «Лотерея божественного провидения». Но со временем ему пришлось разрисовывать более двух тысяч билетов в неделю, и в конце концов он почувствовал такую усталость, что заказал каучуковые штампы с названием лотереи, рисунками животных и номерами. С тех пор его работа свелась к смачиванию штампа, который он прикладывал к подушечкам, пропитанным чернилами различных цветов. В последние годы его жизни Аурелиано Второму пришло в голову заменить номера на билетах загадками и делить выигрыш между теми, кто разгадает загадку, однако эта система оказалась слишком сложной, к тому же она предоставляла широкое поле для всевозможных подозрений, и после второй попытки от загадок пришлось отказаться.

С самого раннего утра до позднего вечера Аурелиано Второй занимался укреплением престижа своей лотереи, у него едва оставалось время для того, чтобы повидать детей. Фернанда поместила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали каждый год только шесть учениц, но отказалась дать маленькому Аурелиано разрешение посещать городскую школу. Она и так уже пошла на слишком большие уступки, позволив ему свободно разгуливать по дому. К тому же в школы тогда принимали только законнорожденных детей, от родителей, состоявших в католическом браке, а в свидетельстве о рождении, привязанном вместе с соской к корзине, в которой Аурелиано послали домой, он был зарегистрирован как подкидыш. Таким образом Аурелиано продолжал жить взаперти, всецело предоставленный ласковому надзору Санта Софии де ла Пьедад и Урсулы, в часы ее умственных просветлений, и постигал тесный мир, ограниченный стенами дома, слушая объяснения обеих старух. Он рос вежливым, самолюбивым мальчиком, наделенным неутомимой любознательностью, которая выводила из себя взрослых, но в отличие от полковника в том же возрасте, Аурелиано

не обладал проницательным и ясновидящим взором, а глядел даже несколько рассеянно и то и дело моргал. Пока Амаранта Урсула училась в школе, Аурелиано выкапывал червей и мучил насекомых в саду. Однажды, когда он запихивал в коробку скорпионов, собираясь подбросить их в постель Урсулы, Фернанда поймала его за этим делом и заперла в бывшей спальне Меме, где он стал искать спасения от одиночества, разглядывая картинки в энциклопедии. Там и наткнулась на него Урсула, которая бродила по комнатам с пучком крапивы в руках, кропя стены росной водой, и несмотря на то, что уже много раз с ним встречалась, спросила, кто он такой.

— Я Аурелиано Буэндиа,— сказал он.

— И то правда,— ответила она.— Уже пора тебе приступить к изучению ювелирного дела.

Она снова приняла его за своего сына, ибо только что перестал дуть знойный ветер, пришедший на смену ливню и на некоторое время прояснивший разум Урсулы. Ее рассудок снова помутился. Заходя в спальню, она каждый раз заставала там целое общество: Петронила Игуаран красовалась в пышном кринолине и шали, вышитой бисером, которую она надевала при светских визитах; парализованная бабушка Транкилина Мария Миниата Алакоке Буэндиа восседала в качалке, обмахиваясь павлиньим пером, был там и прадед Урсулы — Аурелиано Аркадио Буэндиа — в накладном доломане гвардейца вице-короля и ее отец Аурелиано Игуаран, сочинивший молитву, от которой личинки оводов подыхали и падали с коров, и ее богобоязненная мать, и двоюродный брат, родившийся с поросячьим хвостиком, и Хосе Аркадио Буэндиа, и его покойные сыновья — все они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, словно пришли не в гости, а на погребальное бдение. Она заводила с ними оживленную беседу, обсуждая события, не связанные между собой ни местом, ни временем, и когда Амаранта Урсула, вернувшаяся из школы, и Аурелиано, которому надоедала энциклопедия, входили в спальню, она сидела на постели и громко разговаривала сама с собой, плутая по лабиринту воспоминаний. Как-то раз она вдруг страшным голосом завопила: «Пожар!» — и переполошила весь дом, а потом оказалось, что она вспомнила пожар конюшни, виденный ею в возрасте четырех лет. Она так путала прошлое с настоящим, что даже в тех двух-трех случаях умственного прояснения, которые были у нее перед смертью, никто не знал наверное, говорит ли она о том, что ощущает в данную минуту, или о том, что вспоминает. Урсула постепенно высыхала, превращаясь в мумию еще при жизни, и усохла до такой степени, что в последние месяцы своего существования стала напоминать сморщенную чернослив ину, затерянную в ночной сорочке, а ее неизменно вытянутая рука сделалась похожей на лапку мартышки. Она способна была по нескольку дней пребывать в полной неподвижности, и Санта София де ла Пьедад встряхивала ее, чтобы убедиться, что она еще жива, сажала себе на колени и поила с ложечки сахарной водой. Урсула казалась новорожденной старухой. Амаранта Урсула и Аурелиано брали ее на руки, носили по спальне и клали на алтарь, желая убедиться, что она лишь чуточку побольше младенца Христа, а однажды вечером спрятали в шкафу кладовой, где ее могли сожрать крысы. В вербное воскресенье, когда Фернанда слушала мессу, они вошли в спальню и схватили Урсулу за голову и за щиколотки.

— Бедненькая прапрабабушка,— сказала Амаранта Урсула,— она умерла от старости.

Урсула встрепенулась.

— Я жива! — возразила она.

— Видишь,— сказала Амаранта Урсула, подавляя смех,— даже не дышит.

— Я говорю! — крикнула Урсула.

— Даже не говорит,— сказал Аурелиано.— Умерла как сверчок.

Тогда Урсула сдалась перед очевидностью. «Боже мой! — тихо воскликнула она.— Так это и есть смерть». И она затянула молитву, бессвязную, длинную молитву, которая продолжалась более двух дней, пока, наконец, во вторник не вылилась в беспорядочную смесь обращений к богу и практических наставлений: истребляйте рыжих муравьев, иначе дом может рухнуть, пусть не угасает лампада перед дагерротипом Ремедиос, пусть ни один Буэндиа не берет себе в жены родственницу, ибо тогда на свет появляются дети со свиным хвостом. Аурелиано Второй попытался, воспользовавшись ее бредовым состоянием, выведать, где спрятано золото, но все его приставания ни к чему не привели. «Когда вернется хозяин,— сказала Урсула,— господь его просветит, и он найдет клад». Санта София де ла Пьедад была убеждена, что Урсула может скончаться с минуты на минуту, так как в эти дни в природе наблюдались какие-то непонятные явления: розы пахли полынью, зерна фасоли, высыпавшиеся из тыквенной плошки, которую уронила Санта София де ла Пьедад, сложились на полу в геометрически правильный рисунок морской звезды, а как-то раз ночью по небу пролетела вереница светящихся оранжевых дисков.

Она умерла рано утром в четверг на Страстной неделе. Последний раз пытались выяснить, сколько ей лет, еще при банановой компании, тогда она насчитала, что ей не менее ста пятнадцати и не более ста двадцати двух годов. Ее похоронили в маленьком гробике, размерами чуть побольше корзинки, в которой принесли Аурелиано; народу на похоронах было мало. Это объяснялось отчасти тем, что многие уже позабыли Урсулу, отчасти сумасшедшей жарой — в тот полдень пекло так сильно, что птицы теряли ориентировку и на всем лету врезались в стены, как дробинки, или, пробив металлическую сетку на окне, умирали в спальнях.

Вначале решили, что они мрут от чумы. Хозяйки надрывались, выметая из комнат мертвых птиц, особенно много их погибало в часы сиесты, а мужчины целыми повозками отвозили и сбрасывали в реку птичьи трупики. В светлое Христово воскресенье столетний падре Исабель провозгласил с амвона, что мор на птиц наслал Вечный Жид, которого святому отцу удалось узреть прошлой ночью своими собственными очами. Он описал его как отродье козла и еретички, как исчадье ада, чье дыхание делает воздух раскаленным, а появление заставляет молодых женщин зачинать выродков. Мало кто принял всерьез эти апокалипсические откровения, так как весь городок давно был убежден, что приходский священник рехнулся по старости лет. Но в среду рано утром одна женщина разбудила всех истошным криком — она обнаружила следы раздвоенных копыт, принадлежащих какому-то неведомому двуногому животному. Следы эти были четки и определенны, и все, кто их видел, уже не сомневались в том, что оставило их страшное, похожее на чудовище существо, описанное священником. Во всех дворах устроили западни. И через некоторое время загадочный пришелец был пойман. Две недели спустя после смерти Урсулы Петру Котес и Аурелиано Второго разбудил среди ночи доносившийся из соседнего двора жуткий плач, похожий на мычание молодого бычка. Когда они вышли посмотреть, что случилось, толпа мужчин уже снимала чудовище с острых кольев, поставленных на дне ямы, прикрытой сухими листьями, и оно больше не мычало. Весило оно как добрый бык, хотя по величине не превосходило мальчика-подростка; из ран сочилась зеленая, вязкая кровь. Тело его было покрыто грубой, усеянной клещами шерстью и струпьями, но в отличие от исчадия ада, виденного священником, части этого тела походили на человеческие; вернее, убитый напоминал даже

не человека, а захиревшего ангела: у него были чистые и тонкие руки, огромные, сумрачные глаза, а на лопатках — две мозолистые культи, иссеченные рубцами, — остатки мощных крыльев, которые, по-видимому, были обрублены топором дровосека. Труп подвесили за щиколотки к одному из миндальных деревьев на площади, чтобы все могли посмотреть, а когда он начал разлагаться, сожгли на костре, ибо невозможно было определить, кто этот ублюдок — животное, которое следует бросить в реку, или христианин, заслуживающий погребения. Так и не узнали, действительно ли из-за него погибали птицы, но ни одна новобрачная не зачала предсказанного священником выродка, и зной не ослабел.

В конце года скончалась Ребека. Ее неизменная служанка Архенида обратилась к властям с просьбой взломать дверь спальни, в которой три дня назад заперлась ее хозяйка. Дверь взломали, Ребека с облысевшей от лишаев головой лежала на своей одинокой постели, скрючившись, словно креветка, и зажав во рту большой палец. Аурелиано Второй взял на себя похороны и попытался отремонтировать дом, надеясь продать его, но дух разрушения слишком глубоко внедрился в это здание; стоило покрыть стены краской, как они снова облупливались, и самый толстый слой известкового раствора не мог помешать сорным травам прорастать сквозь полы, а подпоркам гнить в душных объятиях плюща.

Так и шла жизнь в Макондо после того, как перестал дождь. Вялые, медлительные люди не могли противостоять ненасытной прожорливости забвения, мало-помалу безжалостно поглощавшего все воспоминания, и, когда в годовщину подписания Неерландской капитуляции в Макондо прибыли посланцы президента республики с предписанием во что бы то ни стало вручить орден, от которого столько раз отказывался полковник Аурелиано Буэндиа, они проплутали весь вечер, разыскивая когонибудь, кто мог бы сказать, где найти потомков полковника. Аурелиано Второй чуть не соблазнился и не принял орден, думая, что тот сделан из чистого золота, но после того, как Петра Котес заявила, что это будет недостойным поступком, он отказался от своего намерения, хотя представители президента уже наняли оркестр и подготовили речи для торжественной церемонии. Тогда же в Макондо вернулись цыгане, последние хранители учености Мелькиадеса, они нашли городок в запустении, а его жителей настолько отчужденными от всего остального мира, что снова принялись ходить по домам с намагниченными кусками железа, выдавая их за последнее изобретение вавилонских мудрецов, и снова собирали солнечные лучи огромной лупой, и не было недостатка ни в умниках, глазевших, разинув рот, как соскакивают с полок тазы и катятся к магнитам котелки, ни в любопытных, готовых уплатить пятьдесят сентаво за то, чтобы вдоволь подивиться на цыганку, которая вынимает изо рта искусственную челюсть и опять водружает ее на место. У пустынной станции неохотно останавливался дряхлый паровоз, влачащий несколько желтых вагонов, которые никого и ничего не везли,— вот и все, что осталось от прежнего движения, от переполненного пассажирами поезда с прицепленным к нему вагоном господина Брауна — вагоном со стеклянной крышей и епископскими креслами, от фруктовых составов, насчитывавших по сто двадцать вагонов-холодильников, которые один за другим подходили к станции в течение всего вечера. Церковные уполномоченные, приехавшие, чтобы проверить на месте сообщение падре Антонио Исабеля о странном море на птиц и принесении в жертву Вечного Жида, застали почтенного падре играющим в жмурки с ребятишками, сочли его сообщение плодом старческих галлюцинаций и отправили священника в приют для слабоумных. Через несколько дней в городок прибыл падре Аугусто Анхель, подвижник новейшей выпечки: непримиримый, смелый, даже дерзкий, он собственноручно трезвонил в

разные колокола по нескольку раз в течение дня, дабы души верующих бодрствовали, и переходил из одного дома в другой, побуждая сонливцев проснуться и идти к мессе. Однако не прошло и года, как падре Аугусто Анхель вынужден был признать себя побежденным: он оказался не в силах противостоять духу лености, витавшему в воздухе, раскаленной пыли — она набивалась повсюду и все старила — и тяжелому сну, в который повергали его преподобие невыносимо знойные часы сиесты и мясные фрикадельки, неизменно подаваемые на обед.

После смерти Урсулы дом снова пришел в запустенье, из этого запустенья его не сможет извлечь даже столь решительное и волевое создание, как Амаранта Урсула, когда много лет спустя она, будучи уже взрослой женщиной без предрассудков, веселой, современной, обеими ногами прочно стоящей на земле, распахнет настежь двери и окна, чтобы отпугнуть дух разрушения, восстановит сад, истребит рыжих муравьев, нахально, даже среди бела дня, ползающих по коридору, и безуспешно попытается вернуть обиталищу Буэндиа угасший дух гостеприимства. Страсть к затворничеству, которой была одержима Фернанда, встала непреодолимой плотиной на пути бурного столетия Урсулы. Фернанда не только отказалась открыть двери, когда прекратился знойный ветер, но и распорядилась забить окна деревянными крестами, дабы похоронить себя заживо, повинуясь родительским наставлениям. Дорогостоящая переписка с невидимыми целителями окончилась полным крахом. После многочисленных отсрочек Фернанда заперлась в своей спальне в назначенный день и час, легла на постель, обратившись головой к северу, покрытая только белой простыней; в час ночи она почувствовала, что ей на лицо положили салфетку, смоченную какой-то ледяной жидкостью. Когда она проснулась, в окна светило солнце, и у нее по телу проходил грубый дугообразный шрам — начинаясь в паху, он шел до грудины. Но еще прежде, чем миновал срок предписанного послеоперационного отдыха, Фернанда получила неприятное письмо от невидимых целителей. В письме сообщалось, что ее подвергли тщательному обследованию, продолжавшемуся шесть часов, но при этом не было обнаружено никаких внутренних нарушений организма, которые могли бы вызвать симптомы, неоднократно и так подробно описанные ею. Пагубная привычка Фернанды не называть вещи своими именами опять ее подвела, ибо единственное, что обнаружили хирурги-телепаты, было опущение матки, а его можно было исправить и без операции, с помощью бандажа. Разочарованная Фернанда попыталась добиться более точных объяснений, но невидимые корреспонденты перестали отвечать на ее письма. Раздавленная тяжестью непонятного слова «бандаж», Фернанда решилась отбросить стыдливость и спросить у врача-француза, что это такое, и только тут она узнала, что три месяца тому назад француз повесился на стропилах сарая и вопреки воле народа был похоронен на кладбище одним ветераном войны, старым товарищем по оружию полковника Аурелиано Буэндиа. Тогда Фернанда доверилась своему сыну Хосе Аркадио, и тот прислал ей бандажи из Рима вместе с инструкцией, как ими пользоваться. Фернанда сначала выучила инструкцию на память, а затем бросила ее в уборную, чтобы скрыть ото всех характер своих недомоганий. Это было ненужной предосторожностью, так как последние обитатели дома не обращали на Фернанду никакого внимания. Санта София де ла Пьедад погрузилась в одинокую старость, она варила скудный обед для всего семейства, а все остальное время посвящала уходу за Хосе Аркадио Вторым. Амаранта Урсула, унаследовавшая некоторые прелести Ремедиос Прекрасной, теперь употребляла на приготовление уроков те часы, что раньше расходовала на мученье Урсулы. Дочь Аурелиано Второго начала проявлять признаки незаурядного ума и отличалась прилежанием, эти качества оживили в душе ее

родителя надежды, которые прежде вызывала у него Меме. Он обещал Амаранте Урсуле послать ее для завершения образования в Брюссель в соответствии с обычаем, заведенным еще при банановой компании, и эта мечта заставила его снова попытаться поднять земли, опустошенные потопом. Аурелиано Второго видели в доме редко, он приходил туда только ради Амаранты Урсулы, так как для Фернанды с течением времени превратился в постороннего, а маленький Аурелиано, приближаясь к зрелости, все более и более замыкался в своем одиночестве. Аурелиано Второй верил, что старость смягчит сердце Фернанды, и та позволит своему непризнанному внуку включиться в жизнь города, где, конечно, никто и не подумает копаться в его родословной. Но Аурелиано, по-видимому, возлюбил затворничество и уединение и не выказывал ни малейшего желания познать мир, начинавшийся за порогом дома. Когда Урсула заставила открыть комнату Мелькиадеса, Аурелиано стал бродить возле ее двери, заглядывать в щель, и неизвестно как и когда он и Хосе Аркадио Второй успели проникнуться взаимной симпатией и подружиться. Аурелиано Второй заметил эту дружбу много недель спустя после того, как она завязалась, это случилось в тот день, когда мальчик заговорил о кровавой бойне на станции. Однажды за столом кто-то высказал сожаление по поводу того, что банановая компания покинула Макондо, так как с этого момента город начал приходить в упадок, маленький Аурелиано вступил в спор, и в словах его чувствовался зрелый человек, умеющий выражать свои мысли. Его точка зрения, расходившаяся с общепринятой, заключалась в том, что Макондо был процветающим городком с большим будущим, пока его не сбила с правильного пути, не развратила, не ограбила начисто банановая компания, инженеры которой вызвали потоп, не желая идти на уступки рабочим. Мальчик говорил так разумно, что показался Фернанде кощунственной пародией на Иисуса среди книжников, он рассказал с точными и убедительными подробностями, как войска расстреляли из пулеметов толпу рабочих — свыше трех тысяч человек, собравшихся на станции, как трупы погрузили в состав, насчитывавший двести вагонов, и бросили в море. Фернанда, подобно большинству людей убежденная в справедливости официальной версии, гласившей, что на площади возле станции якобы ничего и не произошло, была шокирована мыслью, что мальчик унаследовал анархистские наклонности полковника Аурелиано Буэндиа, и приказала ему молчать. Напротив, Аурелиано Второй подтвердил достоверность рассказа своего брата-близнеца. И на самом деле Хосе Аркадио Второй, которого все считали сумасшедшим, в то время был самым разумным из всех обитателей дома. Он научил маленького Аурелиано читать и писать, привлек его к изучению пергаментов и внушил мальчику свое личное мнение о том, что принесла Макондо банановая компания; оно настолько расходилось с ложной версией, принятой историками и освещенной в учебниках, что, когда спустя много лет Аурелиано вступит в жизнь, все будут принимать его рассказ за выдумку. В уединенной комнатке, куда не проникали ни знойный ветер, ни пыль, ни жара, они оба вспоминали далекий призрак старика в шляпе с полями как вороновы крылья, который за много лет до их рождения рассказывал здесь о вселенной, сидя спиной к окну. Оба они одновременно заметили, что в этой комнате всегда стоит март месяц и всегда понедельник, и тут они поняли, как ошибалась семья, считая Хосе Аркадио Буэндиа безумцем,— напротив, он единственный в доме обладал достаточной ясностью ума, позволившей ему постигнуть ту истину, что время в своем движении подвержено авариям и сталкивается с препятствиями, а потому кусок времени может отколоться и застрять в какой-нибудь комнате, как навеки неподвижная частица умчавшегося вперед потока. Кроме того, Хосе Аркадио Второму удалось классифицировать криптографические

знаки пергаментов и составить из них таблицу. Он убедился, что они соответствуют алфавиту, насчитывающему от сорока семи до пятидесяти трех букв, которые, будучи написаны каллиграфическим почерком Мелькиадеса, похожи на маленьких паучков и клещей и, соединенные в строчки, напоминают белье, развешенное сушиться на проволоке. Аурелиано вспомнил, что видел нечто подобное в английской энциклопедии и принес ее, чтобы сравнить. Таблицы действительно совпадали.

Еще в ту пору, когда он пробовал устраивать лотерею с загадками, Аурелиано Второй стал чувствовать по утрам какое-то стеснение в горле, словно там застрял комок сдавленных слез. Петра Котес решила, что это просто недомогание, вызванное плохими временами, и в течение более чем года каждое утро с помощью кисточки смазывала ему нёбо пчелиным медом и редечным соком. Когда опухоль в горле разрослась настолько, что стало трудно дышать, Аурелиано Второй посетил Пилар Тернеру и спросил, не знает ли она какую-нибудь целебную траву. Но его несокрушимая бабка, достигшая уже столетнего возраста на ответственном посту хозяйки подпольного борделя, по-прежнему считала медицину суеверием и обратилась за консультацией к картам. Выпал король червей, раненный в горло шпагой пикового валета, отсюда гадалка заключила, что Фернанда пытается вернуть мужа домой с помощью такого устаревшего приема, как втыкание булавок в его портрет, но не имея достаточных познаний в колдовстве, только вызвала у него внутреннюю опухоль. Аурелиано Второй не помнил, чтобы у него были фотографии, кроме свадебных, но эти последние хранились в целости и сохранности в семейном альбоме, поэтому он тайком от своей супруги обыскал весь дом и, наконец, обнаружил в глубинах комода полдюжины бандажей в оригинальной упаковке. Думая, что эти красные резиновые штуки имеют отношение к колдовству, он спрятал одну из них в карман и отнес показать Пилар Тернере. Та не смогла определить назначение и природу таинственного предмета, но он показался ей настолько подозрительным, что она распорядилась принести ей все полдюжины и на всякий случай сожгла их на костре, который разложила во дворе. Для того чтобы снять предполагаемую порчу, насланную Фернандой, она посоветовала Аурелиано Второму взять курицу-наседку, полить ее своей мочой, а затем зарыть живьем в землю под каштаном. Аурелиано Второй выполнил эти указания с искренней верой в успех, и, когда он прикрыл сухими листьями взрытую землю, ему уже показалось, что дышать стало легче. Фернанда объяснила исчезновение бандажей местью невидимых целителей, пришила к изнанке рубашки внутренний карман и новые бандажи, которые прислал ей сын, хранила в этом кармане.

Шесть месяцев спустя после погребения курицы Аурелиано Второй проснулся в полночь от приступа кашля и почувствовал, что его изнутри разрывают железные клешни огромного рака. Именно в этот час ему стало ясно, что, сколько бы волшебных поясов он ни сжег, сколько бы заговоренных куриц ни полил своей мочой, все равно ему предстоит умереть — и это единственно верная и печальная истина. Он никому не открыл своих мыслей. Мучимый боязнью, что смерть может прийти раньше, чем ему удастся отправить Амаранту Урсулу в Брюссель, он старался как никогда в жизни и устраивал по три лотереи в неделю вместо одной. Чуть свет он был уже на ногах, обегал городок и навещал самые удаленные и нищие кварталы, с мучительной тоской, присущей лишь умирающим, пытаясь распродать билеты. «Вот божественное провидение,— выкликал он.— Не упускайте его, оно приходит только один раз в сто лет». Он делал трогательные усилия казаться веселым, приветливым, разговорчивым, но с первого взгляда на его потное бледное лицо было видно, что он не жилец на этом свете. Иногда он забирался на какой-нибудь пустырь, подальше от чужого глаза, и садился хотя бы на

минуту отдохнуть от железных клешней, разрывающих его внутренности. А в полночь опять пускался бродить по веселому кварталу, соблазняя возможностью крупного выигрыша одиноких женщин, вздыхавших около викгрол. «Вот этот номер не выпадал уже четыре месяца,— говорил он им, показывая свои билеты.— Не упускайте его, жизнь короче, чем вы думаете». В конце концов к нему потеряли всякое уважение, над ним начали издеваться и в последние месяцы жизни уже не величали, как обычно, доном Аурелиано, а не стесняясь, называли прямо в лицо дон Божественное Провидение. Голос его слабел, становился глуше и глуше и, наконец, перешел в собачье хрипенье, но Аурелиано Второй пока еще находил в себе силы поддерживать в народе интерес к раздаче выигрышей во дворе Петры Котес. Однако по мере того, как пропадал голос, а боль обострялась и грозила вскоре сделаться непереносимой, он все ясней понимал, что свиньи и козы, разыгрываемые в лотерею, не помогут его дочери поехать в Брюссель, и тут его осенила мысль организовать сказочную лотерею: разыграть опустошенные потопом земли, ведь люди с капиталом могут их возродить. Эта мысль показалась всем настолько соблазнительной, что сам алькальд вызвался объявить о лотерее; билеты продавались по сто песо за штуку, их приобретали в складчину, образовывая с этой целью компании, и не прошло и недели, как все было раскуплено. Вечером после розыгрыша лотереи те, кому улыбнулось счастье, устроили пышный праздник, напомнивший шумные празднества прежних лет, когда процветала банановая компания, и Аурелиано Второй последний раз сыграл на аккордеоне забытые мелодии песен Франсиско Человека, однако петь эти песни он уже не мог.

Два месяца спустя Амаранта Урсула уехала в Брюссель. Аурелиано Второй отдал дочери не только всю выручку от необыкновенной лотереи, но и все, что ему удалось сберечь за последние месяцы, а также небольшую сумму, полученную от продажи пианолы, клавикордов и разной старой мебели, впавшей в немилость. По его расчетам, этих денег было достаточно на все время учения, неясно было только — хватит ли их на обратную дорогу. Фернанда, до глубины души возмущенная мыслью, что Брюссель находится так близко от греховного Парижа, упорно противилась поездке дочери, но ее успокоило рекомендательное письмо падре Анхеля, адресованное в пансион юных католичек, который содержали монахини и где Амаранта Урсула обещала жить до конца учения. Кроме того, священник разыскал компанию францисканских монахинь, ехавших в Толедо, и монахини согласились взять с собой девушку, а в Толедо найти ей надежных попутчиков до самого Брюсселя. Пока по этому поводу шла усиленная переписка, Аурелиано Второй с помощью Петры Котес занимался сборами Амаранты Урсулы. К тому вечеру, когда ее вещи были уложены в один из сундуков, где раньше хранилось приданое Фернанды, все было уже так хорошо продумано, что будущая студентка знала на память, в каких платьях и вельветовых туфлях она будет пересекать Атлантику и где лежит голубое суконное пальто с медными пуговицами и сафьяновые башмачки, в которых ей надлежит высаживаться на берег. Она твердо знала, как ей следует ступать, чтобы не упасть в воду при переходе по трапу на борт корабля: знала, что ни на шаг не должна отходить от монахинь, знала, что может покидать свою каюту лишь для того, чтобы поесть, и что ни под каким предлогом не смеет отвечать на вопросы, какие могут ей задать лица любого пола в открытом море. Она везла с собой бутылочку с каплями от морской болезни и тетрадку, в которой падре Анхель собственноручно записал шесть молитв против бури. Фернанда сшила ей брезентовый пояс для хранения денег и показала, как приладить его, чтобы можно было не снимать даже на ночь. Она пыталась подарить дочери золотой ночной

горшок, вымытый жавелем и продезинфицированный спиртом, но Амаранта Урсула отклонила подарок, сказав, что боится, как бы ее будущие товарки по колледжу не подняли ее на смех. Пройдет несколько месяцев, и Аурелиано Второй на своем смертном ложе вспомнит дочь такой, какой он видел ее в последний раз — Амаранта Урсула безуспешно пыталась опустить запыленное стекло вагона второго класса, чтобы выслушать заключительные наставления Фернанды. На ней было розоватое шелковое платье с бутоньеркой из искусственных анютиных глазок на правом плече, сафьяновые туфельки на широком каблуке и шелковые чулки с эластичными подвязками. Она была невысокого роста, с распущенными длинными волосами, живым взглядом, подобным взгляду Урсулы в том же возрасте, а ее манера прощаться без слез, но и без улыбок свидетельствовала о том, что она унаследовала от своей прабабки также и твердость духа. Убыстряя шаги по мере того, как поезд набирал скорость, Аурелиано Второй шел рядом с вагоном и вел Фернанду под руку, чтобы она не споткнулась. Он увидел, как дочь кончиками пальцев послала ему воздушный поцелуй, и едва успел махнуть рукой в ответ. Супруги долго стояли неподвижно под палящим солнцем, глядя, как поезд превращается в черную точку на горизонте,— впервые после дня свадьбы они стояли, взявшись за руки.

Девятого августа, еще до того, как пришло первое письмо из Брюсселя, Хосе Аркадио Второй беседовал с Аурелиано в комнате Мелькиадеса и вдруг ни с того ни с сего сказал:

— Навсегда запомни: их было больше трех тысяч и всех бросили в море.

Затем он упал ничком на пергаменты и умер с открытыми глазами. В ту же самую минуту на постели Фернанды закончилась затянувшаяся, мучительная борьба, которую его брат-близнец вел с железными клещами рака, разрывавшими ему горло. За неделю до этого Аурелиано Второй вернулся в родительский дом без голоса, без дыхания, одна кожа да кости, вернулся со своими перелетными сундуками и дряхлым аккордеоном, вернулся выполнить свое обещание и умереть возле супруги. Петра Котес помогла ему собрать белье и простилась с ним, не проронив ни единой слезы, но забыла положить в сундук лаковые ботинки, в которых он хотел лежать в гробу. Поэтому, когда ей стало известно, что Аурелиано Второй скончался, она оделась в черное, завернула ботинки в газету и попросила у Фернанды разрешения пройти к телу. Фернанда не позволила ей переступить порог дома.

— Поставьте себя на мое место,— умоляла Петра Котес.— Подумайте, как я его любила, если иду на такое унижение.

— Нет такого унижения, которого не заслуживала бы незаконная сожительница,— ответила Фернанда.— Лучше подожди, пока не умрет кто-нибудь еще из тех многих других, с кем ты жила, и надень на него эти ботинки.

Во исполнение своего обета Санта София де ла Пьедад отсекла кухонным ножом голову у трупа Хосе Аркадио Второго, дабы удостовериться, что его не погребут живым. Тела братьев были положены в одинаковые гробы, и тут все увидели, что в смерти они снова сделались такими же похожими друг на друга, как в юности. Старые собутыльники Аурелиано Второго возложили на его гроб венок, обвитый темно-лиловой лентой с надписью: «Плодитесь коровы — жизнь коротка!» Фернанда возмутилась таким кощунством и приказала выбросить венок в уборную. В сутолоке последних приготовлений опечаленные пьянчужки, выносившие гробы из дома, перепутали их и погребли тело Аурелиано Второго в могиле, вырытой для Хосе Аркадио Второго, а тело Хосе Аркадио Второго в могиле, предназначенной для его брата.

■

Еще долгие годы Аурелиано провел в комнате Мелькиадеса. Он выучил наизусть фантастические легенды из растрепанной книги, сжатое изложение учения монаха Германа Паралитика, заметки о демонологической науке, руководство к поискам философского камня, «Века» Нострадамуса и его исследования о чуме — и таким образом перешагнул в отрочество, не имея представления о своем времени, но обладая важнейшими научными познаниями человека средневековья. В какой бы час ни вошла в комнату Санта София де ла Пьедад, она неизменно заставала Аурелиано погруженным в чтение. Рано утром она приносила ему чашку кофе без сахара, в полдень тарелку вареного риса с несколькими ломтиками жареного банана — единственное, что ели в доме после смерти Аурелиано Второго. Она стригла ему волосы, вычесывала насекомых, перешивала для него старую одежду и белье, которые собирала в забытых сундуках, а когда у него начали пробиваться усы, принесла бритву и стаканчик для бритья, принадлежавшие полковнику Аурелиано Буэндиа. Сын Меме походил на полковника больше, чем его собственные, родные сыновья, сходство особенно подчеркивали торчащие скулы юноши и решительная и вместе с тем надменная линия рта. В свое время, когда в комнате Мелькиадеса сидел Аурелиано Второй, Урсуле казалось, что он сам с собой разговаривает, к этому же убеждению пришла теперь Санта София де ла Пьедад в отношении Аурелиано. На самом деле Аурелиано беседовал с Мелькиадесом. В один знойный полдень, вскоре после смерти братьев-близнецов, он увидел на светлом фоне окна мрачного старика в шляпе с полями, похожими на крылья ворона, старик был словно воплощение некоего смутного образа, хранившегося в памяти Аурелиано еще задолго до его рождения. В ту пору Аурелиано уже закончил классификацию алфавита пергаментов. Поэтому на вопрос Мелькиадеса, узнал ли он, на каком языке написаны эти письмена, он, не колеблясь, ответил:

— На санскрите.

Мелькиадес сказал, что ему недолго уже осталось посещать свою комнату. Но он спокойно удалится в обитель окончательной смерти, зная, что Аурелиано успеет изучить санскрит за годы, остающиеся до той минуты, когда пергаментам исполнится сто лет и можно будет их расшифровать. Это от него Аурелиано стало известно, что в переулке, выходящем на реку, где в годы банановой компании угадывали будущее и толковали сны, один ученый-каталонец держит книжную лавку, и в той лавке есть «Sanscrit primer [1]», и он должен поспешить приобрести эту книгу, иначе через шесть лет ее сожрет моль. Впервые за свою долгую жизнь Санта София де ла Пьедад позволила себе проявить какое-то чувство, и это было чувство крайнего изумления, охватившее ее, когда Аурелиано попросил принести ему книгу, которая стоит между «Освобожденным Иерусалимом» и поэмами Мильтона в правом углу второго ряда книжных полок. Санта София де ла Пьедад не умела читать, поэтому она вызубрила наизусть все эти сведения и раздобыла нужные деньги, продав одну из семнадцати золотых рыбок, спрятанных в мастерской; только она и Аурелиано знали, где они лежат после той ночи, когда солдаты обыскали дом.

Аурелиано делал успехи в изучении санскрита, а Мелькиадес появлялся все реже и становился все более далеким, постепенно растворяясь в слепящем свете полудня. В последний его приход Аурелиано уже не увидел старика, а лишь почувствовал его невидимое присутствие и различил еле внятный шепот: «Я умер от лихорадки в болотах Сингапура». С того дня в комнату стали беспрепятственно проникать пыль, жара,

[1] Начальный курс санскрита *(англ.)*.

термиты, рыжие муравьи и моль, которой надлежало превратить в труху книги и пергаменты вместе с содержащейся в них премудростью.

В доме не было недостатка в пище. На следующий день после смерти Аурелиано Второго один из его друзей, из тех, кто нес венок с непочтительной надписью, предложил Фернанде уплатить ей деньги, которые он остался должен ее покойному супругу. Начиная с этого времени, каждую среду в доме появлялся посыльный с плетеной корзинкой, наполненной всякой снедью. Содержимого корзины с избытком хватало на неделю. Никто в доме не подозревал, что всю эту еду посылала Петра Котес, считавшая, что регулярная милостыня — верный способ унизить ту, которая унизила ее. Злоба, накопившаяся в душе Петры Котес, рассеялась скорее, чем она сама этого ожидала, и все же бывшая возлюбленная Аурелиано Второго сначала из гордости, а потом из сострадания продолжала посылать пищу его вдове. Позже, когда у Петры Котес уже недоставало сил продавать билеты, а люди потеряли интерес к лотерее, были случаи, что она сама сидела голодная, но кормила Фернанду и не переставала выполнять принятое на себя обязательство до тех пор, пока своими глазами не увидела похороны соперницы.

Сокращение числа обитателей дома, казалось, должно было бы облегчить Санта Софии де ла Пьедад тяжелое бремя повседневных забот, более полустолетия лежавшее на ее плечах. Никто не слышал ни слова жалобы от этой молчаливой, необщительной женщины, которая подарила семье ангельски добрую Ремедиос Прекрасную и загадочно надменного Хосе Аркадио Второго и посвятила всю свою одинокую и молчаливую жизнь выращиванию малышей, даже не сознававших, что они ее дети и внуки; словно за родным сыном ухаживала она и за Аурелиано, и в самом деле приходившимся ей правнуком, чего она не подозревала. В любом другом доме ей не позволили бы раскладывать свою циновку на полу в кладовой и спать там под непрекращавшуюся ночную возню крыс; Санта София де ла Пьедад никому не рассказывала, как однажды среди ночи она проснулась в испуге от ощущения, что кто-то смотрит на нее из темноты,— это была гадюка, которая уползла, скользнув по ее животу. Санта София де ла Пьедад знала, что, расскажи она об этом происшествии Урсуле, та положила бы ее спать в свою постель, но в те времена никто и ничего не замечал, и, чтобы привлечь чье-то внимание, нужно было громко вопить в галерее, ибо изнуряющая выпечка хлеба, превратности войны, уход за детьми не оставляли времени для того, чтобы подумать о благополучии своего ближнего. Единственным человеком, помнящим о Санта Софии де ла Пьедад, была Петра Котес, которую та ни разу и в глаза не видела. Петра Котес всегда — даже в тяжелые дни, когда ей с Аурелиано Вторым приходилось ночами колдовать над скудной выручкой от лотерей,— заботилась, чтобы Санта София де ла Пьедад имела приличное платье и пару добротных башмаков, в которых не стыдно было бы выйти на улицу. Когда Фернанда появилась в доме, у нее были основания принять Санта Софию де ла Пьедад за вечную служанку, и хотя ей много раз твердили, кто такая Санта София де ла Пьедад, все равно Фернанде это представлялось какой-то нелепостью, и она с трудом усваивала и тут же забывала, что перед ней мать ее мужа, ее свекровь. По-видимому, Санта София де ла Пьедад вовсе не тяготилась своим подчиненным положением. Наоборот, ей как будто даже и нравилось молча, безостановочно бродить по комнатам, заглядывать во все углы и поддерживать в чистоте и порядке огромный дом, в котором она жила с юных лет, хотя дом этот, особенно при банановой компании, походил больше на казарму, чем на семейный очаг. Но после смерти Урсулы Санта София де ла Пьедад, несмотря на всю свою нечеловеческую расторопность и потрясающую работоспо

собность, начала сдавать. И не только потому, что сама она состарилась и выбилась из сил, но и потому, что дом с каждым часом все больше дряхлел. Стены его покрылись нежным мхом, весь двор зарос травой, под напором сорняков цементный пол галереи растрескался, как стекло, и сквозь трещины пробились те самые желтые цветочки, которые без малого сто лет тому назад Урсула нашла в стакане, где лежала вставная челюсть Мелькиадеса. Не имея ни времени, ни сил противостоять неистовому могуществу природы, Санта София де ла Пьедад проводила целые дни в спальнях, распугивая ящериц, которые ночью снова возвращались. Как-то утром она обнаружила, что рыжие муравьи покинули источенный ими фундамент, пересекли сад, взобрались на галерею, где иссохшие бегонии имели теперь землистый цвет, и проникли в глубь дома. Санта София де ла Пьедад попыталась уничтожить их сначала с помощью просто метлы, затем в ход пошли дезинсекторы и, наконец, негашеная известь, но все было напрасно — на другой день рыжие муравьи наползали снова, упорные и неистребимые. Фернанда, всецело занятая сочинением писем своим детям, не сознавала ужасающей быстроты разрушения, его необратимости, и Санта Софии де ла Пьедад приходилось биться в одиночку — она сражалась с сорняками, не пропуская их в кухню, смахивала со стен заросли паутины, через несколько часов выраставшие снова, выскребала термитов из их нор. Но когда она увидела, что пыль и паутина проникли даже в комнату Мелькиадеса, хотя она подметала и убирала ее по три раза в день, и что, несмотря на все ее яростные усилия сохранить чистоту, комната все более и более принимает тот грязный и жалкий облик, который пророчески увидели только два человека — полковник Аурелиано Буэндиа и молодой военный,— она признала себя побежденной. Тогда она надела поношенное выходное платье, старые ботинки Урсулы, простые чулки — подарок Амаранты Урсулы и сделала сверток из двух или трех еще оставшихся у нее смен белья.

— Я больше не могу,— сказала она Аурелиано.— Этот дом слишком велик для моих бедных костей.

Аурелиано спросил, куда она думает пойти, и она неопределенно махнула рукой, словно не имела ни малейшего представления о своей будущей судьбе. Все же она сказала, что собирается провести последние годы жизни у своей двоюродной сестры, живущей в Риоаче. Но это выглядело неправдоподобно. Со времени смерти своих родителей Санта София де ла Пьедад ни с кем в Макондо не поддерживала связи, ниоткуда не получала ни писем, ни посылок и ни разу не говорила, что у нее есть родственники. Аурелиано отдал ей четырнадцать золотых рыбок, так как она собиралась уйти только со своими сбережениями: одним песо и двадцатью пятью сентаво. Из окна Аурелиано видел, как она, горбясь под тяжестью лет, волоча ноги, медленно пересекла двор со свертком белья в руках, видел, как она всунула руку в отверстие калитки, чтобы опустить за собой щеколду. Больше он никогда ее не видел и ничего о ней не слышал.

Узнав об уходе Санта Софии де ла Пьедад, Фернанда целый день болтала без умолку,— она перерыла все сундуки, комоды и шкафы, перебрала все вещи одну за другой и убедилась, что свекровь ничего с собой не унесла. Потом обожгла себе пальцы, впервые в жизни попытавшись растопить печь, и должна была униженно просить Аурелиано сделать ей милость и показать, как варят кофе. Со временем юноше пришлось взять на себя все кухонные дела. Встав с постели, Фернанда находила завтрак уже на столе, позавтракав, она удалялась в спальню и снова показывалась только в час обеда, чтобы взять еду, оставленную ей Аурелиано в печке на еще теплых углях, отнести нехитрые кушанья в столовую и съесть их, сидя среди канделябров во главе накрытого полотняной скатертью стола, за которым стояло пятнадцать пустых

стульев. Даже оставшись одни в доме, Аурелиано и Фернанда продолжали жить, замкнувшись каждый в своем неразделенном одиночестве. Они убирали только свои спальни, все остальные помещения постепенно обволакивала паутина, которая оплетала розовые кусты, облепляла стены, толстым слоем покрывала стропила. Именно в эти дни у Фернанды сложилось впечатление, что у них завелись домовые. Вещи, особенно такие, без которых нельзя обойтись ни одного дня, словно обрели ноги. Фернанда часами могла искать ножницы, будучи в полной уверенности, что накануне вечером положила их на кровать, и, только перерыв всю постель, обнаруживала пропажу на полке в кухне, хотя ей казалось, что в кухню она не заходила вот уже целых четыре дня. А то вдруг из ящика пропадали вилки, а на другой день шесть вилок валялись на алтаре и три торчали в умывальнике. Вещи словно играли в прятки, и эти их забавы особенно выводили Фернанду из себя, когда она садилась писать письма. Чернильница, только что поставленная справа, перемещалась на левую сторону, пресс-папье вообще исчезало со стола, и через три дня Фернанда находила его у себя под подушкой, страницы письма к Хосе Аркадио попадали в конверт для Амаранты Урсулы, и Фернанда жила в смертельном страхе, что она перепутает конверты, как это неоднократно и случалось. Однажды у нее пропала ручка с пером. Прошло пятнадцать дней, и эту ручку принес почтальон, он обнаружил ее у себя в кармане и долго таскал из дома в дом, разыскивая хозяев. Вначале Фернанда думала, что эти исчезновения, как и пропажа бандажей, дело рук невидимых целителей, и даже начала было писать им письмо с просьбой оставить ее в покое, но неотложные надобности заставили ее прервать письмо на полуслове, а когда она вернулась в комнату, оно исчезло, да и сама Фернанда уже забыла о своем намерении его написать. Одно время у нее под подозрением был Аурелиано. Она принялась следить за ним, подбрасывала различные предметы на его пути, надеясь поймать его с поличным в тот момент, когда он будет их прятать, но вскоре убедилась, что Аурелиано выходит из комнаты Мелькиадеса только на кухню и в уборную и что он человек, не способный к шуткам. Таким образом Фернанда и пришла к мысли, что все это проделки домовых, и решила закрепить каждую вещь на том месте, где она должна находиться. Длинными веревками она привязала ножницы к изголовью кровати, коробочку для перьев и пресс-папье — к ножке стола, а чернильницу приклеила к столешнице справа от того места, куда имела обыкновение класть бумагу. Однако ей не удалось добиться желаемых результатов, так как стоило ей заняться шитьем — и через два-три часа она уже не могла дотянуться до ножниц, словно домовые укоротили веревку, на которой ножницы были привязаны. То же происходило и с веревкой, на которой было пресс-папье, и даже с рукой Фернанды, ибо, взявшись за письмо, через некоторое время она уже не могла дотянуться до чернильницы. Ни Амаранта Урсула в Брюсселе, ни Хосе Аркадио в Риме ничего не знали об этих ее неприятностях. Она писала им, что вполне счастлива, да она и в самом деле была счастлива, именно потому, что чувствовала себя свободной от всех обязанностей, как будто снова вернулась в родительский дом, где ей не приходилось сталкиваться с повседневными мелочами, так как все эти мелкие проблемы были разрешены заранее — в воображении. Бесконечное писание писем привело к тому, что Фернанда утратила чувство времени, особенно это стало заметно после ухода Санта Софии де ла Пьедад. Фернанда привыкла вести счет дням, месяцам, годам, принимая за точки отсчета предполагаемые даты возвращения детей. Но когда сын и дочь начали раз за разом откладывать свой приезд, даты смешались, сроки перепутались и дни перестали отличаться один от другого, даже не было заметно, что они проходят. Эти отсрочки не выводили Фернанду из себя, наоборот, они вызывали у нее чувство глубокого удовлетворения. Когда

Хосе Аркадио сообщил, что надеется завершить курс высшей теологии и приступить к изучению дипломатии, она не огорчилась, хотя несколько лет тому назад он уже писал, что находится накануне принятия обета; она знала, как высока и крута винтовая лестница, ведущая к престолу святого Петра. Ее приводили в восторг известия, которые для других показались бы самыми незначительными,— например, сообщение сына, что он лицезрел папу. Точно такую же восторженную радость испытала Фернанда, когда дочь написала ей, что сможет продолжить учение в Брюсселе дольше установленного срока, так как благодаря своим незаурядным способностям она получила льготы, которых отец не мог предвидеть.

Более трех лет минуло с того дня, когда Санта София де ла Пьедад принесла Аурелиано санскритскую грамматику, и только теперь ему удалось перевести первый лист пергаментов. Он выполнил гигантскую работу, и все же проделал лишь первый шаг на пути, длину которого невозможно было измерить, ибо испанский перевод пока еще не имел смысла — это были зашифрованные стихи. Аурелиано не располагал исходными данными, чтобы подобрать ключи к шифру, но, вспомнив слова Мелькиадеса про лавочку ученого-каталонца, где есть книги, позволяющие проникнуть в глубокий смысл пергаментов, он решил поговорить с Фернандой и попросить разрешения отправиться на поиски. В комнате, загроможденной грудами мусора, растущими с головокружительной быстротой и уже заполнившими почти все пространство, Аурелиано подбирал слова для этого разговора, сочинял наиболее убедительную форму обращения, предусматривал наиблагоприятнейшие обстоятельства, но при встречах с Фернандой на кухне, когда она вынимала еду из печки,— а другой возможности встретиться с ней у него не было,— заранее обдуманная просьба застревала у него в горле, и он терял голос. Впервые он стал выслеживать Фернанду. Он подкарауливал ее шаги в спальне. Слушал, как она идет к двери, чтобы взять у почтальона письма от детей и вручить ему свои, до глубокой ночи ловил твердое и неистовое скрипение пера по бумаге, затем раздавалось щелканье выключателя и бормотание молитв. Только тогда Аурелиано засыпал, веря, что следующий день принесет ему желанный случай. Он так надеялся получить разрешение, что однажды утром остриг себе волосы, отросшие уже до плеч, сбрил клочковатую бороду, натянул узкие брюки и неизвестно от кого унаследованную рубашку с пристегивающимся воротничком, отправился на кухню и стал ждать, когда Фернанда придет за едой. Но перед ним предстала не та женщина, которую он раньше встречал каждый день — женщина с гордо вскинутой головой и твердой поступью, а старуха сверхъестественной красоты, в пожелтевшей горностаевой мантии и с позолоченной картонной короной на голове, вид у нее был такой томный, словно она перед этим долго плакала взаперти. С тех пор как Фернанда нашла в чемоданах Аурелиано Второго изъеденное молью одеянье королевы, она часто в него облачалась. Всякий, кто увидел бы, как она вертится перед зеркалом, восхищаясь своей королевской осанкой, несомненно принял бы ее за сумасшедшую, но она не сошла с ума. Просто королевские одежды стали для нее средством пробуждения памяти. Одев их впервые, она почувствовала, что в сердце образовался комок и глаза наполнились слезами; она снова услышала запах ваксы, исходивший от сапог военного, явившегося за ней, чтобы сделать ее королевой, и душа ее наполнилась тоской по утраченным иллюзиям. Она почувствовала себя такой старой, такой изношенной, такой далекой от лучших часов своей жизни, что затосковала даже по тем дням, что всегда казались ей самыми черными, и только тут она поняла, как не хватает ей запахов душицы, которые ветер разносил по галерее, дымки, поднимавшейся в сумерках от розовых кустов, и даже животно-грубых чужеземцев. Ее сердце — комок

спрессованного пепла,— успешно сопротивлявшееся самым тяжелым ударам повседневных забот, рассыпалось под первым натиском тоски по прошлому. Потребность находить себе радость в печали, по мере того как шли годы и оказывали на Фернанду свое опустошающее воздействие, превратилась в порок. Познав одиночество, Фернанда снова стала человеком. Однако в то утро, когда она вошла в кухню и встретила бледного и костлявого подростка со странным блеском в глазах, протягивавшего ей чашку кофе, она сама себе показалась смешной. Фернанда не только отказала Аурелиано в его просьбе, но и начала прятать ключи от дома в потайной карман, в котором носила бандажи. Это была излишняя предосторожность, так как Аурелиано при желании мог ускользнуть из дома и вернуться, не будучи замеченным. Но неуверенность в окружающем мире, выработанная годами затворничества, и привычка повиноваться задушили в сердце юноши семена мятежа. Он вернулся в свою келью и продолжал изучать пергаменты, прислушиваясь к глубоким вздохам, до поздней ночи доносившимся из спальни Фернанды. Однажды утром он, как обычно, спустился на кухню, чтобы растопить печь, и нашел в остывшей золе нетронутый обед, который он накануне оставил для Фернанды. Тогда он заглянул в спальню и увидел, что Фернанда лежит, вытянувшись на постели, покрытая горностаевой мантией, прекрасная, как никогда, и кожа у нее стала мраморной. Точно такой нашел ее и Хосе Аркадио, вернувшись в Макондо четыре месяца спустя.

Было невозможно представить себе сына, более похожего на свою мать. Хосе Аркадио носил костюм из траурно-черной тафты, рубашку с твердым и круглым воротничком, а вместо галстука узкую шелковую ленту, завязанную бантом. Это был бледный, томный человек с удивленным взглядом и безвольным ртом. Черные, блестящие, гладкие волосы, разделенные посредине головы прямым и тонким пробором, имели искусственный вид, свойственный парикам святых, синеватые тени, оставшиеся на чисто выбритом подбородке белого, как парафин, лица, говорили об угрызениях совести. У него были бледные, пухлые руки с зелеными венами, руки бездельника, а на указательном пальце левой руки красовалось массивное золотое кольцо с круглым опалом. Открыв ему дверь, Аурелиано с первого взгляда понял, что перед ним человек, приехавший издалека. Там, где он проходил, оставался запах цветочной воды, которой Урсула смачивала ему голову, когда он был ребенком, чтобы отыскивать его во мраке своей слепоты. Непонятно почему, но после стольких лет отсутствия Хосе Аркадио по-прежнему оставался рано состарившимся ребенком, печальным и одиноким. Он направился прямо в спальню своей матери, где Аурелиано, по рецепту Мелькиадеса, чтобы сохранить тело от тления, уже четыре месяца кипятил ртуть в тигле, некогда принадлежавшем прадеду его деда. Хосе Аркадио ни о чем не спросил. Он поцеловал в лоб мертвую Фернанду, вытащил из внутреннего кармана ее юбки три оставшихся неиспользованными бандажа и ключ от платяного шкафа. Уверенные резкие движения не соответствовали его томному виду. Вынув из шкафа пахнущую сандалом шкатулку с фамильным гербом, он открыл ее — на дне лежало длинное письмо, в котором Фернанда излила свое сердце и рассказала все, что при жизни таила от сына. Хосе Аркадио прочитал письмо матери стоя, с видимым интересом, но не выказал никакого волнения, он задержался на третьей странице и внимательно посмотрел на Аурелиано, как бы знакомясь с ним заново.

— Итак,— сказал он голосом, в котором было что-то от бритвы,— ты и есть бастард?

— Я Аурелиано Буэндиа.

— Убирайся в свою комнату,— сказал Хосе Аркадио.

Аурелиано отправился к себе и не вышел даже посмотреть на сиротливые похороны Фернанды. Иногда через раскрытую дверь кухни он видел, как Хосе Аркадио, тяжело дыша, бродит по дому, а глубокой ночью слышал его шаги в обветшалых спальнях. Голоса его Аурелиано не слышал многие месяцы, и не только потому, что Хосе Аркадио не удостаивал его беседой, но и потому, что сам он не имел ни малейшего желания говорить с ним, ни времени подумать о чем-нибудь другом, кроме пергаментов. После смерти Фернанды он вытащил из тайника предпоследнюю золотую рыбку и направил свои стопы в книжную лавку ученого-каталонца, чтобы раздобыть нужные книги. Все, что он увидел по пути, не вызывало у него никакого интереса, может быть, потому, что у него не было воспоминаний и ему не с чем было сравнивать увиденное; пустынные улицы и заброшенные дома выглядели точно такими, какими он представлял их в своем воображении в те дни, когда с радостью отдал бы душу, лишь бы взглянуть на них. Он сам предоставил себе разрешение, в котором ему отказала Фернанда, и решился выйти из дому, но только один раз, с одной-единственной целью и лишь на самое короткое время, поэтому он прошагал, не останавливаясь, одиннадцать кварталов, отделявших его дом от переулка, где раньше занимались толкованием снов, и с бьющимся сердцем вошел в захламленное и темное помещение, в котором едва можно было повернуться. Казалось, что это не книжная лавка, а братское кладбище старых книг, сваленных беспорядочными грудами на источенные термитами и затянутые паутиной полки, и не только на полки, но и на пол, в узких проходах между полками. На длинном столе, прогнувшемся под тяжестью нагроможденных на него фолиантов, владелец лавки, не останавливаясь, писал что-то, не имеющее ни начала ни конца, писал фиолетовыми корявыми буквами на листках, выдранных из школьной тетради. Его красивые серебристые волосы ниспадали на лоб, словно хохолок какаду. В живых и узких голубых глазах светилась кроткая доброта человека, прочитавшего все книги на свете. Сидел он весь потный, в одних кальсонах и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на пришедшего. Аурелиано без особых трудов раскопал среди этого сказочного беспорядка нужные ему пять книг, ибо все они находились точно там, где указал Мелькиадес. Не говоря ни слова, он протянул отобранные тома и золотую рыбку ученому-каталонцу, тот перелистал книги, и его веки прикрылись, подобно створкам раковины. «Должно быть, ты сумасшедший»,— произнес он на своем родном языке, пожал плечами и вернул Аурелиано книги и рыбку.

— Забирай,— сказал он уже по-испански.— Последним человеком, который читал эти книги, наверное, был Исаак Слепой, поэтому подумай хорошенько, что ты делаешь.

Хосе Аркадио отремонтировал спальню Меме, приказал почистить и заштопать бархатные занавески и камковый балдахин вице-королевской постели и привел в порядок купальню, где стенки цементного бассейна покрылись каким-то черным и шероховатым налетом. Спальней и купальней он и ограничил свои владенья, заполнив их всякой чепухой: засаленными экзотическими безделушками, дешевыми духами и поддельными драгоценностями. В других помещениях дома его внимание привлекли только статуи святых на алтаре в детской, они ему чем-то не понравились, и однажды вечером он снял их с алтаря, вынес во двор и сжег дотла на костре. Обычно он вставал в двенадцатом часу дня. Проснувшись, облачался в затасканный халат, вышитый золотыми драконами, совал ноги в шлепанцы с золотыми кистями, отправлялся в купальню и там приступал к обряду, который по своей торжественной медлительности был похож на ритуал, соблюдавшийся Ремедиос Прекрасной. Прежде чем опуститься в бассейн, он сыпал в воду ароматические

соли из трех белых флаконов. Он не совершал омовений с помощью тыквенного сосуда, как Ремедиос Прекрасная, но, погрузившись в благоуханную влагу, два часа лежал на спине, убаюкиваемый свежестью воды и воспоминаниями об Амаранте. Через несколько дней после приезда он снял свой костюм из тафты, слишком теплый для того, чтобы в нем можно было выходить в город, и к тому же единственное парадное платье, имевшееся в его распоряжении, натянул узкие брюки, похожие на те, что надевал Пьетро Креспи, отправляясь на уроки танцев, и рубашку из натурального шелка, на которой были вышиты его инициалы. Дважды в неделю он стирал эту одежду в бассейне, и пока она просыхала, ходил в халате, так как другой смены у него не было. Хосе Аркадио никогда не обедал дома. Он выходил на улицу, как только спадал полуденный зной, и возвращался глубокой ночью, чтобы снова тоскливо бродить по комнатам, тяжело дыша и думая об Амаранте. Амаранта да еще страшные глаза святых в мерцании ночника — только эти два воспоминания сохранял он о своем родном доме. Много раз в Риме вызывающими видения августовскими ночами ему грезилась Амаранта; она поднималась из мраморного бассейна в своих кружевных юбках и с повязкой на руке, приукрашенная тоской изгнанника. В противоположность Аурелиано Хосе, который старался утопить образ Амаранты в кровавом болоте войны, Хосе Аркадио пытался сохранить его живым в глубинах чувственности все время, пока обманывал мать баснями о своем духовном призвании. Ни ему, ни Фернанде никогда не приходило в голову, что их переписка представляет собой всего лишь обмен вымыслами. Вскоре после приезда в Рим Хосе Аркадио ушел из семинарии, но продолжал поддерживать легенду о своих занятиях теологией и каноническим правом, чтобы не лишиться сказочного наследства, о котором твердили бредовые письма его матери; это наследство должно было вызволить его из нищеты, вытащить из грязного домишка в Трастевере, на чердаке которого он ютился вместе с двумя друзьями. Получив последнее письмо от Фернанды, продиктованное предчувствием смерти, он сложил в чемодан ошметки фальшивой роскоши и пересек океан в трюме корабля, где эмигранты, сбившись плотной массой, как стадо на бойне, поглощали холодные макароны и червивый сыр. Еще не прочитав завещания Фернанды, представлявшего собой всего лишь подробный и запоздалый перечень бед, он уже по виду развалившейся мебели и поросшей сорной травой галереи догадался, что попал в западню, откуда ему не выбраться, и никогда больше он не увидит алмазный свет римской весны, не вдохнет ее воздух, пропитанный древностью. В часы бессонницы, вызванной изнурительными приступами астмы, он снова и снова измерял глубину своего несчастья, бродя по мрачному дому, где старческие выходки Урсулы внушили ему в свое время страх перед миром. Боясь потерять Хосе Аркадио в потемках, Урсула приучила его сидеть, забившись в угол спальни, она сказала, что это единственное место, куда не заглядывают мертвецы, которые выходят с наступлением сумерек и начинают разгуливать по всему дому. «Если ты сделаешь что-нибудь плохое,— грозила ему Урсула,— святые угодники мне тут же все расскажут». В детстве он проводил в этом углу полные страха вечера, сидел, не двигаясь, на табурете, пока не наступало время идти спать, сидел, испуганно потея под неумолимыми, ледяными взглядами святых соглядатаев. В этом дополнительном мучении не было необходимости, так как к тому времени Хосе Аркадио и без того испытывал страх перед всем, что его окружало, и готов был испугаться всего, что может встретиться в жизни: уличных женщин, которые портят кровь, домашних женщин, рожающих младенцев со свиным хвостом, боевых петухов, одним приносящих смерть, а другим — бесконечные угрызения совести, огнестрельного оружия, которое при первом к нему прикосно-

вении обрекает вас на двадцать лет войны, опрометчивых затей, неизменно заканчивающихся разочарованием и безумием, и, наконец, всего, что господь сотворил в бесконечной доброте своей, а дьявол извратил. По утрам он просыпался, измученный кошмарами, но солнечный свет в окне и ласковые руки Амаранты, купавшей его в бассейне, отгоняли ночные страхи. В залитом солнцем саду даже Урсула была совсем другой: она уже не запугивала его рассказами о всевозможных ужасах, а чистила ему зубы тертым углем — пусть его улыбка сияет, как у папы; подстригала и полировала ему ногти — пусть паломники, которые соберутся в Рим со всех концов земли, поразятся, в какой чистоте содержит свои руки папа; обрызгивала его цветочной водой — пусть он пахнет не хуже папы. Ему довелось видеть, как папа с балкона, выходящего во дворец замка Кастельгандольфо, на семи языках держал речь перед толпой паломников, и в самом деле Хосе Аркадио заметил только белизну рук первосвященника, словно вымоченных в жавеле, ослепительный блеск его летнего облачения и тонкий запах изысканного одеколона.

Прошел почти год с того дня, как Хосе Аркадио вернулся под отчий кров, и когда он проел серебряные канделябры и украшенный гербами ночной горшок — по правде говоря, золотым в этом сосуде оказался только инкрустированный герб,— его единственным развлечением стало собирать в доме городских мальчишек и давать им полную свободу. В часы сиесты он позволял им скакать через веревочку в саду, распевать песни на галерее, играть в акробатов прямо на мягкой мебели, а сам переходил от одной компании к другой, обучая детей хорошим манерам. К тому времени он уже расстался с узкими панталонами и шелковой рубашкой и носил обычный костюм, купленный в лавочках у арабов, но все еще продолжал сохранять вид томного достоинства и папские манеры. Дети освоились с домом так же быстро, как в свое время товарки Меме. До позднего вечера было слышно, как они болтают, поют, отбивают чечетку,— дом походил на школу-интернат, в которой нет дисциплины. Сначала Аурелиано не обращал внимания на это вторжение, но вскоре дети добрались до комнаты Мелькиадеса. Однажды утром двое мальчишек распахнули дверь и испугались, увидев грязного, лохматого человека, сидящего за столом над пергаментами. Мальчики не посмели войти, но с тех пор заинтересовались странным незнакомцем. Они шушукались у дверей, подглядывали в щели, забрасывали в комнату через форточку всякую нечисть, а однажды заколотили снаружи дверь и окно гвоздями, и Аурелиано должен был провозиться целых полдня, чтобы открыть себе выход. Поощряемые безнаказанностью своих проделок, дети осмелели и, выбрав время, когда Аурелиано был на кухне, четыре мальчика проникли в комнату с намерением уничтожить пергаменты. Но стоило им схватить пожелтевшие свитки, как ангельская сила подняла их в воздух и держала во взвешенном состоянии до тех пор, пока Аурелиано не вернулся и не вырвал у них пергаменты из рук. С тех пор его больше не беспокоили.

Четверо старших мальчиков, которые все еще носили короткие штаны, хотя для них уже наступила пора отрочества, следили за внешностью Хосе Аркадио. Утром они приходили раньше остальных и брили его, массировали ему тело нагретыми полотенцами, подстригали и полировали ногти на руках и ногах, опрыскивали его цветочной водой. Иногда они залезали в бассейн и намыливали его с ног до головы, пока он плавал, лежа на спине, и думал об Амаранте. Затем они вытирали его насухо полотенцами, припудривали, одевали. Один из этих мальчиков, у которого были русые вьющиеся волосы и стеклянные розоватые, как у кролика, глаза, обычно оставался ночевать. Он был так сильно привязан к Хосе Аркадио, что не отходил от него в часы астматической бессонницы и вместе с ним бродил по темным комнатам. Однажды

ночью в спальне Урсулы они заметили странный золотистый блеск, пробивавшийся сквозь трещину в цементном полу, казалось, снизу светит подземное солнце. Для того чтобы понять, в чем дело, им не пришлось даже зажигать фонарь. Они просто приподняли треснувшие плиты в том углу, где стояла кровать Урсулы и откуда исходило самое яркое сияние: под плитами оказался тайник, который Аурелиано Второй так мучительно и упорно разыскивал. Там лежали три брезентовых мешка, завязанных медной проволокой, а в них семь тысяч двести четырнадцать дублонов, сверкавших в темноте, как раскаленные угли.

Находка сокровища была словно яркая вспышка огня среди ночной тьмы. Но вместо того, чтобы осуществить мечту, выношенную в годы нищеты, и вернуться в Рим с этим неожиданно свалившимся на голову богатством, Хосе Аркадио превратил дом в декадентский рай. Он обновил бархатные занавески и балдахин в спальне, заставил выложить пол в купальне плитками, а стены изразцами. Буфет в столовой наполнился засахаренными фруктами, копченостями и маринадами, запертая кладовая снова открылась и приняла в свои недра вина и ликеры; эти напитки доставлялись в ящиках, на которых было написано имя Хосе Аркадио, и тот самолично забирал ящики на железнодорожной станции. Как-то раз, ночью, он вместе с четырьмя своими любимцами устроил пир, продолжавшийся до рассвета. В шесть часов утра они вышли нагишом из спальни, спустили воду из бассейна и наполнили его шампанским. Мальчики дружно бросились в бассейн и резвились, похожие на стаю птиц, что летает в золотистом небе, покрытом источающими аромат пузырьками; в стороне от их шумного веселья лежал на спине Хосе Аркадио. Он плавал, погруженный в свои мысли, грезя с открытыми глазами об Амаранте, а мальчики скоро устали и толпой отправились в спальню, там они сорвали бархатные занавески и вытерлись ими, как полотенцами, затеяли возню и разбили дорогое зеркало; затем все сразу полезли на кровать и в свалке сбросили балдахин. Когда пришел Хосе Аркадио, они спали, свернувшись клубком среди обломков кораблекрушения. Придя в ярость не столько от открывшейся перед ним картины разгрома, сколько от жалости и отвращения к самому себе, опустошенному разрушительной оргией, Хосе Аркадио вооружился розгами, хранившимися на дне сундука вместе с власяницей и разными железками, предназначенными для умерщвления плоти и покаянья, и выгнал мальчишек из дома, завывая как сумасшедший и бичуя своих бывших друзей с такой безжалостностью, с какой не поднял бы руку даже на стаю койотов. Он остался один, измученный, задыхаясь в приступе астмы, который продолжался несколько дней. Когда приступ, наконец, прошел, у Хосе Аркадио был вид умирающего. На третью ночь мучений, не в силах больше выносить удушье, он пришел в комнату Аурелиано и попросил сделать одолжение и купить в ближайшей аптеке порошки для ингаляции. Это был второй выход Аурелиано на улицу. Он пробежал всего лишь два квартала и увидел узенькую аптеку с пыльными витринами, заставленными фаянсовыми сосудами с латинскими обозначениями, и девушка, наделенная таинственной красотой Нильской змеи, отпустила ему лекарство, название которого Хосе Аркадио записал на клочке бумаги. И на этот раз вид пустынных улиц, слабо освещенных желтыми огнями фонарей, не вызвал у Аурелиано ни малейшего любопытства. Хосе Аркадио уже начал думать, что Аурелиано сбежал, когда тот появился, тяжело переводя дыхание и волоча ноги, которые после длительного заточения стали как ватные. Аурелиано с таким очевидным безразличьем относился к окружающему миру, что несколько дней спустя Хосе Аркадио нарушил обет, данный матери, и разрешил ему выходить на улицу, когда вздумается.

— Мне нечего делать на улице,— ответил Аурелиано.

Он продолжал сидеть взаперти, погруженный в свои пергаменты, мало-помалу он расшифровал их, хотя смысл написанного ему все еще не удавалось истолковать. Хосе Аркадио приносил затворнику в комнату ломти ветчины, засахаренные цветы, оставлявшие во рту привкус весны, а дважды являлся даже с бокалом доброго вина. Хосе Аркадио не занимали пергаменты, казавшиеся ему сугубо индивидуальным развлечением, но он проникся интересом к заброшенному родственнику, обладавшему редкой ученостью и необъяснимым знанием мира. Оказалось, что Аурелиано разбирается в английском и в промежутках между изучением пергаментов прочитал все шесть томов энциклопедии от первой до последней страницы, как увлекательный роман. Чтению энциклопедии Хосе Аркадио вначале приписывал то, что Аурелиано может говорить о Риме так, словно прожил там много лет, но вскоре выяснилось, что его собеседник знает и многое такое, чего он не мог почерпнуть из энциклопедии, например, цены на товары. «Все можно узнать»,— неизменно отвечал Аурелиано на вопросы, откуда он это позаимствовал. В свою очередь Аурелиано был поражен тем, что Хосе Аркадио, которого он видел только издали, бродящим по комнатам, при близком знакомстве оказался совсем не похож на создавшееся о нем представление. Обнаружилось, что он способен смеяться, время от времени позволяет себе погрустить о былом величии дома и сокрушенно вздохнуть по поводу запустения, господствующего в комнате Мелькиадеса. Это сближение двух отшельников одинаковой крови было еще далеко от дружбы, но скрашивало обоим бездонное одиночество, которое и разделяло и объединяло их. Отныне Хосе Аркадио мог обращаться к Аурелиано и с его помощью решать некоторые неотложные и приводившие самого Хосе Аркадио в отчаяние домашние проблемы. Что касается Аурелиано, то ему было разрешено сидеть и читать в галерее, получать письма от Амаранты Урсулы, которые продолжали поступать с прежней пунктуальностью, и пользоваться купальней, куда раньше Хосе Аркадио его не допускал.

В одно жаркое утро их обоих разбудил торопливый стук в дверь. Стучал какой-то незнакомый старик, большие зеленые глаза освещали его строгое лицо призрачным светом, а на лбу его темнел крест из пепла. Изодранная в лохмотья одежда, стоптанные ботинки, старый мешок, который пришелец нес на плече, как единственное свое имущество, придавали ему вид нищего, однако держался он с достоинством, находившемся в явном противоречии с его внешностью. Даже в полумраке гостиной с первого взгляда можно было понять, что тайной силой, поддерживающей жизнь в этом человеке, является не инстинкт самосохранения, а привычка к страху. Это был Аурелиано Влюбленный, единственный оставшийся в живых из семнадцати сыновей полковника Аурелиано Буэндиа, он жаждал отдохнуть от томительной и полной случайностей жизни беглеца. Он назвал свое имя и умолял, чтобы ему дали приют в этом доме, который в бессонные ночи казался ему последним оставшимся для него прибежищем. Но Хосе Аркадио и Аурелиано ничего не знали об этом своем родиче. Они приняли старика за бродягу и вытолкали на улицу. И, стоя в дверях, оба увидели развязку драмы, начавшейся еще до рождения Хосе Аркадио. Под миндальными деревьями на противоположной стороне улицы появились два агента полиции, в течение многих лет они охотились за Аурелиано Влюбленным, шли по его следу, как гончие псы; раздались два выстрела, и Аурелиано Влюбленный рухнул ничком на землю, пули попали ему точно в крест на лбу.

С тех пор как Хосе Аркадио выгнал мальчиков из дома, он жил в ожидании известий о трансатлантическом лайнере, на котором должен был отправиться в Неаполь еще до рождества. Он сказал об этом Аурелиано и даже думал организовать для него какое-нибудь торговое дело

которое давало бы возможность существовать, так как после смерти Фернанды корзину с продуктами перестали приносить. Но и этой последней мечте не суждено было сбыться. Однажды сентябрьским утром, когда Хосе Аркадио, выпив на кухне кофе с Аурелиано, заканчивал ежедневное омовение, в купальню через дыры в черепичной крыше спрыгнули те четыре подростка, которых он выгнал из дома. Не дав ему опомниться, они, как были в одежде, бросились в бассейн, схватили Хосе Аркадио за волосы и держали его голову под водой до тех пор, пока на поверхности не перестали появляться пузырьки воздуха и безмолвное бледное тело наследника папского престола не опустилось в глубины ароматных вод. Затем они унесли с собой три мешка с золотом, взяв их из тайника, известного только им да их жертве. Вся операция была проведена по-военному быстро, организованно и жестоко.

Аурелиано, сидевший взаперти в своей комнате, ничего не подозревал. Только вечером, придя на кухню, он хватился Хосе Аркадио, стал искать его по всему дому и, наконец, нашел в купальне. Хосе Аркадио, огромный и распухший, плавал на благоухающей зеркальной поверхности бассейна, все еще думая об Амаранте. Только теперь Аурелиано понял, что успел полюбить его.

■

Амаранта Урсула вернулась в первые дни декабря на крыльях попутных ветров. Она вела за собой супруга, держа в руке шелковый поводок, обвязанный вокруг его шеи. Появилась она неожиданно, без предупреждения, на ней было платье цвета слоновой кости, с шеи свисала нитка жемчуга, доходившая до колен, на пальцах сверкали кольца с изумрудами и топазами, гладкие, кругло подстриженные волосы двумя острыми ласточкиными крыльями выступали на щеки.

Мужчина, сочетавшийся с ней браком полгода назад, был зрелым, стройным фламандцем, с виду похожим на моряка. Стоило ей распахнуть дверь в гостиную, как она убедилась, что отсутствие ее затянулось и все в доме пришло в гораздо больший упадок, чем она предполагала.

— Боже мой! — воскликнула она, скорее весело, чем огорченно.— Сразу видно, что в этом доме нет женщины!

Ее багаж не умещался в галерее. Кроме старого сундука Фернанды, с которым Амаранту Урсулу отправили в Брюссель, она привезла с собой два гардероба, четыре больших чемодана, мешок для зонтиков, восемь шляпных коробок, гигантскую клетку с пятьюдесятью канарейками и велосипед, хранившийся в разобранном состоянии в специальном футляре, так что его можно было носить, как виолончель. Она не позволила себе даже дня отдохнуть после долгой дороги. Надела поношенный холщовый комбинезон мужа, привезенный им вместе с другими принадлежностями туалета велосипедиста, и взялась за очередное обновление дома. Разогнала рыжих муравьев, уже прочно завладевших галереей, возродила к жизни розовые кусты, с корнем вырвала сорняки, снова посеяла в цветочных вазонах папоротники, душицу и бегонии. Она возглавила команду столяров, слесарей и каменщиков, которые заделали трещины в полу, навесили окна и двери, починили мебель, побелили стены изнутри и снаружи, и уже через три месяца после ее приезда в доме воцарилась атмосфера молодости и веселья, наполнявшая его в эпоху пианолы. Эти стены еще не видели такого человека, как Амаранта Урсула, которая в любой час и при любых обстоятельствах обладала прекрасным настроением и всегда была готова петь, танцевать и выбрасывать в мусорную корзину устаревшие вещи и обычаи. Она вымела остатки похоронного инвентаря и кучи ненужной рухляди, скопившиеся в углах, и единственно из уважения к Урсуле оставила висеть портрет Ремедиос. «Посмотрите, какая прелесть,— кричала Амаранта Урсула,

умирая от смеха.— Прабабушка в четырнадцать лет!» Какой-то каменщик начал было рассказывать ей, что дом населен призраками, и единственный верный способ отпугнуть их — это начать поиски спрятанных ими сокровищ, но Амаранта Урсула между двумя взрывами хохота заявила, что не верит в мужские суеверия. Она была такой непосредственной, такой самостоятельной, такой современной, что Аурелиано, увидев ее, не знал, куда девать свои руки и ноги. «Ух ты! — радостно закричала она, раскрыв ему объятья.— Посмотрите только, как он вырос, мой обожаемый людоед!» Прежде чем он нашелся что ответить, она уже поставила пластинку в портативный патефон, который привезла с собой, и принялась учить Аурелиано модным танцам. Она потребовала, чтобы он сменил засаленные штаны, унаследованные от полковника Аурелиано Буэндиа, подарила ему цветастые рубашки и нарядные ботинки и вытолкала его на улицу.

Живая, маленькая и неукротимая, как Урсула, красотой и обаятельностью она почти не уступала Ремедиос Прекрасной и была наделена редким талантом предугадывать моду. Последние журналы мод, приходившие по почте, неизменно подтверждали, что она не ошиблась в моделях, которые сама изобрела и сама сшила на допотопной швейной машине Амаранты. Она подписывалась на все журналы мод, на все издания по искусству и музыке, выходившие в Европе, но стоило ей раскрыть их, и она уже видела, что все в мире идет именно так, как ей представлялось. Было непостижимо, почему такая ученая и одаренная женщина вернулась в этот мертвый городок, засыпанный пылью и угнетенный жарой, и даже более того — вернулась с мужем, у которого денег с избытком хватило бы на безбедное существование в любой части света, с мужем, любившим ее так сильно, что он позволял водить себя на шелковом поводке. Однако дни проходили, и становилось все более очевидно, что Амаранта Урсула намерена остаться здесь навсегда — все ее планы были рассчитаны на долгий срок, а все стремления сводились к тому, чтобы обеспечить себе удобную жизнь и спокойную старость в Макондо. Клетка с канарейками доказывала, что ее решение не было внезапным. Вспомнив, что мать в одном из писем рассказывала о гибели птиц, Амаранта Урсула на несколько месяцев задержалась в Европе, дождалась теплохода, который заходит на Канарские острова, и по прибытии туда купила двадцать пять пар самых породистых канареек, чтобы снова заселить небо Макондо. Из всех ее провалившихся затей эта была самой неудачной. По мере того как супружеские пары канареек выводили потомство, Амаранта Урсула выпускала их одну за другой, но стоило птицам почувствовать себя на свободе, и они тут же улетали из города. Напрасно она пыталась соблазнить их клеткой, сооруженной по заказу Урсулы еще в дни первой перестройки дома. Напрасно устраивала им гнезда из пакли в ветвях миндаля, посыпала крыши канареечным семенем и всячески побуждала к пению птиц, оставшихся в неволе, дабы их голоса убедили дезертиров вернуться, все равно — выпущенные на свободу канарейки стремительно взмывали ввысь и описывали круг над городом только для того, чтобы определить — в какой стороне света лежат Канарские острова.

Прошел год со дня возвращения Амаранты Урсулы, и за это время ей не удалось ни подружиться с жителями Макондо, ни устроить какой-нибудь праздник, но она все еще не теряла надежды вдохнуть жизнь в это людское сообщество, преследуемое несчастьями. Гастон, ее муж, старался не противоречить своей супруге, хотя еще в тот убийственно жаркий полдень, когда они сошли с поезда в Макондо, он понял, что ее решение вернуться вызвано призраком тоски по родине. Будучи уверен в том, что действительность развеет этот призрак, он даже не стал собирать свой велосипед и целыми днями копался в грудах паутины, обме-

тенной со стен каменщиками, выискивая самые красивые паучьи яйца. Затем вскрывал их ногтем и терпеливо созерцал в лупу выбегавших оттуда миниатюрных паучков. Потом ему пришла в голову мысль, что Амаранта Урсула продолжает свои преобразования ради самоутверждения, и он собрал свой великолепный велосипед, у которого переднее колесо было намного больше заднего, и посвятил свои досуги ловле и засушиванию местных насекомых, он посылал их в банках из-под варенья в Льежский университет старому профессору естественной истории, под чьим руководством проходил некогда повышенный курс энтомологии, хотя главным его увлеченьем всегда была авиация. Собираясь выехать на велосипеде, Гастон облачался в трико акробата и надевал чулки, которые носят музыканты-волынщики, а на голову натягивал фуражку детектива. Перед выходом на пешеходную прогулку он надевал безукоризненно чистый полотняный костюм, белые ботинки, шелковый галстук, шляпу-канотье и брал в руки новую тросточку. У него были белесые глаза, делавшие его еще более похожим на моряка, и усики рыжие, как беличий мех. Хотя он был лет на пятнадцать, по меньшей мере, старше своей жены, но его юношеские привычки, постоянная готовность служить своей супруге и отменные мужские достоинства сглаживали разницу в годах. Те, кто видел этого сорокалетнего мужчину со сдержанными манерами, поводком на шее и цирковым велосипедом, не мог подумать, что он заключил со своей юной супругой пакт о безотказной любви и что оба поддавались взаимному влечению в самых неподходящих для этого местах, там, где бы ни захватил их порыв желания, так они поступали с первых дней знакомства и со страстью, которую время и все более необычайные жизненные обстоятельства углубляли и обогащали. Гастон был не только ярым любовником, наделенным неистощимым воображением и глубоко эрудированным в науке любви, но и единственным мужчиной в истории, который осмелился посадить самолет прямо на луг, покрытый фиалками, чуть не угробив при этом себя и свою невесту, только потому, что Амаранта Урсула пожелала заняться любовью именно на этом цветущем лугу.

Они познакомились за три года до свадьбы: однажды Гастон на спортивном биплане выписывал пируэты над колледжем, где училась Амаранта Урсула, и чтобы не налететь на древко флага, резко повернул в сторону. Примитивное сооружение из парусины и алюминия повисло в воздухе, зацепившись хвостом за провода. С того дня Гастон, не обращая внимания на свою ногу, пребывавшую в лубке, каждую субботу заезжал за Амарантой Урсулой в пансион к монахиням, где распорядок дня был далеко не так строг, как хотела бы Фернанда, забирал девушку и отвозил ее в свой спортивный клуб. Они впервые поняли, что любят друг друга, находясь на высоте пятьсот метров в воскресном воздухе ланд, и по мере того, как земные предметы уменьшались в размерах, они чувствовали, что их взаимопонимание становится все более полным. Она рассказывала ему о Макондо, как о самом прекрасном и мирном городе на свете, об огромном доме, благоухающем душицей, где она хотела бы жить до старости с верным мужем, двумя непослушными сыновьями, которых звали бы Родриго и Гонсало, а не Аурелиано и Хосе Аркадио, и дочерью по имени Виргиния, и уж никак не Ремедиос. С таким страстным упорством вызывала она в своей памяти образ родного города, приукрашенный тоской по родине, что Гастону стало ясно — она не согласится быть его женой, если он не поедет с ней в Макондо. Он не возражал точно так же, как потом охотно надел поводок, ибо считал это мимолетной прихотью, которой лучше пока что не перечить. Но прожив с мужем в Макондо два года, Амаранта Урсула продолжала быть такой же счастливой, как и в первый день, и Гастон начал выказывать признаки беспокойства. Он уже засушил всех насекомых, которых толь-

ко можно было засушить в Макондо, научился говорить по-испански, как местный уроженец, и решил все кроссворды в тех журналах, что приходили по почте. Жаркий климат не мог служить для Гастона предлогом для ускорения отъезда, так как природа наделила его печенью, поистине созданной для жизни в колониях, сносившей без малейших протестов и зной послеобеденных часов, и гнилую воду. Местная кухня пришлась ему вполне по вкусу, однажды он даже проглотил яичницу из восьмидесяти двух яиц игуаны. А для Амаранты Урсулы поезд доставлял рыбу и устриц в ящиках со льдом, жестяные банки с консервированным мясом и фруктами, ибо другой пищи она не могла есть; Амаранта Урсула продолжала одеваться по европейской моде и выписывать журналы мод, хотя ей некуда было выйти и некому нанести визит, а ее муж не мог оценить по достоинству ее короткие юбки, одетые набок фетровые шляпки и колье в семь ниток. Ее секрет, по-видимому, состоял в том, что она всегда умела найти чем заняться и сама решала разные домашние проблемы, которые сама же и создавала. Сама делала ошибки, и на следующий день сама же их исправляла, и все это с таким пагубным прилежанием, что Фернанда обязательно подумала бы о наследственном пороке переливания из пустого в порожнее. Жизнерадостность била в Амаранте Урсуле ключом, и каждый раз, когда приходили новые пластинки, она задерживала мужа в гостиной и вместе с ним до поздней ночи разучивала новые танцы, описания их, снабженные рисунками, присылали ей старые подружки по колледжу. Уроки танцев обычно заканчивались любовными утехами, супруги занимались ими в венском кресле-качалке или прямо на голом полу. Только детей не хватало Амаранте Урсуле для полного счастья, но она свято соблюдала договор с мужем не иметь потомства, пока не минуют первые пять лет супружеской жизни.

Пытаясь чем-нибудь заполнить свои пустые часы, Гастон по утрам обычно заходил в комнату Мелькиадеса побеседовать с Аурелиано. Ему нравилось вспоминать самые уединенные уголки своей родины, которую Аурелиано знал во всех подробностях, словно прожил там долгие годы. На вопросы — откуда Аурелиано почерпнул эти сведения, отсутствующие даже в энциклопедии, Гастон получал тот же ответ, что и Хосе Аркадио: «Все можно узнать». Кроме санскрита, Аурелиано изучил английский и французский, приобрел некоторые познания в латыни и греческом. Теперь, когда он каждый вечер выходил из дома и Амаранта Урсула выделила ему недельную сумму на карманные расходы, комната Мелькиадеса стала смахивать на филиал книжной лавки ученого-каталонца. Аурелиано жадно читал, засиживаясь за книгами допоздна, однако, слушая его суждения о прочитанном, Гастон подумал, что, читая книги, Аурелиано не стремится пополнить свои знания, а лишь ищет подтверждения уже известных ему истин. Больше всего на свете его интересуют пергаменты, им он посвящает самые лучшие утренние часы. И Гастон, и Амаранта Урсула охотно включили бы Аурелиано в свой семейный круг, но он держался обособленно, был окутан тайной, как облаком, которое с течением времени становилось все более плотным. Все попытки Гастона подружиться с ним потерпели фиаско, и фламандцу пришлось искать другие возможности убить время. Именно тогда ему и пришла в голову мысль организовать службу авиапочты.

Идея не была новой. С авиапочтой Гастон носился еще задолго до того, как познакомился с Амарантой Урсулой, но тогда он хотел организовать компанию авиапочтовой связи с Бельгийским Конго, где у его семьи были капиталовложения в производство пальмового масла. Женитьба и необходимость провести с супругой несколько месяцев в Макондо заставили Гастона отложить осуществление своих замыслов. Однако, когда он увидел, что Амаранта Урсула занялась созданием

общества по благоустройству города и только смеется над его попытками завести разговор о возвращении в Европу, он понял, что придется надолго обосноваться в Макондо, и списался с забытыми им компаньонами в Брюсселе. Не все ли равно, в каком районе земного шара быть первооткрывателем — в Африке или в Карибском море? Пока шли переговоры, Гастон расчистил посадочную площадку на бывших заколдованных землях, которые имели в то время вид равнины, покрытой битым щебнем, изучил направление господствующих ветров, определил трассы полетов, при этом он и не подозревал, что его деятельность, так напоминающая поведение мистера Герберта, заронила в сердца жителей Макондо опасное подозрение — они думали, что Гастон намеревается сажать бананы, а разговоры об аэропланах — только отговорка.

Вдохновленный своим счастливым замыслом, который помимо всего прочего мог послужить оправданием решению навсегда поселиться в Макондо, фламандец несколько раз побывал в столице провинции, нанес визиты властям, получил лицензии и подписал льготные контракты. Одновременно он продолжал поддерживать со своими компаньонами в Брюсселе переписку, напоминавшую корреспонденцию Фернанды с невидимыми целителями, и в конце концов убедил их выслать морем первый аэроплан вместе с опытным механиком, который соберет аппарат в ближайшем от Макондо порту и прилетит на нем в город. Через год после первых замеров и метеорологических прогнозов, исполненный веры в неоднократно подтвержденные обещания своих компаньонов, Гастон завел привычку бродить по улицам, поглядывая на небо, прислушиваясь к шуму бриза и ожидая появления аэроплана.

Хотя сама Амаранта Урсула и не замечала этого, ее возвращение внесло коренные перемены в жизнь Аурелиано. После смерти Хосе Аркадио он стал завсегдатаем книжной лавки каталонца. Свобода, которой Аурелиано располагал, и избыток праздного времени пробудили в нем некоторый интерес к городу, и он стал изучать Макондо, ничему не удивляясь. Он блуждал по пыльным пустынным улицам, обследовал — скорее из научного интереса, чем из человеческого любопытства — развалины домов, металлические сетки на окнах, изъеденные ржавчиной и прорванные погибавшими от жары птицами, знакомился с жителями, угнетенными тяжестью воспоминаний. С помощью воображения он пытался восстановить былое великолепие города и банановой компании; ее высохший плавательный бассейн был теперь до краев полон истлевшими мужскими ботинками и дамскими туфельками, а среди ее разрушенных, заросших сорняками домов Аурелиано нашел скелет немецкой овчарки — она все еще была привязана стальной цепью к кольцу — и телефон, который все звонил, звонил, звонил, пока Аурелиано не снял трубку и не услышал далекий и встревоженный женский голос, спрашивающий по-английски, и не ответил, что да, забастовка кончилась, три тысячи мертвых сброшены в море, банановая компания уехала и в Макондо после многих лет наконец наступило спокойствие. Прогулки привели Аурелиано в обширный квартал домов терпимости, где в былые времена пачками сжигались кредитки с единственной целью оживить кумбиамбу, теперь же квартал представлял собою клубок из самых печальных и жалких в городе улиц с еще горящими кое-где красными фонарями, с безлюдными салонами для танцев, украшенными лохмотьями гирлянд, где худые и толстые вдовы, никогда не имевшие мужей, французские прабабушки и вавилонские матриархини все еще сидели и ждали возле виктрол. Аурелиано не нашел никого, кто помнил бы его семью или хотя бы полковника Аурелиано Буэндиа, исключение составлял лишь один старик — самый древний из антильских негров, продолжавший распевать в палисаднике своего дома мрачные вечерние псалмы. Белая, как хлопок, шевелюра делала его похожим на негатив фото-

графии. Аурелиано вел с ним беседы на головоломном жаргоне, который изучил за несколько недель, и иногда делил со стариком его ужин — суп из петушиных голов, приготовленный его правнучкой, большой, плотной негритянкой, у нее были крутые, как у кобылицы, бока, груди, похожие на дыни из живой плоти, и круглая, правильной формы голова в шапке густых, жестких, словно проволока, волос, напоминавших шлем средневекового воина. Звали негритянку Колдуньей. В то время Аурелиано добывал себе средства существования, продавая столовые приборы, подсвечники и другие мелкие предметы, которыми можно было разжиться дома. Если он оставался без гроша, а так случалось чаще всего, он выпрашивал на рынке у торговцев петушиные головы, предназначенные для помойки, и относил Колдунье, чтобы она приготовила из них суп с портулаком и мятой. Когда прадед Колдуньи умер, Аурелиано перестал посещать дом, но вечерами встречался с негритянкой под темными миндальными деревьями на площади, где она тихим свистом приманивала редких полуночников. Часто он прогуливался с нею рядом, болтая на ее жаргоне о супах из петушиных голов и других изысканных блюдах нищеты, и продолжал бы так поступать и дальше, если бы Колдунья не намекнула ему, что его общество отпугивает клиентуру. Аурелиано не спал с ней, хотя иной раз и чувствовал искушение и хотя самой Колдунье это показалось бы естественным завершением их невеселых свиданий. Таким образом, он все еще оставался девственником, когда в Макондо возвратилась Амаранта Урсула и наградила его сестринским поцелуем, от которого у Аурелиано перехватило дыхание. Всякий раз при встречах с Амарантой Урсулой, особенно если она принималась обучать его модным танцам, он испытывал чувство беззащитности, ему чудилось, что кости у него становятся мягкими, как губка,— это было то самое ощущение, которое смутило его прапрадеда, когда Пилар Тернера завлекла того в кладовую под предлогом гадания. Пытаясь заглушить свои муки, Аурелиано с головой погрузился в пергаменты и стал уклоняться от невинных ласк своей тетки, отравлявших ему ночи горькими ароматами, но чем больше он ее избегал, тем с большим нетерпением и беспокойством жаждал снова услышать ее сухой смешок, ее вопли счастливой кошки и ее благодарные песни, он умирал от любви каждый час и во всех, даже самых неподходящих для этого местах дома.

Однажды ночью в соседней комнате, бывшей ювелирной мастерской, всего в десяти метрах от его кровати, ненасытные супруги расположились на столе и разбили витраж, но продолжали заниматься любовью в луже из соляной кислоты. Аурелиано не сомкнул глаз всю ночь, а весь следующий день его била лихорадка и душили яростные рыдания. Этот день показался ему бесконечным, и когда пришла желанная ночь, она застала его в тени миндальных деревьев, он ждал Колдунью, пронизываемый ледяными иглами неуверенности, и сжимал в потном кулаке полтора песо, которые попросил у Амаранты Урсулы — не столько потому, что у него не было денег, сколько для того, чтобы приобщить ее к своему падению, унизить, запятнать развратом. Колдунья привела его в свою освещенную заговоренными свечами комнату, к раскладной кровати, холст которой был весь измазан следами порочной любви, к своему телу отважной, очерствевшей и бездушной суки. Она приготовилась отделаться от Аурелиано, как от испуганного ребенка, но очень скоро обнаружила, что имеет дело с мужчиной, чья чудовищная мощь всколыхнула все ее чрево, как землетрясение.

Они стали любовниками. Утром Аурелиано занимался расшифровкой пергаментов, а в час сиесты отправлялся в усыпляющую атмосферу спальни, где ждала его Колдунья. Миновало несколько недель, прежде чем Аурелиано заметил, что его возлюбленная носит на талии обруч.

сделанный из чего-то вроде струны для виолончели, твердый, словно сталь, и не имеющий концов, ибо Колдунья с ним родилась и выросла. Почти всегда в перерывах между любовными утехами они подкреплялись пищей, сидя голые в кровати среди одуряющей жары, и над ними, как дневные звезды, сияли отверстия, проеденные ржавчиной в цинковой кровле. Колдунья впервые имела постоянного мужчину, своего собственного «котика», как она говорила, умирая от смеха; дошло до того, что у нее даже зародились в сердце определенные надежды, но тут Аурелиано открыл ей тайну своей страсти к Амаранте Урсуле, страсти, от которой ему так и не удалось излечиться в объятиях другой женщины, напротив, терзания становились для него все более невыносимыми по мере того, как опыт расширял его любовные горизонты. После этой исповеди Колдунья продолжала оказывать Аурелиано столь же горячий прием, как раньше, но теперь неукоснительно требовала с него платы за свои услуги, а когда у Аурелиано не было денег, она увеличивала его счет, который вела на стене за дверью — не цифрами, а черточками, сделанными ногтем большого пальца. С наступлением темноты Колдунья отправлялась прогуливаться взад и вперед по темным закоулкам площади, и тогда Аурелиано шел домой, в галерее он мимоходом, как посторонний, здоровался с Амарантой Урсулой и Гастоном — они в этот час обычно готовились ужинать — и снова запирался в своей комнате, где он не мог ни читать, ни писать, ни даже думать из-за мучительного волнения, которое у него вызывали наполнявшие ночами дом смешки, шушуканье, вступительная возня и следовавшая за ней агония наслаждения. Такой была его жизнь за два года до того, как Гастон начал ждать аэроплан, и она все еще не изменилась к тому вечеру, когда Аурелиано, войдя в книжную лавку ученого-каталонца, увидел четырех молодых болтунов, занятых ожесточенным спором о способах уничтожения тараканов в средние века. Старик хозяин, знавший пристрастие Аурелиано к книгам, которые читал еще Беда Достопочтенный[1], не без отеческого лукавства подбил юношу выступить арбитром в этой ученой полемике, и тот не замедлил разъяснить, что тараканы — самое древнее на земле крылатое насекомое и уже Ветхий завет сообщает, что их уничтожают ударами шлепанцев; но против данного отряда насекомых все средства истребления оказались недействительными — все, начиная с посыпанных бурой кусочков помидора и кончая мукой с сахаром; тысяча шестьсот известных науке семейств тараканов являются объектом самого давнего, упорного и безжалостного преследования в истории человечества; такому преследованию человек не подвергал ни одно другое живое существо, включая самого себя; и, собственно говоря, стремление к уничтожению тараканов следовало бы отнести к числу таких свойственных человеческому роду инстинктов, как размножение, причем инстинкт тараканоубийства даже более четко выражен и неодолим, и если тараканам все-таки удавалось до сих пор избежать полного истребления, то лишь потому, что они прятались в темных углах, и это делало их недосягаемыми для человека, от рождения наделенного страхом перед темнотой, однако в ярком свете полудня они снова становились уязвимыми, следовательно: единственный надежный способ уничтожения тараканов и в средние века, и в настоящее время, и во веки веков — ослепление их солнечным светом.

Это исполненное фатализма и энциклопедической мудрости выступление положило начало тесной дружбе. Теперь Аурелиано каждый вечер встречался с четырьмя спорщиками — Альваро, Германом, Альфонсо и Габриэлем — первыми и последними друзьями, которых он имел в своей жизни. Для затворника, существовавшего в мире, созданном кни-

[1] Беда Достопочтенный (около 673—735 гг.) — монах, англосаксонский ученый-историк.

гами, эти шумные сборища, начинавшиеся в шесть часов вечера в книжной лавке и заканчивавшиеся на рассвете в борделях, были откровением. До сих пор ему не приходило в голову, что литература — самая лучшая забава, придуманная, чтобы издеваться над людьми, но во время одной ночной попойки Альваро убедил его в этом. Прошло некоторое время, прежде чем Аурелиано понял, что в своих дерзких суждениях Альваро подражал ученому-каталонцу, для которого знания ничего не стоили, если с их помощью нельзя было изобрести новый способ приготовления турецких бобов.

В тот вечер, когда Аурелиано сделал свое научное сообщение о тараканах, дискуссия закончилась у девчушек, торговавших собой с голодухи — в призрачном борделе одного из предместий Макондо. Хозяйкой его была улыбающаяся ханжа, одержимая манией открывать и закрывать двери. Казалось, что ее вечная улыбка вызвана легковерием клиентов, принимающих всерьез заведение, которое существует только в их воображении, ибо все в этом доме, вплоть до осязаемых вещей, было нереальным: мебель разваливалась, когда на нее садились, внутри выпотрошенной виктролы сидела на яйцах курица, в саду красовались бумажные цветы, на стенках висели календари, изданные еще до появления банановой компании, и рамки с литографиями, вырезанными из никогда не издававшихся журналов. Даже робкие шлюшки, сбегавшиеся из окрестностей, когда хозяйка сообщала им, что пришли клиенты, были чистейшим вымыслом. Они входили в дом не здороваясь, в платьишках из материи, на которой лет пять тому назад были цветочки, и снимали их с тем же простодушием, с каким до этого надели, а в пароксизме страсти восклицали: «Ну и ну! Глядите, как осыпается потолок!» Получив одно песо и пятьдесят сентаво, они тут же тратили их на бутерброд с сыром, его продавала им хозяйка, больше чем когда-либо расплываясь в улыбке, ведь она-то знала, что и этот бутерброд такой же ненастоящий, как все остальное. Для Аурелиано, чей мир в ту пору начинался с пергаментов Мелькиадеса и кончался постелью Колдуньи, призрачный борделик явился кардинальным лекарством от робости. Первое время он никак не мог довести дело до конца, потому что хозяйка имела обыкновение заходить в комнату в самый ответственный момент и делать разнообразные замечания по поводу интимных достоинств главных действующих лиц. Но постепенно юноша освоился с этими житейскими мелочами.

Хотя Аурелиано испытывал по отношению к каждому из своих четырех друзей совершенно одинаковую привязанность и нередко думал о них как об одном человеке, все же Габриэль был ему ближе остальных. Близость эта возникла однажды вечером после того, как Аурелиано случайно заговорил о полковнике Аурелиано Буэндиа, и Габриэль — единственный из всех — поверил, что друг не разыгрывает их. Даже обычно не вмешивающаяся в разговоры хозяйка борделя с одержимостью заядлой сплетницы утверждала, что полковник Аурелиано Буэндиа — действительно она как-то раз слышала про него — был выдуман правительством, искавшим предлога, чтобы поубивать либералов. Габриэль, напротив, не подвергал сомнению реальность полковника Аурелиано Буэндиа, ибо тот был товарищем по оружию и неразлучным другом его прадеда, полковника Херинельдо Маркеса. Провалы в памяти жителей Макондо становились особенно глубокими, если речь заходила о расстреле рабочих. Всякий раз, когда Аурелиано касался этой темы, не только хозяйка, но и люди постарше отвергали как небылицу историю о рабочих, окруженных войсками у станции, и о поезде из двухсот груженных трупами вагонов и даже настаивали на заключении, которое в свое время было сделано судебным следствием и вошло в учебники для начальной школы — банановая компания никогда не существовала. Таким образом,

Аурелиано и Габриэль были связаны как бы сообщничеством, основанным на их вере в реальные факты, не признанные всеми остальными; эти факты оказали огромное влияние на двоих друзей, увлекли их как обратная волна прибоя в давно погибший мир, от которого не сохранилось ничего, кроме тоски. Габриэль спал там, где его заставало время сна. Несколько раз Аурелиано устраивал его в ювелирной мастерской, но Габриэль всю ночь не мог сомкнуть глаз — ему мешали мертвецы, до самого рассвета бродившие по комнатам. Позже Аурелиано поручил друга заботам Колдуньи, и когда та бывала свободна, она пускала Габриэля в свою доступную каждому желающему комнатушку и вела его счет, делая ногтем черточки на стене за дверью, на том небольшом пространстве, которое оставалось после записи долгов Аурелиано.

Несмотря на свою беспорядочную жизнь, группа друзей, по настоянию ученого-каталонца, пыталась совершить и нечто долговечное. Только его опыту бывшего преподавателя классической литературы и его запасам редких книг были они обязаны своей способностью просидеть целую ночь, отыскивая тридцать седьмую драматическую ситуацию, и это в городе, где никто уже не имел ни желания, ни возможности идти дальше познаний начальной школы. Плененный открытием дружбы, околдованный чарами мира, который до сих пор из-за бездушия Фернанды был для него заповедным, Аурелиано бросил исследование пергаментов как раз в тот момент, когда уже начинали читаться зашифрованные стихи с пророчествами. Но позже он убедился, что времени хватит на все — даже от борделей не придется отказываться,— и с новым рвением возвратился в комнату Мелькиадеса, твердо решив не отрываться от пергаментов, пока не будут раскрыты последние ключи шифра. Гастон ждал появления аэроплана, и Амаранта Урсула чувствовала себя такой одинокой, что в одно прекрасное утро зашла в комнату Аурелиано.

— Как дела, людоед? — сказала она.— Опять засел в своей пещере?

Амаранта Урсула была неотразима — в каком-то мудреном платье и в длинном ожерелье из позвонков рыбы бешенки, одном из тех, что она сама мастерила. Убедившись в верности своего мужа, она спустила его с поводка, и, кажется, впервые после возвращения в Макондо у нее выпала свободная минутка. Аурелиано не было необходимости видеть Амаранту Урсулу и слышать ее слова, он и так знал, что она пришла. Когда она облокотилась на рабочий стол — такая близкая, беззащитная, Аурелиано почувствовал, как где-то в глубине у него загудели все кости, и с отчаянием уткнулся в пергаменты. Стараясь превозмочь волнение, он судорожно вцепился в свой голос, который пытался исчезнуть куда-то, в жизнь, порывавшуюся его оставить, в память, превратившуюся вдруг в окаменевший полип, и стал рассказывать Амаранте Урсуле о происхождении санскрита, о научных возможностях видеть грядущее, просвечивающее через толщу времени, как видишь буквы, написанные с обратной стороны бумаги, если держишь ее против света, о необходимости зашифровывать пророчества, чтобы они не уничтожили сами себя, и о «Веках» Нострадамуса, и о гибели Кантабрии, предсказанной святым Мильяном. Вскоре, не прерывая своей лекции и движимый импульсом, дремавшим в нем со дня его рождения, Аурелиано накрыл своей ладонью руку Амаранты Урсулы, думая, что это решительное действие положит конец его смятению. Но Амаранта Урсула с невинной лаской ухватилась за его палец, как часто делала в детстве, и держалась за него все время, пока Аурелиано продолжал отвечать на ее вопросы. Так они и оставались, соединенные холодным, словно лед, указательным пальцем, который не проводил никаких флюидов ни в том, ни в другом направлении, потом Амаранта Урсула вдруг очнулась от своего краткого оцепенения и хлопнула себя по лбу. «Муравьи!» — воскликнула она. Тут же, забыв о пергаментах, молодая женщина поспешила своим танцующим шагом к

двери и оттуда послала Аурелиано кончиками пальцев воздушный поцелуй, точно такой, каким она простилась со своим отцом, когда ее отправляли в Брюссель.

— Ты мне потом объяснишь,— сказала она.— Я совсем забыла, что сегодня надо полить известью муравейники.

Она продолжала наведываться к нему, когда у нее были дела в этой части дома, и задерживалась в комнате на несколько минут, пока муж продолжал внимательно обозревать небо. Введенный в заблуждение совершившейся переменой, Аурелиано снова начал обедать дома, от чего он отказался уже в первые месяцы после возвращения Амаранты Урсулы. Гастону его общество пришлось по душе. Во время застольных разговоров, нередко длившихся более часа, он жаловался Аурелиано на своих компаньонов. Наверное, они дурачат его: давно уже сообщили, что отправили аэроплан морем, а по заверению морского агентства, судно все не приходит и никогда не придет, ибо не числится в корабельных регистрах портов Карибского моря, но компаньоны по-прежнему твердят, будто отправка состоялась, и даже намекают на возможность обмана со стороны Гастона. Взаимное недоверие достигло наконец такой степени остроты, что Гастон счел за лучшее прекратить переписку и стал обдумывать возможность короткой поездки в Брюссель, собираясь выяснить все на месте и возвратиться назад с аэропланом. Однако его проект рассыпался в прах, как только Амаранта Урсула подтвердила свою давнюю решимость ни в коем случае не уезжать из Макондо, даже если ради этого придется расстаться с мужем. Первое время Аурелиано разделял общее мнение, что Гастон просто дурак на велосипеде, и испытывал к нему смутное чувство жалости. Позже, приобретя в борделях более глубокие познания о естестве мужчины, он стал объяснять супружескую покорность фламандца его безумной страстью. Но лучше узнав Гастона, Аурелиано заметил противоречие между его подлинным характером и показной кротостью и затаил подозрение, что все его поступки, даже ожидание аэроплана, просто хорошо разыгранный фарс. Тогда он подумал, что Гастон не так уж глуп, как все предполагают, напротив, это человек огромного постоянства, незаурядной ловкости и бесконечного терпения, который решил взять верх над женой, утомив ее своими вечными уступками, неспособностью сказать хоть раз «нет», мнимой бескрайней покорностью, предоставив ей запутываться в ее же собственной паутине до того дня, когда она, наконец, не сможет больше выносить скуки, порождаемой иллюзиями, находящимися всегда под рукой, и сама запакует чемоданы, чтобы возвратиться в Европу. После этого былая жалость к Гастону обратилась в душе Аурелиано страшной ненавистью. Метод Гастона показался ему таким порочным и в то же время настолько действенным, что он взял на себя смелость предостеречь Амаранту Урсулу. Но та лишь посмеялась над его подозрительностью, ничем не выдав ему, какой тяжкий груз любви, неуверенности и ревности носит она в своем сердце. Ей не приходило в голову, что отношение Аурелиано к ней больше, чем просто братская привязанность, до тех пор, пока, открывая банку консервированных персиков, она не порезала себе палец и Аурелиано не кинулся высасывать ей кровь с такой жадностью и преданностью, что Амаранту Урсулу бросило в дрожь.

— Аурелиано! — засмеялась она, обеспокоенная случившимся.— Ты слишком злой, ты не можешь быть хорошим вампиром.

И тут Аурелиано прорвало. Покрывая беспомощными поцелуями ладошку раненой руки, он открыл самые потаенные уголки своего сердца. Рассказал Амаранте Урсуле, как поднимался среди ночи, чтобы рыдать от отчаяния и бешенства, уткнувшись лицом в интимные принадлежности ее туалета, которые она повесила сушить в ванной. Рассказал, с какой тоской молил Колдунью вопить по-кошачьи и, всхлипывая, бормотать

ему в ухо «Гастон, Гастон, Гастон», и с какой изворотливостью похищал флаконы с духами Амаранты Урсулы, чтобы почувствовать ее запах на шее девчушек, торговавших собой с голодухи. Испуганная страстностью его излияний, Амаранта Урсула постепенно сгибала пальцы, и ладонь ее закрывалась, словно раковина устрицы, пока, наконец, раненая рука не превратилась в клубок изумрудов, топазов и твердых как камень нечувствительных костей.

— Скотина! — словно выплюнула она.— С первым же пароходом я уезжаю в Бельгию.

Однажды Альваро зашел в лавку ученого-каталонца, громко прославляя свою последнюю находку: зоологический бордель. Он назывался «Золотой мальчик» и представлял собою огромный салон под открытым небом, где разгуливали на свободе не менее двухсот выпей, отмечая время своим колдовским криком. Вокруг танцевальной площадки, в огороженных проволочной сеткой загонах, среди огромных амазонских камелий жили разноцветные цапли, каймаиы, откормленные, как свиньи, гремучие змеи с двенадцатью погремушками и черепаха с позолоченным панцирем, нырявшая в маленьком искусственном океане. Воздух там имел такую первозданную плотность, словно его только что изобрели, а прекрасные мулатки, ждавшие, безнадежно надеясь, в окружении кроваво-красных цветов и вышедших из моды пластинок, были сведущи во всех ухищрениях любви, которые мужчина забыл взять с собою из земного рая. В первую же ночь друзья навестили эту теплицу иллюзий, и величественная, молчаливая старуха, сидевшая у входа в плетеной из лиан качалке, увидев среди пяти вновь пришедших костлявого печального мужчину с татарскими скулами, отмеченного с сотворения мира и на веки веков оспой одиночества, почувствовала, что время возвращается на круги своя.

— Ах! — прошептала она.— Аурелиано!

Перед ней снова был полковник Аурелиано Буэндиа, такой, каким она увидела его при свете лампы задолго до всех войн, задолго до опустошившей его славы и разочарований изгнания — в то давнее утро, когда он вошел в ее спальню, чтобы отдать первый в своей жизни приказ: любить его. Это была Пилар Тернера. Дожив до ста сорока пяти лет, она отказалась от пагубного обычая вести счет своим годам и начала жить в обособленном, как глухая улочка, неподвижном времени воспоминаний, где будущее было безошибочно предсказано и раз навсегда установлено — подальше от того зыбкого будущего, которое основывалось на ненадежных предположениях и догадках карт.

С этой ночи Аурелиано обрел прибежище в нежности и сочувственном понимании неизвестной ему до тех пор прапрабабки. Раскачиваясь в плетеной качалке, она вызывала в своей памяти былое могущество и падение рода Буэндиа и сравненное с землей великолепие Макондо. Между тем Альваро взрывами своего хохота пугал каймаиов, Альфонсо сочинял кровавую историю про то, как выпи на прошлой неделе выклевали глаза четырем клиентам, которые нехорошо себя вели, а Габриэль пребывал в комнате задумчивой мулатки, что взимала плату за любовь не деньгами, а письмами для ее жениха-контрабандиста, отбывавшего срок в тюрьме по ту сторону Ориноко, потому что пограничники напоили его слабительным и посадили на горшок, и потом в горшке оказалось полно бриллиантов. Этот настоящий, реальный бордель, с его матерински заботливой хозяйкой, был тем самым миром, о котором Аурелиано грезил во время своего продолжительного затворничества. Здесь он чувствовал себя так хорошо, что и подумать не мог об ином убежище в тот вечер, когда Амаранта Урсула разбила вдребезги его мечты. Он жаждал облегчить свою душу словами, хотел, чтобы кто-нибудь растянул узлы, стягивающие ему грудь, но смог только разразиться обильными, горя-

чими и восстанавливающими силы слезами, уткнувшись лицом в подол Пилар Тернеры. Перебирая кончиками пальцев его волосы, Пилар Тернера ждала, когда он успокоится, и хотя Аурелиано не признался, что плачет из-за любви, она сразу же узнала этот самый древний в истории мужчины плач.

— Полно, малыш,— ласково произнесла Пилар Тернера.— А теперь скажи мне, кто она.

Лишь только Аурелиано назвал имя, Пилар Тернера засмеялась грудным смехом, тем былым жизнерадостным смехом, что с годами стал похож на хриплое воркование голубей. В сердце человека из рода Буэндиа не могло быть непостижимой для нее тайны. Ведь карты и собственный опыт открыли ей, что история этой семьи представляет собою цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо, которое продолжало бы кружиться до бесконечности, если бы не все увеличивающийся и необратимый износ оси.

— Не беспокойся,— улыбнулась Пилар Тернера.— Где бы она сейчас ни находилась, она тебя ждет.

В половине пятого Амаранта Урсула вышла из ванной, закутанная в халат, с тюрбаном из полотенца на голове. Аурелиано, крадучись, направился за ней, пошатываясь, словно пьяный, и вошел в супружескую спальню в тот момент, когда Амаранта Урсула распахнула халат; испугавшись, она тут же запахнула его снова и молча указала Аурелиано на соседнюю комнату, дверь в которую была приоткрыта и где, как знал Аурелиано, Гастон занимался писанием письма.

— Уходи,— сказала Амаранта Урсула одними губами.

Аурелиано улыбнулся, обеими руками схватил ее за талию, поднял, как вазон с бегониями, и бросил на кровать лицом вверх. Одним грубым рывком, прежде чем она успела помешать ему, он сорвал с нее сорочку, и перед ним открылась головокружительная, как пропасть, нагота только что вымытого тела, на этом теле не было ни одного оттенка кожи, ни одного волоска, ни одной скрытой родинки, которых бы Аурелиано не представлял себе в воображении среди ночного мрака. Амаранта Урсула защищалась совершенно искренне, с ловкостью дикой самки: изгибаясь всем своим благоухающим телом, гладким и гибким, как у ласки, она пыталась выбить коленями почки Аурелиано и одновременно впивалась ему ногтями в лицо, однако ни он, ни она не издали ни одного вздоха, который нельзя было бы принять за спокойное дыхание человека, созерцающего у открытого окна мирный апрельский вечер. Это была свирепая борьба, битва не на жизнь, а на смерть, но со стороны она такой не казалась, потому что состояла из столь медленных, осторожных и торжественных нападений и увертываний, что за время, проходившее между ними, вполне могли бы еще раз зацвести петуньи, а Гастон в соседней комнате мог бы позабыть свои мечты аэронавта — все выглядело так, словно двое повздоривших любовников пытаются мириться в глубинах прозрачного водоема. В разгар своего ожесточенного и церемонного сопротивления Амаранта Урсула сообразила, что их полное молчание очень неестественно и может возбудить подозрение у находящегося рядом мужа скорее, чем шум, которого они старались избежать. Тогда она принялась смеяться, не разжимая губ, от борьбы она не отказалась, но защищалась теперь притворными укусами и высвобождала свое тело не с таким ожесточением, как раньше, пока, наконец, оба они не обнаружили, что являются одновременно противниками и сообщниками и оборона превратилась в обычное притворство, а нападения — в ласки. Потом Амаранта Урсула на мгновение перестала обороняться, словно в шутку, будто готовясь выкинуть какой-то фортель, а когда она захотела возобновить сопротивление, испуганная тем, что сама допустила, было уже поздно. Она едва успела протянуть руку, найти ощупью полотенце и за-

кусить его зубами, чтобы не дать вырваться на волю пронзительным кошачьим воплям, которые раздирали ей внутренности.

■

Пилар Тернера умерла ночью под праздник в качалке из лиан, охраняя вход в свой рай. Согласно последней воле покойной, похоронили ее не в гробу, а прямо в качалке, которую восемь мужчин опустили на веревках в огромную яму, выкопанную в центре танцевальной площадки. Бледные от слез, одетые в черное мулатки выполнили свои колдовские обряды и, сняв с себя серьги, брошки и кольца, кинули их в могилу, могилу закрыли каменной плитой без имени и дат, а поверх плиты возвели целый холм из амазонских камелий. Затем мулатки отравили всех животных и птиц, замуровали двери и окна кирпичами и штукатуркой и разбрелись кто куда со своими деревянными сундучками, оклеенными внутри эстампами с изображениями святых, цветными картинками из журналов и портретами недолговременных, неправдоподобных и фантастических женихов.

Это был конец. В могиле Пилар Тернеры среди грошовых драгоценностей проституток гнили остатки прошлого, то немногое, что еще сохранилось в Макондо, после того как ученый-каталонец распродал с аукциона книжную лавку и, стосковавшись по настоящей, долгой весне, вернулся на берег Средиземного моря в свою родную деревню. Никто не ожидал, что старик может уехать. Он появился в Макондо во времена процветания банановой компании, спасаясь от одной из бесчисленных войн, и не надумал ничего более практичного, чем открыть лавку инкунабул и первых изданий на разных языках; случайные клиенты, забегавшие сюда скоротать время, пока не подойдет их очередь идти в дом напротив — к толкователю снов, перелистывали эти книги с некоторым опасением, словно подобрали их на мусорной свалке. Половину своего времени каталонец проводил в жаркой комнатке за лавкой, покрывая витиеватыми буквами вырванные из школьной тетрадки листки, но никто не мог сказать определенно, что он пишет. К тому времени, когда с ним познакомился Аурелиано, старик накопил уже два ящика сваленных в беспорядке листов, напоминавших чем-то пергаменты Мелькиадеса. До своего отъезда он успел заполнить и третий ящик, это давало основания думать, что каталонец, пока жил в Макондо, ничем другим и не занимался. Единственными людьми, с которыми он поддерживал отношения, были четверо друзей, когда они еще учились в школе, каталонец давал им книги под залог волчков и бумажных змеев и приохотил мальчиков к чтению Сенеки и Овидия. С классиками он обращался запросто, без церемоний, словно некогда жил с ними в одной комнате и знал о них множество такого, что, казалось, не могло быть никому известно, например: что святой Агустин носил под рясой шерстяную безрукавку, которую не снимал четырнадцать лет, и что чернокнижник Арнальдо де Вильянова еще в детстве стал импотентом, так как его укусил скорпион. Горячая любовь ученого-каталонца к печатному слову являла собою смесь глубокого уважения и панибратской непочтительности. Эта двойственность сказывалась даже в его отношении к своим собственным писаниям. Альфонсо, который, намереваясь перевести рукопись старика на испанский язык, специально изучил каталонский, однажды сунул пачку листков в карман — карманы у него всегда были набиты вырезками из газет и руководствами по необычным профессиям — и в какую-то ночь потерял все листы в борделе у девчушек, торговавших собой с голодухи. Когда ученый-каталонец узнал об этом, он вместо того, чтобы поднять крик, как боялся Альфонсо, сказал, помирая от смеха, что это вполне естественная для литературы участь, и в то же время никакими силами не удалось убедить старика, что незачем везти с собою в родную деревню три ящика

с рукописями; железнодорожных контролеров, которые требовали сдать ящики в багаж, он осыпал бранью, бывшей в ходу еще в Карфагене, и не успокоился до тех пор, пока ему не разрешили оставить их в пассажирском вагоне. «В тот день, когда люди станут сами разъезжать в первом классе, а книги будут возить в товарных вагонах, наступит конец света»,— заявил он и больше, до самого отъезда, не произнес ни слова. На заключительные сборы ушла целая неделя, это была черная неделя для ученого-каталонца — по мере того как приближался час отъезда, настроение старика все ухудшалось, он то и дело забывал, что собирался сделать, а вещи, которые он клал в одном месте, оказывались неожиданно в совершенно другом, перемещенные теми самыми домовыми, что в свое время мучали Фернанду.

— Collons [1],— ругался он.— Так перетак двадцать седьмой канон Лондонского синода.

Герман и Аурелиано взяли над ним опеку. Заботились о нем, как о ребенке; разложили по карманам проездные билеты и миграционные документы и закололи карманы английскими булавками, составили подробный перечень того, что он должен будет делать с момента выезда из Макондо и до прибытия в Барселону, и, несмотря на все это, каталонец все же ухитрился, сам того не заметив, выбросить на помойку штаны с половиной всех своих денег. Накануне отъезда, когда ящики были уже забиты, а одежда уложена в тот же чемодан, с которым он появился в Макондо, старик прищурил свои, похожие на ракушки, веки, жестом, кощунственно напоминающим благословение, простер руку к грудам тех книг, что помогли ему пережить разлуку с родиной, и сказал своим друзьям:

— Это дерьмо я вам оставляю!

Через три месяца от него пришел большой конверт, где лежали двадцать девять писем и пятьдесят фотографий, накопившихся за время досугов в открытом море. Хотя дат каталонец не ставил, легко было понять последовательность, в какой писались эти послания. В первых из них он с обычным своим юмором сообщал о превратностях путешествия — о том, что испытывает сильное желание выбросить за борт суперкарго, не разрешившего ему поставить в каюту ящики, о потрясающей глупости некой сеньоры, приходящей в ужас от числа тринадцать, не из-за суеверия, а потому, что оно кажется ей незавершенным, и о пари, которое он выиграл за первым ужином, определив, что вода на борту судна имеет вкус источников Лериды. Однако по мере того, как шли дни, жизнь на борту интересовала его все меньше, а каждое воспоминание даже о самых недавних и заурядных событиях в Макондо вызывало тоску, и чем дальше уходило судно, тем печальнее становилась его память. Этот процесс углубления тоски о прошлом был заметен и на фотографиях. На первых снимках он выглядел счастливым в своей белой рубашке и со своей серебряной шевелюрой на фоне Карибского моря, как обычно в октябре покрытого барашками. На последних — он, уже в темном пальто и шелковом кашне, бледный, с отсутствующим видом стоял посреди палубы безымянного корабля из ночных кошмаров, блуждающего по осенним океанам. Герман и Аурелиано отвечали на письма старика. В первые месяцы он писал так часто, что друзьям казалось, будто он совсем рядом, ближе, чем прежде, когда жил в Макондо, и жестокие страдания, которые вызвал у них его отъезд, почти утихли. Сначала он сообщал, что все идет по-старому, что в его родном доме до сих пор сохранилась та розовая морская раковина, что у копченой селедки, положенной на кусок хлебного мякиша, тот же самый вкус, а источники деревни вечерами благоухают по-прежнему. Перед друзьями снова были листки

[1] Каталонское бранное слово.

из школьной тетради, покрытые вкривь и вкось фиолетовыми каракулями, каждому из них был посвящен отдельный листок. Но мало-помалу, хотя сам каталонец не замечал этого, письма, исполненные бодростью выздоравливающего, превращались в пасторали разочарования. Зимними ночами, пока в камине закипал котелок с супом, старик тосковал о тепле своей комнатушки за книжной лавкой, о солнце, которое звенит в пыльной листве миндальных деревьев, о паровозном свистке, врывающемся в спячку сиесты,— так же, как в Макондо тосковал о кипящем в камине котелке с супом, выкрикам уличного торговца кофейными зернами и о мимолетных жаворонках весны. Замученный этими двумя ностальгиями, которые отражались одна в другой, как два стоящих напротив друг друга зеркала, он утратил свое замечательное чувство нереального и дошел до того, что посоветовал друзьям уехать из Макондо, забыть все, чему он их учил о мире и человеческом сердце, плюнуть на Горация и, куда бы они ни попали, в любом месте помнить всегда, что прошлое — ложь, что для памяти нет дорог обратно, что каждая миновавшая весна невозвратима и что самая безумная и стойкая любовь — всего лишь скоропреходящее явление.

Альваро первым выполнил совет покинуть Макондо. Он продал все, даже ягуара, который сидел на цепи во дворе его дома, пугая прохожих, и купил себе вечный билет на поезд, не имевший станции прибытия. В почтовых открытках, усеянных восклицательными знаками и отправленных с промежуточных остановок, Альваро описывал мелькавшие за окном вагона мгновенные картины — это выглядело так, словно он разрывает на клочки длинную поэму мимолетности и тут же выбрасывает эти клочья в пустоту забвения: призрачные негры на хлопковых плантациях Луизианы, крылатые кони на синей траве Кентукки, греческие любовники, озаренные закатным солнцем Аризоны, девушка в красном свитере, рисующая акварели возле озер Мичигана, она помахала Альваро кисточками, и в этом приветствии было не прощание, а надежда — ведь девушка не знала, что перед ней поезд, который не возвращается. Потом уехали Альфонсо и Герман, уехали в субботу с намерением вернуться в понедельник, и больше о них никто ничего не слышал. Через год после отъезда ученого-каталонца в Макондо оставался только Габриэль; пребывая в нерешительности, он продолжал пользоваться опасной благотворительностью Колдуньи и занимался сочинением ответов на вопросы организованного одним французским журналом конкурса, первой премией которого была поездка в Париж; Аурелиано, выписывавший этот журнал, помогал Габриэлю заполнять анкеты, иногда он делал это у себя дома, а чаще всего среди фаянсовых бутылей, в пропитанном запахами валерианки воздухе единственной еще уцелевшей в Макондо аптеки, где жила Мерседес, тайная невеста Габриэля. Только одна эта аптека и осталась в городе от прошлого, разрушение которого все никак не приходило к концу, ибо прошлое разрушалось бесконечно, поглощая само себя, готовое каждое мгновение кончиться совсем, но так никогда и не кончая кончаться. Макондо дошел до таких пределов запустения, что когда Габриэль одержал победу на конкурсе и собрался ехать в Париж, с двумя сменами белья, парой ботинок и полным изданием Рабле, ему пришлось помахать машинисту, чтобы тот остановил поезд возле станции Макондо. Старая улица Турков к этому времени превратилась в заброшенный угол, где последние арабы спокойно ожидали смерти, продолжая, по тысячелетнему обычаю, сидеть в дверях своих лавок, хотя последний ярд диагонали был продан уже много лет тому назад и на мрачных витринах остались только обезглавленные манекены. Городок банановой компании, о котором, возможно, пыталась рассказывать своим внукам Патриция Браун в городе Пратвилл, штат Алабама — в стране расовой дискриминации и маринованных огурцов,— представлял собою

теперь поросшую травой равнину. Сменивший падре Анхеля старик священник, имени его никто даже не пытался выяснить, ждал милосердия божьего, лежа на брюхе в гамаке, мучимый артритом и бессонницей, порожденной сомнением, а тем временем по соседству с ним ящерицы и крысы оспаривали друг у друга право владения храмом. В этом даже птицами брошенном Макондо, в котором от постоянной жары и пыли было трудно дышать, Аурелиано и Амаранта Урсула, заточенные одиночеством, любовью и одиночеством любви в доме, где шум, подымаемый термитами, не давал сомкнуть глаз, были единственными счастливыми человеческими существами и самыми счастливыми существами на земле.

Гастон возвратился в Брюссель. Устав ждать аэроплан, он в один прекрасный день сложил в чемодан необходимые вещи и свой архив писем и отбыл из Макондо с намерением вернуться воздушным путем еще до того, как его льготные лицензии будут переданы сообществу немецких авиаторов, представивших властям провинции гораздо более пышный проект, чем его собственный. После первого вечера любви Аурелиано и Амаранта Урсула стали пользоваться редкими отлучками Гастона, но во время этих встреч, пронизанных дыханием опасности и почти всегда прерываемых неожиданными возвращениями супруга, им приходилось обуздывать свои порывы. Оставшись одни в доме, они отдались безумию долго смиряемого чувства. То была безрассудная, губительная страсть, державшая их в состоянии вечного возбуждения и заставлявшая дрожать от ужаса кости Фернанды в могиле. Вопли Амаранты Урсулы, ее агонизирующие песни слышались и в два часа дня за обеденным столом, и в два часа ночи в кладовой. «Больше всего мне обидно,— смеялась она,— что мы столько времени потеряли даром». Она видела, как муравьи опустошают сад, утоляют свой доисторический голод деревянными частями дома, видела, как их живая лава снова разливается по галерее, но оглушенная страстью, взялась за их уничтожение только тогда, когда они появились в ее спальне. Аурелиано забросил пергаменты, совсем не выходил из дому и только изредка отвечал на письма ученого-каталонца. Любовники утратили чувство действительности, понятие о времени, выбились из ритма повседневных привычек. Затворили двери и окна и, чтобы не терять лишних минут на раздевание, стали бродить по дому в том виде, о котором всегда мечтала Ремедиос Прекрасная, они валялись нагишом в лужах на дворе и однажды чуть не захлебнулись, занимаясь любовью в бассейне. За короткий срок они внесли в дом больше разрушений, чем термиты: поломали мебель в гостиной, порвали во время своих безумств гамак, стойко выдерживавший невеселые походные амуры полковника Аурелиано Буэндиа, распороли матрацы и вывалили их содержимое на пол, чтобы задыхаться в хлопковых метелях. Хотя Аурелиано был любовником, не уступавшим в свирепости уехавшему сопернику, тем не менее командовала в этом раю катастроф Амаранта Урсула с присущими ей талантом к безрассудным выходкам и ненасытностью чувств. Она как будто сосредоточила на любви всю ту неукротимую энергию, которую ее прапрабабка отдавала изготовлению леденцовых фигурок. В то время как Амаранта Урсула пела от удовольствия и умирала со смеху, глядя на свои собственные выдумки, Аурелиано становился все более задумчивым и молчаливым, потому что его любовь была погруженной в себя, испепеляющей.

В минуты просветления Амаранта Урсула отвечала на письма Гастона. Он казался ей таким чужим и далеким, что она совершенно не представляла себе возможности его возвращения. В одном из первых писем он сообщил, что компаньоны действительно выслали ему аэроплан, но морское агентство в Брюсселе по ошибке отправило его в Танганьику, где его передали племени макондов. Эта путаница создала мас-

су затруднений, и года два может уйти лишь на то, чтобы вызволить аэроплан. Так что Амаранта Урсула исключила вероятность несвоевременного приезда мужа. Аурелиано тоже связывали с внешним миром только письма ученого-каталонца и сообщения, которые он получал от Габриэля через молчаливую хозяйку аптеки — Мерседес. Сначала это была реальная связь. Габриэль, чтобы остаться в Париже, взял вместо обратного билета деньги и теперь продавал старые газеты и пустые бутылки, которые выбрасывали горничные одного мрачного отеля на улице Дофина. В то время Аурелиано без всякого труда мог представить себе друга: он ходит в свитере с высоким воротом, снимая его только весной, когда террасы Монпарнаса заполняются влюбленными парочками, и чтобы обмануть голод, спит днем, а ночью пишет в пропахшей вареной цветной капустой комнатушке, где кончил жизнь Рокамадур [1]. Однако известия о Габриэле постепенно становились такими туманными, а письма ученого-каталонца такими нерегулярными и печальными, что Аурелиано привык думать о Габриэле и старике так же, как Амаранта Урсула думала о своем муже, и любовники очутились в безлюдном мире, единственной повседневной и вечной реальностью в нем была любовь.

Внезапно в это царство счастливой бессознательности, как звук выстрела, ворвалось известие о возвращении Гастона. Аурелиано и Амаранта Урсула открыли глаза, исследовали свои души, поглядели друг другу в лицо, положив руку на сердце, и поняли: они стали таким единым целым, что предпочтут смерть разлуке. Тогда Амаранта Урсула написала мужу письмо, полное противоречивой правды: она заверяла Гастона в своей любви и желании снова увидеть его и в то же время смирялась, как с роковым предначертанием, с невозможностью жить без Аурелиано. Вопреки их опасениям, Гастон ответил спокойным, почти отеческим письмом, в котором целых два листа были посвящены предостережениям против изменчивости страсти, а заключительный раздел содержал недвусмысленные пожелания быть такими же счастливыми, каким был он сам во время своего краткого супружества. Поведение Гастона явилось полной неожиданностью для Амаранты Урсулы, она решила, что сама дала мужу желанный повод предоставить ее собственной ее судьбе, и почувствовала себя униженной. Через полгода она обозлилась еще больше, когда Гастон написал ей из Леопольдвилля, где ему удалось наконец получить обратно свой аэроплан, письмо, не содержавшее ничего, кроме просьбы прислать его велосипед, поскольку это единственное, что ему дорого из всего оставленного в Макондо. Аурелиано терпеливо утешал раздосадованную Амаранту, стараясь показать ей, что он может быть хорошим мужем не только в счастье, но и в беде; будничные заботы, обрушившиеся на них после того, как пришли к концу деньги Гастона, связали их чувством товарищества — в нем не было ослепляющей и всепоглощающей силы страсти, но оно давало им возможность любить друг друга и наслаждаться счастьем так же, как в разгар бурных вожделений. К тому времени, когда умерла Пилар Тернера, они уже ждали ребенка.

Пока тянулась беременность, Амаранта Урсула пыталась наладить производство ожерелий из рыбьих позвонков. Но не нашла для них покупателей, кроме Мерседес, которая приобрела себе около дюжины. В первый раз за свою жизнь Аурелиано осознал, что его способности к языкам, энциклопедические познания, редкий дар удерживать в памяти разные мелочи об отдаленных событиях и местах, по существу ничего толком об этих событиях и местах не зная, столь же бесполезны, как шкатулка с фамильными драгоценностями его жены, стоимость которых в ту пору равнялась, наверное, всем запасам денег, находившихся в

[1] Герой романа «Игра в классы» современного аргентинского писателя Хулио Кортасара.

распоряжении последних обитателей Макондо. Выжили они только чудом. Амаранта Урсула не утратила ни своего хорошего настроения, ни своего таланта к любовным проказам, но завела привычку сидеть в галерее после еды, словно соблюдая некое подобие сиесты, бессонной и насыщенной мечтаниями. Аурелиано составлял ей компанию. Иной раз они сидели так в полном молчании, один против другого, до самой темноты, глядели друг другу в глаза, предавались отдыху, и в этом блаженном бездействии любовь их была такой же горячей, как прежде — в шумных сражениях. Неуверенность в будущем обратила их сердца к прошлому. Они вспоминали себя в утраченном раю нескончаемого дождя: как они шлепали по лужам во дворе, убивали ящериц и вешали их на Урсулу, как играли, будто хоронят ее заживо; и эти воспоминания открывали им истину, что они всегда, с тех пор как помнили себя, были счастливы вдвоем. Амаранта Урсула вспомнила тот вечер, когда она вошла в ювелирную мастерскую и Фернанда сказала ей, что маленький Аурелиано — ничей ребенок, его нашли в корзинке, которая плыла по реке. Хотя это объяснение казалось им не заслуживающим доверия, они не располагали сведениями, чтобы заменить его другим, правдивым. В одном они были убеждены, после того как обсудили все возможности,— Фернанда не могла быть матерью Аурелиано. Амаранта Урсула склонялась к мысли, что он сын Петры Котес, но о наложнице отца она помнила только разные гнусные басни, и поэтому такое предположение вызвало гримасу отвращения в их душах.

Мучимый уверенностью, что он является братом своей жены, Аурелиано предпринял вылазку в дом священника, чтобы поискать в отсыревших, изъеденных молью архивах какой-нибудь достоверный след своего происхождения. В самой старой из обнаруженных им метрических записей речь шла об Амаранте Буэндиа, крещенной в отроческом возрасте падре Никанором Рейна́ в те времена, когда он пытался доказать существование бога при помощи фокуса с шоколадом. В какой-то момент у Аурелиано появилась надежда, что, возможно, он — один из семнадцати Аурелиано, записи о крещении которых прослеживались в четырех томах, но даты оказались слишком давними для его возраста. Увидев, как дрожащий от волнения Аурелиано плутает в лабиринтах крови, священник с артритом, наблюдавший за ним из своего гамака, сочувственно спросил о его имени.

— Я Аурелиано Буэндиа.

— Тогда не мучь себя понапрасну,— воскликнул убежденно священник.— Много лет тому назад здесь была улица с таким названием, а в те времена люди имели обыкновение давать своим детям имена по названиям улиц.

Аурелиано так и затрясся от злости.

— А! — сказал он.— Так, значит, вы тоже не верите.

— Во что?

— В то, что полковник Аурелиано Буэндиа разжег тридцать две гражданские войны и все их проиграл,— ответил Аурелиано.— Что войска окружили и расстреляли три тысячи рабочих и увезли трупы в поезде из двухсот вагонов, чтобы выбросить их в море.

Священник измерил его взглядом, полным жалости.

— Ах, сын мой,— вздохнул он.— С меня было бы достаточно и веры в то, что мы с тобой существуем в данный момент.

Итак, Аурелиано и Амаранта Урсула приняли версию о корзине не потому, что убедились в ее справедливости, а потому, что она спасала от мучивших их страхов. По мере того как развивалась беременность, они все больше превращались в единое существо, все больше сживались с одиночеством в этом доме, которому недоставало лишь последнего дуновения ветра, чтобы развалиться. Они ограничили теперь себя лишь

необходимым пространством, начинавшимся в спальне Фернанды, где перед ними уже маячили радости оседлой любви, и захватывавшим часть галереи, где Амаранта Урсула вязала туфельки и чепчики для младенца, в то время как Аурелиано писал свои редкие письма ученому-каталонцу. Остальная часть дома сдалась под упорным натиском сил разрушения. Ювелирная мастерская, комната Мелькиадеса, безмолвное, первобытное царство Санта Софии де ла Пьедад оказались погребенными в глубинах здания, как в дремучей сельве, проникнуть в которую ни у кого не хватало смелости. Осаждаемые со всех сторон ненасытной природой, Аурелиано и Амаранта Урсула продолжали ухаживать за душицей и бегониями и защищали свой мир демаркационными линиями из негашеной извести, возводя последние окопы войны между человеком и муравьями, ведущейся с незапамятных времен. Из-за отросших, неухоженных волос, темных пятен, выступивших на лице, отеков, появившихся на ногах; из-за того, что беременность изуродовала ее нежное тело, Амаранта Урсула не выглядела теперь такой юной, какой была в тот день, когда вернулась домой с пленным мужем и клеткой, наполненной не оправдавшими надежд канарейками, но все еще сохраняла прежнюю бодрость духа. «Черт возьми! — смеялась она.— Кто бы мог подумать, что мы действительно будем в конце концов жить наподобие людоедов!» Последняя нить, связывавшая их с миром, оборвалась на шестом месяце беременности, когда, получив письмо, они увидели, что оно не от ученого-каталонца. Письмо отправили из Барселоны, но адрес на конверте был написан теми синими чернилами и ясным почерком, какие можно увидеть только на официальных извещениях. У послания был тот невинный и безличный вид, какой бывает у подарка, преподнесенного врагом. Аурелиано вырвал его из рук Амаранты Урсулы, собиравшейся вскрыть конверт.

— Я не буду читать,— сказал он.— Не хочу знать того, что там написано.

Как он и предчувствовал, ученый-каталонец перестал писать. Письмо от чужих людей, которое никто так и не прочел, лежало на той самой полке, где Фернанда забыла однажды свое обручальное кольцо, лежало, оставленное в добычу моли, и медленно сгорало на заключенном в нем пламени дурной вести; а между тем любовники-отшельники плыли против течения времени, несущего с собою конец жизни, гибельного, непоправимого времени, которое расходовало себя на тщетные попытки увлечь их в пустыню разочарования и забвения. Сознавая эту опасность, Аурелиано и Амаранта Урсула все последние месяцы жили, держа друг друга за руку, донашивая в преданной любви сына, зачатого в безумствах страсти. Ночью, когда они лежали обнявшись в кровати, им были не страшны ни шум, поднимаемый термитами при свете луны, ни трепыхание моли, ни отчетливый и непрерывный свист разрастающегося в соседних комнатах бурьяна. Часто их будила суета, поднятая умершими. Они слышали, как Урсула ведет битву с законами творения, чтобы сохранить свой род, как Хосе Аркадио Буэндиа ищет бесплодную истину великих открытий, как Фернанда читает молитвы, как полковник Аурелиано Буэндиа разочарованиями войны и золотыми рыбками доводит себя до скотского состояния, как Аурелиано Второй погибает от одиночества в разгар веселых пирушек; и поняли, что навязчивые идеи одерживают верх над смертью, и снова почувствовали себя счастливыми, уверившись, что они будут продолжать любить друг друга и тогда, когда станут призраками, еще долго после того, как другие виды будущих живых существ отвоюют у насекомых тот жалкий рай, который насекомые кончают отвоевывать у людей.

В одно из воскресений, в шесть часов вечера, Амаранта Урсула почувствовала родовые схватки. Улыбающаяся акушерка, пользовавшая

девчушек, торговавших собой с голодухи, уложила ее на обеденный стол, села ей верхом на живот и, подпрыгивая в диком галопе, мучила роженицу до тех пор, пока на смену ее крикам не раздался плач великолепного младенца мужского пола. Амаранта Урсула увидела сквозь застилавшие ей глаза слезы, что это настоящий Буэндиа — из крупных, плотных и своевольных Буэндиа, носивших имя Хосе Аркадио, с открытыми и ясновидящими глазами тех, кто назывался Аурелиано, что ему предопределено заново положить начало роду, очистить его от гибельных пороков и призвания к одиночеству, ибо единственный из всех Буэндиа, рожденных на протяжении столетия, этот младенец был зачат в любви.

— Настоящий людоед,— сказала Амаранта Урсула.— Мы назовем его Родриго.

— Нет,— возразил ей муж.— Мы назовем его Аурелиано, и он выиграет тридцать две войны.

Обрезав ребенку пуповину, акушерка принялась стирать с него тряпкой синий налет, покрывавший все его тельце, Аурелиано светил ей лампой. Только когда младенца перевернули на живот, они заметили у него нечто, чего нет у остальных людей, и наклонились посмотреть. Это был свиной хвост.

Они не встревожились. Аурелиано и Амаранта Урсула не знали о подобном же случае в роду Буэндиа и не помнили страшных предостережений Урсулы, акушерка же окончательно их успокоила своим заявлением, что бесполезный хвост, наверное, можно будет отрезать после того, как у мальчика выпадут молочные зубы. А потом уже не было времени думать об этом, потому что у Амаранты Урсулы началось кровотечение, кровь лилась ручьем, и они никак не могли остановить ее. Пытаясь помочь роженице, они прикладывали ей паутину и золу, но это было все равно, что зажимать руками фонтан. На первых порах Амаранта Урсула силилась сохранить бодрое настроение. Брала Аурелиано за руку и умоляла не беспокоиться — ведь такие, как она, созданы не для того, чтобы умереть против своей воли, заливалась смехом, глядя на старания акушерки. Но по мере того, как надежды оставляли Аурелиано, она словно темнела, будто из нее уходил свет, и, наконец, погрузилась в тяжелый сон.

На заре понедельника в дом привели женщину, которая принялась читать у постели молитвы, останавливающие кровь,— они безотказно действовали и на людей и на животных, но пламенная кровь Амаранты Урсулы была нечувствительна к любым ухищрениям, не имеющим отношения к любви. Вечером, после двадцати четырех часов, наполненных отчаянием, они увидели, что Амаранта Урсула мертва; кровавый ручей иссяк сам собой, профиль заострился, выражение муки исчезло в разлившемся по лицу алебастровом сиянии, на губах снова появилась улыбка.

И только тогда Аурелиано почувствовал, как сильно он любит своих друзей, как нуждается в них и как много отдал бы за то, чтобы очутиться в это мгновение с ними рядом. Он положил ребенка в корзину, которую приготовила мать, закрыл лицо усопшей одеялом и отправился блуждать по пустынному городу в поисках тропинки, ведущей к прошлому. Он постучал в дверь аптеки, где давно уже не бывал, и обнаружил на ее месте столярную мастерскую. Открывшая ему дверь старуха с лампой в руке посочувствовала его ошибке и настойчиво твердила, что нет, здесь никогда не было аптеки и она отродясь не видела женщины с красивой шеей и томными глазами по имени Мерседес. Он поплакал, уткнувшись лбом в дверь бывшей книжной лавки ученого-каталонца, сознавая, что отдает запоздалую дань той смерти, которую не захотел оплакать вовремя, чтобы не нарушить чары любви. Он расшиб себе ку-

лаки о штукатурку стен «Золотого мальчика», призывая Пилар Тернеру и не обращая никакого внимания на свечение летающих по небу оранжевых дисков, за которыми он столько раз с детской увлеченностью наблюдал из двора с выпями во время ночных развлечений. В последнем уцелевшем салоне заброшенного квартала домов терпимости ансамбль аккордеонистов играл песни Рафаэля Эскалоны, племянника епископа и наследника секретов Франсиско Человека. Хозяин салона, у которого одна рука была высохшая, словно горелая, из-за того, что он осмелился поднять ее на свою мать, предложил Аурелиано распить с ним бутылочку спиртного, Аурелиано пригласил его на вторую бутылку. Хозяин салона рассказал о несчастье, случившемся с его рукой, Аурелиано — о несчастье, случившемся с его сердцем, высохшим, словно обгоревшим, из-за того, что он осмелился полюбить им свою сестру. В конце концов они оба залились слезами, и Аурелиано почувствовал, что боль на мгновение отпустила его. Но снова оставшись в одиночестве при свете последней в истории Макондо утренней зари, он встал среди площади, раскинул руки, готовый разбудить весь мир, и выкрикнул из самой глубины своей души:

— Все друзья — сукины дети!

Колдунья вытащила его из лужи слез и блевотины. Привела в свою комнату, почистила, заставила выпить чашку бульона. Думая, что это может утешить его, она перечеркнула углем счет за бесчисленные дни любви, по которому он все еще с ней не расплатился, и нарочно стала вызывать в памяти свои самые горькие горести, чтобы не оставлять Аурелиано плакать в одиночестве. На рассвете, после короткого и тяжелого сна, Аурелиано пришел в себя. Первое, что он почувствовал, была страшная головная боль. Тогда он открыл глаза и вспомнил о ребенке.

В корзине младенца не было. На мгновение в душе Аурелиано вспыхнула радость — он подумал, что Амаранта Урсула проснулась от смерти, чтобы заняться сыном. Но она лежала под одеялом — твердая, как груда камней. Аурелиано припомнил, что когда он вернулся домой, дверь в спальне была открыта; он миновал галерею, благоухающую утренними вздохами душицы, и вошел в столовую, где до сих пор не были убраны следы родов: большой котел, окровавленные простыни, глиняные черепки с золой и перекрученная пуповина младенца, лежащая посредине расстеленной на столе пеленки, рядом с ножницами и шнуром. Он подумал, что акушерка, наверное, возвратилась ночью за ребенком, и это предположение дало ему короткую передышку, необходимую, чтобы собраться с мыслями. Он упал в качалку, ту самую, в которую в былые времена садилась Ребека, чтобы давать уроки вышивания, и в которой Амаранта Урсула шила белье для ребенка; в этот миг внезапного прозрения он понял, что душа его не может выдержать давящий груз такого огромного прошлого. Израненный смертоносными копьями своей собственной и чужой тоски, он удивленно глядел на дерзкую паутину, опутавшую мертвые розовые кусты, на упорно лезущие отовсюду сорняки, на спокойный воздух ясного февральского утра. И тут он увидел ребенка — измятую, сухую шкурку, которую собравшиеся, казалось, со всего света муравьи старательно волокли к своим норам по выложенной камнями дорожке сада. Аурелиано словно оцепенел. Не от изумления и ужаса, а потому что в это сверхъестественное мгновение ему открылись последние ключи шифров Мелькиадеса, и он увидел эпиграф к пергаментам, приведенный в полное соответствие со временем и пространством человеческого мира: «Первый в роду будет к дереву привязан, последнего в роду муравьи съедят».

Никогда еще в своей жизни не поступал Аурелиано разумнее, чем в то утро: он забыл своих мертвых и скорбь по своим мертвым и снова заколотил все двери и окна деревянными крестами Фернанды, чтобы ни

один мирской соблазн не помешал ему,— Аурелиано уже знал, что в пергаментах Мелькиадеса написана и его судьба. Он нашел их целыми и невредимыми в окружении доисторической растительности, затянутых дымкой испарений луж и светящихся насекомых, уничтоживших в этой комнате всякий след пребывания человека на земле; он не смог побороть свое нетерпение и вместо того, чтобы вынести пергаменты на свет, принялся тут же, стоя, расшифровывать их вслух — без всякого труда, так, словно они написаны по-испански и он читает их при ослепительно-ярком полуденном освещении. То была история семьи Буэндиа, изложенная Мелькиадесом со всеми ее самыми будничными подробностями, но предвосхищающая события на сто лет вперед. Цыган вел записи на санскрите, своем родном языке, и зашифровал четные стихи личным шифром императора Августа, а нечетные — военными шифрами лакедемонян. Последняя предосторожность Мелькиадеса, которую Аурелиано уже начал было разгадывать, когда позволил смутить себя любовью к Амаранте Урсуле, заключалась в том, что старик располагал события не в обычном, принятом у людей времени, а сосредоточил всю массу каждодневных эпизодов за целый век таким образом, что они все сосуществовали в одном-единственном мгновении. Зачарованный своим открытием, Аурелиано громко прочел подряд те самые «переложенные на музыку энциклики», которые Мелькиадес пытался когда-то читать Аркадио — на самом деле это были предсказания о расстреле Аркадио; дальше Аурелиано обнаружил пророчество о рождении самой прекрасной на земле женщины, которая должна вознестись на небо душой и телом, и появлении на свет двух близнецов, родившихся после смерти их отца и не сумевших расшифровать пергаменты не только из-за неспособности и неусидчивости, но и потому, что попытки их были преждевременными. Тут, горя нетерпением узнать свое собственное происхождение, Аурелиано пропустил несколько страниц. В этот самый момент начал дуть ветер, слабый, еще только поднимающийся, наполненный голосами прошлого — шепотом старых гераней и вздохами разочарования, предшествовавшими упорной тоске. Аурелиано его не заметил, потому что в ту минуту как раз обнаружил первые признаки своего существа в своем похотливом деде, позволившем легкомыслию увлечь его в пустыню миражей на поиски красивой женщины, которой он не даст счастья. Аурелиано узнал его, пошел дальше тайными тропками своего происхождения и наткнулся на то мгновение, когда был зачат среди скорпионов и бабочек в полумраке купальни, где некий мастеровой удовлетворял свое сладострастие с женщиной, отдавшейся ему из чувства протеста. Аурелиано был так поглощен своим занятием, что не заметил и второго порыва ветра — мощный, как циклон, этот ветер сорвал с петель двери и окна, снес крышу с восточной части галереи и разворотил фундамент. К этому времени Аурелиано узнал, что Амаранта Урсула была ему не сестрой, а теткой и что Фрэнсис Дрейк осадил Риоачу только для того, чтобы они смогли искать друг друга в запутанных лабиринтах крови до тех пор, пока не произведут на свет мифологическое чудовище, которому суждено положить конец их роду. Макондо уже превратился в могучий водоворот из пыли и мусора, вращаемый яростью библейского урагана, когда Аурелиано пропустил одиннадцать страниц, чтобы не терять времени на слишком хорошо ему известные события, и начал расшифровывать стихи, относящиеся к настоящему моменту,— он предсказывал судьбу себе так, словно глядел в говорящее зеркало. Он опять перескочил через несколько страниц, чтобы забежать вперед и выяснить дату и обстоятельства своей смерти. Но еще не дойдя до последнего стиха, уже понял, что ему не суждено покинуть эту комнату, ибо, согласно пророчеству пергаментов, прозрачный (или призрачный) город будет сметен с лица земли ураганом и стерт из памяти людей в то самое мгновение,

когда Аурелиано Бабилонья кончит расшифровывать пергаменты и что все в них записанное никогда уже больше и ни за что не повторится, ибо те роды человеческие, которые осуждены на сто лет одиночества, вторично не появляются на земле.

## *Несколько слов о романе «Сто лет одиночества» и его авторе*

В тот год, когда роман «Сто лет одиночества» вышел первым изданием, его автору, колумбийскому писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу, исполнилось тридцать девять лет. За его плечами был большой и разнообразный жизненный и литературный опыт: работа корреспондентом в Боготе, Париже, Каракасе, Нью-Йорке, сценаристом в Мексике; четыре книги (романы «Опавшая листва», 1955, «Полковнику никто не пишет», 1958, «Недобрый час», 1962 и сборник рассказов «Похороны Мама-Гранде»). Гарсиа Маркес пользовался литературной известностью и, казалось, сложился как писатель со своей темой — жизнь провинциального колумбийского городка,— описываемой им во всей ее бытовой правдивости.

Но художник не был удовлетворен своим творчеством. Ему хотелось создать роман, способный захватить читателя своим глубоким проникновением, в действительность, для чего, как говорил он, «лучше всего вывернуть действительность наизнанку и показать ее обратную сторону» [1].

И у Гарсиа Маркеса хватило упорства, целеустремленности и таланта для того, чтобы осуществить свой замысел. Он создал произведение, уникальное не только в латиноамериканской, но и в современной мировой литературе: своеобразный роман-эпос с эпическим охватом событий, эпической монументальностью характеров, роман, несущий в едином потоке правду и вымысел, трагическое и комическое, драму и лирику, как это и бывает в жизни.

Фантастика — один из важнейших компонентов и стиля и содержания книги «Сто лет одиночества». Она неразрывно слита с действительностью, является частью реальности, позволяет увидеть эту реальность с новой стороны, «с изнанки», порой глубже и отчетливей познать ее.

Фантастика романа берет начало из разных источников, среди которых есть библейские и античные мифы, образы и мотивы народных сказок. Это — художественные средства, призванные придать событиям или героям глубину, масштабность, иногда снабдить образ ироническим подтекстом. Чудеса, которыми оснащен роман, служат либо целям сатирического, гротескного изображения действительности, либо поэтизируют ее.

Из народных сказок и народных поверий о загробной жизни вышли и призраки, населяющие страницы книги. Они представляют собой воспоминания об умерших, «материализированные в нематериальной форме». Мертвые продолжают жить в памяти живых, и только когда их забудут, они переходят в «обитель окончательной смерти». Полковник Аурелиано Буэндиа, единственный из всей семьи, не видит призрака своего родителя потому, что в его опустошенной душе не осталось памяти об отце.

Многие страницы романа по своей сочной гротескности напоминают Рабле. Что-то раблезианское есть и в неисчерпаемой половой силе первенца Урсулы Хосе Аркадио, и в обжорстве Аурелиано Второго. И великий туренец, и наш современник опираются на одну и ту же основу — народное оптимистическое представление о жизни, как о едином процессе, в котором высокое и низкое, духовное и материальное неразрывно связаны между собой и существуют только в этой неразрывной связи.

Произведение колумбийского писателя на деле показывает, какие неисчерпаемые возможности таит в себе роман, о кризисе которого так много твердят за рубежом.

Действие книги развертывается в реальном историческом времени и в реальном трехмерном пространстве (едкую издевку над «четвертым измерением» вкладывает автор в уста Хосе Аркадио Буэндиа). Рассказчик может забежать вперед в своем повествовании, но не потому, что он руководствуется своим личным, «субъективным» временем, а просто потому, что знает весь ход событий и хочет заинтересовать слушателей (или читателей). Он может передавать разноречивые, исходящие из нескольких источников мнения о событиях или людях, но в конечном счете вынесет о них свое суждение, за которым стоит объективная правда истории или коллективный суд народа. Ибо рассказчик-автор судит своих героев, исходя из нравственных законов, выработанных народом. Поэтому в описании судеб многих членов семейства Буэндиа есть что-то от притчи; это рассказы о властолюбце, о праздном гуляке, о женщине, обуянной сословной гордыней, о молодом человеке, неожиданно получившем неограниченную власть, и т. д.

[1] Armando Durán. «Conversaciones con Gabriel García Márquez». «Revista nacional de cultura», Caracas, 1968, № 185, p. 29.

Сюжетную основу романа образует история городка Макондо и его основателей — семейства Буэндиа. Макондо вымышлен, но мы можем определить, что он находится в Колумбии, где-то в бассейне реки Магдалены, неподалеку от реального городка Аракутака, где в 1927 году родился будущий автор романа.

За столетней историей Макондо лежит история Колумбии, примерно тоже за сто лет — от середины XIX и почти до середины XX века, история, взятая в своих наиболее типических моментах, характерных не только для Колумбии, но и для многих других стран латиноамериканского континента.

Военные подвиги полковника Аурелиано Буэндиа опираются на действительные события. За годы с 1830-го по 1903-й в Колумбии произошло девять гражданских войн общенационального масштаба, четырнадцать «локальных» войн и три военных путча, несколько раз устанавливалась военная диктатура. Борьба шла между двумя традиционными партиями — либералами и консерваторами, вернее, между возглавлявшими их олигархическими группировками. Обе партии не раз меняли свои политические программы и, в зависимости от обстоятельств, либо заключали между собой соглашения, либо нарушали их. Победители обогащались, занимали выгодные правительственные посты и захватывали земли, конфискованные у побежденных. «Ради этого убивали друг друга крестьяне, ремесленники, рабочие, арендаторы и рабы — люди, которых ничто не разъединяло и все объединяло, они убивали друг друга, борясь не против своих собственных врагов, а против врагов своих врагов»,— пишет известный колумбийский ученый Диэго Монтанья Куэльяр.

Гражданские войны разорили страну и открыли легкий доступ в нее империалистическому капиталу. Главы о банановой компании, пожалуй, наиболее напряженные в романе, почти документальны. Банановая компания, то есть пресловутая монополия «Юнайтед фрут компани», проникла в Колумбию в самые последние годы прошлого столетия и разбила свои плантации в бассейне реки Магдалены. Условия труда и существования в этом «банановом раю» точно описаны в романе — каторжный труд, нищенская жизнь в лачугах, лишенных элементарных гигиенических удобств, отсутствие медицинской помощи, выдача заработной платы не деньгами, а бонами, на которые в магазинах компании можно было приобрести лежалые продукты и товары по повышенной цене.

12 ноября 1929 года на плантациях компании вспыхнула всеобщая забастовка, и все было так, как пишет Гарсиа Маркес: «Работы на плантациях прекратились, фрукты гнили на корню, поезда из ста двадцати вагонов стояли неподвижно в тупиках железной дороги». Заправилы компании обратились за помощью к правительству. В район банановых плантаций были введены войска, которые учинили чудовищный расстрел из пулеметов собравшейся на площади у железнодорожной станции толпы забастовщиков, их семейств и просто любопытных. На площади осталось лежать более полутора тысяч убитых.

Банановая компания разоряет Макондо и приводит его в запустенье, и в этом суть взаимоотношений и Колумбии и других латиноамериканских стран с империалистическими монополиями США. Правда, писатель здесь как бы покидает реальную почву, и мистер Браун губит непокорных макондовцев, вызывая на их головы роковой дождь продолжительностью ровно в четыре года одиннадцать месяцев и два дня, но это только иносказание. Отнюдь не наделенные колдовской силой собратья «банановго мистера» порой добивались аналогичных результатов с помощью так называемых «экономических санкций», то есть экономической блокады. Хотя в наши дни, когда существует мощный социалистический лагерь, это средство действует далеко не безотказно. Лучший пример тому — социалистическая Куба.

Полицейский режим, установившийся в городе, с его убийствами из-за угла, провокациями, запугиванием и солдатами-оборотнями,— это жуткая действительность тысяч макондо, разбросанных по латиноамериканскому континенту.

Книга Габриэля Гарсиа Маркеса противостоит «дегероизированной» и «дегуманизированной» литературе современного модернизма. Персонажи романа, за редкими исключениями, сильные личности, наделенные железной волей, бурными страстями и недюжинной жизненной энергией. Люди действия, они и проявляют себя прежде всего в деяниях, и это придает книге особую динамичность.

Роман «Сто лет одиночества», с его повторяющимся мотивом крушения человеческих надежд, трагичен, но в то же время он не оставляет тягостного чувства безнадежности. Слишком сильны прославленные писателем настоящие человеческие чувства и черты подлинно человеческого характера: кровная привязанность к родной земле, любовь, трудолюбие, душевная стойкость, верность долгу, смелость. Слишком яростна и непримирима та ненависть, которую Габриэль Гарсиа Маркес испытывает к темным социальным силам, мешающим жить его народу, погубившим его возлюбленный Макондо. Гуманизм колумбийского писателя активен, исполнен призыва к борьбе. Гарсиа Маркес твердо знает: наихудшее, что может случиться с человеком (или с человеческим обществом), — это потеря мужества, забвение прошлого, примирение со злом, смирение перед ним. Тогда ничто не спасет от гибели, и человека сожрут рыжие муравьи или какая-нибудь иная нечисть, которой немало в современном мире.

**В. СТОЛБОВ**

# ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

## *Стихи разных лет*

*Перевод с немецкого*
*и вступление Е. МНАЦАКАНОВОЙ*

Язык этой поэзии непривычен. Мне могут возразить, что привычный голос «поет с чужого голоса». Это так. И тем не менее поэзия Иоганнеса Бобровского непривычна в такой высокой степени, что читателю необходимо преодолеть некое «сопротивление материала», вступая в мир его стихов. Но именно здесь и таится разгадка всех загадок: в этом светлом, порою странном, таинственном и прекрасном мире. Можно сказать, что Бобровский открыл новый материк во вселенной поэзии, материк, имеющий характерно острые очертания, характерный пейзаж — удивительный для читателя лишь постольку, поскольку такого пейзажа мы еще не знали. Но сказав, что пейзаж Бобровского необычен, мы не скажем ничего. Попробуем лучше ступить на благодатную неровность почвы этого меняющегося края. Мы сразу попадем в царство завораживающей природы, где краски заката или полуденного солнца рождают поразительные картины, сквозь дневной воздух проплывает рыба, горы света обрушиваются в реку подобно ледяному обвалу — и равнины, равнины, где звучит многоголосое эхо, где травы, мертвые и живые, учат поэта слушать и молчать, умирать и жить вечно...

Такова природа этого материка. Порою он бывает населен необыкновенными существами: здесь можно встретить Охотника, которому расставляет силки трава, говорящий кустарник, Путницу, из руки которой выскакивает пламя... Но чаще встречаются люди: современники поэта или те, что жили раньше, столетиями раньше, но остались живыми в его памяти. А память поэта взывает к его совести, и совесть не разрешает ему забывать: она возвращает его к России 1941 года, рисуя картину, от которой бледнеют обугленные стены сожженных домов: ему чудится образ Толстого в повешенном фашистами старике, он видит натруженные крестьянские руки над толпой палачей — руки Толстого поднялись за руками повешенного, грозные руки, зовущие к возмездию.

Поэт вспоминает погибшую в гитлеровские времена немецкую поэтессу Гертруду Кольмар, приводит строку из ее стихотворения («Ведь мы не умрем, ведь мы будем опоясаны башнями?»), думает о ней, глядя на поросль буковых деревьев; с того страшного времени — «черного времени» — буковый лес, «бухенвальд» для него навеки окрашен кровью жертв, этот образ не умирает в вещей памяти поэта вместе с «черным временем»: «к нему возвращается мой голос». Прибавим, что в голосе этом звучит боль и вечная непримиримость художника, гневно восставшего против зла. Мы чувствуем такую непримиримость в каждой строке стихов Бобровского, она направляет его руку, зрение и слух.

Особую область поэзии Бобровского составляют его стихотворения-портреты; они воплотили напряженно-вдительную, беспокойную мысль автора. Для читателя оживают люди, о которых думал поэт, чье творчество тревожило, волновало его, чью судьбу он, вероятно, временами ощущал как свою. Несомненно, он чувствовал связь с ними, ту связь, над которой не властно время, ту великую ответственность, которую искусство налагает на художника и которую Иоганнес Бобровский разделял с И. С. Бахом, Моцартом, поэтами Донелайтисом, Мицкевичем...

Каждый из таких портретов — размышление художника, но размышление это воздействует на читателя системой зрительных образов. Так, Донелайтиса мы видим на

фоне летнего дня, деревенского «послеполудня», белые волосы поэта блестят в лучах заката. Донелайтис проходит по деревне как олицетворение доброй природы, защитницы тружеников-крестьян. И. С. Бах беседует с могучими силами земли и неба, которые сродни его гению: плещущие воды древних рек, ветер, свет дальних планет...

Синтаксис Бобровского так же необычен, как ландшафт его поэзии, он тоже «сотворен заново» и по особым меркам. Автору хочется, чтобы и читатель поверил в необычность всего им увиденного, чтобы и читатель вглядывался в давно знакомые предметы так, словно увидел их впервые. При этом поэт мыслит сжато, быстро, порою намеренно пропуская звенья последовательной логической цепи изложения. Так рождается особая логика языка, особая логика употребления и сцепления слов. Иногда Бобровский сознательно пропускает член или группу членов предложения, «играет» такими «второстепенными», с точки зрения обычной грамматической логики, элементами речи, как предлоги и союзы.

Да, читая Бобровского, нужно преодолеть известную «инерцию привычки» — и тогда его мир, мир глубокого измерения и сложных граней, откроется во всем богатстве своих красок.

Это — не первая встреча читателей «Иностранной литературы» с творчеством Иоганнеса Бобровского. На страницах журнала печатались переводы его стихов, его последнего романа «Литовские клавиры». Новая публикация — еще одна возможность общения с большим художником демократической Германии.

## *Сказание*

Песок, белый, совсем белый, следы
на песке, трава, и сумрак леса
в полете, и сияние рыб, лучистых рыб
в полете над лесом, над вершинами,
над кустарником, и я — шаг
за шагом.

В Китеже, городе,
много колоколен
и одна улица,
я стою на ней:

незрячий,
вижу тебя близко,
в тебя вступаю
невидимый,
с тобой говорю
несказанно.

## *Орел*

С распростертыми крыльями
над рекой,
над болотами, над
лесами
орел — горсть угля
на полотне грозы; дверь
моя сотрясается от скрежета — я должен
проснуться, я должен, в лесу
проснутся блуждающие глаза
кустарника.

С распростертыми крыльями
орла прибил я над своей
дверью — я должен
спать, во сне должен
плыть, горсть пепла,
над лесами.

## *Родник*

Леденящее лето, летит
свет на всех
парусах, рыба с раздутыми
плавниками застыла
над своей тенью.

Я рожден, чтобы
слушать
истоки
леденящего
холода родников,
белых и багряных,
течение их;
я иду, и бобер
прерывает свой бег, рыба
укрывается своим сиянием
над глубиной.

Слушай, слушай меня,
я здесь, я
брожу посреди озноба
леденящего лета.

## *Равнина*

Озеро.
Озеро. Озеро с
опрокинутыми берегами. Под
облаком — журавль,
белый отблеск
тысячелетий.
С ветром вместе

спустился я сюда. Здесь
буду жить. Охотником был
я в горах, но изловила
меня трава.

Говорить
научи меня, трава, научи
умереть и слышать, слышать
вечно и говорить, камень, молчать
научи, онеметь, и вода,
не расспрашивай меня, и ветер, ни о чем,
ни о чем, и ветер.

## *Путник над берегом*

Все еще
пожар послеполудня
над тростниками, над берегом
все еще
не шелохнутся лебеди, все еще
безмолвие
кустарников — песками
одеты по локоть.

Когда комета летит
над Зундом
(снег у нее за
крыльями),
лес восходит над хором нежити,
лес пускается через дюны
под глухое бормотание беззубых ветров,
под глухое воркование беззубых веток лес
пускается к озеру —

я слушаю твое появление, ты
выходишь из собственной тени, сбрасываешь
ношу с плеч, из руки твоей
выскакивает пламя.

Тебе я задам свои вопросы:
Кто я?
Где я?
Долго ли здесь
пробуду?

## *Слово*

Дерево
темнее ночи
светлее дыхания долин
струится сквозь
молчание

Камень
под ногами
вспыхивает прожилками огня
горит в песках вечности сквозь
молчание

Слово
утомленное
молчанием
на бесконечном пути к дверям
соседа

## *И. С. Бах*

Непокладистый господин,
твердый орешек для магистрата, со шпагой
чувствительно нежен
(практичен, знает себе цену),
детская радость у плещущих
вод, над вечным течением
реки; с ним дружили прозрачные
волны Иордана и небесами
беременной
Лабы.

Он провидел далекий берег —
который поднимался над
пламенем неопалимо,
который взывал к планетам
в тоске вековечной,—

это вспыхивает
в молниях кётенских импровизаций,
в сиянии
лейпцигской поры. Перед концом
голоса Троицы являлись ему
уже не в хоре медных
и не в пении органных
труб (высота — 16 футов).

Флейты взбегают ему навстречу,
когда, утомленный скорописью,
он выходит на порог своего
старомодного дома, приветствуя
ветер, не узнавая
земли.

## *Остановка*

Никто не знал, где мы находимся.
Скорбными глазами смотрели нам вслед собаки,
исчезая в огородах. Черным был дом,
и черным был край над истоками Волги,
и бледнели черные пепелища
от картины:

Толстой — старик, вздернутый высоко
на балке бревенчатой стены станционного дома,
мужицкие руки простираются грозно
вперед — не для
беседы в звездном дворце,—

за оградой скользят невидимые тени,
за оградой: я не знаю, чьи здесь надгробья, но
он выходит из всех могил, я вижу, я пробую
прислониться к свету, потому что горы
обрушивают на меня горы

воздуха — надо мной, подо мной
птичий лёт, птичий гам, снизу, сверху, здесь
и вдали —

я стоял
на ускользающей почве прибоя,
слушал стоны песков,
я был неподвижной тенью,
замурованной льдами, погребенной
обвалом
лучей.

## *Гертруда Кольмар*

Буковый лес пылает кровью сквозь
дымную даль, безмолвные тени скользят
вокруг него, сорочий грай стоит над ним
высокими воротами.

Однажды вошла туда
девочка: прямые волосы, глаза — две
скорбные равнины, в болото падали
ее шаги, как слезы.

Нет, не угаснет в нас черное
время: к нему возвращается мой
голос, ржавый от
пролитой крови.

Когда я вспоминаю тебя:
я отправляюсь в буковый лес,
я приказываю сорокам:
молчать, вот идут они, те, кто здесь
были — когда я вспоминаю тебя:
ведь мы не умрем, ведь мы будем
опоясаны башнями?

## *Село Тольминкемис*

Полдень отгорел пожаром,
дым поднимается над липами.
Вот он идет, белые волосы
блестят на солнце, люди
говорят друг другу:
— Вечер, скоро настанет вечер.
Один затягивает песню,
и поля подхватывают припев.

Подойди ближе, Донелайтис,
река сейчас взлетит на двух крыльях:
ястреб, гроза горлицы,—
и темноликий лес двинется

в дорогу, а с холмов
отзовется ветер.
Там живут вещие травы.

И день тоже уплывает медленно
под тень петлистую ручья,
закат сверкает
на окнах, из окон
кланяется огонек
лучины, шепчет:
«Добрый вечер».

Пиши через весь лист:
благодать изливается с неба,
но я верю, что
справедливость изгонит ее,
когда явится гнев.

# ДЖОН ЧИВЕР

# *Буллет-Парк*

РОМАН

*Перевод с английского*
*Т. ЛИТВИНОВОЙ*

**Часть вторая**

## *XI*

О существовании Нейлза (писал Хэммер) я впервые узнал в приемной зубного врача в Ашбернеме. Там я увидел его фотографию и прочитал коротенькую заметку о назначении его заведующим отделом зубных эликсиров фирмы Сафрон. В заметке рассказывалось, что он провел несколько лет в Риме и что состоит членом Добровольного пожарного общества в Буллет-Парке, а также клуба «Горный ручей». Я тогда еще не знал, почему я остановил свой выбор именно на нем. Не знаю этого и по сей день. Быть может, сказалось странное соотношение наших имен, а может, просто понравилась его физиономия. К своему решению я пришел несколько месяцев спустя, на пляже. Я только что искупался и сидел на песке с книгой в руках.

Я был один, а культ семьи в ту пору достиг своего апогея и естественное состояние одиночества вызывало в обществе острейшее подозрение. На пляже было принято появляться с женой, детьми, быть может, даже с родителями и с гостящими у вас друзьями. Одиночки были редкостью. Это был великолепный пляж, и я хорошо его запомнил. Так уж повелось, что в нашем сознании обнаженные тела связаны с представлениями о вечности и Страшном суде, и, быть может, поэтому пляж подчас кажется иллюстрацией к Апокалипсису. Босиком, полунагие, у самого края воды мы вдруг как бы оказываемся за пределами времени в ожидании окончательного приговора. В тот день, впрочем, Страшный суд носил характер мягкий, без тьмы кромешной и скрежета зубовного, и только плач ребенка, испугавшегося набежавшей волны, напоминал о том, что мир, в котором мы живем, является юдолью смерти и печали. Проходивший по пляжу молодой человек с явно выраженными специфическими наклонностями остановился неподалеку от меня. В походке молодого человека, собственно, не было ничего предосудительного, если не считать явного любования каждым своим движением. Он был хорошо сложен, загорел, и на нем были самые что ни на есть мини-плавки. Молодой человек нежно посмотрел на меня. В ту же минуту на сцене появился еще один человек. Этот был много старше моего красавца — я бы дал ему лет сорок; судя по его ярко-красному загару, дни, а быть может и часы, какие ему оставалось провести у моря, были уже

Окончание. Начало в № 7.

сочтены. Он не мог похвастать ни мускулатурой, ни стройностью — это был прилежный кабинетный работник, сутулый от рождения и с широкой задницей — результатом многолетних праведных трудов. С ним были жена и двое детей. Стоя у подножия дюн, с подветренной стороны, он безуспешно пытался запустить змея. Веревка запуталась, и змей никак не желал подняться.

Я подошел к человеку со змеем и посоветовал ему подняться на гребень дюны. Затем помог ему распутать бечевку. Педик вздохнул, подтянул плавки и побрел дальше. К отцу семейства я, собственно, подошел только затем, чтобы отделаться от педика. Однако тонкие и вместе с тем такие прочные путы змея неожиданно обрели для меня в эту минуту необычайную нравственную силу, словно добропорядочный мир, принадлежность к которому я сейчас продемонстрировал перед педиком, держится именно на такой ниточке — дешевой, прочной и бесцветной. Когда мне удалось ее распутать, я забрался со змеем на высокую дюну и, подняв его на вытянутые руки, отпустил. Ветер тотчас же его подхватил и унес прямо в синее небо. Дети были в восторге. Родители благодарили меня. Я вернулся к своей книжке. Педик исчез, но на душе у меня сделалось тоскливо — хотелось чего-то более устойчивого и весомого, нежели радость чужих детей, признательная улыбка взрослых да тонкие путы змея.

Я родился вне брака, от Франклина Пирса Тейлора и его бывшей секретарши Гретхен Шурц Оксенкрофт. С тех пор как я в последний раз видел свою мать, прошло много лет, но она стоит перед моими глазами и сейчас: развевающиеся седые волосы и сверкающие, как два колодца в прерии, глаза неувядаемой синевы Младшая и самая некрасивая из четырех дочерей каменотеса, она родилась в маленьком городке при каменоломнях в штате Индиана Ни отец, ни мать ее дальше школы не пошли, и у обоих выработалось религиозное, доходящее до фанатизма уважение к высшему образованию как к средству, которое позволяет вырваться из скучной и скудной провинциальной жизни Среднего Запада. Полное собрание сочинений Шекспира в одном томе лежало у них на столике в гостиной как жезл, как символ власти. Отец ее, худощавый, жилистый мужчина с густыми темно-русыми волосами и крупными чертами лица, был родом из Йоркшира. Когда ему минуло сорок, врачи обнаружили у него туберкулез. Начав жизнь простым каменотесом, он постепенно выдвинулся в мастера, а когда упали акции на известняк, оказался безработным. В доме, в котором выросла Гретхен, имелись зеркало в золоченой раме, диван, набитый конским волосом, кое-какая фарфоровая посуда и столовое серебро — фамильные ценности, вывезенные ее матерью из Филадельфии. Никому, разумеется, не пришло бы в голову видеть в них осколки былого величия или хотя бы элементарной зажиточности. И однако — Филадельфия, Филадельфия! В этом звуке, когда он раздавался в известняковых равнинах Индианы, возникал образ лучезарного города, сотканного из света и воздуха. Гретхен ненавидела свое имя и постоянно придумывала себе другие, требуя, чтобы ее называли то Грейс, то Глэдис, то Гвендолин, то Гертрудой, то Габриэлой, то Гизеллой, то Глорией. В годы ее отрочества в городке открылась публичная библиотека, и — случайно ли или по чьей-то роковой указке — Грейс впитала в себя полное собрание сочинение Голсуорси. От этого чтения у нее появился легкий английский акцент и непреодолимый разрыв между миром мечтаний и каменной реальностью. Однажды зимним вечером, когда Гретхен ехала из библиотеки, она увидела из окна трамвая своего отца. Он стоял, прислонившись к уличному фонарю, держа в руке судок, в котором носил с собой завтрак на работу. Водитель не остановился, и Гретхен, обернувшись к соседке, воскликнула:

— Вы видели этого бедняка? Он поднял руку, чтобы остановить трамвай, а водитель не обратил на него ни малейшего внимания.

Эту фразу она произнесла с интонацией героини Голсуорси, в мир которого была погружена весь день. Неудивительно, что в этом мире она не могла найти места для своего отца Для роли слуги или садовника он явно не годился. Он мог бы сойти за грума, но на каменоломне ему приходилось иметь дело с одними лишь ломовыми лошадьми. Она знала, что отец ее — добропорядочный, мужественный и чистоплотный человек, и скорее всего это ее позорное отречение было вызвано болью за него, за его неустроенность и одиночество. Гретхен, или как она в ту пору себя именовала, Гвендолин, окончила школу с отличием и поступила в Блумингтонский университет, где ей давали стипендию. Окончив университет, она покинула свою каменистую родину и поехала искать счастья в Нью-Йорке. На станции ее провожали родители. Отец совсем отощал, мать куталась в потрепанное пальтишко. Они махали ей рукой, и какой-то пассажир спросил: «Это ваши родители?» Она могла бы и сейчас ответить, соблюдая интонации Голсуорси, что это просто бедные люди, которых она навещала, но вместо этого она воскликнула:

— О да, это мои отец и мать!

Должно быть, где-то, в некоем государстве, не обозначенном ни на одной карте мира, взращиваются эти странные дети, носители генов анархии и разрушения, к числу которых и принадлежала Гретхен (она же Глория). На последнем курсе университета она сделалась социалисткой, и любые проявления несправедливости, неравенства и прочих безобразий, что царят в нашем несовершенном мире, причиняли ей жесточайшие страдания. Нью-Йорк она взяла, можно сказать, приступом, и, повстречавшись там с Франклином Пирсом Тейлором, богатым, мечтательным молодым человеком, членом социалистической партии, вскорости сделалась его секретаршей, а затем и любовницей. Какое-то время они были как будто безмятежно счастливы. Затем любовь их омрачилась неким роковым обстоятельством, заключавшимся, по утверждению отца, в том, что революционный пыл моей матушки принял форму воровства, или клептомании. Они много разъезжали по свету, и всякий раз, покидая гостиницу, Гретхен-Глория набивала свои чемоданы полотенцами, наволочками, столовым серебром и крышками от блюд. По идее все это добро предназначалось для нуждающихся, однако отец мой не видел, чтобы идея эта когда-либо воплощалась в действие. Однажды вечером он зашел в номер вашингтонской гостиницы, где они остановились, и застал ее снимающей хрустальные подвески с люстры. «Кому-нибудь это может очень и очень пригодиться»,— приговаривала она. В Толедо, в гостинице «Коммодор Перри», она втиснула в чемодан весы из ванной, но отец отказался запереть чемодан, покуда она не вернет их на место. В Кливленде она украла радиоприемник, из гостиницы «Палас» в Сан-Франциско — картину. Эта неизлечимая привычка к воровству — так утверждал мой отец — вызывала у них жестокие ссоры, и они наконец расстались в Нью-Йорке. Бедную Гретхен всякий раз, когда ей доводилось иметь дело с теми или иными приспособлениями — будь то электрический утюг, тостер или автомобиль,— постигала неудача. Так получилось и с противозачаточными средствами, которыми она пользовалась. Вскоре после того, как они разошлись, Гретхен обнаружила, что беременна.

У Тейлора не было ни малейшего намерения на ней жениться. Он оплатил расходы на родильный дом и определил какую-то сумму на ее содержание. Она сняла небольшую квартирку в восточной части города. Знакомясь с новыми людьми, она называла себя мисс Оксенкрофт. Ей нравилось эпатировать общество. Должно быть, она находила нечто оригинальное в том, что мы оба — я и она — отмечены печатью неза-

конности. Когда мне было три года, меня навестила мать моего отца. Мои золотистые кудри привели ее в восторг, и она выразила желание меня усыновить. Не отличаясь последовательностью, матушка моя, после месяца размышлений, дала согласие. Она считала, что ей даровано право, что, быть может, это и есть ее призвание — путешествовать по свету и расширять свой кругозор. Мне нашли няню, и я поселился с бабушкой в деревне. Волосы мои между тем начали темнеть и к восьми годам сделались совсем темными. Не будучи ни жестокосердной, ни эксцентричной, бабушка меня ни разу этим не попрекнула прямо, однако неоднократно говорила о том, что я обманул ее ожидания. В метрике я был записан как Поль Оксенкрофт, что, по-видимому, не устраивало никого, и как-то под вечер к нам наведался адвокат, вызванный для консультации. Они никак не могли придумать, какую дать мне фамилию. А тут как раз мимо окна прошел садовник с молотком в руке и таким образом разрешил этот вопрос. Гретхен определили вполне приличное содержание, и она поехала в Европу. Этим также был положен конец ее самозванству, и она не могла больше выдавать себя за Глорию. Все векселя, аккредитивы и прочие документы утверждали, что она является Гретхен Оксенкрофт.

Отец мой в молодости проводил лето в Мюнхене. Всю свою жизнь он привык работать с гантелями и штангой, и его мускулатура обрела тот особенный характер, который не приобрести никакими другими гимнастическими упражнениями. Даже в преклонные годы он сохранил великолепную форму и походил на стареющего атлета с рекламы, ратующей за гимнастику и потребление патоки вместо сахара. В Мюнхене он — то ли из тщеславия, то ли удовольствия ради — позировал скульптору-монументалисту Фледспару, который украсил своей работой фасад гостиницы «Принц-Регент». Отец позировал для мужских кариатид, что подпирают плечами карнизы всевозможных опер, вокзалов, жилых домов и храмов правосудия. В сороковые годы «Принц-Регент» был разбомблен, но я успел посетить эту элегантнейшую гостиницу предвоенной Европы и узнать в кариатиде, поддерживающей ее фасад, черты моего отца и его чрезмерно развитый плечевой пояс. Фледспар был в моде в начале века, и мне вновь довелось увидеть отца — на этот раз всю его фигуру — во Франкфурте-на-Майне, на фасаде гостиницы «Мерседес», где он поддерживал все ее три этажа. Я видел его в Ялте, в Берлине и на Бродвее; потом мне довелось быть свидетелем его упадка, когда монументальные фасады этого типа вышли из моды. Я видел его распростертым на заросшем сорняками пустыре в Западном Берлине. Все это, впрочем, было гораздо позже, в ранние же мои годы вся горечь безотцовщины, вся боль, какую мне причиняла необходимость называть своего родного отца дядей, полностью компенсировалась сознанием, что на его плечах держится и «Принц-Регент», и номера-люкс «Мерседес», и здание мальцбургской оперы, кстати сказать, тоже впоследствии разбомбленной. Я чувствовал, какую огромную ответственность он возложил на себя, и обожал его за это.

Одна девушка, с которой у меня был роман, утверждала, что прекрасно представляет себе мою мать. По какой-то непонятной для меня причине отношения, которые в основном сводились к чувственной возне, вызывали образ моей пожилой матушки. Моя подружка придумала нечто диаметрально противоположное тому, что было на самом деле, но я ее не стал разубеждать. «Я так и вижу твою маму,— говорила она со вздохом.— Я вижу, как она срезает розы у себя в саду. На ней, конечно, платье из шифона и шляпа с большими полями». Если матушка моя и выходила в сад, то скорее всего она становилась на четвереньки и полола клумбы, выбрасывая сорняки, как собака выбрасывает лапами комья грязи. Она отнюдь не являлась тем хрупким и грациозным существом,

какое вообразила себе моя подружка. Быть может, оттого, что у меня не было законного отца, я предъявлял чрезмерные требования к матери; как бы то ни было, я всегда уходил от нее разочарованный и смущенный. В настоящее время она проводит большую часть года в Китцбюхеле, а примерно к середине декабря, с первым снегом, переезжает в Португалию и поселяется в Эсториле, в каком-нибудь пансионате. Когда же снег стает, она возвращается в Китцбюхель. Переезды ее диктуются не столько любовью к солнцу, сколько чисто экономическими причинами. Я и до сегодняшнего дня получаю от нее письма не реже двух раз в месяц. Бросать ее письма, не распечатывая, я не решаюсь — ведь может статься, что в одном из них заключена какая-нибудь важная весть. Чтобы дать представление о ее письмах, приведу последнее.

«Прошлой ночью я видела во сне целую кинокартину,— пишет она.— Не сценарий, а настоящий цветной фильм о японском художнике Шардене. Затем мне приснилось, будто я попала в наш сад в Индиане и что там ничего не изменилось с того дня, когда я оттуда уехала. Даже те самые цветы, что я срезала столько лет назад, лежали на заднем крылечке, совершенно свежие. Все было на своих местах — и не то чтобы я все так хорошо запомнила. Нет, дело здесь не в памяти, которая у меня угасает с каждым днем, это был скорее подарок какой-то части моего сознания, более глубокой, чем память. Затем мне приснилось, будто я сажусь на поезд и смотрю в окошко на голубое небо и синюю воду. Я толком не понимала, куда еду, но, порывшись в сумке, обнаружила приглашение провести уик-энд у Роберта Фроста. Он умер, я знаю, да и все равно мы бы, верно, после первых же пяти минут рассорились, но меня поразила щедрость моей фантазии, пославшей мне подобное приглашение.

В некотором отношении память моя сильно сдала, зато в другом остается цепкой, и даже чересчур. Она все время наигрывает мне какую-то музыку. Почти все время я слышу музыку. Едва я проснусь, как я ее слышу, и она меня сопровождает в течение всего дня. Удивительнее всего ее невероятное разнообразие. Иногда я просыпаюсь под торжественные звуки квартета Разумовского[1]. Ты знаешь, как я его люблю. К завтраку обычно дают Вивальди, а немного погодя — Моцарта. Но бывает, что я просыпаюсь под ужасающий марш Джона Сузы, после чего идет музыка, которая обычно сопровождает рекламу жевательной резинки, а затем меня преследует какая-нибудь фраза из Шопена. Я терпеть не могу Шопена. Почему же моя память должна терзать меня музыкой, которая мне ненавистна? Память моя то дарит меня чем-нибудь приятным, то, словно нарочно, назло, преподносит мне какую-нибудь гадость. Кстати, о памяти; я должна рассказать тебе кое-что о маленькой Джеймзи. (Джеймзи — ее шотландский терьер.) На прошлой неделе, часа в три ночи я проснулась от странного звука. Джеймзи, как тебе известно, спит рядом с моей постелью. Оказалось, это она считала вслух во сне. Сосчитав до двенадцати, она принялась за алфавит. Звук «с», разумеется, давался ей с трудом, однако я совершенно явственно слышала, как она повторила весь алфавит. Ты, конечно, решишь, что я сошла с ума, но почему бы Джеймзи не говорить, существуют же говорящие черепахи? Когда Джеймзи дошла до конца алфавита, я ее разбудила. Она казалась немного смущенной тем, что я застала ее за уроками, однако не показала виду и мило мне улыбнулась, после чего мы обе уснули.

Тебе, конечно, все это покажется глупостью, но зато я не увлекаюсь ни гаданием на картах, ни астрологией и, в отличие от моей приятельницы Элизабет Хауленд, не жду от своего «дворника» на ветровом стек-

[1] Имеется в виду один из трех квартетов Бетховена, которые композитор посвятил русскому послу в Вене, графу Разумовскому.

ле мудрых и связных советов относительно того, какие следует покупать акции. Элизабет утверждает, будто бы в прошлый месяц «дворник» посоветовал ей купить акции «Мэрк Кемиклз», и благодаря этому она выручила несколько тысяч. Как все игроки, она, разумеется, умалчивает о проигрышах. Ну так вот, я не имею обыкновения прислушиваться к «дворникам», зато музыка меня преследует всюду — я внезапно могу ее услышать в шуме моторов самолета. Так как я привыкла к тихому гулу океанских турбосамолетов, я особенно остро воспринимаю сложную музыку стареньких «ДС-7» и «констелэйшенов», на которых летаю в Португалию и в Женеву. Эти машины поднимаются в воздух под аккомпанемент моторов, который звучит в моих ушах некой вселенской музыкой, случайной и бессвязной, словно сновидение. Это далеко не бравурная музыка, но и печальной ее не назовешь. Музыка «констелэйшенов» вся построена на контрапункте и менее хаотична, чем «ДС-7». В ней я различаю с такой же ясностью, как в концертном зале, переход от мажорного трезвучия к уменьшенному септаккорду, а затем к октаве, с модуляцией в минор и к разрешению аккорда. Все эти звуки носят торжественный характер барочной музыки, но никогда, и я это знаю по опыту, музыка эта не достигает кульминации и завершения. В церкви, куда я ходила девочкой в Индиане, играл органист, который так и не закончил музыкального образования — то ли у него на это не хватило средств, то ли упорства. Он играл на органе не без блеска и довольно бегло, но так как его музыкальное образование не было доведено до конца, он никогда не выдерживал стиля пьесы, которую играл. Четкая, классическая фуга у него неизменно вырождалась в нечто бесформенное и вульгарное. Так и «констелэйшены» — в них была та же неразрешенность, тот же недостаток упорства Первый, второй и третий голоса фуги явственно прослушивались, но затем, так же как у нашего органиста, изобретательность иссякала и все кончалось серией бессмысленных аккордов. Музыка «ДС-7» одновременно и богаче и ограниченнее, чем в «констелэйшенах». Так, во время ночного полета во Франкфурт я без всякой натяжки слышала, как моторы исполнили половину вульгарных вариаций Гуно на баховскую тему. Еще я слышала Генделеву «Музыку на воде», тему смерти из «Тоски», вступление к «Мессии» и т. д. Но однажды ночью в Инсбруке (как раз начались морозы, и, быть может, это сыграло свою роль), только я уселась в «ДС-7», моторы воспроизвели изумительный синтез всех звуков жизни — тут были и пароходные гудки, и паровозный свист, скрип железных ворот и пружин матраса, барабанная дробь, дождь и ветер, раскаты грома, человеческие шаги, голоса — все словно сплелось в какой-то воздушный канат или шнур; но как только стюардесса обратила наше внимание на табличку «Не курить» (Nicht Rauchen), шнур оборвался,— кстати говоря, всякий раз, когда я слышу голос стюардессы, я чувствую, что я не то чтобы дома, но во всяком случае там, где мне надлежит быть.

Ну, да тебе, конечно, все это покажется вздором. Для меня не секрет, что ты предпочел бы, чтобы твоя мать больше походила на обычных матерей — тех, что вечно посылают своим детям сладкие домашние пироги и помнят их дни рождения... Впрочем, мне кажется, что мы недостаточно пытаемся понять, изучить друг друга, мы чересчур осторожны и робки. Всякий раз, когда мы делаем попытку проникнуть человеку в душу,— а ведь к этому одному мы и стремимся, не правда ли?—всякий раз нам кажется, будто нами руководит беспощадная честность отчаяния. В действительности же мы всего лишь возводим искусственную модель приемлемой для нас реальности, упорно отказываясь принять реальность подлинную, ту, что существует на самом деле.

А теперь, прежде чем кончить это письмо, я заставлю тебя еще немного поскучать и поделюсь еще одним наблюдением. То, что я хочу

сказать, должно быть прекрасно известно всякому путешественнику, и вместе с тем я не решилась бы поделиться этим с самым близким другом из боязни, что меня примут за сумасшедшую. Но так как ты и без того считаешь меня сумасшедшей, я ничем не рискую.

Итак, я заметила во время моих странствий, что каждая постель, какую мне доводилось занимать в гостинице или пансионе, обладает своей атмосферой и что каждая имеет глубочайшее влияние на мои сны. Все мы оставляем отпечаток своей личности, своих настроений и желаний в тех местах, где нам случается заночевать. Это факт бесспорный, чему я имею более чем достаточно доказательств. Прошлой зимой, когда я была в Неаполе, мне однажды приснилось, будто я стираю целый гардероб нейлоновых вещей (а это, как ты знаешь, со мною случиться не могло — ведь я никогда не ношу синтетики). Сон был удивительно реален — я видела, как висят платья под душем, и ощущала запах мокрой материи, а между тем это не могло быть памятью чего-то пережитого мной наяву. Проснувшись, я почувствовала, что меня окружает атмосфера, совершенно непохожая на мою собственную,— атмосфера застенчивости, целомудрия и душевной чистоты. В комнате явственно ощущалось чье-то присутствие. Наутро я спросила регистратора, кто занимал мой номер до меня. Заглянув в свою тетрадь, тот сообщил, что в нем спала мисс Хэриет Лоуэл, американская туристка, которая переехала в другой, меньший номер. Да вот она сейчас выходит из ресторана, прибавил он. Я повернулась и в ту же минуту увидела мисс Лоуэл, чье белое платье я стирала во сне и чей застенчивый, целомудренный и ясный дух еще витал в оставленной ею комнате. Ты, конечно, скажешь, что это простое совпадение. Но вот тебе еще один случай. Некоторое время спустя, на этот раз в Женеве, я очутилась в постели, от которой исходила такая гнусная, насыщенная эротикой атмосфера, что сны мои были просто омерзительны. Я видела двух голых мужчин, причем один из них сидел верхом на другом. Утром я спросила регистратора, кто был в этом номере до меня. «Oui, oui, deux tapettes» [1],— сказал он. Они подняли такую возню, что их попросили оставить гостиницу. После этого я взяла себе за обычай всякий раз, когда мне доводится ночевать в гостинице, угадывать, кто занимал мой номер до меня, и сверять затем свои догадки с регистратором. Каждый раз — если регистратор шел мне навстречу — оказывалось, что я угадала правильно. Когда номер занимали проститутки, регистраторы обычно уклонялись от ответа. Если я обнаруживала, что от моего ложа не исходит никакой специфической атмосферы, я полагала, что номер пустовал неделю или, быть может, дней десять. И никогда не ошибалась. Весь тот год, что я провела в странствиях, мне доставались сны бизнесменов, туристов, супружеских пар и проституток. Самое замечательное случилось весной в Мюнхене.

Я остановилась, как всегда, в «Бристоле», и мне приснилась соболья шубка. Я, как ты знаешь, терпеть не могу мехов, но эту шубку я видела во всех подробностях — покрой воротника, золотистые шкурки, желтый шелк подкладки, а в одном из шелковых карманов — обрывки двух билетов в оперу. Утром, когда горничная принесла мне кофе, я у нее спросила, была ли у женщины, занимавшей мой номер до меня, меховая шубка. Девушка всплеснула руками и, воздев глаза к потолку, сказала: «О да!» По ее словам, это была шубка из настоящих русских соболей, самая прекрасная шубка, какую ей доводилось видеть. И обладательница шубки, по-видимому, очень ее любила. Прямо как любовника. «А эта женщина, с шубкой,— спросила я, помешивая кофе и пытаясь не выдать своего волнения,— не ходила ли она в оперу?» «О да, да,— сказала горничная,— она приехала на Моцартовский фестиваль и

[1] Гомосексуалисты *(франц. слэнг)*.

в течение двух недель каждый вечер надевала свою шубку и отправлялась в оперу».

Меня это не слишком удивило — ведь я и прежде знала, что в жизни очень много таинственного. Согласись, однако, что я имею неопровержимые доказательства тому, что мы оставляем частицу своей личности, своих снов и своего духа в комнате, в которой спим. Да, но какая мне польза от этого знания? Если бы я поделилась с кем-нибудь из друзей, меня сочли бы сумасшедшей, да и в самом деле, какой толк в том, что я могу угадывать, кто спал до меня в данной постели — старая дева или проститутка, или что постель эта пустовала некоторое время? Обладаю ли я особым даром или это феномен, знакомый всякому путешественнику? Да и можно ли называть способность, которой нельзя найти никакого практического применения, даром? В конечном счете я решила, что универсальный характер наших снов включает все — и одежду, и билеты в оперу. А раз так, раз мы знаем друг друга так близко, быть может, мы гораздо ближе, чем кажется, к воцарению мира на земле?»

## XII

Я рос у бабушки в Ашбернеме и учился в местной школе. Лет до десяти или одиннадцати я ел на кухне, потом меня стали сажать вместе со взрослыми за большой стол. Почти каждый день у нас бывали гости. Я был в том возрасте, когда разговор взрослых кажется невыносимо скучным, и это, вероятно, было написано у меня на лице. Бабушка решила прочитать мне нотацию. «Теперь, раз ты уже достаточно большой, чтобы сидеть за общим столом,— говорила она,— я считаю себя вправе требовать, чтобы ты принимал участие в разговоре. По вечерам люди собираются за столом не только для того, чтобы пообедать, но и затем, чтобы обменяться мнениями, впечатлениями, новостями. Ведь каждый день чему-нибудь нас учит, правда? Каждый день нам удается увидеть что-нибудь новое, интересное. Наверное, и ты в течение дня узнаешь или замечаешь что-нибудь такое, что может оказаться интересным мне и моим гостям. Я хочу, чтобы ты участвовал в общем разговоре».

Я попросил было, чтобы меня перевели обратно на кухню, но бабушка пропустила мою просьбу мимо ушей. Я сильно робел, когда на другой день вышел к столу. За столом лилась оживленная беседа. И тут вдруг бабушка улыбкой дала мне знак внести свою лепту в общий разговор. Единственное, что мне в тот день запомнилось, это как какая-то дама воровала ноготки в публичном парке, когда я шел из школы домой. Заслышав мои шаги, она спрятала цветы под пальто. А когда я прошел мимо, принялась опять их срывать.

— Я видел даму в парке,— сказал я.— Она воровала ноготки.

— Это все, что ты видел сегодня? — спросила бабушка.

— Еще я видел, как играют в баскетбол.

Взрослые снова заговорили, но я понял, что провалился и что мне следует заранее готовиться. Мы проходили в то время древнюю историю, и я стал каждую ночь зубрить по две-три странички из учебника.

— Из всех греческих государств, что тянулись от берегов Черного моря до западных берегов Средиземного,— начал я на другой день,— ни одно не могло состязаться с Афинами. Заслуга же в этом принадлежала Периклу...

В следующий вечер я потчевал общество Солоном, а на третий — афинской конституцией. К концу недели бабушка добродушно сказала:

— Пожалуй, тебе лучше пока прислушиваться к тому, что говорят другие.

Бабушка была богата и жила в достатке всю жизнь. Это была довольно грузная и некрасивая женщина, но оттого что ей никогда не доводилось заботиться о деньгах, она до самой старости сохранила необычайно свежий цвет лица. Счастливое стечение обстоятельств, благодаря которому она никогда не знала нужды, избавило ее от одного из самых главных источников тревоги. Мы с ней отлично ладили, хоть порою я изрядно ей досаждал. Однажды — мне было лет двенадцать и я еще ходил в местную школу — бабушка ждала к обеду английского герцога по фамилии Пенрайт. Титулы ее волновали, и почему-то ее волнение по поводу приезда лорда Пенрайта меня злило. Узнав, что к столу подадут устриц, я отправился в город и купил огромную поддельную жемчужину. Я велел бабушкиной горничной Ольге вложить эту жемчужину в одну из устриц и, когда она будет подавать на стол, подсунуть ее на тарелку лорду Пенрайту. За столом собралось человек двенадцать. Все оживленно беседовали, как вдруг лорд Пенрайт воскликнул: «Вот так штука!» или «Ну и ну!» — словом, что-то в этом роде. И взяв пальцами жемчужину, показал ее всему столу. Я выбрал самую большую жемчужину в галантерейном магазине,— при свете свечей она казалась перлом, не имеющим цены.

— Вон какое мне привалило счастье,— сказал лорд.

— Хм,— откликнулась бабушка. Лицо ее, обычно такое живое и ласковое, приняло недовольное выражение.

— Я дам ее оправить ювелиру и подарю жене,— сказал лорд.

— Но ведь это моя жемчужина,— возразила бабушка.— Мой дом. Мои устрицы. Следовательно, и жемчужина моя.

— Я об этом не подумал,— сказал лорд и со вздохом передал жемчужину бабушке.

Как только бабушка взяла жемчужину в руки, она поняла ее происхождение и сказала мне через стол:

— Ступай отсюда.

Я пообедал на кухне и поднялся к себе. Бабушка никогда не заговаривала со мной о жемчужине, но что-то в наших отношениях надломилось безвозвратно. В сентябре меня отправили в школу-интернат.

## *XIII*

Когда я учился в старшем классе, бабушка умерла, и мне некуда было деваться на рождество. Насколько я помню, в друзьях у меня недостатка не было, но — то ли меня в тот год никто к себе не пригласил, то ли я сам от приглашений отказывался, но так или иначе, когда все из моего дортуара разъехались на каникулы, я остался один. Я чувствовал себя страшно заброшенным и с горечью думал о своей незаконнорожденности. У всех моих товарищей было по крайней мере по одному родителю, между тем как у меня не было ни одного. Почему бы, подумал я, отцу не угостить меня кружкой пива по случаю рождественских каникул? Больше ведь мне ничего от него не надо. Я знал, что он женат и что живет в Бостоне, и вот я взял и полетел в Бостон. Разыскав его фамилию в телефонном справочнике, я поехал в Дедем, пригород, где он жил. Я хотел лишь попросить его угостить меня кружкой пива, вот и все. Я позвонил и был очень удивлен, когда дверь мне открыла чрезвычайно некрасивая седая дама с желтым лицом и длинными зубами. Несмотря на непритязательную наружность, она обладала своим, особым шармом. Было в ней что-то доброе, умное. Большой рот с тонкими губами показался мне необычайно красивым. Я сказал, что меня зовут Поль Хэммер и что я хочу видеть мистера Тейлора. По-моему, она поняла, кто я такой. Она сказала, что он в городе.

— Он поехал туда еще в среду, на какую-то вечеринку,— сказала она.— А когда он ездит на вечеринки, он обычно застревает в городе на несколько дней. Он останавливается в «Ритце».

В голосе миссис Тейлор не было скорбных ноток. Быть может, она была рада отдохнуть от моего отца. Я поблагодарил ее и поехал в «Ритц». Портье подтвердил, что мистер Тейлор зарегистрирован в гостинице, но, когда я набрал номер его телефона, никто не отозвался на звонок. Я поднялся на лифте и позвонил в дверь. Никто не отзывался и на этот раз, но дверь не была заперта, и я вошел.

О том, что здесь накануне имела место попойка, сомневаться не приходилось. В дальней комнате, в спальне, на одной из двух неубранных постелей, хранивших следы любовного марафона, лежал отец и спал мертвецким сном. Он был совершенно наг, если не считать ожерелья — семнадцать пробок от бутылок с шампанским,— которое кто-то из участников попойки нацепил ему на шею, вероятно, уже после того, как он выбыл из игры. Хотя ему было уже за пятьдесят, тяжелая атлетика сыграла благотворную роль, и человеку близорукому он показался бы гораздо моложе своих лет. Он был необычайно гибок и строен, и в этой не соответствующей возрасту гибкости и стройности было что-то даже неприличное. Распластанный на постели, сраженный могучими силами алкоголя, он напоминал какого-нибудь Икара или Ганимеда с убогой выцветшей и засиженной мухами фрески в старомодном второразрядном итальянском ресторанчике. Вряд ли он проснулся бы, даже если бы я громко закричал ему прямо в ухо. Ему и в самом деле нужно было отоспаться, и я не стал его будить. Настолько у меня хватило великодушия. У меня хватило великодушия даже на большее. Это был мой отец, автор — или во всяком случае соавтор — моего сердца, легких, печени и мозга,— мог ли я себе позволить какую-нибудь вольность с тем, кто являлся моим творцом? Он был в моей власти—я мог убить его, надругаться над ним или простить. Скрепя сердце я его простил. Следующим пунктом был Китцбюхель. Если отец не угостил меня пивом, то, может, мне удастся выпросить чашку чаю у матери.

Мы привыкли говорить о путешествии через моря и континенты, как если бы речь шла о чем-то простом и естественном. «Затем мистер Икс,— читаем мы,— проследовал из Бостона в Китцбюхель». Но как это далеко от правды! Я купил билет на Лондон. Самолет запаздывал с вылетом, я успел выпить пять стаканчиков мартини и в пьяном отупении пересек Атлантический океан. В Лондон мы прибыли на рассвете, и я обнаружил, что потерял чемодан. Я проболтался в аэропорту до трех пополудни и, когда чемодан нашли, поехал на такси в гостиницу «Дорчестер». Там я безуспешно пытался поспать, затем пошел в кино, после чего нализался в пивной. У меня были билеты на ранний самолет во Франкфурт-на-Майне, но над Лондоном навис густой туман, и, когда я добрался до аэродрома, оказалось, что не дают вылета. Каждые полчаса пассажирам объявляли, что туман вскоре рассеется. Я съел завтрак, который агентство предоставляло пассажирам бесплатно. Затем ленч. А в три часа объявили, что аэропорт закрывается до следующего дня. Я вернулся в «Дорчестер», там свободных номеров не оказалось, попытал счастья в других гостиницах и в конце концов очутился в меблированных комнатах на Паркман-сквер. Большую часть ночи я не мог уснуть из-за доносившихся из соседнего номера разнообразных шумов, которые предпочитаю не описывать. Утром все еще стоял туман, но появилась кое-какая надежда, что погода исправится. Я вернулся на аэродром. Там я выпил чашку сквернейшего кофе и выдаваемый за апельсиновый сок стакан воды, подцвеченной чем-то оранжевым, который возымел столь гальваническое действие на мой кишечник, что мне пришлось тотчас ринуться в туалет. Через пятнадцать минут я оттуда услышал,

как объявляют посадку на мой самолет. Я натянул брюки, понесся через весь аэродром и едва поспел на франкфуртский самолет. Внутренности мои продолжали бунтовать, и всю дорогу от Лондона до Франкфурта я провел в туалете. Световые надписи на трех языках приглашали меня вернуться на свое место, но что я мог? Во Франкфурте, где я пересаживался на самолет, летящий в Инсбрук, было очень холодно. В Инсбруке я сел на альпийский самолетик и к четырем часам пополудни прибыл в Китцбюхель. Впрочем, вернее было бы сказать, что я не прибыл, а доставил туда остатки своего организма после того, как разметал большую его часть по пути, охватившем примерно треть нашей планеты. Так по крайней мере мне казалось.

Мисс Оксенкрофт проживала в пансионе «Бельвю». Фасад деревянного здания был украшен рогами, и я невольно задумался: то ли у тирольцев этот символ не связан с супружеской неверностью, то ли пансион, где останавливается моя мать, специализируется именно в этой области. Когда я попросил провести меня к моей матушке, там очень удивились. Она же была *фрейлейн*. Горничная поднялась на второй этаж и пригласила ее спуститься вниз. Матушка вскрикнула от радости, я обнял ее. Она заметно поседела, но была такая же легкая, как прежде, и глаза ее были по-прежнему ярко-голубыми.

— Ты приехал на рождество, Поль? — спросила она.— Ты приехал провести рождество со своей мамой? Обычно я в эту пору уезжаю в Эсторил, но нынче зима поздняя, и я решила сидеть здесь до первого снега.

Мне предоставили комнату рядом с ее номером, и мы вместе поднялись наверх. Она вскипятила чай на спиртовке и налила мне чашку. Вдруг дверь в ее комнату распахнулась, и на пороге появилась какая-то костлявая женщина.

— Вы взяли нашу сахарницу! — завопила она.— Я одолжила ее вам вчера, когда вы пили чай, а вы так мне ее и не вернули.

— Вы ошибаетесь,— вежливо ответила мама.— Я вернула вам сахарницу; я поставила ее к вам на книжную полку. Посмотрите хорошенько.

Когда женщина ушла, мама повернулась ко мне и спросила:

— Ну, как твоя гнусная родина?

— Она совсем не гнусная, мама,— ответил я.— И притом, это также и твоя родина.

— У меня американский паспорт, это верно,— возразила она,— без него мне никуда нельзя поехать, но это всего лишь компромисс, на который приходится идти из-за бюрократизма властей. Все равно — это гнусная страна. Еще тогда, когда мы с твоим отцом состояли в социалистической партии, я неустанно твердила, что, если американский капитализм будет упорствовать, поднимая на щит продажных и бесчестных людей, наша экономика выродится в производство наркотиков и такого образа жизни, при котором отпадет всякая потребность мыслить,— человеческий разум, эмоциональная глубина, все это будет перечеркнуто. И я оказалась права.

Мать ткнула в меня пальцем и продолжала:

— Я просматриваю американские журналы в кафе. Больше половины места в них занимают рекламы алкоголя, табака и этих ваших нелепых автомобилей всевозможных марок; они сулят потребителю забвение (да, да, они буквально это нам обещают!) убожества нашей жизни, нашей духовной нищеты и утомительного однообразия, порожденного нашим собственным эгоизмом. Во всей истории цивилизации не сыщешь народа, который бы так целеустремленно стремился себя одурманить. В прошлом году я ездила в Калифорнию...

— Я не знал, что ты приезжала,— перебил я.

— Ну да, приезжала,— сказала она.— Я не стала тебе звонить, потому что...

— Неважно,— сказал я.

— Я знала, что для тебя это неважно,— жестко парировала она.— Словом, я ездила повидаться с друзьями в Лос-Анджелесе, и они прокатили меня по новым автострадам. Я увидела еще один пример самоубийственной бессмыслицы, муниципальной коррупции и хищения естественных богатств. Я больше никогда не вернусь, потому что если бы я вернулась, я бы, знаешь, что сделала?

— Нет, мама.

— Я бы поселилась в каком-нибудь местечке вроде Буллет-Парка. Купила бы себе домик — этакий обыкновенный, незаметный. Играла бы в бридж, участвовала в благотворительных организациях, принимала гостей, ходила бы на коктейли — и все для того, чтобы скрыть свою истинную цель.

— Какую же?

— Я бы наметила себе какого-нибудь молодого человека, какого-нибудь, скажем, агента рекламного бюро, семейного, с двумя-тремя ребятишками, словом, он должен представлять собой образец человека, живущего без эмоций и для которого не существует духовных ценностей.

— Что бы ты с ним сделала?

— Распяла бы его на дверях божьего храма,— произнесла она со страстью.— Человек, распятый на кресте,— это, и только это, выведет наше общество из оцепенения!

— Как бы ты его распяла? — спросил я.

— Всех деталей я еще не продумала,— сказала она. И вдруг снова превратилась в добрую седую старушку.— Скорее всего, я сперва одурманила бы его или отравила на какой-нибудь вечеринке с коктейлями. Я бы не хотела причинить ему лишних страданий.

Я пошел к себе и стал вынимать вещи из чемодана. От комнаты матери меня отделяла тонкая оштукатуренная перегородка, и я слышал, как она продолжает говорить. Сначала я подумал, что после меня к ней кто-то вошел, но затем по монотонности ее голоса понял, что она разговаривает сама с собой. «Мой отец был простым каменотесом,— четко доносились ее слова,— он часто бывал без работы. Однажды я где-то прочла, что у любого человека кривая его карьеры задана в самом начале его жизни, и я тогда же подумала, что с моими более чем скромными исходными условиями жизни, если я приму их пассивно, я неминуемо кончу подавальщицей в железнодорожном ресторане или, в лучшем случае, библиотекаршей в маленьком провинциальном городке. И вот я пыталась как-то изменить самые мои истоки, чтобы дать больший размах траектории моей судьбы. Детство и отрочество мои прошли в маленьком городке, и я больше всего на свете боялась в нем застрять...»

Я вышел в коридор и открыл дверь в ее комнату. Скинув туфли, она лежала на постели одетая и говорила, обращаясь к потолку.

— Мама, что с тобой?

— Я себя анализирую,— ответила она бодрым голосом.— Я хотела заняться психоанализом и пошла к местному доктору. Он назначил сто шиллингов за сеанс. Когда я ему сказала, что это мне не по карману, он предложил мне продать машину и сократить расходы на питание. Только подумай! Как тебе это нравится? И вот я решила анализировать себя сама. Теперь три раза в неделю я ложусь и разговариваю с собой по часу. Я очень откровенна. Я себя не щажу. Я чувствую, что такая терапия очень эффективна и при этом не стоит мне и цента. Мне еще осталось сорок пять минут, и я попросила бы тебя не мешать...

Я вышел и закрыл за собой дверь. В коридоре я слышал ее бубнящий голос: «Когда я лежу на спине, сны мои носят характер геометрический, уравновешенный и пристойный. Лежа на спине, я часто вижу какую-то виллу в стиле Андреа Палладио, то есть я хочу сказать, английский дом, выстроенный в стиле Палладио. Когда я сплю в пренатальной позиции, я вижу круглые, неприятные и подчас эротические сны. Когда я сплю на животе...»

Единственный сын рехнувшейся старухи и мужской кариатиды, подпиравшей своими плечами три этажа отеля «Мерседес», я поплелся к себе и принялся укладывать чемодан. Матери я оставил записку, в которой написал, что почувствовал непреодолимое желание уехать. Я не считал, что своим внезапным появлением и столь же внезапным исчезновением совершаю подлость. Облако эксцентричности так плотно облекает ее со всех сторон, убеждал я себя, что вряд ли она даже заметит мое отсутствие.

Я сел в такси и вновь пустился в путь. В Лондон я прибыл к обеду. Это было двадцать третьего декабря. После обеда я вышел прогуляться. Падал снег. Я проходил мимо театра, может, это был кинотеатр, не помню точно, где выступал какой-то проповедник. Имени его я тоже совсем не запомнил. Я вошел из любопытства. Зал был наполовину пуст.

Проповедник оказался невзрачным человеком в невзрачном сереньком костюме. Лицо его, не то чтобы уродливое, поражало своей дисгармонией. Толстый красный нос не вязался с тонкими, изящными губами; волосы, казалось, были нахлобучены вместе с ушами в последнюю минуту, впопыхах. Я принялся разглядывать собравшихся. Большей частью это были люди того типа, какой встречаешь в меблированных комнатах,— одинокие старики и старухи, со скуки или по глупости ударившиеся в благочестие. Попадались среди них, однако, и другие — люди с ясными молодыми лицами, которые, казалось, искренне ищут путей к обретению душевного покоя. Истовость, с какой они склоняли голову в молитве, и ощущение человеческой общности, которое они, очевидно, испытывали, глубоко меня тронули. Тяжкое бремя отчужденности, подозрительности, одиночества, тревоги и страха, под которым они изнывали, сделалось как бы легче. Начинало казаться, что жизнь — вещь гармоничная, нормальная и что все мы в совокупности представляем собой гармоничное, нормальное общество. Мой сосед сидел в позе человека, погруженного в молитву. После проповеди каждому предлагалось выйти на сцену, покаяться в грехах и получить отпущение. И все, группками по три-четыре человека, подходили к проповеднику, который их благословлял.

Люди отходили от него с сияющими лицами, и как-то даже не хотелось задаваться вопросом, надолго ли им удастся сохранить этот высокий настрой души. Почти всех этих людей дома ждали пустые комнаты, больные, за которыми надо было ухаживать, разбитая семейная жизнь, насмешки, унижения, оскорбления и отчаяние. Но все же на какой-то миг каждому из них блеснул луч надежды. Я взошел на эстраду одним из последних. О да, отец мой, я грешен. Я съел большую часть бутербродов на пикнике. Я повинен во всевозможных плотских грехах. Я оставил свой новый велосипед под дождем. Я не люблю своих родителей. Я любовался собою перед зеркалом. Очисть меня и отпусти мне мои грехи, отец милостивый.

И вот, остановившись перед проповедником с опущенной головой, я почувствовал себя вдруг очистившимся и прощенным. Счастливый и умиротворенный, я зашагал к себе в гостиницу. Жизнь проста, естественна, она — дар божий. Отныне и у меня появилось свое назначение в жизни.

В чем оно заключалось, мне открылось много позднее.

# XIV

Когда я был на втором курсе Йейльского университета, я обратился в нью-хейвенский суд за разрешением переменить имя и фамилию с Поля Хэммера на Роберта Леви. Не знаю, зачем это мне понадобилось. Хэммер, разумеется, фамилия никуда не годная. Фамилия Леви казалась мне простой и чистой, к тому же, так как я не принадлежал ни к одной церкви, я, быть может, рассчитывал таким образом пролезть в еврейскую религиозную общину. Мой адвокат красноречиво говорил о том, что я внебрачный ребенок и что прозвище свое получил оттого, что мимо окна моих опекунов случайно пронесли такой непритязательный инструмент, как молоток. Судья отказал мне в моей просьбе. Нью-хейвенская газета обнародовала всю эту историю, включая происхождение моей фамилии, в результате чего путь в общество мне был заказан и я потерял по крайней мере десяток друзей. Я не перестаю поражаться тому, что незаконнорожденность до сих пор воспринимается как угроза общественному порядку.

Не стану задерживаться на годах учения. Когда мне исполнилось двадцать четыре года, я поселился в Кливленде и вложил пятьдесят тысяч долларов, доставшиеся мне в наследство от бабушки, в издательство, затеянное человеком, с которым я учился в колледже. Ни он, ни я не обладали достаточным опытом, и дело наше шло плохо. К концу года мы заложили наше издательство более крупной фирме. Когда кончился срок залога, фирма этим воспользовалась и — плакали мои денежки! Примерно в это же время я впал в глубочайшую меланхолию; не думаю, чтобы она была связана с моей финансовой неудачей — ведь у меня все равно оставалось достаточно денег для безбедного житья. Это была хандра такая отчаянная, такая плотная, что ее, казалось, можно потрогать руками. Раза два мне даже почудилось, что она промелькнула у меня перед глазами: она была покрыта шерстью, как классический bête noir[1]. Как правило, однако, она была незрима, как струя воздуха. Я решил переехать в Нью-Йорк и заняться переводом стихов Эудженио Монтале[2]. Я снял меблированную квартиру. В Нью-Йорке у меня почти никого знакомых не было, и большую часть времени я был предоставлен себе и своей хандре.

Мне некуда было от нее деваться — она настигала меня и в поездах и в самолетах. Бывало, я проснусь совершенно здоровым, в голове роятся всевозможные проекты, и вдруг, во время бритья или за первой чашкой кофе, меня начинает душить тоска. С особенной силой наваливалась она на меня на заре, когда, разбуженный городским шумом, едва проснувшись, я был особенно уязвим. Моей лучшей, моей единственной защитой в этих случаях было — зарыться головой в подушку и вызвать в памяти все те образы, какие некогда символизировали для меня величие и красоту. Среди них первое место занимала высокая горная вершина — по всей видимости, Килиманджаро. Вершина была совершенна по форме — покрытый снегом конус, освещенный косыми лучами солнца. Эту гору я видел тысячу раз, я молил ее мне явиться, и по мере того как ее очертания сделались для меня привычными, я стал различать у ее подножия огоньки первобытного поселка — видение это восходило, как я полагаю, к бронзовому или железному веку. Несколько реже удавалось мне вызывать маленький, обнесенный крепостной стеной средневековый городок: Монт-Сен-Мишель, Орвието или тибетский дворец далай-ламы. И средневековый город, и снежная вершина являлись символами красоты, любви и нерастраченного душевного жара. Еще реже

[1] Буквально «черный зверь» *(франц.)*; по народному поверию черная овца в стаде олицетворяет собой демонические силы.

[2] Известный современный итальянский поэт.

и менее явственно являлась мне река с поросшими травой берегами. Это были, очевидно, Елисейские поля, но я не мог туда проникнуть, к тому же мне подчас казалось, что автострада или железная дорога вторглась в эти идиллические места, бесповоротно их изуродовав.

Надо было как-то перебороть свою тоску, и я запил. Началось это примерно через месяц после того, как я прибыл в Нью-Йорк,— однажды утром, во время бритья, я выпил глоток-другой джина. Затем вернулся в постель, закрылся подушкой и пытался вызвать горную вершину, средневековую крепость или обрамленный зелеными лугами ручей; вместо всего этого мне явилась какая-то женщина с бледным лицом, в рубашке в голубую полоску. Те две-три минуты, что она стояла перед моими глазами, я испытывал к ней глубокую, искреннюю симпатию.

В то утро я провалялся до одиннадцати, а быть может, и дольше, после чего пошел в маленькое кафе за углом и заказал себе завтрак. Начинался обеденный перерыв, появилось много народу; от гвалта и разнообразных запахов меня чуть подташнивало. Я не мог есть, выпил чашку кофе и стакан апельсинового сока, вернулся к себе и выпил еще стаканчик неразведенного джина. Почувствовав некоторое облегчение, я выпил еще стаканчик и снова вышел в надежде, что у меня появится аппетит. Я пошел во французский ресторан, где ничто не грозило оскорбить разборчивый вкус пьяницы, и заказал порцию мартини, кусок пирога и омлет. На этот раз я благополучно справился с едой. Затем я вновь вернулся к себе и лег в постель, натянув одеяло на голову. Дневной свет мне был невыносим, и я жаждал темноты, словно в ней было спасение от всех моих бед, словно ночь была одной из ипостасей забвения. Я провалялся в постели несколько часов, так и не уснув. Когда я оделся и вышел на улицу, начинало уже темнеть. Я опять поплелся во французский ресторан, съел несколько улиток и филе, затем пошел в кино. Показывали шпионский фильм, и притом такой старомодный, что я совсем утратил мое и без того слабое представление о времени и окружающем меня мире. Не досидев до конца, я пошел домой и снова — в постель. Было, должно быть, часов десять вечера. Я принял две таблетки снотворного и проспал до двух часов следующего дня. Затем оделся, пошел в ресторан и заказал омлет. Вернулся, лег, встал в десять следующего утра. Чего мне хотелось, это заснуть и долго-долго-долго не просыпаться. Что ж? Моих запасов снотворного хватило бы на это. Побросав все таблетки в унитаз, я позвонил одному из моих немногочисленных друзей и попросил телефон врача, у которого он лечится. Затем позвонил этому врачу и попросил телефон какого-нибудь психиатра. Врач посоветовал мне человека по имени Дохени.

Дохени принял меня в тот же день. По столам его приемной было разбросано множество журналов, но пепельницы все пустовали, подушки на диванах не были примяты совсем, и у меня зародилось подозрение, что я его первый клиент за довольно продолжительный срок. Быть может, подумал я, это безработный психиатр, неудачник, который не мог снискать доверия пациентов и убивает время в своем одиноком кабинете, как какой-нибудь праздный юрист, парикмахер или владелец антикварной лавки? Вскоре Дохени вышел ко мне и провел меня в кабинет, уставленный всякими древностями. Украшение кабинета, должно быть, входит в образовательную программу для психиатров, подумал я. Интересно, кто собирает эти раритеты? Сами врачи? Или их жены? Или, быть может, они приглашают специалистов? Я уселся в кресле, и Дохени, подобно тому как зубной врач направляет на вас прикрепленную над бормашиной лампу, направил на мое лицо свои крупные карие глаза.

В течение пятидесяти минут я грелся в лучах его глаз, отвечая на его взгляд упорным взглядом, чтобы дать ему понять, что он имеет дело

с человеком серьезным и мужественным. Его узкое лицо двоилось у меня в глазах, как у пьяного, и я с увлечением следил за поединком, который происходил между этими его двумя лицами: то одно лицо поглощает собой другое, то второе выходит победителем. Дохени брал по доллару за минуту.

После четвертого или пятого сеанса он потребовал, чтобы я поупражнялся дома в тайном грехе своего отрочества и потом ему доложил, что я при этом испытывал. Я исполнил его просьбу и доложил, что испытывал стыд. Мое сообщение привело его в восторг. Таким образом, сказал он, нам удалось установить, что в основе моей тоски лежит чувство вины и что я подавил в себе гомосексуальные наклонности. Еще до этого я рассказывал ему, что мой папа позировал Фледспару, и Дохени объяснил, что образ обнаженного мужчины, поддерживающего на своих плечах отели, суды и здания опер, сделал меня робким и заставил вести противоестественный образ жизни. Я послал его к черту и сказал, что больше с ним не желаю иметь дела. Еще я назвал его шарлатаном и сказал, что донесу на него в Американское психиатрическое общество. Если он не шарлатан, сказал я, то отчего его стены не украшены, как у других врачей, всевозможными дипломами? Дохени очень рассердился, выдвинул ящик стола и вытащил из него целую пачку дипломов: диплом Йейльского университета, диплом Колумбийского университета, диплом Нейрологического института. Тогда я обратил внимание на то, что все эти дипломы написаны на имя некоего Говарда Потца, и спросил, уж не купил ли он их у букиниста? Он сказал, что переменил фамилию, прежде чем приступить к практике, по причинам, которые должны быть ясны всякому болвану. Я ушел.

После этих сеансов мне не стало лучше, напротив, я наблюдал некоторое ухудшение и начал всерьез подумывать, что, быть может, и в самом деле душу мою покалечили каменные кариатиды, украшавшие гостиницы и театры нашей планеты. Но даже если так, то что же мне было делать? Здание оперы в Мальцбурге и гостиница «Принц-Регент» разрушены, но я не в состоянии сбить своего отца с занятой им позиции на Бродвее. Да и во Франкфурте он до сих пор поддерживает отель «Мерседес». Я продолжал пить — я выпивал больше двух литров в день,— у меня невозможно тряслись руки. Когда я бывал в баре, я выжидал, чтобы бармен повернулся ко мне спиной, и только тогда отваживался поднести рюмку ко рту. Иной раз, к радости остальных клиентов, которым это казалось очень забавным, весь мой джин проливался на стойку. Однажды я поехал на уик-энд в Пенсильванию с компанией таких же горьких пьяниц, как я, и возвратился в город в воскресенье около одиннадцати вечера. Вокзал, к которому меня доставил поезд, в то время перестраивали, и он представлял собой сложное сплетение развалин, в котором мне виделась грозная проекция беспорядка, царящего в моей душе. Я вышел на улицу и стал искать ближайший бар. Те, что находились поблизости от вокзала, были слишком хорошо освещены для человека, у которого дрожат руки, и я двинулся в восточную часть города в надежде там найти заведение, в котором бы царил полумрак. В одном из переулков я обратил внимание на два освещенных окна. Стены комнаты были окрашены в желтый цвет. Занавесок на окнах не было. Я видел одни желтые стены. Поставив свой чемоданчик на тротуар, я стал глядеть на них во все глаза. Я был уверен, что тот, кто живет в этих стенах, кто бы он ни был, ведет жизнь, исполненную достоинства и смысла. По всей вероятности, это был какой-нибудь холостяк, как я, но только трезвый, мудрый и волевой. Его окна словно укоряли меня. Я хотел, чтобы жизнь моя была не просто благопристойной, но образцовой. Я хотел быть полезным членом общества, непьющим и гармоничным. Пусть я и не в силах побороть свои привычки, я могу хотя бы

переменить обстановку. Если бы мне найти такую вот комнату с желтыми стенами, подумал я, быть может, это меня излечило бы от моей тоски и пьянства.

На следующий день я уложил чемодан, сел в такси и поехал в гостиницу «Милтон», надеясь разыскать комнату, в которой мне предстояло начать новую, достойную жизнь. Меня поместили в номере на втором этаже, с окном, выходящим на вентиляционную шахту. Комната была не убрана. На бюро стояли пустая бутылка из-под виски и два бокала, причем все указывало на то, что из двух постелей в номере пользовались только одной. Я поднял телефонную трубку и пожаловался регистратору, на что тот сказал, что кроме этой комнаты в их распоряжении имеется лишь двойной номер на десятом этаже. Я переехал туда. Этот номер состоял из гостиной, спальни на двоих и богатой коллекции натюрмортов. Я заказал джин, вермут, ведерко со льдом и тут же нализался. Это было совсем не то, что я задумал, и наутро я переехал в гостиницу «Мэдисон».

Обстановка номера в «Мэдисоне» напоминала кабинет Дохени. Единственное, чего там не хватало, это цветной фотографии его троих детей. Письменный стол был, очевидно, переделан из старинных клавикордов. Обтянутый кожей с золотым тиснением кофейный столик хранил следы множества погашенных об него сигарет. Стены были увешаны зеркалами, так что мой образ преследовал меня повсюду. Я видел себя курящего, себя пьющего, себя одевающегося и раздевающегося; тотчас по пробуждении я встречал устремленный на себя взгляд собственных глаз. На следующий день я переехал в отель «Уолдорф», где мне досталась приятная комната с высоким потолком. За окном открывалась широкая панорама: в мое поле зрения попадал купол св. Варфоломея, здание корпорации «Сигрэм», дом, похожий на отрезанный кусок пирога (сколько их, таких домов в Нью-Йорке — с балконами и окнами, выходящими на фасад, и гладкой желтой кирпичной задней стеной, лишенной, если не считать водосточных труб, каких бы то ни было признаков жизни!); кроме того, как из любой точки в Нью-Йорке, если вы поднимете выше пятнадцатого этажа, глаз постоянно натыкался на кариатиды, наяды, невзрачные баки для воды и флорентийские арки. Мне вдруг представилось, как легко было бы избавиться от тоски, прыгнув из окна на улицу. Я тотчас съехал из «Уолдорфа», сел на самолет и отправился в Чикаго.

В Чикаго я взял комнату на шестнадцатом этаже в отеле «Палмер-Хаус». Мебель, казалось, принадлежала к какой-то определенной эпохе, но я никак не мог определить, к какой именно; я уже решил было, что имею дело с непритязательной импровизацией, как меня вдруг осенило: да ведь это точное повторение обстановки в гостинице «Уолдорф»! Я поднял жалюзи. Окно открывалось во двор, в котором, куда бы я ни кинул взгляд — вверх, вниз, направо, налево,— всюду я видел сотни сотен окон, как две капли воды схожих с моим. То обстоятельство, что мое окно не обладало индивидуальностью, казалось, грозило мне полным уничтожением моей собственной личности. Я почувствовал нечто вроде головокружения. На этот раз меня пугал не соблазн выброситься из окна, а мысль, что я могу внезапно вовсе исчезнуть, раствориться без остатка. Ведь если в моей комнате нет ничего, что бы ее отличало от сотен и сотен других комнат, то и во мне самом, быть может, нет ничего такого, что бы выделяло меня среди прочих людей. Я быстро опустил жалюзи и вышел из комнаты. В ожидании лифта какой-то человек кинул в меня один из тех томных, исполненных надежды взоров, каким смотрят педики, ищущие партнера, и я подумал, что, быть может, это однообразие окон гостиницы и заставило его искать самоутверждения в противоестественной любви. Я выпил подряд три мартини и пошел в

кино. В Чикаго я не выдержал больше двух дней, сел на поезд и поехал в Сан-Франциско. Как знать, подумал я, может, железнодорожное купе и окажется тем самым местом, где мне удастся начать новую жизнь. Мои надежды не оправдались. В Сан-Франциско я провел двое суток в отеле «Палас», еще двое в гостинице «Св. Франциск», затем полетел в Лос-Анджелес и взял номер в отеле «Балтимор» — трудно представить себе что-либо более далекое от комнаты моей мечты! Я перебрался в «Шато Мармонт». Оттуда — в «Беверли-Хиллз», а на следующий день сел на самолет, летящий в Лондон северным маршрутом. В гостинице «Коннот» не оказалось свободных номеров, и я поехал в «Дорчестер»; там я продержался два дня. Затем полетел в Рим и остановился в «Эдеме». Тоска преследовала меня по всему свету, и я продолжал пить. Однажды утром, лежа у себя в номере и закрыв лицо подушкой, я принялся по своему обыкновению вызывать образ горы Килиманджаро с ее допотопным поселением, Елисейские поля и средневековый город. И вдруг, вспомнив, что средневековый город моей мечты мог быть Орвието, взял у консьержа его «фиат» и пустился на север страны.

Я добрался до Умбрии уже за полдень и остановился в каком-то городке, обнесенном крепостною стеною, где поел макароны с сыром, запивая их вином. Это не был характерный уголок Италии, здесь сеяли пшеницу, было много зелени и лесов, и со свойственной туристам тупостью я замечал лишь, как похожи один на другой все уголки земного шара. Если судить по тому, что я вижу из окна машины, говорил я себе, я мог бы с таким же успехом проезжать по Нью-Хэмпширу или окраинам Гейдельберга. К чему же тогда вся моя затея? Было уже без малого семь вечера, когда я спустился по спиральному шоссе в широкую долину, окружающую Орвието. Я ошибся только в форме башен, в остальном этот город оказался именно таким, каким он мне рисовался в мечтах. Расположенные на вершине скалы, вдоль ее склонов и у ее подножия дома в нем представляли собой как бы ритмический повтор рельефа местности — да, да, именно такой город я и вызывал в воображении, когда пытался перебороть свою тоску! Орвието полностью слился с городом моей мечты. Я был не на шутку взволнован. Ведь речь шла о моей жизни, о моем душевном здоровье. Католический собор, высившийся над остальными строениями, внушал, как оно и следовало, трепет, восхищение и нечто похожее на ужас, словно какая-то часть моей памяти принадлежала еретику средневековья, которого вызывали в инквизицию. Я проехал нижний город, поднялся на скалу и подъехал к гостинице «Националь», где мне предоставили большую европейскую комнату «люкс» с массивной арматурой и хрустальной люстрой. Увы, это было совсем не то, чего я искал! Я пошел бродить по улочкам и перед самыми сумерками неподалеку от собора вдруг набрел на освещенные окна, за которыми виднелись желтые стены.

Задрав голову и глядя на эти окна, я, казалось, стоял на пороге новой жизни! Это не было тихой обителью, священным заповедником. Напротив. Дом был расположен в центре, кругом бушевала жизнь, и тем не менее это было то место, куда моя тоска не могла бы за мной последовать. Парадная дверь была открыта, и я поднялся вверх по лестнице. Комнаты с желтыми стенами находились на втором этаже. Как я себе и представлял, стены были свежевыкрашены, обстановки не было никакой. Все было готово к моему вселению. Какой-то человек возился с полкой для моих книг. Я с ним заговорил, спросил его, кому принадлежат эти комнаты. Он ответил, что это его собственная квартира. Я спросил, нельзя ли ее арендовать у него или купить, он улыбнулся и сказал, что нельзя. Тогда я сказал, что хочу здесь жить и готов заплатить любую цену, какую он назначит. Он продолжал улыбаться и говорить нет, нет. Затем я услышал, как несколько человек что-то волокут по кори-

дору. Я слышал напряженные голоса, сопение, стук чего-то тяжелого о стену. Рабочие втащили в комнату большую двуспальную кровать. Тут владелец квартиры объяснил мне, что это его супружеская постель, что он завтра венчается в соборе и въедет сюда со своей женой. Все еще чувствуя, что эти комнаты принадлежат по праву мне, я спросил жениха, не предпочел ли бы он жить в одной из новых квартир в нижней части города, прибавив, что согласен оплатить разницу в арендной плате и сделать ему богатый свадебный подарок. Он, разумеется, оставался непреклонным. Он уже столько раз представлял себе, как приведет невесту в эти желтые комнаты, что никакие деньги не были в состоянии вытеснить из его головы это видение. Мне оставалось только пожелать ему счастья и спуститься на улицу. Так, едва обретя свои желтые комнаты, я их потерял. На следующее утро я уехал из Орвието в Рим, а оттуда на другой день в Нью-Йорк.

Я переночевал в своих меблированных комнатах, выпил два литра виски и на следующий день поехал в Пенсильванию проведать Чарли Мастерсона с женой. С Чарли мы когда-то вместе учились. Среди гостей было много пьющих, и еще до обеда мы поглотили все запасы джина. Я сел в машину и поехал в маленький поселок Бленвиль, где закупил спиртного и двинулся обратно. В каком-то месте я не там повернул и очутился на глинистой грунтовой дороге, которая, казалось, никуда не вела. И вдруг, повернув голову влево, я в третий раз увидел мои желтые стены.

Чуть поодаль от дороги, на некотором возвышении стоял двухэтажный каменный дом. Я выключил мотор и фары, вылез из машины и перешел по деревянному мостику через ручей, отделяющий дорогу от газона. Правильнее его было бы назвать лужайкой — трава была не подстрижена. Я поднялся по ней и осторожно, как вор, подкрался к террасе дома. Это была старинная пенсильванская ферма с четырехугольным фасадом, без затей. Свет горел лишь в одном окне, окне комнаты с желтыми стенами. Цвет их был в точности таким же, как там, в Орвието. В желтой комнате сидела женщина и читала книгу. На ней было черное платье и туфли на высоком каблуке. На столе подле ее кресла стоял стакан с виски. Немного бледное лицо ее было красиво. Я бы дал ей лет двадцать с небольшим. Черное платье и высокие каблуки казались неуместными в деревне, и я подумал, что она, верно, только что прибыла из города или собирается уезжать,— впрочем, судя по размерам стакана, последнее было маловероятно. Меня, однако, интересовала не женщина, а комната — квадратная, светлая, с лимонно-желтыми стенами. Если бы мне удалось поселиться в такой комнате, я вновь обрел бы себя и зажил деятельной, достойной жизнью. Словно почувствовав на себе мой взгляд, женщина подняла голову. Я тотчас отпрянул от окна. Я ликовал. По дороге к машине я взглянул на почтовый ящик — там было написано: Эмисон. Когда я, наконец, нашел дорогу и приехал назад к Мастерсонам, я спросил жену Чарли, не знает ли она кого-нибудь по фамилии Эмисон.

— Ну конечно же знаю,— ответила она.— Дора Эмисон. Кажется, она сейчас в Рено.

— В ее доме горел свет,— сказал я.

— Скажите на милость, какими судьбами вы очутились возле ее дома?

— Я сбился с пути.

— Значит, она уже вернулась из Рено. Вы с ней знакомы? — спросила миссис Мастерсон.

— Нет,— ответил я.— Но хотел бы познакомиться.

— Ну что ж, коли она вернулась, я могу ее пригласить на коктейль.

На следующий день Дора Эмисон пришла в своем черном платье и туфельках на высоком каблуке. Она была несколько сдержанна, но мне показалась очаровательной — не из-за каких-нибудь ее физических или духовных качеств, а оттого, что она была обладательницей комнаты с желтыми стенами. Она осталась ужинать, и я расспросил ее о ее доме. Не хочет ли она его продать, спросил я ее. Мое предложение не вызвало у нее энтузиазма. Тогда я спросил, нельзя ли мне посмотреть ее дом. Она равнодушно согласилась. Она собирается уйти тотчас после ужина, сказала она, и я могу поехать с ней, если хочу.

Как только я ступил в желтую комнату, я почувствовал то самое душевное равновесие, о котором замечтался, когда впервые увидел желтые стены в домике подле пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. Так иной раз бывает, когда как-нибудь на склоне дня попадешь на конюшню, в столярную мастерскую или на провинциальную почту — вдруг на душе сделается легко и ты в ладу со всей вселенной. Во всех этих местах разлит приятный запах (я забыл включить сюда еще пекарни). Почти у всех конюхов, плотников, почтальонов и пекарей такие ясные, свободные от забот лица, что кажется, будто ничего дурного здесь никогда не происходило и не может произойти. Подобное чувство благости и прочности мироздания ни разу еще не охватывало меня в церкви.

Дора Эмисон налила мне стакан виски, и я снова спросил ее, не продаст ли она мне дом.

— Зачем мне продавать свой дом? — спросила она.— Я его люблю. Это мой единственный дом. Если вам хочется поселиться в наших краях, вы можете купить дом Баркэма — он продается, я знаю, и он гораздо лучше моего.

— Я хочу именно этот дом.

— Не знаю, отчего вы помешались на этом доме. Если бы мне предстояло выбирать, я бы выбрал дом Баркэма.

— Хотите, я куплю дом Баркэма и мы поменяемся? — предложил я.

— Но, поймите, я никуда не хочу переезжать,— сказала она и взглянула на часы.

— Можно мне остаться тут на ночь? — спросил я.

— Где?

— Здесь, в этой комнате.

— Но зачем вам здесь спать? Диван жесткий как камень.

— Просто хочется, и все.

— Ну что ж, спите. Но только — без дураков.

— Без дураков.

— Сейчас я вам постелю.

Она поднялась на второй этаж, принесла простыни и одеяла и постлала их на диване.

— А теперь я пойду спать,— сказала она, направляясь к лестнице.— Надеюсь, вы сами найдете где что. Если захотите еще выпить — лед в ведерке. В аптечке осталась бритва моего мужа. Покойной ночи.

Она улыбнулась — вежливо, не больше. И поднялась к себе.

Я не стал наливать себе виски, мне было и так хорошо. Усевшись подле окна, я жадно, всеми фибрами моей души, впитывал покой, который источали желтые стены. Я слышал, как журчит ручей, как щебечет какая-то ночная пичужка, как шелестят листья. Все эти звуки полуночного мира были мне милы. Ночь была моей возлюбленной. Все в ней мне было по сердцу, все любо. Звезды, деревья, трава, сорняки вызывали во мне такую же страсть и нежность, какую вызывают грудь любимой и огрызок яблока, оставленный ею в пепельнице. Я любил все и всех. Я снова начал жить и понял, как далеко уклонился от курса, предначертанного мне природой. Вот она, здесь — моя настоящая жизнь, прекрасная и осмысленная! Я вышел на террасу. Было облачно, но кое-

где между облаками проглядывали звезды. Ветер переменился, и в воздухе запахло дождем. Я спустился к мостику, разделся и окунулся в прохладную заводь. Вода была упругой и немного отдавала болотом; в отличие от стерильной атмосферы наших лазорево-изумрудных плавательных бассейнов от нее исходил терпкий земной запах — запах любви. Я вытерся собственной рубашкой и, не одеваясь, зашагал в дом, чувствуя себя царем вселенной. Я почистил зубы и выключил свет. Не успел я забраться в постель, как послышались первые капли дождя.

Последний год и даже больше звук дождя был для меня связан лишь с плащами, зонтами, калошами и мокрыми сиденьями в машине; сейчас же он возвещал довершение моего счастья, какой-то щедрый подарок сверх всего, что я уже получил. Дождь, казалось, усиливал охватившее меня ощущение легкости и чистоты, и, отгоняя сон, я прислушивался к нему с тем вниманием и любопытством, с каким мы слушаем музыку. Когда же я заснул, мне приснились подряд горная вершина, обнесенный стеной город и зеленые берега реки. Проснулся я на рассвете, хандры моей как не бывало! Я окунулся в ручей, оделся. Обнаружил на кухне кусок дыни, заварил кофе и поджарил немного бекона. Запах кофе и бекона казался запахом новой жизни, и я ел с аппетитом. Несколько позже, завернувшись в купальный халат, спустилась Дора Эмисон. Она поблагодарила меня за то, что я приготовил кофе. Когда она подносила чашку к губам, рука ее так дрожала, что кофе пролился. Она пошла в буфетную, принесла оттуда бутылку виски и добавила его в кофе. Она не сочла нужным оправдываться передо мной или что-либо мне объяснять. После глотка виски ее руке вернулась твердость. Я спросил, не позволит ли она мне подстричь газон.

— Откровенно говоря, это было бы неплохо,— сказала она.— Если вам больше нечего делать... Здесь чертовски трудно найти людей. Молодежь бежит отсюда, старики умирают. Косилка там, в сарае; бензин, кажется, есть.

Я нашел и косилку и бензин и принялся за работу. Газон был обширный, и я провозился до полудня, а может, и немного дольше. Она сидела на террасе, читала и что-то пила — то ли джин со льдом, то ли просто холодную воду. Я присоединился к ней и все пытался придумать, как бы мне сделаться для нее не просто полезным человеком, но необходимым. Конечно, можно бы поухаживать за ней, попытаться стать ее любовником, но тогда, в случае удачи, пришлось бы делить с нею желтую комнату, а это было для меня невозможно.

— Если хотите перекусить на дорогу,— сказала она,— возьмите сыра или ветчины в холодильнике. Я жду кое-кого с четырехчасовым поездом, но вы, наверное, захотите уехать раньше.

Меня объял ужас. Уехать? Вновь окунуться в мутные зеленые воды Леты, вернуться к своему проклятому малодушию, к постели, в которой я кутался с головой, пугаясь малейшего шороха, к джину, без анестезирующего действия которого я не мог проглотить кусок омлета? Интересно, какого пола этот «кое-кто», которого она ждет? Если женщина, то почему бы мне не остаться на правах посыльного или садовника, который питается на кухне и спит в желтой комнате?

— Вам больше ничего не надо? — спросил я.— Может быть, наколоть дров?

— Мне доставляют дрова из Бленвиля.

— Хотите, я наколю щепок для растопки?

— Да нет, пожалуй,— ответила она.

— Наружная дверь на кухне осела,— сказал я.— Я мог бы ее поправить.

Сделав вид, будто не слышит моих последних слов, она прошла в комнаты и вернулась с двумя бутербродами.

— Горчицы не нужно? — спросила она.

— Нет, спасибо.

Я принял из ее рук бутерброд, как священную просвирку, ибо это была последняя пища, какую мне предстояло проглотить с аппетитом, покуда я не вернусь вновь в эту желтую комнату,— а когда-то еще это будет! Я был в отчаянии.

— Вы ждете гостя или гостью? — спросил я.

— Право, мне кажется, что это не ваша забота,— ответила она.

— Простите.

— Спасибо, что постригли газон,— сказала она.— Вы сделали доброе дело, но поймите, что я не могу позволить незнакомому мужчине спать у себя на диване без некоторого ущерба для моей репутации, а репутация моя и без того не отличается неуязвимостью.

— Ухожу,— сказал я.

Осужденный на изгнание и не на шутку опасаясь своей склонности к саморазрушению, я вернулся в Нью-Йорк в свои комнаты. Как только я там очутился, начался привычный круг: джин, Килиманджаро, омлет, Орвието и Елисейские поля. На следующий день я встал поздно, за бритьем пригубил джина и вышел, чтобы где-нибудь выпить кофе. Почти у самого парадного я встретился лицом к лицу с Дорой Эмисон. Она была одета в черное — собственно, я никогда ни в чем другом ее не видел— и сказала, что приехала в город на два-три дня кое-что купить и сходить в театр. Я предложил позавтракать вместе, но она сказала, что занята. Как только мы расстались, я сел в машину и поехал в Бленвиль.

Дверь была заперта, но я разбил окно на кухне и проник в дом. Как я и ожидал, желтая комната, едва я в нее вступил, тотчас меня преобразила. Я опять сделался счастливым, уравновешенным и сильным. Я прихватил с собой томик Монтале и читал его до вечера с карандашом в руках. У времени сделалась легкая поступь, и я утратил свое обычное отношение к стрелкам часов как к чему-то враждебному и деспотическому. В шесть я искупался в своей заводи, выпил стакан виски и приготовил себе обед. У Доры Эмисон оказались солидные запасы, и я записал все, что у нее взял, с тем, чтобы впоследствии возместить. После обеда я продолжал свои занятия, невзирая на риск привлечь чье-нибудь внимание светом в окне. В десять я разделся и, завернувшись в плед, лег на диван. Несколькими минутами позже я увидел фары машины, подъезжавшей к дому.

Я встал, прошел на кухню и прикрыл за собою дверь. Я был, разумеется, раздет. Если это она, рассчитал я, я успею выскочить через заднюю дверь. А если просто кто-нибудь из ее друзей или соседей, они уедут. Вскоре раздался чей-то стук в парадную дверь. Затем какой-то мужчина открыл ее (я не успел ее запереть на ключ) и ласково позвал: «Дори, Дори, ты спишь? Проснись, малютка, это твой Тони, твой старый дружок». Затем он стал подниматься по лестнице, повторяя на каждой ступеньке: «Дори, Дори, Дори». Когда же он вошел в спальню и обнаружил, что там никого нет, сказал: «Ну, и черт с тобой!» — спустился с лестницы и, хлопнув дверью, ушел. Я стоял на кухне нагишом и дрожал, прислушиваясь к звукам удаляющейся машины.

Я снова лег, а примерно через полчаса к дому подъехала еще одна машина. Я опять спрятался на кухне. Человек по имени Митч повторил всю процедуру своего предшественника. Он поднялся по лестнице, громко взывая к Доре, и затем, чертыхнувшись, убрался. От всего этого мне стало не по себе, и наутро я убрал комнату и кухню, вытряхнул пепельницы и поехал в Нью-Йорк.

Дора говорила, что пробудет в городе два-три дня. Когда говорят «два-три дня», это обычно значит четыре. Итак, в запасе оставалось два дня. Когда по моим расчетам она должна была вернуться, я купил ящик

самого дорогого виски и под вечер отправился в Бленвиль. Уже смеркалось, когда я свернул с шоссе на грунтовую дорогу. В доме горел свет. Я сперва заглянул внутрь: она сидела одна с книгой в руках, как тогда, в первый раз. Я постучался, она открыла дверь и посмотрела на меня с досадой и удивлением.

— Ну? — произнесла она.— Что же вам нужно теперь?

— Я привез вам подарок,— сказал я.— Я хотел поблагодарить вас за то, что вы любезно позволили мне провести ночь в вашем доме.

— За такую услугу нет нужды делать подарки,— сказала она.— Впрочем, я, признаться, питаю слабость к хорошему виски. Заходите, пожалуйста.

Я внес ящик в переднюю, вскрыл его и вытащил одну бутылку.

— Может, попробуем сейчас? — спросил я.

— Видите ли, я собираюсь уходить,— сказала она.— Разве что глоток. Вы очень щедры. Заходите же, я сейчас принесу лед.

Дора Эмисон, по-видимому, принадлежала к категории профессиональных пьяниц, и все ее движения были размерены и точны, как у дантиста, когда он привычным жестом отбирает инструменты перед тем, как удалить зуб. Она аккуратно расставила подле кресла на столике стаканы, ведерко со льдом, кувшин с холодной водой, пачку сигарет, пепельницу и зажигалку. Убедившись, что все это у нее под рукой, она вновь уселась в кресло. Я налил стаканы.

— Поехали,— произнесла она.

— Ваше здоровье,— сказал я.

— Вы прямо сюда из Нью-Йорка на машине? — спросила она.

— Да.

— Как сейчас дорога? — спросила она.

— На заставе туман,— сказал я.— Довольно сильный туман.

— Черт побери,— сказала она.— Мне нужно в гости в Хэйвенсвуд, а я терпеть не могу, когда на заставе туман. Ужасно не хочется ехать, но нужно, потому что Хелмзли устраивают вечер в честь одной девушки, с которой я училась в школе, и я обещала быть.

— Где вы учились? — спросил я.

— Вас это в самом деле интересует?

— Да.

— Ну, так я три года училась в Нью-Йорке: два — в Брерли, год — в женском колледже Финча. Затем два года ходила в частную школу в Долине фонтанов, год — в Кливленде, два года провела в женевской международной школе и еще год у Париоли в Риме. Потом, когда мы вернулись в Соединенные Штаты, я поступила на год в колледж Патни, а потом последние три года проучилась у Мастерса и получила аттестат.

— Ваши родители много разъезжали по свету?

— Да. Папа был дипломатом. А вы что делаете?

— Перевожу Монтале.

— Вы профессиональный переводчик?

— Нет.

— Для развлечения, стало быть?

— Надо же чем-то заниматься.

— У вас, должно быть, много денег.

— Да есть.

— Вот и у меня, слава богу,— сказала она.— Мне бы очень не хотелось очутиться без денег.

— Расскажите мне о вашем браке,— спросил я. Иные решат, наверное, что я задал бестактный вопрос. На это я могу только сказать, что мне еще ни разу не довелось встретить разведенного супруга или супругу, которые бы не ухватились за возможность поговорить о своем неудачном браке.

— Это дурацкая история,— сказала она,— и длилась она восемь лет. Он пил, обвинял меня в том, что у меня романы на стороне, писал анонимные письма моим знакомым, называя меня чуть ли не потаскухой. Я от него откупилась, ничего иного нельзя было придумать, бросила ему уйму денег и отправилась в Рено. Месяц назад я вернулась. Пожалуй, я выпью еще глоток,— сказала она в заключение,— только сперва схожу в сортир.

Я наполнил ее стакан. Мы уже почти прикончили первую бутылку. Когда она вернулась из уборной, она нисколько не шаталась, напротив, походка ее сделалась изящнее и увереннее. Я встал и обнял ее, но она меня отпихнула — безгневно, впрочем,— и сказала:

— Не надо, пожалуйста, не надо. Я сегодня не в настроении. У меня было жуткое состояние весь день, ваше виски мне немного помогло, но все равно я не в настроении. Расскажите лучше о себе.

— Я незаконнорожденный,— сказал я.

— Правда? Я никогда не встречала незаконнорожденных. Как такой человек себя чувствует, интересно?

— Да большей частью прескверно. То есть я хочу сказать, что предпочел бы иметь парочку родителей.

— Но иной раз, знаете, нарвешься на совсем невозможных родителей. Впрочем, верно, лучше иметь совсем невозможных родителей, чем не иметь никаких. Мои так совсем невозможны.

Она уронила горящий окурок себе на колени, но успела его вовремя подхватить.

— Они еще живы?

— Да. Они живут в Вашингтоне — древние-предревние.

Она вздохнула и поднялась.

— Ну что ж, мне, пожалуй, пора,— сказала она.— Ехать так ехать.

Она с трудом держалась на ногах. Плеснув себе в стакан еще виски, она выпила его залпом, не добавляя ни воды, ни льда.

— Может, вам лучше не ехать? — сказал я.— Позвоните вашим друзьям и скажите, что туман на заставе, или что у вас насморк, или еще что-нибудь.

— Вы не понимаете,— сказала она хриплым голосом.— Это из тех вечеров, на какие нельзя не поехать, вроде дней рождения или свадеб.

— Мне кажется, вам лучше не ехать.

— Это еще почему?

В голосе ее появились воинственные нотки.

— Просто так. Мне кажется, что не стоит, и все.

— Вы думаете, я пьяна? — спросила она.

— Нет.

— А вот думаете, я знаю! Ты думаешь, что я пьяна, сукин ты сын, ублюдок, вот ты кто! Что ты тут делаешь, зачем сюда заладил? Я вас не знаю. Я вас сюда не приглашала, и вы меня не знаете. Вы ничего обо мне не знаете, кроме того, где я училась. Вы даже не знаете моей девичьей фамилии. Ведь не знаете?

— Не знаю.

— Ничего-то вы обо мне не знаете, вы даже не знаете моей девичьей фамилии, и у вас хватает еще нахальства говорить мне, будто я пьяна! Это верно, что я выпила довольно много. Я, если хотите знать, не могу в трезвом виде ехать мимо этой проклятой заставы. Эта дорога и все остальные дороги и шоссе проложены для болванов и пьяниц. Если вы не бесчувственный болван, вам приходится напиваться. Ни один человек, будь то мужчина или женщина, если у него есть нервы и немного ума, не может водить машину по этим дорогам. Если хотите знать, у меня есть знакомый в Калифорнии, он прекрасно, изумительно водит машину, но прежде чем отправляться по автостраде, он непременно выкуривает

сигарету марихуаны, когда же дороги особенно забиты, он принимает героин. Следовало бы продавать марихуану и виски на заправочных станциях. Тогда было бы меньше несчастных случаев.

— Ну что ж, давайте в таком случае выпьем еще по стаканчику.

— Убирайтесь вон,— сказала она.

— Есть.

Я вышел из желтой комнаты на террасу и наблюдал за ней в окно. Ее мотало из стороны в сторону. Она впихнула что-то себе в сумку, повязала волосы платком, потушила свет и заперла за собой дверь. Я следовал за ней на некотором расстоянии. Когда она добралась до машины, она выронила ключи в траву. Затем зажгла фары, и я видел, как она шарит рукой по траве. Наконец она их схватила, села в машину, помчалась к воротам и врезалась правой фарой в почтовый ящик. Я услышал ее возглас — она чертыхнулась — и потом звон стекла. Отчего это звук разбитого стекла кажется таким грозным, так походит на трубный глас, призывающий к Страшному суду? Я почувствовал облегчение, решив, что она не поедет в Хэйвенсвуд. Я ошибся. Она дала задний ход, распуталась с почтовым ящиком и помчалась дальше. Ночь я провел в бленвильском мотеле, а утром позвонил на заставу, в полицию. Она промчалась всего пятнадцать минут, сказали мне, не больше.



## XV

Я поручил своему поверенному купить дом. Мне удалось приобрести его вместе с участком в три гектара за тридцать пять тысяч долларов. Мать миссис Эмисон приехала из Вашингтона, взяла ее вещи, и через три недели я въехал в свой дом и начал новую, упорядоченную жизнь. Я рано вставал, окунался в ручей, основательно завтракал и садился за свой рабочий стол в желтой комнате. Работал я с воодушевлением. Примерно в час дня съедал тарелку супа, до наступления сумерек рубил дрова для камина. В пять я снова купался в ручье, затем выпивал свой первый стаканчик виски — моя ежедневная норма была три, и я ее никогда не переступал. После ужина часов до десяти я занимался немецким и сильный, чистый и усталый ложился в постель. Если мне и снились сны, то удивительно невинные и целомудренные. Мне уже не приходилось прибегать ни к горной вершине, ни к лугам, ни к укрепленному городу.

Я завел себе кота по имени Шварц, не оттого, что любил кошек, а просто чтобы избавиться от мышей. Я взял Шварца у бленвильского аптекаря и ничего не знал о его прошлом. Это был, по-видимому, пожилой кот, несколько чудак, если можно так выразиться о животном. Дважды в день я кормил его кошачьими консервами. Существовала определенная марка кошачьих консервов, к которой Шварц относился неодобрительно, и, если я об этом забывал, он гадил посреди моей желтой комнаты. В этом он был бескомпромиссен, зато, когда я давал ему его любимые консервы, он вел себя безукоризненно. У нас выработались деловые отношения, без ложной сентиментальности. Я не имею обыкновения сажать к себе на колени кошек. Но время от времени я брал его на колени и прилежно поглаживал в знак того, что знаю правила игры. С наступлением утренних заморозков полевые мыши стали нас одолевать, и Шварц приносил мне каждый день по трофею. Я гордился Шварцем. И вдруг он исчез. Это было в самый разгар его охотничьих подвигов. Накануне вечером я его выпустил, как всегда, а наутро он не явился. Я не специалист по кошкам, но слышал, будто они привязываются к месту, и решил, что моего приятеля, должно быть, загрызла лиса или собака. Но в одно прекрасное утро, примерно через неделю (в ту ночь как раз вы-

пал легкий снег), Шварц вернулся. Я поставил перед ним миску с его любимыми консервами и погладил по спине, выполняя свою часть обязательств. От Шварца несло крепкими французскими духами. То ли он сидел на коленях у кого-то, кто имел обыкновение душиться остро пахнущими, пряными духами, то ли его кто-то опрыскал ими. Моими ближайшими соседями были польский фермер с женой, от которой, как мне довелось однажды удостовериться, исходил могучий запах конюшни. Следующий дом был заколочен на зиму, и во всем Бленвиле, насколько мне было известно, не было никого, кто бы стал душиться французскими духами. Шварц побыл дома дней восемь или десять, а потом опять пропадал целую неделю. Когда он вернулся, он благоухал, как первый этаж универсального магазина в предрождественские дни. Я зарылся носом в его шубу и вдруг почувствовал тоску по городу и его женщинам. В тот же день я сел в машину и изъездил все окрестные дороги под Бленвилем в надежде увидеть дом, который показался бы мне подходящим жилищем для моей чаровницы. В том, что она очаровательна, я не сомневался ни минуты, равно как и в том, что она обливает моего кота духами нарочно, чтобы меня завлечь. Но обитатели домов, мимо которых я проезжал, были либо фермерами, либо моими знакомыми. Я остановил машину у аптеки.

— Помните Шварца? — начал я.— Кота, которого вы мне дали, когда я вам пожаловался на мышей? Так вот, он каждую неделю уходит куда-то, а когда возвращается, от него несет, как от борделя в воскресное утро.

— Здесь поблизости нет никаких борделей,— сказал аптекарь.

— Я знаю,— сказал я.— Но откуда у него духи?

— Да мало ли куда кошка забредет,— сказал аптекарь.

— Это верно,— согласился я.— Кстати, вы не торгуете французскими духами? Понимаете, если бы мне удалось узнать, кто их у вас покупает...

— Не помню, чтобы мне пришлось продать хоть один флакон с прошлого рождества, когда сын мистера Эвери купил флакончик, чтобы подарить своей пассии...

— Спасибо,— сказал я.

В тот же день после обеда Шварц повел меня к двери и дал понять, что ему надо выйти. Я надел пальто и проследовал за ним. Он стремглав пробежал сад и свернул направо, в рощу. Я был взволнован, как любовник, идущий на свидание. Запах леса, усиленный сыростью, поднимающейся от ручья, звезды над головой, особенно Венера,— все это, казалось, было аксессуарами к моему роману. Я решил, что у моей суженой иссиня-черные волосы, мраморной белизны лицо и на левом виске бьется тоненькая голубая жилка. Возраст я ей положил — тридцать. (Мне в ту пору было двадцать три.) Время от времени Шварц мяукал, так что следовать за ним не составляло особенного труда. Я бодро прошел рощицу, затем луга — это уже были владения Маршмена, и его же лес. Здесь уже несколько лет как не наводили порядка, и ветви то и дело ударяли меня по ногам и по лицу. И вдруг я потерял Шварца. Я звал его на все голоса. «Шварц, Шварц, иди сюда, Шварц»,— кричал я. Интересно, если бы кто-нибудь услышал мой голос в лесу, понял ли бы он, что это любовный призыв? Я брел по лесу, взывая к Шварцу, пока какая-то ветка не ударила меня по глазам, так что я даже ослеп на мгновение. Тут уж я сдался и, обескураженный, одинокий, поплелся домой.

Шварц вернулся к концу недели, я тотчас его схватил и принялся обнюхивать. Я уверился, что *она* по-прежнему расставляет мне свои сети. На этот раз Шварц гостил у меня десять дней. В ночь, когда он ушел, выпал снег, и наутро мне удалось обнаружить его следы. Я прошел лес Маршмена и набрел на серый деревянный домик на опушке. Это было

чисто утилитарное строение, без всякого притязания на изящество — казалось, его сколачивал плотник-любитель, посвящая этой работе все свои уик-энды и долгие летние вечера. Я уже всерьез начал сомневаться, чтобы моя черноволосая красавица могла обитать в этакой берлоге. Но следы Шварца заставили меня обойти дом и подвели к задней его двери. Я постучался.

Дверь открыл старик. Он был небольшого роста, во всяком случае меньше меня, его редкие седые волосы были тщательно расчесаны и напомажены, а в правом ухе виднелась беленькая пуговка, от которой шел шнур. Глядя на его морщинистое, обескровленное лицо, я бы ему дал лет семьдесят. Впрочем, контраст между врожденным щегольством и неодолимыми законами времени придавал некоторую живость всему его облику. Пусть он стар, но на руке у него сверкает брильянтовый перстень, туфли начищены до блеска, волосы напомажены. Он смахивал на расфранченного директора какого-нибудь захолустного кинотеатра.

— Доброе утро,— сказал я.— Я ищу своего кота.

— Ах, вот оно что,— сказал старик.— Стало быть, вы и есть хозяин моего милого Генри. А я-то гадаю — где же обретается Генри, когда он не со мной? Генри, Генри, твой второй хозяин пришел нас проведать.

Шварц спал, свернувшись, на кресле. Комната представляла собой нечто среднее между кухней и химической лабораторией. Помимо кухонной утвари в ней помещалась длинная лавка, уставленная всевозможными ретортами и пробирками. В комнате стоял густой запах духов.

— Я не знаю, как у кошек обстоит дело с обонянием, но Генри очень любит духи. Правда, Генри? Позвольте представиться. Гилберт Хэнсен, бывший заведующий лабораторией фирмы «Борегард и Компания».

— Хэммер,— представился я.— Поль Хэммер.

— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо,— сказал я.— Вы производите духи?

— Я экспериментирую с духами,— поправил меня мистер Хэнсен.— Я уже не занимаюсь производственной стороной дела, но, если мне удастся набрести на что-нибудь интересное, я, разумеется, продам патент. Но только не «Борегарду и Компании». После того как я проработал у них сорок два года, они вдруг меня уволили без всякой причины и даже не предупредили заранее. Впрочем, нынче у промышленников, видно, повелась такая мода. А я себе живу на старые патенты. Это ведь я изобрел «Этуаль де Неж», «Шу-шу», «Мюгэ де Ньюи» и «Несанс де Жур».

— Вот как,— сказал я.— Но что это вы забрались в такую глушь, прямо посреди леса — или это необходимо для ваших экспериментов?

— Ну не такая уж это глушь, как вы думаете. Здесь очень даже удобно. У меня свой огородик. Я развожу собственный чабрец, лаванду, ирис, розы, мяту, гаултерию, сельдерей и петрушку. Лимоны и апельсины я покупаю в Бленвиле, а Чарли Хаббер — он живет на перекрестке — ловит для меня бобров и ондатру. Бобровая струя не уступает вытяжке из куницы, а мне бобры обходятся в какую-нибудь десятую долю их рыночной цены. Камедь, метил салицилат и дигидрат бензола я покупаю в аптеке. В цветочных духах я не специалист, так как их возбуждающее воздействие весьма ограничено. Основные ингредиенты «Шу-шу» — кедровая кора, а «Несанс де Жур» — петрушка и сельдерей.

— Вы изучали химию?

— Нет. Я приобрел эту специальность, работая помощником у аптекаря. В нашем деле, мне кажется, требуется знакомство не столько с химией, сколько с алхимией. Вы скажете, что алхимики занимаются превращением неблагородных металлов в благородные, но когда с помощью экстракта бобровой струи, кедровой коры, сельдерея и камеди мы вызываем бессмертное томление у мужчины, разве мы не приближаемся к алхимии?

— Да, да, я вас понимаю.

— Концепция человека, как микрокосма, вмещающего в себя все составные части вселенной, восходит еще к древнему Вавилону. Элементы неизменны. Путем перегонки их и превращений мы высвобождаем их природную силу. Это свойство, я думаю, играет роль не в одной только парфюмерии, но и в развитии человеческого характера.

В соседней комнате послышались женские шаги на высоких каблуках — легкие, быстрые, молодые шаги. На кухню вошла Мариетта.

— Это моя внучка,— сказал старик.— Мариетта Драм.

Я представился:

— Поль Хэммер.

— Привет,— сказала она и зажгла сигарету.— Восьмая,— бросила она деду.

— А вчера сколько? — спросил он.

— Шестнадцать,— сказала она.— Зато позавчера всего двенадцать.

На ее суконном платьице, на правом плече, покоилась белая нитка. Волосы у нее были темно-русые. Назвать ее красавицей было бы преждевременно. Какая-то тень — то ли уныния, то ли одиночества,— казалось, окутывала ее красоту. Я не берусь утверждать, что на ее правом плече, в чем бы она ни была одета — даже если бы я, к примеру, купил ей норковую шубу,— непременно должна была бы лежать белая нитка, и, однако, нитка эта безусловно обладала таинственной силой. Это был род катализатора, ускорившего мою реакцию, мне же она представлялась волшебным амулетом. Впрочем, даже когда Мариетта сняла нитку с плеча и бросила ее на пол, магическое действие ее не прекратилось.

— Куда это ты собралась? — спросил мистер Хэнсен.

— Да я думала съездить в Нью-Йорк.

— В Нью-Йорк? Что тебе делать в Нью-Йорке?

— Я найду себе дело,— сказала она.— Схожу в Этнографический музей, например.

— Но ведь ты же собиралась закупить еду?

— Я куплю все. Ведь я вернусь еще до закрытия магазинов.

И исчезла.

— Ну, что ж, Шварц, до свиданья,— сказал я.— Заглядывай. Мышей у меня хватает. Рад был с вами познакомиться,— сказал я старику.— Приходите как-нибудь ко мне с внучкой, выпьем по коктейлю. Я живу в доме миссис Эмисон.

Я ринулся домой, сперва шагом, потом бегом, через заснеженный лес, переоделся и помчался в Нью-Йорк. Я был влюблен. Все симптомы были налицо: и жизнь прекрасна, и ноги подгибаются. Горячительные пары «Этуаль де Неж», «Шу-шу», «Мюгэ де Ньюи» и «Несанс де Жур» здесь, разумеется, ни при чем. Кое-кому, наверное, моя внезапная влюбленность покажется ребячеством, не достойным взрослого мужчины, но дело в том, что со мной так часто бывает: ни с того ни с сего вдруг влюбляюсь в кого-нибудь — в мужчину, женщину, ребенка или даже собаку. У меня было много таких привязанностей, внезапных и страстных.

Так, например, в пору моей издательской деятельности у меня должна была быть встреча с директором одной типографии в Нью-Йорке. Я позвонил из холла гостиницы, и он попросил меня подняться к нему в номер. Здороваясь с ним, я увидел из-за его плеча его жену. Она не была красавицей, но в ней было что-то прелестное, лучистое, притягательное. Пока ее муж надевал пальто и шляпу, я перекинулся с ней несколькими словами, и за это короткое время успел влюбиться. Я пытался уговорить ее пойти завтракать вместе с нами, но она сказала, что ей нужно наведаться в мебельный отдел Блумингдейла. Мы простились. Деловой разговор наводил на меня тоску, и я с трудом мог сосредоточить внима-

ние на договорах, ради которых мы, собственно, и встретились. Мои мысли постоянно кружились вокруг светлых волос жены моего собеседника, ее аккуратной фигурки и неизъяснимого сияния, которое от нее исходило. Я не стал мешкать за столом и, сославшись на неотложные дела, понесся к Блумингдейлу. Она стояла, склонившись над комодом, пытаясь разобрать надпись на ярлычке.

— Хэллоу,— сказал я.

— Хэллоу,— ответила она.— Я так и думала, что вы придете...

Она взяла меня под руку, и мы зашагали по улицам, не чуя под собой земли; затем забрели в ресторан; она пила чай, я — виски. Наши души, казалось, слились в одну — от моей возлюбленной исходили токи света и тепла, которых мне так недоставало. О чем мы с ней говорили, толком я не запомнил, помню лишь одно — что мы были очень счастливы и что все вокруг нас — и официанты и бармены,— казалось, разделяли наше счастье. Она жила с мужем в Коннектикуте и пригласила меня к ним на уик-энд. Я проводил ее до гостиницы пешком, поцеловал на прощание в холле и потом целый час бродил по улицам — я был в экстазе до звона в ушах. В ближайшую пятницу я поехал в Коннектикут, где она ждала меня на станции. В машине мы всю дорогу целовались. Я сказал, что люблю ее. Она сказала, что любит меня. В тот же вечер, когда ее муж поднялся наверх, в уборную, мы принялись с ней серьезно обсуждать, как быть с детьми — у них их было трое, и она сказала, что муж ее вот уже восьмой год, как лечится у психоаналитика. Всякая радикальная перемена в его жизни в настоящее время грозила бы ему катастрофой. Должно быть, нам не удалось скрыть радость, которую мы черпали друг в друге, так как всю субботу ее муж ходил насупившись. В воскресенье он уже даже не пытался подавить свою неприязнь ко мне. Чего он не выносит, сказал он, это когда люди с неустроенной личной жизнью разрушают чужое счастье. Он по крайней мере пять раз употребил в разговоре слово «паразитировать». Я объявил, что на следующее утро поеду в Кливленд, она сказала, что подвезет меня к аэропорту. Он сказал, что не допустит этого. Они поссорились, и она заплакала. Когда я встал на следующее утро, они оба еще спали. Я простился с кошкой и уехал.

Примерно с месяц она не выходила у меня из головы. Между тем дела заставили меня лететь в Лондон. Рядом со мной сидел человек с открытым, приветливым лицом, и мы разговорились. Ничего особенного мы друг другу не сказали. Но было в нем что-то такое располагающее, что мы, летя над океаном, так и не сомкнули глаз и всю дорогу проговорили. Из аэропорта мы вместе ехали в такси. У меня был номер в гостинице «Конноут», а он останавливался в военно-морском клубе. Когда мы прощались, он предложил встретиться днем и вместе позавтракать, если я не занят. Я был свободен, и он пришел ко мне в «Конноут». После ленча мы вышли погулять и прошли весь Лондон пешком — ходили к Вестминстеру и вдоль Темзы по набережной, а когда после обеденного перерыва открылись бары, зашли в пивную. Он сказал, что знает хороший ресторан подле Гросвенор-сквер, и мы там вместе пообедали. Разошлись мы около полуночи и на прощанье обменялись визитными карточками, уговорившись, что будем друг другу звонить, как только попадем в Нью-Йорк. Ни он мне, ни я ему, однако, не позвонили, и так с тех пор мы больше не встречались.

В симпатии, которую мы оба испытывали друг к другу, не было, насколько я мог судить, ничего противоестественного. Впрочем, раз на раз не приходится. Так, например, в тот же год, к концу зимы я поехал на юг в Уэнтуэрт играть в гольф. Я приехал вечером, и какой-то симпатичный человек, находившийся в баре, предложил быть моим партнером, поскольку как игроки мы, по всей видимости, принадлежали с ним к од-

ному разряду. Утром, когда мы дошли до третьей или четвертой лунки, я обратил внимание на то, что он как-то преувеличенно расхваливает мою игру. Между тем я знал, что такая похвала была совершенно незаслуженна, и мне показалось, что в его лести — а это была чистая лесть — содержится намек на более теплое чувство, нежели простая доброжелательность. Я заметил, что он нарочно мне проигрывает, что на самом деле он более сильный игрок, чем я, и специально рассчитывает свои удары, чтобы я мог его обогнать. Мы сыграли девятнадцать лунок, и его обращение становилось — так мне во всяком случае казалось — все более покровительственным и нежным. В душевой я старался держаться от него подальше, а когда мы подошли к стойке бара, у меня уже не оставалось сомнений. Он все время норовил ко мне прикоснуться. Я не чувствовал к нему отвращения, но мне не хотелось заводить случайную связь с незнакомым человеком, и на следующее же утро я покинул Уэнтуэрт.

Что касается детей, приведу всего один пример. Я проводил уик-энд у Мэгги Фаулер в Хэмптоне. С ней был ее сын от первого брака — мальчик лет восьми-девяти. Потому ли, что он привык быть либо с отцом, либо в школе-интернате, но он несколько чуждался Мэгги. Как это часто бывает у детей, он умудрялся жить в каком-то своем, обособленном мирке. Быть может, в его случае это объяснялось тем, что его родители были в разводе и семья распалась. Впрочем, мне доводилось наблюдать это явление у детей в самых различных обстоятельствах. В субботу утром я встал рано, он тоже уже был на ногах, и мы пошли вместе на пляж. Он вложил свою руку в мою — довольно редкий жест для мальчика его возраста, и я подумал, что он, вероятно, чувствует себя одиноким. Да, но если я объяснял его поведение этим, то и сам я, должно быть, страдал от одиночества, ибо мне было очень приятно его общество. Быть может, этот мальчик напомнил мне мое собственное детство. Впрочем, всякое чувство хотя бы частично обязано памяти. И то, что я испытывал по отношению к сыну Мэгги Фаулер, казалось отзвуком какого-то другого, давнего, глубокого чувства. Вскласть накупавшись, мы позавтракали вдвоем, а затем он застенчиво предложил мне поиграть с ним в мяч. Мы провели около часа на газоне, за домом, перебрасываясь мячом. Затем все спустились из своих спален, принялись пить томатный сок с водкой и предались обычным развлечениям, в которых мальчик его возраста не мог принять участия. Вечером, перед тем как мы все собрались ехать в ресторан, Мэгги постучала ко мне в дверь и сказала, что ее сын хочет сказать мне «покойной ночи». Я вошел к нему в спаленку и простился с ним. В воскресенье, когда я проснулся, он сидел на стуле против моей двери и ждал меня. Мы снова пошли с ним на пляж. Остальную часть дня я его видел мало, но все время ощущал его присутствие, его шаги, его голосок. После полудня я уехал и больше никогда его не видел и ничего не слышал о нем, но чувство, которое я к нему испытывал те несколько часов, что мы провели вместе, следует по всей справедливости назвать любовью.

Что касается собак, ограничусь также одним примером. Как-то весной я проводил уик-энд в Коннектикуте у Пауэрсов. В субботу после ленча мы решили подняться на небольшой холмик, они его называли пышно горой. У Пауэрсов была сучка-колли по имени Фрэнси, и она увязалась с нами. На самой верхушке холма была довольно крутая скала, которая оказалась Фрэнси не под силу. Я взял ее на руки и поднялся вместе с ней. Во время крутого спуска я снова ее взял на руки, и всю дорогу под гору она шла рядом со мной. Когда мы пили коктейли, она сидела у моих ног, и я время от времени ерошил ей шерсть на шее. Помнится, я в ее обществе нуждался не меньше, чем она в моем. Когда я поднялся к себе, чтобы переодеться к обеду, Фрэнси следовала за мной и,

войдя в комнату, растянулась на полу и так и лежала, пока я не спустился вниз. Спать я пошел около полуночи и только стал закрывать дверь своей спальни, как в коридоре появилась Фрэнси и проскользнула ко мне в комнату. Спала она на моей постели, в ногах. Все воскресенье мы с Фрэнси были неразлучны. Она следовала за мной, куда бы я ни шел, а я с ней разговаривал, кормил ее крекерами и лохматил ей шею. Когда мне пришло время уезжать, покуда я со всеми прощался, Фрэнси юркнула ко мне в машину. Я был, разумеется, польщен, а это уже говорило о чувстве. Я и в самом деле всю дорогу домой с нежностью думал об этой старой немытой псине, словно я только что расстался с любимой.



До Нью-Йорка я добрался за полчаса, еще двадцать минут мне пришлось провести в поисках стоянки поближе к музею. Я отдавал себе отчет в том, что разыскать Мариетту — задача почти непосильная: ведь музей представляет собой настоящий лабиринт, с темными запутанными переходами, пещерами и закоулками. Но уже одно то, что мне приходится разыскивать ее в лабиринте, придавало особую значительность моему приключению. В подвальную дверь музея я вошел с легким сердцем. Я хаживал сюда раза два или три в год вот уже много лет, и хоть здесь бывали перемещения и перемены, их было меньше, много меньше, чем в мире, который окружает музей. За пятнадцать лет аляскинская пирога продвинулась, верно, ярдов на двадцать пять. Расставшись с галереей тотемных изображений, она переехала в вестибюль. Эскимоски в своих стеклянных футлярах трудились так же смиренно и прилежно, как и тогда, когда я ходил сюда ребенком, держась за руку Гретхен Оксенкрофт. Я решил начать с верхнего этажа и постепенно продвигаться вниз. Поднявшись на лифте, я начал свои поиски с зала, в котором были выставлены драгоценные камни и стеклянные конструкции, изображающие строение молекулы. Скудное освещение представляло большую помеху; если бы залы были хорошо освещены, я мог бы с порога заметить, там ли Мариетта или нет. Но мне приходилось идти от экспоната к экспонату, вглядываясь в лица в полутьме. Плейстоценовый зал с его гигантской конструкцией из доисторических костей мне удалось окинуть одним взглядом. Комната, в которой выставлены чучела мокасиновых змей, тоже была хорошо освещена. Пройдя мимо синего кита и трубкозуба, я очутился в полутемной галерее, в которой мерцали стеклянные шкафы с увеличенными изображениями одноклеточных. Я спустился в еще более глубокие сумерки Африканской галереи и оттуда — в зал обитателей североамериканского континента. Здесь, в этом затхлом и пещерном полумраке, меня охватило волнующее чувство неизменности: ландшафты и времена года сохранились точно такими, какими они существовали всю мою жизнь,— каждый древесный листок, каждая снежинка были на своих местах. Фламинго летели в том же положении, в каком летали в моем детстве, влюбленные лоси так и не расцепили своих рогов, волки по-прежнему крались по голубому снегу к стеклянной стенке, отделявшей их от хаотичного и переменчивого мира, деревья, не утеряв ни одного листочка, хранили свой роскошный осенний багрянец. В конце коридора, стоя на задних лапах, по-прежнему безраздельно царствовал аляскинский медведь. Здесь-то я ее и нашел.

— Хэллоу,— сказал я.

— Хэллоу,— ответила она.

Коротко и ясно.

— У меня замечательная мысль,— сказала она затем, взяв меня под руку.— Почему бы вам не угостить меня ленчем в «Плазе»?

Мы пошли через парк в «Плазу».

— Боюсь, что у меня не хватит наличных,— сказал я,— а здесь нигде поблизости нет банка, в котором бы можно было разменять чек.

Я сосчитал деньги в бумажнике. Там оказалось семнадцать долларов.

— Семнадцати долларов совершенно достаточно для меня,— сказала она.— Раз в жизни вы можете обойтись без ленча, правда ведь?

Так мы и сделали. Она заказала обильный завтрак и бутылку вина. Официанту я объяснил, что уже завтракал; бокал вина я, впрочем, выпил. У дверей гостиницы Мариетта со мной простилась.

— Мне пора в Бленвиль, к деду, чтобы успеть в магазин,— сказала она.— И снова в темницу, и снова в тюрьму...

Я съел бутерброд с котлетой и запил его апельсиновым соком на перекрестке и тоже поехал к себе в Бленвиль.

Часа в четыре на следующий день я был у них. Дверь открыла Мариетта. На ней было нарядное платьице и на правом плече — белая ниточка.

— Вам удалось перекусить? — спросила она.

— Я съел котлетку.

— Вы не сердитесь, что я заставила вас на меня потратиться?

— Пустяки. Деньги для меня не проблема. Почему бы вам не зайти ко мне сейчас?

— Где вы живете?

— В доме Доры Эмисон. Я его купил.

— Сейчас, я только пальто надену. Здесь я как в тюрьме.

Мы сидели с ней в желтой комнате. Я разжег огонь в камине и приготовил коктейли. Она рассказала мне о себе. Ей двадцать три, и она ни разу не была замужем. Первые двенадцать лет своей жизни провела во Франции. Родители погибли в автомобильной катастрофе, и дедушка сделался ее опекуном. Она поехала учиться в Беннингтон. Когда дед ее поселился под Бленвилем, она сняла себе комнату в Нью-Йорке и стала работать в магазине Мейси. В городе ей было тоскливо и одиноко, и осенью она поехала в Бленвиль в надежде найти там себе работу. Но в Бленвиле только и есть, что мотель, а карьера проститутки или горничной Мариетту не привлекала.

Сильный удар грома внезапно прервал ее рассказ. В это время года грозы обычно не бывает, и я сперва подумал, что это, должно быть, какой-нибудь самолет перешел звуковой барьер. Но второй удар — долгий, раскатистый — не оставлял сомнений.

— Ч-черт! — воскликнула она.

— В чем дело?

— Я боюсь грозы. Это глупо, я знаю, но мне от этого не легче. Когда я работала у Мейси и жила одна, я забивалась в чулан во время грозы. Я обращалась к психиатру, и он сказал, что я боюсь грозы оттого, что страшно эгоцентрична. Я считаю себя такой важной персоной, сказал он, что думаю, будто гром гремит специально, чтобы уничтожить меня. Быть может, он и прав, но я все равно дрожу, когда гремит гром.

Мариетта и в самом деле дрожала. Я обнял ее, и под последние раскаты грома мы сделались любовниками.

— Как хорошо,— сказала она.— Как хорошо. Как ты это хорошо придумал.

— Мне ни разу не было так хорошо,— сказал я.— Давай поженимся.

Через полтора месяца мы с ней обвенчались в бленвильской церкви. На Мариетте в тот день был серый костюм, и к отвороту ее жакета пристала белая ниточка. (Откуда только берутся все эти нитки? Позже, когда мы с ней отправились путешествовать по Европе, они тоже время от времени появлялись у нее на плече.) После свадьбы мы полетели в

Кюрасао и провели две недели на берегу залива св. Марты. Все было прекрасно, и, когда мы вернулись в Бленвиль, я чувствовал, что мне от жизни больше ничего не нужно. Когда я закончил своего Монтале и поехал с рукописью в Нью-Йорк, оказалось, что эти стихи уже кем-то переведены, но почему-то это меня не вывело из состояния равновесия. Ничто не могло вывести меня из равновесия. Не берусь назвать точную дату, когда кончился наш медовый месяц... Скажем, однажды ночью, в Бленвиле. Одиннадцать часов. Шарю рукой по постели и не нахожу Мариетты. На кухне горит свет. На газоне лежит распростертый светлый четырехугольник окна. Что с Марие́ттой? Уж не заболела ли она? Я привык спать голым и спустился в кухню, не одеваясь. Мариетта стояла посреди кухни. На ней тоже ничего не было, если не считать обручального кольца. Сломанной вилкой она выковыривала лосося из консервной банки. Я пытался ее обнять, но она сердито меня отпихнула, говоря: «Неужели ты не видишь, что я ем?» От лосося исходил свежий и бодрящий запах моря — так и бросился бы вплавь! Я вновь прикоснулся к Мариетте, она же закричала: «Оставь меня! Оставь меня в покое! И поесть спокойно не дадут! Вечно эти приставания». После той ночи она все чаще бывала в сварливом настроении, и я все чаще спал один. Приступы дурного настроения у Мариетты налетали, как шквал, и проходили бесследно, как порыв ветра. Временами мне казалось, что они и в самом деле наступают под влиянием ветров. Весна с ее неопределенными зефирами и вообще хорошая погода вызывали, казалось, барометрические перепады в ее организме и провоцировали самые острые приступы недовольства. С другой стороны, разбушевавшаяся стихия — ураганы, грозы, метели,— казалось, будили страсть. Осенью, когда смерчи с нежными девичьими именами хлестали по Бермудским островам и через Хаттерас двигались на северо-восток, Мариетта бывала мягка, покорна и по-супружески ласкова. Когда движение по шоссе и железным дорогам останавливалось из-за снежных заносов, она делалась ангелом, а однажды даже сказала, что меня любит. Это было в самый разгар ужасающего бурана. Любовь, очевидно, представлялась ей неким прибежищем, в котором она искала защиту от мировых катаклизмов, свершающихся в природе и обществе. Никогда не забуду, как нежна она была со мной в тот день, когда мы сошли с золотого стандарта, а когда застрелили короля Парфии (в то время как он молился в базилике), страсть ее была беспредельна. Когда нас с ней связывали лишь общий кров да кое-какая мебель, она смотрела на меня как на злое и гнусное чудовище, которому ее продали в рабство; зато стоило Илье-пророку прогромыхать над головой в своей тяжелой колымаге, ножу убийцы вонзиться в сердце жертвы, кабинету министров в какой-нибудь стране подать в отставку или землетрясению с лица земли стереть какой-нибудь город — и Мариетта вновь становилась моей безраздельно — моим дитятей, моей возлюбленной, моей женой.

Какой-нибудь психиатр вроде Дохени сказал бы, что все это можно было бы предвидеть заранее. Что они понимают? Вся беда была в том, что я смотрел на любовь как на некий пряный настой ностальгии, проявление таинственных сил памяти, не поддающихся кибернетическому анализу. Мы не влюбляемся, говорил я себе, а всего лишь возвращаемся к любви, так и я — влюбился в воспоминание, в белую ниточку и грозу. Да, да, любовь моя была обрывком белой нитки на плече.

Итак, когда я спал один, а это случалось все чаще и чаще, меня одолевали грезы подростка, солдата или арестанта, посаженного за решетку. Чтобы сублимировать мою физическую тоску и избавиться от бессонницы, я завел обычай придумывать девушек и грезить о них по ночам. Я прекрасно знаю, какая бездна разделяет реальность цепких и потных воскресных объятий во время грозы от хилых, худосочных мечтаний, но осужденному на одиночное заключение не остается ничего, кроме соб-

ственных воспоминаний и фантазии. Сперва я прибегнул к памяти и притворялся, будто сплю с девушкой, которую знал еще в Ашбернеме. Я вспоминал до мельчайших подробностей ее темно-русые волосы и, казалось, чувствовал прикосновение ее бедер к своим. Ночь за ночью я вызывал в памяти всех девушек, о которых когда-либо мечтал. Из ночи в ночь они являлись ко мне поодиночке, а то и попарно. Вначале мне приходилось вызывать их усилием воли, но вскоре они стали являться мне сами по себе. Как все одинокие люди, я влюблялся, и притом безнадежно, в девушек, украшающих обложки журналов или рекламы поясов для чулок. Соблазну хранить их изображения у себя в бумажнике я, впрочем, не поддался. Зато всякий раз, когда я влюблялся в одну из них, она с готовностью приходила ко мне ночью и ложилась рядом со мной в постель. И вот, окруженный женщинами, которых я помнил, и женщинами, которых знал лишь по фотографиям, я вдруг обнаружил еще одну, третью категорию утешительниц, порожденную, должно быть, где-то на задворках моего сознания,— это были женщины, которых я никогда прежде не видел. Однажды ночью я проснулся и обнаружил рядом с собой китаянку с малюсенькой грудью и роскошными бедрами. На смену ей пришла жизнерадостная негритянка, а за ней очень приятная, но чрезмерно тучная дама с рыжими волосами. Насколько я помню, я ни разу не бывал влюблен в толстую женщину. Но все они посещали меня, благодаря им я мог спать и просыпаться по утрам с какой-то надеждой в груди.

Я завидовал людям вроде Нейлза, который, глядя на свою Нэлли, мог, наверное, точно припомнить все случаи и места, где он ею обладал. На берегах Атлантического и Тихого океанов, Тирренского моря и Средиземного, на яхтах и моторных лодках, на маленьких речных пароходиках и океанских лайнерах; в отелях, мотелях, на зеленых холмах, на сосновых иглах, на согретых солнцем каменистых утесах; в любой час дня и ночи; в Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Я же, глядя на Мариетту, вспоминал лишь те многочисленные случаи, когда она меня отвергала. В мотеле в Стокбридже она заперлась в ванной и просидела там, покуда я не уснул. Когда мы поехали с ней прокатиться на две недели на пароходе, она забыла захватить с собой противозачаточные средства, а у пароходного врача таковых не оказалось. В Чикаго она брыкнула меня в бок. В Истгемптоне оборонялась от меня кухонным ножом. А то просто юркнет в постель и укроется с головой, прежде чем я успею раздеться. Я сегодня устала, я хочу спать, говорит она в таких случаях. У меня насморк. Зуб. Несварение желудка. Грипп. В Нантакете на пляже она от меня убежала и, когда я решил, что настиг ее на корме яхты, нырнула с борта в море и поплыла к берегу.

Через год-другой мои желтые стены потрескались и полиняли. Мариетта позвала маляра из Бленвиля, который принес с собой образцы колеров. Я так ей и не рассказал о том, какую важную роль в моей жизни играют желтые стены, и хоть выбранный ею колер был вполне благородного оттенка, это был не желтый цвет, а розовый. Я мог бы протестовать, но мое увлечение желтым цветом начинало и самому мне казаться нелепым. Неужели во всем спектре существует этот один-единственный цвет, с которым я могу ужиться? Я решил выдержать характер и не стал мешать малярам. Недели через три после того, как они закончили свою работу, я проснулся в страшной тоске. Встав с постели, я ощутил знакомые симптомы: распухшие губы, одышка, дрожь в руках. Я выпил два стакана джина натощак. Почти весь день я пил. Мне было необходимо переменить обстановку. В пятницу мы вылетели в Рим.

Тоска моя преследовала меня всю дорогу, не слишком, впрочем, досаждая мне — то ли она обленилась, то ли, как убийца, уверенный в своей жертве, знала, что особенно стараться нет нужды. В субботу утром я

проснулся бодрый, полный жизненных сил. В воскресенье я был весел, зато в понедельник проснулся в такой черной меланхолии, что с трудом выполз из постели и, едва передвигая ноги, поплелся в душ. Во вторник мы поехали поездом в Фонди, а оттуда на такси через горный перевал в Сперлонгу, где погостили у друзей. Там мне выпало два хороших дня, на третий черное чудовище вновь меня настигло. Мы доехали до Формии, а там пересели на неапольский поезд. В Неаполе я получил передышку на четыре дня. То ли мне удалось сбить со следа мое чудовище, то ли оно по-прежнему не спеша, вразвалку, с уверенностью опытного убийцы следовало за мной по пятам. Пятый день в Неаполе был ужасен, и мы уехали вечерним поездом в Рим. Здесь меня снова ждало три хороших дня, а на утро четвертого я почувствовал, что моей жизни угрожает опасность, и заставил себя пойти прогуляться. Я поднимал ноги с таким усилием, словно к каждой было привешено по гире. На одной из широких извилистых улиц, названия которой я не помню, я увидел, что навстречу мне движется колонна полицейских на мотоциклах; они ехали так медленно, что им то и дело приходилось опираться ногами о мостовую, чтобы не упасть. За полицейской цепью следовало несколько сотен демонстрантов — мужчин и женщин, несущих транспаранты со словами: Pace, speranza, amore[1]. Я сообразил, что это демонстрация посвящена памяти Маццакони, убитого в ванне коммуниста, делегата в парламент. Я ничего о нем не знал, кроме того, что прочитал в «Унита», где его называли кристаллической личностью. Я не был знаком с его воззрениями, никогда не читал его речей и тем не менее расплакался. О том, чтобы вытереть слезы, нельзя было и подумать. Они залили мне все лицо, промочили куртку, это был настоящий поток. Я примкнул к шествию и, как только зашагал в ногу с остальными демонстрантами, почувствовал, что тоску мою как рукой сняло. Распорядители с повязками на руках приказали не разговаривать, так что все время, пока мы шли по улицам Рима, слышалось шарканье и похожее на вздох шипенье кожаных подметок, которые у иных сносились до дыр, и оттого, что нас было так много, над колонной все время висел странный, довольно громкий и совершенно органичный звук — человек, стоящий спиной к процессии, мог принять его за шум прибоя.

Мы прошли площадь Венеции и дошли до Колизея. Мы шли гордо, мужчины, женщины и дети,— несмотря на шаркающие шаги. Случайно совпавшее с моим состоянием горе толпы напомнило мне, что одно оно и объединяет меня со всеми этими людьми. На протяжении трех городских кварталов я испытывал сильнейшую любовь к ним. В Колизее отслужили панихиду по усопшему. И хоть она тронула меня много меньше, чем само шествие, я возвратился в гостиницу обновленным.

Вскоре мы полетели назад, в Нью-Йорк. А в следующее за тем лето, сидя на пляже (это было уже после того, как я увидел ту фотографию в приемной дантиста), я решил — и это решение мое было не менее прочным, чем тонкие нити бумажного змея,— что проект моей старой сумасшедшей матери — распять человека — имеет под собой рациональную основу, и посему собрался поселиться в Буллет-Парке и убить Нейлза. Несколько позднее я вместо него избрал своей жертвой Тони.



**Часть третья**

## *XVI*

Нейлз пригласил Хэммера на рыбалку. Вот как это получилось. Нейлз был членом Добровольного пожарного общества и правил старой красной машиной «ля Франс». Поздней ночью, звоня в колокол и оглу-

[1] Мир, надежда, любовь *(итал.)*.

шая окрестности сиренью, он летит как черт по горам и долам Буллет-Парка — вот он, апогей его жизни, такой разнообразной и содержательной: зубной эликсир, механическая пила, футбол и пожарная машина! В эти звездные ночи, когда во всем Буллет-Парке светились лишь окна уборных, мир вставал на дыбы. То был час его славы.

Пожарное общество собралось, как всегда, в первый четверг месяца. Собрание должно было завершиться банкетом. Нейлз пришел, когда из гаража уже выкатили красную машину. Гараж тщательно подметен и полит из брандспойта, и в него внесли буфет и бар — два стола, накрытые простынями вместо скатерти. Два кандидата в члены общества моют бокалы, а в углу на газовой плите Чарли Мэддокс, самозваный повар Общества, жарит баранью ногу. Он весил почти сто двадцать килограммов и любил все процессы, связанные с едой,— закупать провизию, стряпать, есть. Когда он спал, ему, должно быть, снились мясные туши и ведра устриц. Жена его, как и следовало ожидать, была сухощавая женщина, не признававшая ничего, кроме черной патоки и пшенной каши. Должность повара Добровольного пожарного общества доставляла Чарли огромное удовлетворение — в ней он находил то ощущение подлинной реальности, какого ему, должно быть, не дано было испытать ни в семейной жизни, ни в его деятельности агента по перепродаже подержанных машин. Свои блюда он мешал, поливал, солил, перчил, приправлял, пробовал и подавал с глубочайшей сосредоточенностью и — как большая часть поваров-дилетантов — не умел рассчитать времени и ставил свое кушанье на стол на полчаса раньше, чем соберутся едоки. Нейлз поднялся на второй этаж, в зал.

Общество к этому времени насчитывало тридцать членов. В этот четверг налицо было двадцать. Тот факт, что члены Общества своими руками перестроили старый сарай, превратив его в уютный, комфортабельный клуб, придавал ему особую прелесть. Работая в свободное время, по субботам и воскресеньям, они выложили пол винилитом, обшили досками стены, установили лампы дневного света и подвели к ним проводку. Они имели все основания гордиться своей работой. Общество было, разумеется, исключительно мужское; если не считать спортивной раздевалки в клубе «Горный ручей», оно являлось последним оплотом мужской независимости во всем поселке. Впрочем, оно уже начало подвергаться нападкам со стороны. Так, кое-кто из членов Женского подсобного пожарного общества пытался проникнуть на ежемесячные сборища, чтобы взять стряпню под свой контроль. Они смотрели на Чарли Мэддокса как на узурпатора и подозревали, что его расходы на провиант превышают всякую норму. Дамам, разумеется, был дан отпор, но сознание, что их мужскому содружеству угрожает внешний враг, придавало особый, вигвамный уют этому прибежищу. Этот вигвамный характер подчеркивался торжественным ритуалом, принятым в Обществе.

Председатель постучал молоточком (чей-то дар Обществу) по столу, призывая собрание к порядку; затем, развернув американское знамя из блестящего шелка с густой бахромой, секретарь огласил постановления, принятые на предыдущем собрании, а казначей объявил, что в казне осталось восемьдесят три доллара, четырнадцать центов. Вся процедура проходила в атмосфере нерушимой торжественности, ни в какой мере не соответствовавшей немногочисленным вопросам, стоявшим в повестке дня, и ничтожным суммам, которые предлагалось обсудить собранию. Двум-трем членам было вынесено суровое порицание за халатное отношение к своим обязанностям, выразившееся в том, что они во время дежурства пили пиво, вместо того чтобы мыть машину. Никто из выступавших не позволял себе и тени юмора — это было бы грубым нарушением ритуала. Затем секретарь перешел к текущим вопросам.

— Собранию предлагается рассмотреть заявление джентльмена, желающего вступить в наше общество,— объявил он.— Мистер Хэммер, нам придется попросить вас выйти на время, пока будет обсуждаться ваша кандидатура.

Нейлз повернул голову и увидел Хэммера в задних рядах.

— Мистер Хэммер,— продолжал секретарь,— живет на Пороховой горе и по всем данным является подходящей для нас кандидатурой, если бы не одно обстоятельство: на вопрос о том, каков его опыт в пожарном деле, мистер Хэммер заявил, что состоял членом пожарного общества в местечке, именуемом Ашбернем. Это под Кливлендом. Мы обратились туда с просьбой прислать его характеристику. Почта вернула наше письмо. В Ашбернеме никакого пожарного общества нет. Его там никогда не было. Я далек от того, чтобы обвинять человека во лжи, но вместе с тем нельзя ведь допустить, чтобы в наши ряды проникали сомнительные личности.

— Откуда известно, что в Ашбернеме нет пожарного общества? — спросил Нейлз.

— Наше письмо вернулось обратно.

— Это могло быть по недосмотру почты. Я считаю, что надо его принять. У нас не хватает людей для дежурств, а если окажется, что у мистера Хэммера в самом деле недостаточно опыта, можно будет доверить ему мытье машины.

— Вы хотите внести предложение?

— Да. Я предлагаю принять Поля Хэммера в члены пожарного общества.

— Я поддерживаю это предложение.

— Все, кто согласен, скажите «да».

— Да.

— Кто против? Есть другие предложения?

— Вот уже двадцать минут, как у меня все готово,— крикнул Чарли Мэддокс снизу.— Если вы сейчас же не оторвете ваши задницы от стульев, баранина будет несъедобна. Я люблю готовить, но терпеть не могу, когда все стынет.

Собрание единодушно постановило сделать перерыв. Движимый элементарным доброжелательством, Элиот подошел к Хэммеру, который стоял у бара, и спросил его, любит ли он рыбачить? Хэммер ответил, что любит.

— Здесь есть одна речушка в Венабле, куда я иногда езжу по субботам,— сказал он.— Если хотите попытать счастья, я могу за вами заехать часов в восемь. В это время года я ужу на живца.

В следующую субботу, утром, посадив Тэсси на заднее сиденье, Элиот заехал за Хэммером, и они устремились на север по Шестьдесят первому шоссе — одной из самых опасных и унылых автострад, проложенных за последние годы. С прокладкой этого шоссе ландшафт наших восточных штатов радикально переменился, словно над ним потрудились сейсмические силы для того, чтобы приблизить рельеф местности к тому, какой мы привыкли видеть в штате Монтана где-нибудь в предгорьях Скалистого хребта. На Шестьдесят первом шоссе ежегодно гибнет до пятидесяти человек Утром по субботам движение достигает поистине катастрофического масштаба. Массивные и высокие, как готические замки, грузовые машины победоносно мчатся под гору и медленно, как пешеходы, вползают в гору. Постоянная необходимость объезжать эти чудовища превращает простое путешествие в воинственный поход. Нейлз вспоминал дороги своей юности. Они все следовали естественному рельефу местности. В низинах вас охватывал холод, на взгорье пригревало солнце. Расстояния угадывались носом. Вот запахло эвкалиптом, а вот кленом, травой; запах навоза говорил, что вы подъезжаете к скотному

двору, а поднимаясь в гору, вы уже чувствовали аромат сосны. Повсюду глаз ваш встречал какую-нибудь веху — заброшенную ферму, каменную башню, синее озеро. В окнах домов, мимо которых вы проезжали, можно было увидеть кошку, горшок с геранью, приплюснутое детское личико или лицо старика. Как мило, как человечно, как интимно все это было по сравнению с пролегающей через пустыню дорогой, по которой с риском для жизни вы обгоняете варварские сооружения на колесах!

Доехав до Венабля, Нейлз и Хэммер свернули с Шестьдесят первого шоссе, купили приманку в селе и, оставив там машину, пошли пешком через лес. Река была примерно в двух милях, и Тэсси отважно ковыляла рядом с хозяином, хоть чувствовалось, что старой псине такой переход не под силу. Спускаясь в овраг, они услышали журчанье мелководной речки: собственно, не журчанье, а смех. Бессмысленный девичий смех, ни на минуту не прекращающийся глупый смех наяд оглашал весенний лес. Нейлз и Хэммер пошли вверх вдоль ручья, покуда не достигли глубокой заводи.

— Я поднимусь немного дальше и там засяду,— сказал Нейлз.— А примерно к полудню давайте встретимся здесь. Я хочу поспеть домой к ленчу.

Нейлз поймал двух форелей, Хэммер вернулся с пустым ведерком. У каждого было по фляге с бурбоном, они сели на берегу реки и под прозрачный хохот наяд отпили по глотку. Хэммер и Нейлз были почти одного роста, веса и возраста, и оба носили один и тот же номер обуви. Темные волосы Нейлза то и дело спадали ему на лоб, и у него была привычка время от времени гребешком или растопыренными пальцами зачесывать их назад. В детстве за эту привычку ему доставалось от отца, и, быть может, теперь, взрослым, он за нее держался как за символ сыновнего бунта и независимости. Темно-русые волосы Хэммера были коротко подстрижены. У Нейлза было широкое, открытое лицо, у Хэммера — худое, узкое; он то и дело подносил к лицу руку и шарил ею по нему, как шарят по полке в полутемном чулане, пытаясь нащупать положенный туда ключ. Смеялся он резко, отрывисто: Ха. Ха. Ха. У него было что-то вроде тика, и, когда он подергивал головой, стискивал зубы и расправлял плечи, казалось, он принимает про себя какое-то решение. Надо бросить курить (стискиваются зубы). Жизнь прекрасна (расправляются плечи). Меня никто не понимает (голова откидывается назад). Нейлз был много спокойнее.

Дружба — чувство, достоверное описание которого Нейлзу ни разу не приходилось встречать,— была для него почти так же священна, как любовь, хотя между этими двумя чувствами не было ни малейшего сходства. Любовь, со всем ее аппаратом сексуального влечения, ревности, тоски и экзальтации, было легче распознать, чем дружбу, которая была лишена (если не считать спортивного снаряжения) каких бы то ни было аксессуаров. Сколько Нейлз себя помнит, у него всегда бывало много приятелей. Большую их часть составляли товарищи по развлечениям — лыжам, рыбалке, картам или выпивке. В обществе друзей — к которым Нейлз отныне причислял и Хэммера — его охватывало глубокое ощущение покоя. В этом чувстве не участвовали ни ревность, ни половое влечение, ни тоска. Нейлзу, правда, доводилось — как в школьные годы, так и позднее, взрослым,— встречать людей, которые и в дружбе выказывали ревность и стремление к безраздельному владычеству, но сам он мог, положа руку на сердце, сказать, что никогда не испытывал подобных чувств по отношению к друзьям. В клубах, к которым он принадлежал, подчас наблюдалось какое-то детское соревнование за популярность, а может и любовь, но сам Нейлз в этих состязаниях не принимал никакого участия. Дело было совсем не в холодности или равнодушии. Идти с другом гуськом по лыжне в горах было для Нейлза блаженст-

вом, не поддающимся анализу. Он искренне радовался встрече со старым приятелем, однако при расставании с ним не испытывал печали. Друзья ему иной раз снились, но наяву он никогда о них не грезил. Когда он бывал разлучен с друзьями, он никогда не переписывался, зато счастье его, когда он их вновь встречал, было безмерным. Это была любовь, лишенная всех тех признаков, по которым она узнается. Итак, Нейлз чувствовал себя очень счастливым, сидя в лесу и потягивая бурбон рядом с Хэммером.

Хэммер не видел ничего противоестественного в том, что он намеревается убить товарища по рыбной ловле. Глядя на свою жертву, он думал о том, как хорошо было бы вытравить из обвинительного акта обычные трюизмы и жалобные нотки, в какие облекаются мотивы, вменяемые подсудимому. Конечно, он мог бы сказать — и это было бы истинной правдой,— что рекламы «Спэнга» (которым торговал Нейлз) отвратительнее всех прочих реклам, какие ему доводилось слышать по телевидению. *(Если вы стесняетесь появляться в старом костюме, вы заводите новый, не правда ли? Если стесняетесь принимать гостей у себя дома, вы делаете ремонт, не правда ли? Если ваша машина устарела и вы стесняетесь на ней ездить, вы покупаете новую, не так ли? Отчего же, если вы стесняетесь дурного запаха из вашего рта, вы не купите «Спэнг», который гарантирует вам шесть часов безмятежного существования?)* Однако, рассуждал Хэммер сам с собой, возмущаться всем этим вздором было бы наивным ребячеством. Вот уже четверть века, как его соотечественников пичкают подобной пищей, и вряд ли здесь можно что-либо изменить. И пусть он жаждет перемен, жаждет чего-то нового, другого, он хотел бы, чтобы его стремления были стремлениями зрелого человека, а не ребенка. Не презирать же Нейлза только за то, что он с таким явным наслаждением извлекает из кармана свою золотую зажигалку? Ведь наше общество — общество откровенного капитализма, и надо обладать наивностью младенца, чтобы ужасаться тому, что талисманом этого общества является золото. И разве женщина, мечтающая о норковой шубке, не проявляет больше здравого смысла, нежели та, что мечтает о царствии небесном? Ведь человеческое существование — страшно, загадочно, и человека окружает хаос. Было бы несправедливо, думал Хэммер, считать религиозные взгляды Нейлза ханжеством. Разумеется, его представления расплывчаты и сентиментальны, но поскольку церковь Иисуса Христа единственное место в Буллет-Парке, где воздается должное таинствам бытия, и поскольку в жизни Нейлза было много непостижимого и таинственного (бедра его жены и любовь к сыну), нет ничего предосудительного в том, что он раз в неделю преклоняет колена перед распятием. Нет, Хэммер избрал свою жертву не за ее недостатки, а за ее совершенство.

— Молодой человек, который дирижировал разъездом машин у Браунов, если я не ошибаюсь — ваш сын? — спросил Хэммер.

— Да,— сказал Нейлз с усмешкой.— Это его функция на всех вечерах у наших приятелей. Он у меня страшно болел, между прочим.

— Что же с ним было?

— Мононуклеоз.

— У кого вы лечитесь?

— Да раньше был Маллин, а когда его посадили, мы перешли к Фейгарту. Впрочем, ни тот, ни другой не вылечил Тони. Это вообще странная история. Он уже болел больше месяца, когда нам кто-то рассказал о неком целителе. Он называет себя свами Рутуола и живет над похоронным бюро на Ривер-стрит. Однажды вечером он к нам приехал, и не знаю уж, что он такое сделал, но только он вылечил Тони.

— Это какой-нибудь святой или йог, что ли?

— По правде сказать, я не знаю. Я ничего о нем не знаю. Я даже

не знаю, как он лечил Тони. Меня к ним в комнату не пускали. Но он поднял Тони на ноги. Тони сейчас в прекрасной форме. Он играет в баскетбол и дирижирует разъездом машин, когда у кого-нибудь вечер с коктейлями. Да, не забыть бы ему сказать, что в пятницу вечер у Левеленов. Ну что ж, домой?

Они зашагали назад по лесу, палач и жертва, а за ними по пятам следовал старый сеттер. Уложив удочки и все принадлежности рыбной ловли в багажник, Нейлз открыл дверь для Тэсси.

— Ап, Тэсси,— скомандовал он.— Ну же, девочка, ап!

Тэсси захныкала, попробовала прыгнуть на сиденье, но не удержалась и соскользнула наземь.

— Бедная моя старушка,— сказал Нейлз и подхватил ее — она неуклюже покоилась на его руках, отовсюду торчали ее лапы. Нейлз положил ее на заднее сиденье.

— Почему вы ею не займетесь? — спросил Хэммер.

— Да я уже все перепробовал. Вернее, почти все,— сказал Нейлз.— Говорят, есть какое-то средство, нечто вроде новокаина. Считается, что оно продлевает собачий век, но один укол стоит пятнадцать долларов, а делать их надо каждую неделю.

— Я не это имел в виду,— сказал Хэммер.

— А что же?

— Почему вы ее не пристрелите?

Отвратительное бездушие его нового товарища, зверское бессердечие, заключавшееся в предложении убить старое, доверчивое животное, вызвало у Нейлза приступ ярости, такой беззаветной и чистой, что он, казалось, так бы его и задушил.

Он смолчал, однако, и они поехали назад в Буллет-Парк.

## *XVII*

Вам никогда не доводилось совершать убийство? Вам не знакомо торжественное сознание собственной правоты, которое дано ощущать человеку, поднявшему руку на человека? Убийцы — это люди с повышенным чувством долга, граждане некой зловещей, сумеречной державы. Они знают добрый десяток государственных гимнов, их паспорта проштемпелеваны всевозможными въездными визами, но любовь и лояльность к собственному отечеству они способны ощутить лишь после того, как нарушат его закон. Приходилось ли вам летним утром выйти гулять с сознанием, что именно в этот день вы убьете человека? Великолепие этого утра ни с чем не сравнимо. Оторвите с дерева листок и попытайтесь найти в нем хоть какой-нибудь изъян — не найдете! Тень каждой былинки совершенна в такое утро. Хэммер подстригал газон. Как блистательно выдерживает он роль! Мистер Хэммер подстригает газон. Мистер Хэммер, должно быть, отличнейший человек.

Мариетта уехала на уик-энд в Бленвиль. Хэммер провозился с газоном до двенадцати, после чего выпил стакан виски, поехал в торговый центр и в разделе предметов для самообороны купил себе банку мейса [1] и тяжелую полицейскую дубинку. Все было готово. Все, кроме горючего. Он встряхнул бидон с бензином, из которого еще утром заправил косилку, убедился, что тот пуст, наполнил его и уселся на террасе. В три часа вдоль улицы поехала машина с почтой, останавливаясь перед каждым домом. Хэммеру никакой почты не было, зато из всех соседних домов кто-нибудь да появлялся — кухарка, теща или сам хозяин дома, не поехавший на службу по болезни. В их хлопотливых движе-

[1] Один из видов слезоточивого газа, применяемый обычно американской полицией в борьбе с демонстрантами.

ниях чудилось что-то вороватое, глубоко интимное, даже слегка эротическое, словно они не ящик для писем открывают, а расстегивают пуговицу штанов. Руки их шарят по ящику, словно все эти счета, любовные письма, чеки и приглашения являются звеньями цепи, соединяющей их с миром, что бурлит за пределами их домов и участков. Затем все поворачиваются и идут к дому. В небе ни облачка. Среди листвы поют птицы, Хэммеру слышится в их песнях то ли список приглашений, то ли названия юридических корпораций. *Тик-нор, Кэ-бот, Ю-инг, Трил-линг, Суоуп-суоуп...* Хэммер поднялся в буфет и приветливо улыбнулся ряду бутылок. Он трижды повторил этот поход, прежде чем налить себе стакан джину, который он выпил, ничем не разбавляя. Я пью, убеждал он себя, не для храбрости, не для того, чтобы себя подстегнуть, а всего лишь для того, чтобы справиться с возбуждением, которое меня охватывает при мысли о предстоящем отчаянном шаге. Он выпил слишком много. Хэммер был не из тех, кто, выпив лишнего, тупо повторяет какую-нибудь одну и ту же фразу, не может удержаться на ногах или, забыв всякую осторожность, пускает машину на полный ход. Однако в голове его, разгоряченной алкоголем, бродили шальные мысли. С наступлением сумерек он почувствовал желание поделиться с кем-нибудь своими планами. Хэммер нуждался в наперснике.

Выбор его пал на божьего человека, на этого гуру, что проживал над бюро похоронных процессий. Надо полагать, что Хэммер, пусть и бессознательно, но, должно быть заранее уже, положил себе наведаться к Рутуоле, ибо к своему решению он пришел сейчас сразу, без всяких колебаний. Он сел в машину, подъехал к похоронному бюро и принялся дубасить по двери Храма Света.

— Войдите,— сказал Рутуола.

Он сидел в кресле, закрыв поврежденный глаз рукой.

— Вы и есть святой человек? — спросил Хэммер.

— Ну что вы — я никогда на это не претендовал. Вы должны меня извинить. Я сегодня очень утомлен.

— Но вы исцеляете больных?

— Ах, иногда, иногда! Иногда моя молитва приносит пользу людям, но сегодня я так устал, что не могу помочь самому себе. Я вот уже сто раз сказал себе, что сижу в домике на берегу моря, что сейчас четыре часа и идет дождь, но все равно я не могу забыть, что на самом деле уже половина шестого, и что я сижу в своем старом кресле, и что подо мною похоронное бюро.

— Вы помните Тони Нейлза?

— Да.

— Я его убью,— сказал Хэммер.— Я его сожгу на алтаре церкви Иисуса Христа.

— Убирайтесь отсюда вон! — закричал Рутуола.— Убирайтесь из Храма Света.

Вечер у Левеленов должен был начаться в половине восьмого. Томми Левелен стоял на террасе своего дома, ожидая гостей. Однажды ему довелось провести сутки в Берлине в обществе трех проституток из Курфюрстендамма. Вот это была вечеринка! В Буллет-Парке совсем не то, думал он, глядя, как под освещенным бумажными фонариками навесом официанты накрывают столы на пятьдесят персон. «Объединенная корпорация строителей и мистер и миссис Томас Левелен просят вас пожаловать...» Левелены облекли свое приглашение в такую форму, дабы придать вечеру видимость деловой встречи. Если это пройдет, им удастся избежать обложения налогом и таким образом сберечь тысячу долларов. В вечерах, задаваемых его женой, Левелена интересовала ис-

ключительно финансовая сторона дела. На самих же вечерах его одолевала тоска, и ему казалось, будто сквозь элегантную обстановку так и просвечивают счета, просроченные векселя и даже гвозди, которыми были сколочены доски под навесом. Но что же дурного в том, что хорошо одетые мужчины и женщины собираются для дружеской беседы и едят бутерброды с курицей и ветчиной? Да ничего, разумеется, ничего — но только пресная вежливость всей этой процедуры сводила Левелена с ума. Можно было заранее знать, что никто не упьется, не затеет драку, не прижмет чужую жену в уголке, что на вечере этом ничего не празднуется, не отмечается какая-нибудь знаменательная дата, что он не освящает собой какое-нибудь новое начинание. Вот и сегодняшнее сборище, если оно и таит в себе какую угрозу, то это — соблазн перейти границы приличия. Господи, восклицал про себя Левелен, да ведь эта благопристойность способна заставить человека выйти к гостям в одном гульфике! Только с помощью откровенной, циничной непристойности можно было бы исцелить собравшееся общество от иллюзии безвременности, резко напомнить ему о вечности, о смерти. Официанты расставляли вазы с цветами. Цветы казались вполне свежими, но Левелен представил себе, как несколько часов назад они же украшали свадебный стол, а на следующий день, после ночи в холодильнике, начнут увядать на каком-нибудь благотворительном банкете в Гринвиче штата Коннектикут.

Жажда перемен была не свойственна Левелену, и, однако, сознание того, что предстоящий вечер будет начисто лишен какого бы то ни было намека на возможность перемены, заранее обрекало его в глазах Левелена. Все это ненастоящее, половинчатое, иллюзорное, приклеенная к вечереющему небу картинка из журнала. А как оно прозаично и ничтожно, это небо — скучная синяя полоса с нагромождением грозовых туч, подобных башням старомодных гостиниц восточного Нью-Йорка, в которых доживают свой век пугливые неряшливые вдовы, оставляющие груду грязной посуды в коридоре. О, как оно скучно! Вдали загрохотал гром. Ритм грома, подумал Левелен, подобен ритму хорошего оргазма. Это неплохо.

В еще светлом послезакатном небе на северо-западе из гетто за рекой поднимались черные тучи дыма. Ветер дул с юга, и, если бы там даже и стреляли, Левелен ничего бы не услышал.

Тони Нейлз, которому предстояло руководить разъездом гостей, пересек газон и подошел к нему, держа в руке фонарь.

— Тони, привет,— сказал Левелен.— Хочешь чего-нибудь глотнуть.

— Я бы не отказался от пива,— сказал Тони.

— Пива не держу,—сказал Левелен.—Может, джину с соком?

Тони подходил к одному из двух баров под навесом, когда на въезде показалась первая машина. Это были Виквайры. Безукоризненно одетые, как всегда, они излучали обаяние, но мистер Виквайр был в темных очках и с нашлепкой под глазом.

— Какая прелестная мысль — коктейли под тентом! — воскликнула миссис Виквайр. Ее выкатили из машины в инвалидной коляске.

Нейлз открыл дверь ванной и обнаружил там Нэлли. Она была раздета, и он тотчас ее обнял.

— Тогда давай лучше сейчас, пока я еще не приняла ванну.

Так они и поступили. Затем Нейлз приготовился одеваться. Нэлли выложила его вещи на постель. Нейлз вдруг почувствовал могучее нежелание одеваться. Печальный опыт поездок в город научил Нейлза прислушиваться к таинственным силам, которые движут его поступками. А что, как его нежелание одеться, подумал он, примет маниакаль-

ный характер? Быть может, ему придется провести остаток жизни, шлепая по спальне нагишом, возложив на Нэлли тягостную обязанность скрывать его состояние от окружающих? Дело ведь не в том, что он влюбился в свою наготу, а в том, что костюм внушает ему отвращение. Разложенный на постели, он, казалось, претендовал на какие-то нравственные доблести, глубоко чуждые натуре Нейлза. Так чего же он хочет — явиться перед гостями, прикрывшись фиговым листочком, или с тигровой шкурой, перекинутой через плечо, или просто нагишом? Да, что-то вроде этого.

Нейлз вспомнил мать. Он был у нее во вторник вечером.

«Как ты себя чувствуешь, мама? Тебе немного лучше, правда? — спросил он ее.— Хочешь, чтобы Тони тебя проведал? Я могу тебе чем-нибудь помочь?»

Вот уже месяц, как она не отвечала ему на его вопросы. И вдруг в его ушах зазвучала песня:

Вздыхала бедняжка под сникшей листвой...
Споем про зеленую иву;
В тоске, на колени склонясь головой...
Ах, ива, плакучая ива...[1]

Песенка эта выплыла откуда-то из закоулков сознания, более глубоких, чем память.

Наконец, Нейлз одет. Да, но где бумажник? Должно быть, в кармане пиджака, который Нейлз надевал днем. В кармане его не было. Пустой карман, казалось, таил в себе зловещее предзнаменование, словно Нейлз задал вопрос о чем-то очень серьезном, имеющем отношение к страданию и смерти, а ему не ответили. Или сказали, что на эти вопросы ответа нет.

— Я вошел в дом,— произнес он вслух,— налил себе виски с содовой, затем поднялся наверх, разделся и принял душ. Следовательно, бумажник должен быть где-то в спальне.— Скорее всего, он его положил на какую-нибудь горизонтальную плоскость. Нейлз принялся методически исследовать их одну за другой — туалетный столик, комод и так далее. Бумажника не было нигде. Он не мог вспомнить, заходил ли он в другие комнаты или нет, и на всякий случай посмотрел в каждой. Из коридора послышались каблучки Нэлли.

— Я потерял бумажник! — крикнул он ей.

— Ах ты господи,— отозвалась Нэлли.

Бумажник никак не мог понадобиться ему в этот вечер, Нэлли прекрасно это знала,— но она также прекрасно знала и то, что он не поедет в гости без бумажника. Потеря любого предмета ощущалась обоими как беда, словно все их существование зиждется на целой системе талисманов.

— Я вошел в дом,— продолжал бубнить Нейлз,— выпил, поднялся наверх, потом разделся и принял душ, следовательно, он должен быть где-то здесь.

Целых тридцать минут, а то и больше, оба поднимались и спускались по лестнице, заходили в гостиную, выходили из нее, выдвигали ящики, которыми никогда не пользовались и которые были забиты елочными украшениями, шарили под креслами, ворошили лежащие на столах газеты и журналы, встряхивали подушки, загребали руками под матрасами. Можно было подумать, что они потеряли Священную чашу, распятие или спасительный якорь. Неужели Нейлз не мог поехать в гости без своего бумажника? Не мог.

— Я вошел в дом,— повторял он,— налил себе виски, затем я поднялся, разделся и принял душ.

[1] Песенка Дездемоны из трагедии Шекспира «Отелло». Перевод Б. Н. Лейтина.

— А вот и он! — воскликнула Нэлли.

Это был чистый голос небесного ангела, освобожденного от смертных уз грубой плоти и суеты.

— Он лежал на полочке в буфете, под протоколом вашего последнего собрания. Ты, верно, сам его туда сунул, когда наливал себе виски.

— Спасибо, милая,— сказал Нейлз своему ангелу-избавителю.

Они отправились на вечер. Где-то загрохотал гром. И снова, как всегда, его раскаты напомнили Нейлзу, каково было быть молодым и беспечным.

— Ты знаешь, милая,— сказал он Нэлли,— я был ужасно счастлив в то лето, когда карабкался по горам в Тироле. Я поднялся на пик Кайзера и на Пенгельстейн. В Тироле, когда бывает гроза, обычно во всех церквах звонят в колокола. По всей долине. Это так волнует! Не знаю, почему я тебе это сейчас рассказываю. Наверное, из-за грозы.

Элиот и Нэлли прибыли без четверти восемь. Через десять минут после них подъехал Хэммер в своей машине и остановил ее у самого въезда. На нем был тот же свитер, что и утром. Он был очень пьян.

— Пожалуйста, подъезжайте поближе! — крикнул ему Тони сверху.— На газоне сколько угодно места. Пожалуйста, подъезжайте поближе.

И так как машина Хэммера оставалась на месте, Тони сам побежал к ней рысцой.

— Подъезжайте, пожалуйста,— сказал он.— Там наверху сколько угодно свободного места.

— Мне надо будет рано уехать,— сказал Хэммер,— и я хочу поставить свою машину так, чтобы можно было потом выпутаться.

— Вам не придется выпутываться,— сказал Тони.— Здесь будет не больше тридцати машин.

— Ну что ж, забирайтесь ко мне, я подвезу вас на горку.

Как только Тони скользнул в машину, Хэммер брызнул ему в глаза из банки с мейсом. Тони издал громкий хриплый стон и упал вперед, стукнувшись головой о щиток. Хэммер ударил его по затылку. Это был жестокий удар, удар убийцы. Затем подъехал к церкви, которая была неподалеку от Левеленов. Как всегда, дверь ее оставалась открытой для желающих помолиться или просто посидеть в тишине святилища.

Хэммер не знал, как ему повезло. Всего десять минут назад мисс Темплтон поставила букет роз на алтарь. Хэммер поволок Тони в придел — и вернулся в машину, чтобы взять бидон с бензином. Затем он запер дверь в придел — это был единственный вход в церковь, не считая ризницы. При слабом свете одинокой свечи, стоявшей на алтаре, Хэммер поволок Тони по проходу к алтарю, нащупав выключатель, зажег свет и уже собрался было облить бесчувственного Тони бензином, но передумал и решил сперва выкурить одну сигарету. Он устал и немного задыхался. Ему было весело смотреть на божьего агнца за алтарем — как он ловко зацепил копытом деревянное распятие! Вдруг ему послышалось, будто кто-то завозился в вестибюле. Сердце его забилось — вот-вот выпрыгнет. Но он тут же успокоился—это всего-навсего дождь забарабанил по крыше.

Рутуола вышел из такси. Дворецкий Левеленов остановил его у дверей.

— Для посыльных вход не здесь,— сказал он,— вам придется обойти кругом.

— Мне необходимо видеть мистера Нейлза,— сказал Рутуола.

— Через парадную вам нельзя.

— Мистер Нейлз, мистер Нейлз! — закричал Рутуола.— Мистер Нейлз, идите сюда, скорее!

Нейлз стоял подле бара. Услышав свое имя, он вышел из-под навеса.

— Поезжайте в церковь Иисуса Христа,— сказал Рутуола.— И не задавайте мне вопросов. Сейчас же поезжайте в церковь Иисуса Христа.

По голосу Рутуолы Нейлз сразу понял, что Тони его грозит беда, но он не ринулся со всех ног к своей машине и вообще не сделал ни одного торопливого движения. Губы у него распухли. Но нервы были спокойны, как никогда. Впереди ехали машины со станции — только что прибыл поздний поезд, но Нейлз не пытался их обогнать. Увидев машину Хэммера возле церкви, он ничуть не удивился, словно именно этого он и ожидал, и принялся дубасить по запертой двери.

— Кто там? — спросил Хэммер.

— Нейлз.

— Вам сюда не попасть. Я запер обе двери.

— Что вы там делаете, что вы собираетесь делать?

— Я собираюсь убить Тони.

Нейлз вернулся в машину. В ушах у него звенело, и звон этот — болезненный и громкий — казалось, только усиливал его решимость. Нейлз не испытывал ни страха, ни растерянности. Он тотчас поехал в Каштановую аллею, взял из подвала механическую пилу и снова вернулся к церкви.

— Хэммер?

— Да.

— Как там Тони?

— Пока что ничего, но я его убью. Вот только выкурю сигарету.

Нейлз нажал ногой на педаль пилы и натянул шнур. Цилиндры застучали, и, когда мотор завелся, пила с визгом врезалась в дубовую обшивку двери. Нейлз прорезал диагональную щель, а затем без труда высадил дверь плечом. Хэммер сидел на передней скамье и плакал. Возле его ног стоял красный бидон с бензином. Нейлз поднял сына с алтаря и вынес его на дождь. Это был уже настоящий ливень. Казалось, вся вода устремилась к полоске света из открытой двери. Дождь падал с такой силой, что сбивал листья с ветвей, и в воздухе запахло стоячей водой. Холодный дождь и привел Тони в сознание.

— Пап, а пап? — бормотал он.— Кто этот человек в свитере? Что ему было нужно?

— Ты ранен? Ты сильно ранен? Как ты думаешь, надо нам ехать в больницу?

— Нет, папа, я ничего. У меня болит голова и щиплет в глазах, но я хочу домой.

Эпизод этот попал в газеты. **«Механическая пила предотвращает убийство.** Вчера вечером Элиот Нейлз, проживающий по Каштановой аллее в Буллет-Парке, штат Нью-Йорк, с помощью механической пилы пропилил запертую дверь церкви Иисуса Христа и спас жизнь своему сыну, Антони. Поль Хэммер, также проживающий в Буллет-Парке, признал себя виновным в покушении на жизнь и отправлен в государственную больницу для душевнобольных преступников. Хэммер признался, что увез молодого человека со званого вечера у мистера и миссис Томас Левелен, проживающих на Малборо-Сэркл. Хэммер увез Нейлза в церковь с намерением сжечь его на алтаре. Его целью, как он утверждал, было разбудить человечество».

В понедельник Тони пошел в школу, а Нейлз, принявший таблетку, отправился на работу, и жизнь сделалась прекрасной, прекрасной, прекрасной, прекрасной, как всегда.

# О новом романе Джона Чивера

Среди создателей современной американской литературы есть группа прозаиков, занимающих особое, как бы промежуточное положение между «классиками XX века» (Хемингуэем, Фолкнером, Колдуэллом и др.) и молодыми талантами, заставившими заговорить о себе в последние годы. Жизненный опыт Сола Беллоу, Джона Херси, Бернарда Маламуда и Джона Чивера (назовем лишь некоторых) охватывает не только послевоенную четверть века, но и в значительной мере грозные «тридцатые годы», привившие литературе США вкус к беспощадному трезвому реализму и к проблемности — то есть к вдумчивому, многостороннему осмыслению наиболее важных социальных и психологических процессов современной Америки. На рубеже 50—60-х годов традиции, сохраненные писателями этого «срединного» хронологического звена, обогатили творчество совсем молодых в ту пору Дж. Апдайка, Ф. Рота, Р. Прайса; позднее книги, подобные «Герзагу» Беллоу (1964), «Мастеровому» Маламуда (1966) и «Слишком дальней прогулке» Херси (1966), стали заметными вехами на пути самопознания Соединенных Штатов в один из самых катастрофических периодов их истории.

Каждый из вышеназванных писателей тяготеет к изображению определенного социального слоя и культурной среды. Так, Беллоу пишет обычно об интеллигенции, о людях, мучающихся трансцендентными загадками бытия. Герои большинства книг Маламуда — существа смирые и обездоленные, цепко схваченные капканом капиталистической эксплуатации и общественного неравенства. Джон Херси, в прошлом «военный романист», сейчас все больше внимания уделяет проблемам молодежного движения, ну а Джон Чивер вот уже тридцать с лишним лет привязан к американскому «среднему классу», в недрах которого нашлось достаточно конфликтов и сюжетных ситуаций для его пяти сборников новелл и трех романов, включая «Буллет-Парк», последний по времени и наиболее зрелый по содержанию, напечатанный в США ранней весной минувшего года.

«Кто может сомневаться в том,— писал недавно известный критик А. Кейзин,— что основная часть нашей национальной литературы отображает душевные раны среднего класса — его ощущение одиночества и отчужденность, его ревность и прочие моральные травмы... Нас беспокоит не ужас небытия, не сартровская «nausée», а проблемы жизни в расползающихся пригородах огромных мегалополисов. Нас волнуют взаимоотношения отцов и детей в семьях и роль национальных меньшинств в рамках всей страны. Источник трагедийности в нашей прозе — это по-прежнему несчастливый брак... Короче говоря, если в книгах Беккета или Гюнтера Грасса нас потрясает масштаб воображения, разгул галлюцинаций и горечь, окрашивающая даже самый смелый полет фантазии, то не менее удивительным свойством американских романов является то, что в них говорится о вещах, составляющих непосредственный предмет нашей повседневности, наших дум, чувств, забот и страхов».

Сказанное Кейзином, как и всякое слишком широкое обобщение, нельзя распространить на американскую литературу в целом, но к произведениям Чивера мысли критика имеют самое прямое отношение. Чивер — один из немногих писателей Америки, который счастливо избежал «великого послевоенного сдвига от социологии к психологии, от общественного к частному» (по выражению М. Каули). И в своих новеллах, и в романах он не только вторгается «в глубь» человеческих характеров, но идет также и «вширь», создавая, в меру своего дарования, запоминающийся образ эпохи и облик страны — «такой необъятной и неповторимой», читаем мы на первых страницах его новой книги.

Но «Буллет-Парк» — не просто еще один роман маститого писателя, чем-то дополняющий, а в чем-то повторяющий темы его более ранних произведений. Читатель, знакомый с «сагой об Уопшотах» («Семейная хроника Уопшотов» в русском переводе вышла в свет в 1968 г.), не оставит незамеченными ни гораздо большую определенность позиции писателя в «Буллет-Парке» по злободневным общественно-политическим вопросам, ни существенные изменения в его творческой манере, говорящие о дальнейшем обогащении чиверовского реализма.

Кто такие Уопшоты и чем они замечательны? Уопшоты (тетушка Гонора, Лиэндр, Сара и их сыновья, Мозес и Каверли) — это не просто коренные, но в какой-то мере даже «плакатные» янки, что означает, в частности, такие особенности характера, как предусмотрительность, благочестивость, известную чопорность и независимость суждения в сочетании с самоанализом, привитым пуританской церковью. В свою очередь городок Сент-Ботолфс, откуда все они родом, представляется даже не очень сентиментальному читателю некоторым образом сказочным уголком, игрушечным поселком, «каким-то напоминанием о рае», в котором дома перемежаются рощами и где мужчины до полудня играют в триктрак на спички, а женщины собирают целые охапки цветов и долго-долго составляют из них букеты для украшения комнат. Конечно, автор дает понять, и не однажды, что Сент-Ботолфс — это не только «ласковая долина и спокойная река», но также и «край выстроенных назло соседям заборов и смертельных ссор», и тем не менее состояние умиротворенности сонного городка, живущего одновременно в прошлом и в настоящем, не в силах нарушить ни причуды старухи Гоноры, ни более драматические события — такие, как самоубийство Лиэндра.

Духовная близость всех горожан, опирающаяся на общность традиции и культуры, составляет основу той слегка иллюзорной даже в первой книге об Уопшотах атмосферы устойчивости замкнутого мирка, едва ли не случайного оазиса посреди суматошной абсурдной Америки середины XX столетия. Но и в последующих главах «Семейной хроники», сталкивая юных Мозеса и Каверли с чередой замысловатых и головокружительных приключений, Чивер не перестает утверждать притягательность нравственных ценностей уже очень старой Новой Англии. «Что мог бы сделать для него весь остальной мир, чего не могли бы сделать в Сент-Ботолфсе?» — в этой, казалось бы, случайной фразе — ключ к пониманию всей философии «Семейной хроники Уопшотов», автор которой твердо убежден, что у современного человека, существа, располагающего — к добру ли, к худу — поистине безграничными возможностями к адаптации, ничто, даже самое сумбурное или враждебное окружение, не в состоянии вытравить скрепленные вековыми традициями здравомыслие и порядочность.

Написанный шесть лет спустя «Скандал в семействе Уопшотов» уже несравненно менее идиллически; местами это попросту очень мрачная сатира на американское механизированное общество, снискавшее себе недобрую славу «кошмара с установками для кондиционирования воздуха» (выражение Г. Миллера). Из трех сюжетных линий романа особенно выразительна история взаимоотношений Каверли Уопшота с представителями новой технократии, «космиками», как их называют. Глава исследовательского центра управляемых ракет «доктор» Камерон — это хвастун, лжец и чудовищный эгоист, от капризов которого в некотором роде зависит судьба человечества. В полном соответствии с утверждениями своих многочисленных реальных прототипов Камерон верит в неизбежность ядерной войны; такие, как он, готовы испепелить планету ради торжества фанатичной идеи.

«Этот мучительный и едкий роман Джона Чивера — книга, обращенная прямо к нам и нашим современникам и написанная о нас самих»,— отмечал журнал «Сатердей ревью» вскоре после публикации «Скандала в семействе Уопшотов». С еще большим основанием сказанное справедливо в отношении «Буллет-Парка», который американская критика с редким единодушием назвала едва ли не самым примечательным событием в издательском сезоне 1968—1969 годов. Снискавший репутацию «величайшего знатока пригородной жизни» (то есть быта и нравов «среднего класса»), Чивер в «Буллет-Парке» решительно перешагивает через грань, отделяющую бытописательство от проникновенного художественного исследования, и в рамках сравнительно камерного произведения создает впечатляющую картину несоответствия материального изобилия Америки духовному голоду и чувству тоски, которым все с большей неотвратимостью подчиняются миллионы «средних» американцев. Блеск выставляемого напоказ богатства и нищета духа — об этом разительном и все углубляющемся контрасте свидетельствует все, что мы можем причислить к наивысшим достижениям американского критического реализма 60-х годов.

О том, что Буллет-Парк, как и любой другой городок «одноэтажной Америки», служит прибежищем «легиону духовных банкротов, отбивающих друг у друга жен, травящих евреев, ведущих ежечасную и бесплодную борьбу с собственным алкоголизмом», речь заходит уже на самых первых страницах произведения. Сам Чивер, словно спеша раскрыть замысел и философию книги, от имени некоего «исполненного праведного гнева подростка» выносит приговор миру лжи и фальши, в котором невозможны яркие страсти, а внешней респектабельности вполне достаточно для покрытия целой кучи мелких грешков. «К черту,— бормочет подросток,— к черту их всех! К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, к черту нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть! К черту их белые домики, что заложены и перезаложены от подвала до чердака! К черту этих хищников, что скармливают всю океанскую рыбу норке затем лишь, чтобы нацепить ее мех своим женам на шею! К черту их пустующие полки для книг, на которых покоится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу! К черту их лицемерие, ханжество, похоть и кредитные карточки! Да будут они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, все неистовство жизни! К черту, к черту, к черту!»

Блестящий монолог, совсем в духе сэлинджеровского Холдена Колфилда, вошедшего в сознание американской молодежи без малого двадцать лет назад. Но... «наш подросток, как и все подростки, был бы, разумеется, не прав»,— читаем мы уже в следующей фразе, и авторская ремарка становится первым звеном в той пронизывающей весь роман сложной системе иронических сопоставлений и контрастов, что, сообщая содержанию «Буллет-Парка» особую глубину и многоплановость, рождает попутно ряд недоуменных вопросов, разрешить которые можно, лишь учитывая все эстетические компоненты этой в чем-то необычной, несмотря на известную сюжетную незамысловатость, книги.

Разумеется, мещанство, косность и лицемерие во всех его проявлениях — основная мишень сатиры Чивера, и в многочисленных восклицаниях типа «как ничтожна эта жизнь, ограниченная коврами и креслами, как убого захламленное имуществом сознание» голос персонажа неразличимо сливается с голосом автора. Так называемые «благонамеренные граждане», или, согласно новейшей терминологии, «молчалив[illegible]

большинство», издавна составляли наиболее удобный объект для насмешек со стороны американских сатириков. Еще А. Бирс в «Словаре сатаны» определял понятие «моральный» как «отвечающий всеобщему понятию о выгоде», а для Г. Менкена не существовало более презренного феномена, чем «бубуазия» — неологизм, соединивший слова «буржуазия» и «буб», то есть «дурак».

«Бубуазия» 60-х годов широко представлена в романе Чивера. Это и «беззаветные жрецы светских обрядов» Виквайры, словно скопированные с диккенсовских Венерингов, и очень похожие на них Ридлсы («своих красивых детей они представляли гостям с видом торговцев, демонстрирующих новые модели автомобиля»), и, наконец, чета Левеленов, которые даже в дружеских вечеринках видят лишь удобное средство для уклонения от уплаты налогов. Недвусмысленное осуждение отчетливого коммерческого оттенка, скрывающегося в каждом поступке, каждом жесте обитателей Буллет-Парка, сообщает книге Чивера большую разоблачительную силу и превращает название вымышленного местечка в своеобразный символ современной Америки, подобный знаменитой «Главной улице» в романе Синклера Льюиса.

Но ведь в центре романа — история семьи Нейлзов: Элиота, Нэлли и их семнадцатилетнего сына Тони, чуть не ставшего жертвой изуверского преступления «чужака» Хэммера. Напрашивается вопрос: насколько их образы близки торгашеству и лицемерию своего окружения, насколько они «принадлежат» Буллет-Парку? В трактовке этой ведущей в книге темы Чивер особенно далек от всякой однозначности.

Едва ли можно сомневаться в том, что Нейлз и Нэлли, подобно уже знакомым нам Уопшотам,— порядочные люди без всяких особых оговорок и кавычек. Обычная для Чивера ирония на мгновение сменяется мягким юмором, когда он пишет, например, что Нейлз «заранее считал всех честными, положительными, чистыми и счастливыми, а потому на его долю часто выпадало разочарование». Без тени презрительной усмешки или, напротив, сентиментальности рисует он портрет Нэлли, лишь изредка лукаво подтрунивая над ее широким гостеприимством или «чрезмерным» целомудрием. Автора трогает глубина родительского чувства Нэлли и Нейлза к своему Тони; в интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» он признался, что, работая над романом, часто вспоминал о Вильгельме Телле и его любви к сыну, о желании уберечь его от беды.

Загадочная болезнь с мудреным латинским названием, внезапно поразившая Тони — символ того широко разлитого в мире неблагополучия, что в любой момент способно сокрушить шаткое равновесие в судьбе среднего американца. «Мы никогда не лжем... Мы не читаем чужих писем. Мы всегда поступаем честно. Мы не сплетничаем. Мы вовремя оплачиваем счета»,— эти наивные и сбивчивые речи Нелли, звучащие словно заклинание, призваны отогнать от ее дома злых демонов, уже не безымянных и безликих, превращавших, скажем, младших Уопшотов в беспомощных марионеток, а обнаруживающих четкую соотнесенность с наиболее зловещими чертами общественного уклада в современных Соединенных Штатах. «Они больше всех болтают о свободе и независимости, а сами поставляют деньги, оружие и экспертов для того, чтобы подавлять свободу и независимость... А ты думаешь, я располагаю свободой и независимостью в той мере, в какой бы хотел? Да, нет, одежда, личная жизнь и сами мои мысли в большой степени регламентируются кем-то сверху... Я ненавижу ложь и лицемерие, и, глядя на наше общество, которое терпит этих обманщиков, немудрено затосковать»,—так ораторствует Нейлз, перевоплощаясь на мгновение из добропорядочного семьянина чуть ли не в радикала, последователя Нормана Мейлера и Майкла Харрингтона. Но правда образа торжествует, и конец тирады Нейлза выглядит уже приглушеннее: «Впрочем, подчас я даже радуюсь, когда мне говорят, как я должен поступать. Я не всегда способен решить, что правильно, а что нет».

Благоразумие и порядочность людей, подобных Уопшотам и Нейлзам,— слишком ненадежные ориентиры в мире «хаотичном и искривленном», стремительно несущемся к неведомой цели. Мысли о зыбкости, неустойчивости, призрачности существования особенно настойчиво возникают при чтении «Семейной хроники». «Из вещества того же, как и сон, мы созданы. И жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена»,— этот монолог шекспировского Просперо звучит как поминальная речь над могилой Лиэндра Уопшота В романе «Буллет-Парк» писатель более пытлив и активен: здесь можно различить два варианта выхода из оцепенелости духовного тупика. Один — это обращение к моральной самотерапии, иллюзорной романтической мечте, предложенное Тони «святым человеком» гуру свами Рутуолой и словно бы заимствованное Чивером из позднего Сэлинджера, автора новелл «Френни» и «Зуи». Другой — путь демонстративного протеста против трясины обывательского существования, подсказанный Полю Хэммеру его эксцентричной матерью, путь ритуального жертвоприношения во имя принципа «цель оправдывает средства», а потому и отвергаемый Чивером от лица незыблемых законов человеческой природы, человеческого общежития.

Образ Хэммера выдержан в довольно условных тонах и в целом не претендует на полное психологическое правдоподобие. Но, очевидно, автора «Буллет-Парка» интересовала лишь функциональная роль этой фигуры в общем философском контексте произведения. По существу, навязчивая идея, завладевшая Хэммером, некоторым образом соотносится с дилеммой, стоявшей перед Раскольниковым: можно ли оправ-

дать убийство невинного существа самыми что ни на есть «высокими» побуждениями? И столетие спустя после выхода в свет «Преступления и наказания» американский писатель подтверждает правоту нравственного императива, выстраданного героем Достоевского. Ущемленный в социальном плане своей незаконнорожденностью, остро ощущающий кризис буржуазного общества и находящий верные слова для его критики, Поль Хэммер вместе с тем — самый настоящий, без всяких скидок и примесей, Злодей в той откровенно символической драме, что разыгралась на фоне декораций тихого нью-йоркского пригорода. Покушение на бедного Тони, который тоже (и в этом — одно из проявлений постоянно присутствующей в книге иронии) по-своему, по-мальчишески глубоко переживает вынужденную пустоту существования людей, подобных его родителям, выглядит чудовищным. Да, в самом деле жизнь Америки непривлекательна, скучна, чудовищна, скорее всего даже безумна — такой мы ее видим в этом увенчанном едва ли не пародийной концовкой романе («...и жизнь сделалась прекрасной, прекрасной, прекрасной, прекрасной, как всегда»). Автор лишний раз подчеркивает глубину трагизма, заключенного в самой обычной американской повседневности.

Итак, роман Чивера противоречив, но неустойчива и противоречива сама действительность, предстающая взгляду реалиста. «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная»,— писал в одном из своих писем А. П. Чехов. Джон Чивер следует этому принципу, и в зарисовках социальных гримас и гротесков, порождаемых буржуазным строем, и в своих довольно-таки многочисленных экскурсах на «темные равнины американского сексуального опыта» (кстати, разрабатывая данную тему все же несравненно более сдержанно, чем большинство его соотечественников-писателей). Хотя Чивер и потомок массачусетских янки, в литературе он не пуританин, и этот «опыт» вторгается в его книги, ибо в наши дни даже маленькая миссис Элиот Нейлз начинает понимать, что «если ее душевное равновесие зависит от закрытых дверей, то многого ли оно стоит, это душевное равновесие?»

Подобно Чехову, Чивер не любит читать мораль и сторонится безапелляционной оценки жизненных обстоятельств. Читая некоторые страницы «Буллет-Парка» (сцена в полицейском участке, посещение Нэлли театра в Нью-Йорке и др.), можно подумать, что бизнесмены-обыватели для Чивера порой не более стереотипны, чем бродяги, демонстранты и прочие «возмутители спокойствия», тем или иным образом бросающие вызов «обществу изобилия». Но этот кажущийся «плюрализм истин» не мешает выявлению подлинной, основной позиции Джона Чивера — вдумчивого и внимательного наблюдателя человеческих судеб, глубоко сознающего свою ответственность за каждый этический совет, за каждую художественную рекомендацию, которых так много в его книгах о современных американцах.

**А. МУЛЯРЧИК**

# РЭМОН КЕНО

■

*Вступление САМАРИЯ ВЕЛИКОВСКОГО*

*Перевод с французского МИХАИЛА КУДИНОВА*

«Одна из загадок сегодняшней нашей литературы». «Самый неуловимый из наших писателей». Замешательство, сквозящее в этих почти наугад взятых суждениях о Рэмоне Кено знатоков — составителей двух недавних словарей по литературе Франции,— довольно трудно увязать с тем широчайшим признанием, каким он пользуется у себя на родине, да и за ее пределами. Его озорной роман «Зази в метро» для многих французов примерно такой же веселый катехизис, как у нас «Двенадцать стульев»: в кружке приятелей, неравнодушных к острому словцу, наверняка находится балагур, готовый по любому поводу «шпарить» куски из нее, вызывая дружные подсказки, дополнения, поправки. Среди парижан редко встретишь такого, кто бы не слышал песенки на слова Кено «Если ты думаешь...» — шутливого и толкового совета девчонке-недотроге не забывать, что юность проходит быстро и надо не упустить ее радостей, пока не поздно:

Кончится праздник,
весна быстротечна,
планеты по кругу
вращаются вечно,
а ты не по кругу,
ты прямо идешь
к тому, что не видишь,
к тому, что не знаешь,
и где ты улыбок
уже не найдешь.
Там ждут, там ждут,
тебя ждут морщины,
тройной подбородок,
угрюмые мины,
так помни об этом
и розы срывай,
срывай розы жизни,
срывай розы счастья,
покуда тебе
улыбается май.

А если ты их
не срываешь, девчонка,
то знаешь, девчонка,
ты дура, девчонка,
и ты уж сама
на себя
пеняй.

*(Перевод М. Кудинова)*

Озадаченность знатоков перед дерзким пересмешником, перелагающим на задорный уличный лад эпикурейское поучение почтенного возрожденца Ронсара — и еще многое другое, что освящено и вместе с тем несколько заархивлено своей принадлежностью к сокровищам из хранилища многовековой отечественной культуры,— можно, конечно, понять. Для них, посвященных в секреты парижской пишущей братии и лично сталкивающихся с Кено, этот приближающийся к своему семидесятилетию лирик эссеист, прозаик, киносценарист (он родился в 1903 году) — ученый муж, причастный к сонму вершителей писательских судеб из Академии Гонкуров, которая ежегодно увенчивает очередного счастливца самой взыскуемой из литературных наград во Франции. Товарищи по перу наслышаны о редкостной образованности Кено, владеющего добрым десятком языков и обширными познаниями в самых разных науках, о его трудах по философии математики (в частности, статье «Диалектика математики у Энгельса»), о выпускаемой под его наблюдением солидной «Энциклопедии Плеяды» о том, наконец, что в молодости он примыкал, хотя и не очень долго, к весьма герметичной авангардистской школе. Словом, по ходовым понятиям теперешнего интеллектуального Парижа, налицо как будто бы все показания к тому, чтобы ждать от него сочинений изощренно-трудных, где торжествует туманная зашифрованность и где раздолье для охотников до «расщепления волоска на четыре части».

У Кено, по преимуществу раннего, есть вещи лабораторные, оправдывающие эти ожидания: здесь нас то ли в шутку, то ли всерьез приглашают погрузиться в бездны странноватой (к тому же «карманно-переносной») космогонии, и тут впору запутаться даже умам, привычным к путешествиям через философические трущобы. Есть у не-

го и кибернетико-филологические шарады, вроде книжки «Сто тысяч миллиардов стихотворений», куда входят всего десять сонетов, каждая строка которых напечатана, однако, отдельно и взаимозаменяема со всеми остальными, так что желающие, согласно теории игр, могут составить из них $10^{14}$ (сто тысяч миллиардов) стихотворных текстов, а потом потратить на их чтение, как лукаво сообщается мимоходом, что-то около 190 258 751 года. Сам Кено однажды выказал недюжинное мастерство в такой богатырской словесной потехе, дав описание мелкого происшествия в девяноста девяти разных манерах — от анекдота на арго до пиндарической оды, от газетной хроники до сказочной баллады. И то, над чем другим пришлось бы попотеть, страдая от одышки, он проделал с легким изяществом, как бы невзначай и шутя.

Подобная языковая виртуозность, как и незаемный энциклопедизм «из первых рук», ошеломляют сами по себе, и все же дело не просто в них. Незаурядную культуру слова и знания Кено умеет растворить без остатка в книгах, по складу и сути своей совсем не книжных, просится сказать «изустных», не будь они написаны и отпечатаны. Нужно, вероятно, вернуться далеко в прошлое, к перелому от средних веков к Возрождению, к поре между Вийоном и Рабле, чтобы найти во французской словесности схожее сопряжение крайнего стилистико-версификационного изыска и вольной разговорной стихии, ученого гуманизма и житейской умудренности, келейных поисков алхимического камня и простецких земных пристрастий, трагических дум и площадного смеха.

Родство Кено со старыми мастерами тех лет вовсе не в том, что иной раз он им ловко подражает. Самый взгляд его на судьбы родного языка, а значит и всей духовной жизни народа, во многом воспроизводит ход их языкового мышления. С первых своих писательских шагов он натолкнулся на разрыв между речью книжной, повинующейся окостеневшим толкованиям словарей, этих «кладбищ языка», и речью живой, какую слышишь каждый день вокруг себя. Несовпадение этих двух потоков в их лексическом составе, синтаксическом строе, произношении и тем паче написании, по мнению Кено, в XX веке столь разительно, что в недрах обыденного разговора вызревает прямо-таки «третий французский», внук старофранцузского и сын того французского языка, который бурно складывался при Рабле и получил картезианскую завершенность у классиков XVII столетия и тогдашних академических грамматиков. Помочь просящемуся теперь на свет божий младенцу окрепнуть, выпестовать его и дать ему права литературного гражданства, ввести в книжный обиход не только выхваченные из говора толпы словечки и обороты, но и постепенно вырабатываемые в громадной мастерской народа-языкотворца навыки их подгонки друг к другу — призвание и долг писателя перед соотечественниками, сегодняшними и завтрашними. Кено видит одну из насущных задач в том, чтобы закрепить на бумаге улавливаемые пока что чутьем, на ощупь языково-мыслительные повадки рядового француза[1] и тем способствовать их кристаллизации, четкому осознанию, а в конце концов и закреплению в некоем своде, который в старину называли «риторикой».

Помимо широкого лингвистического кругозора, без чего не отделить случайные поветрия от коренных сдвигов, берущемуся за такое дело необходим безупречный слух, и тут у Кено, по общему признанию, едва ли найдутся равные соперники. Слово для него — не знак чего-то иного, подразумеваемого, а почти имя, накрепко сросшееся с обозначаемым, вобравшее в себя кровь и плоть вещи, ее материальность. У каждого свой облик, тело, привычки, своя биография и свой нрав: есть слова покладистые и есть строптивые, беспечные и свирепые, хрупкие и кряжистые, задиры и неженки. Из года в год Кено продолжает пополнять свое ars poëtica, впервые выделенное им в особый раздел в книге стихов «Роковое мгновение» (1946), и всякий раз исходным моментом ему служат не умозрительные установки, а вновь и вновь повторяющееся на разные лады раздумье о том, что писательство — в первую очередь приручение слов совсем заурядных и — когда найдешь к ним подход — очень щедрых: «Возьми их на руки и ощути, как они перебирают лапами, как постукивает их сердце, точно у собачонки, погладь их вдоль шерсти, чтобы они успокоились, положи их на колени, чтобы они смолкли». Или труд лирика рисуется — не менее наглядно, без выспренних словес о божественном вдохновении — как приготовление блюда из слов, когда их солят и перчат, ставят на огонь, помешивают, приправляют специями, чтобы взять от них потом самое вкусное и душистое. И тогда им, обласканным, заботливо ухоженным, очищенным от шелухи и умело обработанным, можно вполне довериться, они не подведут и сами скажут то, что нужно, сами, без принуждения, лягут туда, куда следует. Они будут весело играть между собой в каламбурах, затейливых присказках, стишках-перевертышах, а после замрут в чеканных стройных афоризмах или сокрушенно поникнут от скорби в печальных строках. Но во всех случаях их встречам между собой обеспечена живая естественная раскованность — та самая заново явленная бесхитростная простота, что требует хитроумнейшей изобретательности и иной раз может поразить, как откровение.

Безыскусность весьма и весьма искусного Кено — меньше всего ненароком, по счастливой прихоти случая найденный «почерк». Она прямо вытекает из его миросозерцания. А последнее складывалось, как свидетельствует его ранняя, достаточно

[1] При передаче их по-русски приходится быть крайне осторожным, поскольку у нас совсем иное расстояние между речью письменной и устной.

«темная» лирика и особенно подводящее под ней черту хрестоматийное «Объяснение метафор», по мере мучительного отстранения от крайне занимавших его поначалу головоломок нашего земного удела, которые принято причислять к «вечным» по причине их всегдашней неотвязности и всегдашней же неразрешимости. Отчаяние ответов задано уже в самой постановке тех вопросов, что осаждают ум всякого возжаждавшего уяснить самые что ни на есть конечные, самые последние «отчего?». Кто я, тленная тварь или венец творения? Почему так устроено, что все перемещается во времени и пространстве и невозможно указать точную точку нашего пребывания в них, ибо в самый момент обозначения она уже другая? Благодатные боги или злокозненные демоны повелевают вселенной? Или те и другие совместно, раз добро немыслимо без зла, день без ночи, звуки без молчания, дерево без тени, жизнь без смерти, бытие без небытия? Трудно не задуматься хотя бы однажды над всем этим и вместе с тем можно сколько угодно без толку биться над квадратурой метафизического круга. Конец тут всегда один — заплутавший растерянный дух. Кено лично выстрадал эту трагедию заблудившегося в непролазных дебрях сознания, чтобы не только никогда не забывать о ней, не только искренне о ней поведать, но и попробовать в конце «Объяснения метафор» наметить выход за ее пределы, туда, где удается стряхнуть наваждение раздвоенности и ступить на твердую землю. Скиталец делается пришельцем и обретает гавань, когда решается отринуть от себя бесплодные иссушающие умствования и заключить дружбу с очевидным, доступным, обычным, здешним. Это и есть для Кено «храм вечности», где живой человек у себя дома, где он дышит легко и свободно, а не простерся в трепете перед неуловимыми надмирными сущностями — химерами своего же собственного вымысла. Жизнь, по Кено, нет особого смысла проводить в терзаниях по поводу ее смысла или бессмыслицы, живи не мудрствуя слишком уж лукаво и, следовательно, не тщись облекать пережитое в чересчур мудреный рассказ. Недаром стихи Кено о смерти не тягостны, не подавляют: он вызывающе безразличен к тому, что будет «потом», за гробовой доской, и страшится лишь того, что «до», что еще жизнь, но, увы, угасающая — немощь, боль, страдания. Не будь их, не стоило бы, пожалуй, и убиваться.

Сражения личности, одержимой бесом конечного всезнайства, с ветряными мельницами извечно-надмирного промысла тем более праздны, а иной раз и попросту вредны, что захваченные их пылом воители частенько с равнодушием взирают на повседневные горести, причиняемые людьми своим ближним по злобе, из тиранства или ради выгоды. Высоколобость здесь оборачивается своей изнанкой, служа вольному или невольному оправданию низостей, кровожадных страстей, насилия, чинимого в огромных исторических масштабах. В 1938 году, когда близились к своему катастрофическому исходу события в Испании и на Францию уже наползала издалека туча чужеземного вторжения, Кено, вообще-то не очень склонный к прямой гражданской лирике, выступил с отповедью тем, кто играл в поддавки с бедой. «К другим» — озаглавлен этот гневный вызов, потому что «согласные с существованием богачей и бедняков, зла и добра, милостыни и кулачной расправы, королей на тронах и обездоленных в лачугах» — все покорные, отошедшие в сторонку и тем самым вольно или невольно благословляющие беспорядок вещей на земле, сами отлучают себя от рода людского: «Раз вы говорите «да» горю человеческому, зачем тогда макаете хлеб свой в нашем супе, зачем пригубливаете вино наше?». В дальнейшем из-под пера Кено, особенно в его последнем сборнике «Деревенские прогулки» (1968), выйдет немало острых социально-житейских зарисовок, показывающих, с кем он сам заодно и накоротке. Они привлекательны даже не столько меткостью схваченных им примет дурно устроенной жизни, сколько тем не нуждающимся в громких клятвах чувством кровного братства с обитателями парижских окраин и крестьянами дальних деревень, которое позволяет ему вполне разделить их невзгоды, надежды, чудачества, радости, обиды, заботы, незадачи.

Да и в том, что прежде всего прославило имя Кено — в его смехе,— он прямой потомок поколений галльских острословов, полномочный теперешний представитель их непочтительного племени, не иссякшего невзирая на натиск изрядно расплодившихся мизантропических плакальщиков и апокалипсических прорицателей. Конечно, наивная беспечность в наш век — нелепица, порой соприкасающаяся с кощунством, и в юморе Кено отчетливо различима какая-то затаенная грызущая тревога. Но он не дает ей возобладать, повергнуть себя в ущербное уныние. У него здоровая простонародная неприязнь ко всему вымученному, надутому, важничающему, пыжащемуся от почтения к собственной особе, и он поделом выпутать замашки чванных ничтожеств. Снобствующее шаманство, кичливое суемудрие, ханжеская благопристойность, витийственное парение краснобаев, бряцание оружием парадных стратегов, проповеди лицемеров — весь этот очень ветхий и всегда, к сожалению, обновляющийся балаган норовящих **слыть**, а не **быть** издевательски выставлен у Кено на потеху честному народу.

А наряду с веселым развенчанием лжесвященного этот насмешник из породы бурлескных сочинителей знает цену шутке беззлобной, приветливой. В книге с причудливо-забавным названием «Пес с мандолиной» (1958) смех Кено поворачивается своей доброй гранью. Не доверяя умильной растроганности, как и хмурой поучитель-

ности, он неизменно добавляет свою улыбку повсюду, будь то исповедь, меланхолическая жалоба, прославление прелести обыденного или трудное размышление. Она не разрушает ни очарования момента, ни серьезности сказанного, зато снимает оттенок навязчивой нескромности.

Надо жить, чтобы счастливым быть.
Чтоб несчастным быть, жить надо тоже.
Поговорку — даже две! — сложить
Смог философ. Был он пьян, похоже.

Кено сплошь и рядом, как в этом миниатюрном «символе веры», философствует балагуря и балагурит по-философски умно.

Сто с лишним лет назад Виктор Гюго гордился тем, что надел на родной язык красный колпак якобинства. Рэмона Кено одни упрекают, другие хвалят за попытки примерить к нынешнему французскому колпак шутовской. Если вспомнить, что незаурядный ум, мечтательность и печаль ничуть не чужды шутам и что с древности, от дразнившего сограждан из своей бочки Диогена до шекспировских шутов, они были еще и мудрецами, то в «загадку Кено» можно, пожалуй, и проникнуть.

## *В защиту искусства поэзии*

При выборе точном, на точном месте
Слова отдельные, взятые вместе,
Поэзией станут. Но только сперва
Любить их надо, эти слова.
О чем говорится в стихотворенье,
Не знают порой при его зарожденье:
Тогда надо смысл отыскивать в нем,
Чтобы названье придумать потом.
Однако бывает и так при удаче:
Стихи сочиняют, смеясь и плача.
И что-то таит в себе радость и страх
В стихах.

## *Сиреневый цвет*

Сиреневый цвет,
И цвет бледно-рыжий,
И небо Парижа,
И запах Парижа,
Минувшего голос,
Метро как прибой,
Толпа, что страдает
От боли зубной,
Охотничий рог —
И клаксонов напевы,
Дворец из стекла
Близ святой Женевьевы,
Библиотека
Вблизи Сен-Виктор,
Где крокодил
Распростерся устало
Близ лабиринта,
Кедра,
Вокзала
Лионского,
Близ Риволи

И Конкорд,
Рядом с мостом
И другими мостами,
Мостами весь день
И всю ночь напролет,
И грех, и крушенье,
И кошки больные,
Которых бросают
В свинцовую воду,
И парк Бют Шомон,
И каналы весною,
И столько часов,
И столько невзгод,
И столько светил,
И столько сиянья
Над старым Парижем,
И вздох мой невольный,
И в сердце усталость,
А сердце осталось
По-прежнему там,
Где воздух сиренев
И где бледно-рыжи
Мосты Парижа
Под небом Парижа.

## *Амфион*

Париж, вас пленявший когда-то,
Не тот, что нами любим...
Идет он, не зная возврата,
К иным очертаньям своим.

Пути, расписанья, маршруты,
Былой топографии след...
Тропинки памяти круты
И стерты за давностью лет.

И нас, если хватит терпенья,
Без карты в руках не поймут...
И все это жизнь и забвенье
Утраченных дней и минут.

## *Не так уж я боюсь*

Не так уж я боюсь, что все мои суставы
Умрут, и нос умрет, и уши заодно.
Не так уж я боюсь исчезнуть: я ведь, право,
Лишь мошка смертная, то бишь Рэмон Кено.

Не так уж я боюсь, что станется с лотками
Книг старых, с набережной, с пылью и тоской.
Не так уж я боюсь, я, пишущий годами
И поминавший смерть в стихах своих порой.

Не так уж я боюсь. Ночь мягкая струится
Меж смутных берегов — смеженных мертвых век.
Она тиха, та ночь, как ласка смуглолицей,
Как мед двух полюсов, закутавшихся в снег.

Я ночи не боюсь. Мне вечный сон не страшен.
Должно быть, как свинец, тяжел он. Так же сух,
Как лава мертвая. Чернее черных башен.
И словно нищий на мосту соседнем — глух.

Иного я боюсь: страдания и горя,
Тоски, что заглушит привычный жизни шум,
Той пропасти боюсь, где, меж собою споря,
Живут болезнь, и боль, и потускневший ум.

Но не боюсь уж так я мрачного кретина,
Который подцепить придет меня на крюк
В тот миг, когда мой взгляд, став мутным словно
тина,
Простится с мужеством, и свет померкнет вдруг.

Я буду воспевать Улисса и Ахилла,
И Дон Кихота, или Санчо, или тех,
Кто счастлив, или то, что просто сердцу мило:
Лес, речку, удочку, вдали звенящий смех.

Сегодня же, устав от круговых движений
Двух стрелок на часах, я говорю грустя:
Позвольте мне пропеть, о, тыща извинений,
Пропеть вам жалобную песнь небытия.

## *Человек трамвая*

Человек, который вдоль берега Сены
Шагает по набережной ночною порой,
Человек, за которым его тень неизменно
Следует по прямой и следует по кривой,—

Человек этот чувствует боль в ногах,
И усталость навалилась ему на плечи,
И каждый шаг его и руки его взмах
Кажутся длинными, как зимний вечер.

Уже целый час не ходит трамвай,
И, шагая по улице, открытой для ветра,
Своими подошвами человек
Отмеривает километры.

Он спешит к любовнице, малопочтенной девице,
Что шатается по панели, каблуки сбивая,
И время ненасытное так быстро мчится
В ее комнате, где живет теперь человек трамвая.

А утром на работу он уходит опять,
И к трамвайному депо все та же дорога,
И покуда его красавица продолжает спать,
Он вздыхает: «Хорошо, когда любят тебя хоть
немного».

## *Поездка в город под дождем*

Грязь месят и ждут,
Автобуса ждут,
Пришел с опозданьем
На сорок минут.

Сидячих мест нет.
Обидно до слез.
Грязь брызжет фонтаном
Из-под колес.

Вспотевшие стекла.
Крутой поворот.
Одеждою мокрой
Пахнет, и вот

Приехали в город...
Толчки. Оскорбленья.
В глазах у ажанов
Сплошное презренье.

Раз ты из деревни,
О чем толковать?
На рынок пришел —
Тебя будут толкать;

В кафе завернул —
Не обслужат как надо:
Пашите, мол, землю,
А здесь вам не рады.

День кончился.
Лезут в автобус опять
И едут по грязи —
Шоферу плевать.

А вот и деревня,
И дом, и ограда,
И песня про дождь,
Про пастушку и стадо.

## *Прохожий*

Усердно морща лоб, задумчивый прохожий
Природу созерцал и видел, что она
Противоречьями и гайнами полна,
Полна миазмами, но и цветами тоже.
Куда ни кинешь взгляд, вокруг луга, леса,
Вулканы и сады, земля и небеса,
Коровы, зяблики, пустыни и заливы,
Навозные жуки, и облака, и сливы...
И вот еще сильней свой лоб он морщить стал
И созерцал, и созерцал, и созерцал
Природу... А потом закапал дождик мелкий.
Прохожий посмотрел на часовые стрелки,
И зонт раскрыл, и в путь отправился опять,
Невнятно прошептав: «Нет, не могу понять».

## *Объяснение метафор*

Вне пространства и времени, сбился с пути
Человек — ноздри в пене, сломавшийся взор,
Незаметней пылинки, огромней зари,
И пытаясь руками нащупать простор,

Впрочем, несуществующий... «Но посмотри,—
Кто-то скажет,— а в чем же метафор значенье:
Незаметней пылинки, огромней зари,
И зачем эти ноздри вне трех измерений?»

Если время назвал я, его еще нет,
Если место назвал, исчезает оно,
Если я говорю «человек», то в ответ
Мне звучит: он умрет или умер давно.

Если я говорю о пространстве, то в нем
Появляется бог, чтоб разрушить его,
Если слышу молчанье, то ночью иль днем
В том молчанье другое ревет божество.

Эти боги как демоны... Всюду они!
Лица пеной покрыты, дымящийся взор,
Незаметней пылинки, огромней зари,
И пытаясь руками вцепиться в простор,

Впрочем, несуществующий... «Но посмотри —
Кто-то скажет,— а в чем же метафор значенье:
Незаметней пылинки, огромней зари,
И зачем эти лица вне трех измерений?»

Если «боги» сказал я, то лишь потому,
Что незримо они покрывают моря,
Что полет их бессмертен, что свет или тьму
Наполняя, они над землею парят;

Что живут они, скрытые, в недрах земных,
Благотворным дыханием их напитав;
Что руда, минералы и уголь — от них,
И подвластен им рост и деревьев и трав.

Это боги иль демоны? Рядом, вдали —
Всюду ноздри их в пене, дымящийся взор,
Незаметней пылинки, огромней зари,
И пытаясь руками вцепиться в простор,

Впрочем, несуществующий... «Но посмотри,—
Кто-то скажет,— а в чем же метафор значенье:
Незаметней пылинки, огромней зари,
И зачем эти руки вне трех измерений?»

Нет, то демоны! Этот вверху, тот внизу;
Есть у дня своя ночь, есть у ночи свой день,
У добра — свое зло, у молчанья — свой звук,
И у каждого дерева есть своя тень.

Это все отраженья, все образов рой
Негативных, что мчатся к черте бытия,
Уводя в пустоту свой бесчисленный строй
И для истины каждой подобье творя.

Но не бог и не демон, то сбился с пути
Человек — ноздри в пене, сломавшийся взор,
Незаметней пылинки, огромней зари,
И пытаясь руками нащупать простор,

Впрочем, несуществующий... Бродит он там,
Но не так уж огромен, не так уж он мал,
Слишком мускулов много, и каждый устал,
И наступит покой, когда Вечности храм
Распахнется, чтоб вечным пришелец в нем стал.

## *Закат*

Побагровевшее солнце,
готовясь уйти на ночлег,
закуталось в дымку,
но все еще медлит спуститься
за горизонт, в подземелье,
где свито гнездо его,
солнце
бросает прощальные взгляды на мир,
вспоминая при этом Коперника,
Кеплера и Галилея,
открывшего пятна на солнце,
всех тех вспоминая,
кто проявлял к нему интерес,
и на это не сердится солнце — напротив,
такое вниманье приводит его в умиленье,
и думать не может оно без волненья
о том, что некогда Анаксимен
считал его плоским, как лист,
а Гераклит полагал,
что оно толщиною в стопу человека,
и, вспомнив все это,
наконец удаляется солнце,
уходит оно на ночлег
до наступленья рассвета.

## *Стихи с многоточиями*

Мосье, гуляя по городу,
удар получил по черепу:
упал на него цветочный горшок,
хулиганами сброшенный сверху...
..... Однако
не видно вокруг хулиганов,
потому что в зале Плейель
сегодня все хулиганы
слушают Моцарта...
..... Значит,
во всем виноват сквозняк...

..... Однако
и это не так, потому что ветер сегодня
отвратительно вял и спокоен,
и был не способен он сбросить
горшок с резедою...
..... И все же
мосье, гуляя по городу,
удар получил по черепу...
..... Как? Без всякого повода?
..... Как? Без всякой причины?
Непонятно!
И этой проблемы
глубину никто не измерит...

Мосье к разбитому черепу
прикладывает антисептический пластырь

и больше ни во что не верит.

## *За и против*

Серая птичка в манжетах
воскликнула:
мяу-мяу!
Нет, это вовсе не птица, а кот.
Вот что значит писать слишком быстро!
Когда слишком быстро начинаешь писать,
рассчитывать надо на вдохновенье,
на счастье,
легко тут запутаться можно,
и все же, и все же
это именно то, что хотел я сказать:
серая птичка в манжетах
у меня говорит по-кошачьи...
Конечно, я понимаю, что это значит.
Однако мне эти стихи написать
не помешало мое пониманье.
Вниманье: дурному примеру легко подражать!

## *Ребенок сказал*

Ребенок сказал:
«Я знаю стихи».
Ребенок сказал:
«Я и раньше их знал».

Ребенок сказал:
«Они в сердце моем.
Прочту наизусть их
И ночью и днем».

Ребенок сказал:
«А у вас все не так:
Прочесть их без книги
Нельзя вам никак».

Если бы крылья
Имел поэт,
Дети за ним
Полетели бы вслед.

# МИШЕЛЬ БЮТОР

# *Изменение*

РОМАН

*Перевод с французского*
*С. ТАРХАНОВОЙ и Ю. ЯХНИНОЙ*

**Часть первая**

## *I*

Ты ставишь левую ногу на медную планку и тщетно пытаешься оттолкнуть правым плечом выдвижную дверь купе.

Ты протискиваешься в узкую щель между дверью и косяком, затем, сжимая разгоряченными от натуги пальцами липкую ручку чемодана — нелегко было дотащить его сюда, твой чемодан из шершавой темно-зеленой кожи, хоть он вовсе не так велик и тяжел, настоящий чемодан бывалого путешественника,— ты поднимаешь его, чувствуя, как напрягаются мышцы и сухожилия не только в пальцах, кисти и предплечье, но также и в плече, во всем правом боку и вдоль позвоночника — от шеи до поясницы.

Нет, эту непривычную слабость не объяснишь только ранним часом, тем, что утро лишь начинается,— это годы уже предъявляют права на твое тело, а ведь тебе всего сорок пять.

Глаза у тебя слипаются — они словно подернуты мутной пеленой, сухие веки больно трут их, виски стиснуты обручем, и кожа на них словно покоробилась и омертвела, волосы твои, уже начавшие редеть и блекнуть,— это пока незаметно для посторонних, но заметно тебе самому, и Анриетте, и Сесиль, и с некоторых пор даже твоим детям,— волосы твои сейчас слегка взъерошены, и все твое тело в неудобном, сдавившем и отяготившем его костюме, твое тело, еще не покинутое сном, словно погружено в бурливую и пенистую, кишащую инфузориями жидкость.

Ты вошел в это купе только потому, что слева есть свободное место у стеклянной перегородки, отделяющей купе от коридора, то самое место по ходу поезда, которое, если б еще оставалось время, ты, как всегда, поручил бы Марналю заказать для тебя,— впрочем, нет, ты сам заказал бы его по телефону, ведь в фирме «Скабелли» никто не должен знать, что ты на несколько дней умчался в Рим.

Справа от тебя сидит человек — лицо его на уровне твоего локтя,— как раз напротив того места, которое ты хочешь занять; он немного моложе тебя, ему от силы лет сорок, он выше тебя ростом, бледен и раньше тебя поседел; глаза его, такие большие за толстыми стеклами очков, часто моргают, и руки у него длинные, беспокойные, с обгрызанными, пожелтевшими от табака ногтями, с тонкими пальцами, которые он нервно сцепляет и расцепляет в лихорадочном ожидании отправления; по всей вероятности, именно ему принадлежит и черный портфель, набитый

папками, разноцветные корешки которых вылезают из разошедшегося шва, и книги, наверняка скучные, в твердых обложках,— они красуются над его головой, словно герб, словно девиз, не ставший менее выразительным или более загадочным из-за своей вещественности, хотя это не слово, а вещь, чья-то собственность, лежащая на металлической сетке с квадратными дырочками и прислоненная к перегородке, которая отделяет купе от прохода.

Человек этот смотрит на тебя, досадуя, что ты застыл на месте и не даешь ему вытянуть ноги; он хотел бы попросить тебя сесть, но робость не позволяет ему это сделать, и он отворачивается к двери и отодвигает пальцем синюю занавеску, на которой вытканы буквы SFCN [1].

Рядом с ним пока никого еще нет, но место занято: на зеленом дерматиновом сиденье оставлен длинный зонтик в черном шелковом чехле, а на полке — чемоданчик из непромокаемой шотландки, с двумя узкими, ослепительно сверкающими медными замочками, а дальше сидит молодой человек — он, видимо, только что демобилизовался,— блондин в костюме из светло-серого твида, с галстуком в косую красную и лиловую полоску: он держит за руку молодую женщину с волосами чуть темней его собственных и играет с ней — щекочет пальцем ее ладонь, а она умиленно следит за этой игрой и не отнимает руки, хотя, на мгновенье подняв на тебя глаза и заметив твой взгляд, тут же опускает их.

Это не только влюбленные, но и супруги — на руках у обоих новые золотые кольца, должно быть, это молодожены, совершающие свадебное путешествие; быть может, по этому случаю они и купили — если только это не подарок какого-нибудь щедрого дядюшки — вон те два совершенно одинаковых, новеньких чемодана из свиной кожи, которые лежат один на другом над их головами и к ручкам которых подвешены на узеньких ремешках кожаные вкладыши для визитных карточек.

Из всех пассажиров купе они одни заказали билеты: на никелированном поручне неподвижно висят рыжие бирки, и на них крупными черными цифрами обозначены номера мест.

У окна, на противоположном сиденье — один-единственный пассажир, священник лет тридцати, уже несколько располневший, подчеркнуто опрятный, только пальцы правой руки пожелтели от табака; он пытается углубиться в чтение требника со множеством картинок, а над его головой торчит папка серовато-черного, почти асфальтового цвета, ее длинная застежка-молния полуоткрыта и ощерилась, словно пасть морской змеи с мелкими острыми зубами; папка лежит на багажной сетке, куда ты, поднатужась, словно жалкий ярмарочный атлет, рывком поднимающий за кольцо огромную полую гирю, забрасываешь свой багаж одной рукой — другой ты по-прежнему сжимаешь только что купленную книгу,— забрасываешь свой чемодан из шершавой темно-зеленой кожи с вытесненными на нем инициалами «Л. Д.», подарок твоей семьи к прошлогоднему дню рождения: тогда этот чемодан был довольно импозантным и вполне подходил для человека, занимающего пост директора парижского филиала фирмы «Скабелли (пишущие машинки)», да и сейчас еще на первый взгляд кажется вполне приличным, хотя при более пристальном изучении можно заметить на нем жирные пятна и ржавчину, которая уже начала исподтишка разъедать замки.

Сквозь окно, в просвете между священником и изящной, хрупкой молодой женщиной, потом сквозь другое окно другого вагона в купе устаревшего образца, с желтыми деревянными сиденьями и веревочными сетками, виднеющимися в полутьме за переменчивыми отблесками стекол, ты довольно отчетливо видишь человека одного с тобой роста — ты не мог бы определить его возраст или с точностью описать его костюм,—

[1] Сокращенное название Национального общества железных дорог Франции.

и человек этот повторяет, только еще более медленно и устало, все те движения, которые ты только что проделал сам.

Опустившись на свое место, ты вытягиваешь ноги так, что между ними оказываются ноги сидящего напротив интеллигента, и на лице его сразу отражается облегчение, и он, наконец, перестает сцеплять и расцеплять пальцы, расстегиваешь плотное ворсистое пальто на блестящей муаровой подкладке и раздвигаешь полы, открыв колени, обтянутые брюками из синего сукна — складка на них уже разошлась, хотя ее загладили только вчера,— правой рукой ты развязываешь и разматываешь шарф крупной вязки из толстой двухцветной шерсти, и сочетание желтых и белых пятен напоминает тебе яичницу; небрежно сложив шарф втрое, ты засовываешь его в широкий карман пальто, где уже лежат сигареты «Голуаз» и коробка спичек и в швы забились крупинки смешанного с пылью табака.

Затем, ухватившись за блестящую металлическую ручку — ее темный железный стержень уже проглядывает сквозь облупившуюся никелировку,— ты пытаешься закрыть выдвижную дверь: поначалу она слегка поддается, но потом отказывается тебе повиноваться, и в эту самую минуту в окне справа возникает низенький человечек с румяным лицом, в черном плаще и котелке и, подобно тебе, проскальзывает в дверную щель, даже не попытавшись ее расширить, словно он заранее уверен, что и замок и дверь неисправны, и как только ты убираешь ноги, он безмолвно извиняется едва заметным движением губ и глаз, что вынужден тебя потревожить; человечек этот — по всей вероятности, англичанин,— судя по всему, и есть обладатель черного шелкового зонтика, лежащего поперек обитого зеленым дерматином сиденья; он и вправду берет его в руки и перекладывает, только не на багажную сетку, а чуть пониже, на узкую металлическую полочку, рядом со своим котелком, пока единственным в этом купе; наверно, человечек несколько старше тебя — залысины на его лбу гораздо больше твоих.

Справа, сквозь прохладное стекло, к которому ты прислонился виском, и сквозь полураскрытое окно в проходе, мимо которого только что прошагала запыхавшаяся женщина в нейлоновом плаще, ты снова видишь перронные часы — их контуры едва различимы на фоне серого неба, узенькая секундная стрелка все так же мчится по кругу прерывистыми скачками, а две другие показывают ровно восемь часов восемь минут, и, значит, до отъезда еще целых две минуты, и, по-прежнему сжимая в левой руке книжку — ты купил ее в зале ожидания, почти не задержавшись у прилавка, просто потому, что серия тебе знакома, не посмотрел даже ни на имя автора, ни на название,— ты открываешь на запястье часы на ярко-красном кожаном ремешке, прячущиеся под тройным — белым, синим и серым — рукавом рубашки, пиджака и пальто, квадратные часы со светящимися в темноте цифрами из зеленоватого фосфоресцирующего вещества, и тут же переводишь стрелку, потому что твои часы спешат: на них уже восемь двенадцать.

За окном на перроне самоходная тележка, лавируя, прокладывает себе путь в серой суетливой и говорливой толпе, где, увязнув в прощальных разговорах и напутствиях, люди одним ухом все же прислушиваются к летящим из репродукторов обрывкам слов; затем среди шума трогается тот, второй поезд, проплывают один за другим зеленые вагоны, и вот уже самый последний уходит в сторону, точно край театрального занавеса, и твоему взору открывается неправдоподобно вытянутая в длину сцена — другой людный перрон с другими часами и другим неподвижным составом, который, надо полагать, отойдет лишь после того, как твой поезд покинет вокзал.

Веки у тебя слипаются, голова клонится книзу, тебе хочется забиться в угол, продавить в нем плечом уютную вмятину, но как ты ни си-

лишься устроиться поудобней, все напрасно; наконец ты вздрагиваешь от толчка, и твоим телом завладевает качка.

Пространство за окном неожиданно раздвинулось; приблизился и тут же исчез, скользя по исполосованной рельсами земле, крошечный паровозик: твой взгляд подхватил его на миг, выпустил, а следом за ним и облупившиеся задние стены высоких, давно знакомых тебе домов, скрещения железных балок, широкий мост, на который въезжает молочный фургон, дорожные знаки, столбы и разветвления проводов, улицу, которую ты пробегаешь глазами во всю длину и по которой мчится и заворачивает за угол велосипедист, потом еще вон ту, другую улицу, идущую вдоль железнодорожной колеи и отделенную от нее лишь хилым штакетником и узкой полоской неухоженной, жухлой травы; кафе, где сейчас поднимают железную штору; парикмахерскую со старинной эмблемой — конским хвостом, подвешенным к золотому шару; бакалейную лавку с огромными алыми буквами над входом; первый пригородный вокзал, где пассажиры ожидают другого поезда; высокие металлические башни газгольдеров, мастерские с синими оконными стеклами; вон ту большую облезлую печь; вон тот склад старых шин, вон те палисадники с подпорками для цветов и сарайчиками, а в тесных двориках — каменные домики с телевизионными антеннами.

Дома становятся ниже и лепятся как попало, все больше теперь прорех в плотной ткани города: придорожные кусты, первые деревья, сбрасывающие листву, первые лужи, первые клочки лугов и полей — зелень на них кажется серой под низким небом,— и за всем этим смутно проступающая на горизонте гряда покрытых лесами холмов.

Здесь, в купе, убаюкиваемые и истязаемые несмолкающим шумом, монотонный ритм которого временами нарушается проносящимися мимо колючими сгустками скрежета и воя, четверо пассажиров напротив тебя дружно раскачиваются, не произнося ни слова, не пытаясь даже шевельнуть рукой, а у окна священник с легким досадливым вздохом закрывает свой требник в переплете из мягкой черной кожи, зажав между страницами с позолоченным обрезом свой указательный палец вместо закладки, которая узенькой белой ленточкой свисает с корешка.

Все взгляды вдруг обратились к двери, которую одним ударом плеча, словно бы без труда, отодвинул высокий краснолицый мужчина — по всей вероятности, он вскочил в вагон в последний момент, когда поезд, дернувшись, отошел от перрона, и, швырнув в багажную сетку пухлый чемодан и что-то круглое, обернутое газетой и перевязанное размочаленной бечевкой, новый пассажир уселся рядом с тобой, расстегнул плащ, закинул ногу на ногу, вытащил из кармана журнал в цветной обложке и принялся разглядывать в нем картинки.

Его мясистый профиль заслонил от тебя священника, и теперь ты видишь лишь руку, лежащую на ребре окна и вздрагивающую от тряски: указательным пальцем священник среди неумолчного грохота машинально и неслышно постукивает по привинченной к раме узкой металлической пластинке, вдоль которой, как ты знаешь (хотя не можешь прочесть ее от начала до конца и лишь отгадываешь одну за другой горизонтальные буквы, словно бы расплющенные, раздавленные перспективой), тянется надпись на двух языках: «Высовываться наружу опасно.— È pericoloso sporgersi».

Стремительно проносясь черными полосками через весь оконный проем, мелькают один за другим металлические или бетонные столбы, взмывают вверх, расходятся, снова скользят вниз, сходятся, скрещиваются, множатся и вновь сливаются воедино, повинуясь ритмичной команде изоляторов, телефонные провода — они тянутся гигантским нотным станом, только без нотных знаков, обозначая звуки и созвучия одной лишь игрой своих линий.

Чуть дальше, чуть медленней, все реже перемежаясь пятнами поселков или домов, разворачивает свой фронт лесная гуща, то разрываясь просекой, то снова смыкая строй, словно желая укрыться за каким-нибудь одним рядом деревьев.

Поезд минует, нет, пересекает настоящую лесную чащу, потому что сквозь стекло, к которому ты по-прежнему прижимаешься виском, за окном прохода, теперь уже опустевшего, за окнами, длинной вереницей тянущимися до самого конца вагона, тебе открывается все та же картина нескончаемых блеклых лесных зарослей, с каждым метром становящихся все гуще и гуще.

Железнодорожная колея, прорезая чащу деревьев, идет по дну рва, который сужается кверху, так что тебе совсем не видно неба, а почва вокруг вздымается крутыми земляными и кирпичными откосами, и на одном из них — ты едва успел их заметить — мелькнули огромные буквы, прочерченные красным по белому квадрату каменных плит; ты, разумеется, ждал их, только, может быть, не так скоро, ведь ты уже видел их столько раз, ты высматриваешь их во время каждой поездки, если только за окном еще не стемнело, потому что они либо предвещают тебе скорое возвращение, либо подтверждают, что твое путешествие действительно началось.

Поезд минует станцию Фонтенбло-Авон. За окном прохода видно, как большой черный автомобиль останавливается у здания мэрии.

Если ты боялся опоздать на поезд, к тряске и шуму которого теперь уже успел привыкнуть, то вовсе не потому, что проснулся в это утро поздней, чем хотел,— наоборот, едва открыв глаза, ты первым делом протянул руку к будильнику, чтобы не дать ему зазвонить, в то время как рассвет уже вылепливал складки смятых простынь на твоей постели, выступавших из мрака, подобно привидениям, укрощенным и втоптанным в эту мягкую, теплую почву, из которой ты сам с трудом высвободил свое тело.

Обернувшись к окну, ты увидел волосы Анриетты, когда-то иссиня-черные, и ее спину, в первых блеклых, унылых лучах зари неожиданно и робко проступившую сквозь белую, полупрозрачную ночную рубашку и затем обрисовывавшуюся все более отчетливо по мере того, как Анриетта отодвигала и складывала железные ставни, покрытые липкой черной городской пылью и кое-где — язвами ржавчины, похожими на пятна запекшейся крови.

Сырой прохладный воздух ворвался в комнату, защекотал ноздри, и когда стал отчетливо виден весь проем окна, Анриетта, зябко стянув правой рукой вырез на увядшей груди, украшенный жалкими, бесполезными кружевами, подошла к зеркальному шкафу в стиле Луи-Филиппа и одним движением руки переместила отражение потолка и его лепного рисунка вместе с трещиной, которая с каждым месяцем становится все шире и которую тебе давно уже следовало бы замазать (в скупом свете, словно просеянном сквозь несчетные щели в слоистых серых облаках, даже красное дерево казалось бесцветным, и только в самом углу на лепнине дрожал медный отблеск, скорее рыжий, чем красный),— подошла и, приподняв голую руку и обнажив подмышечную впадину, среди всех этих висящих на плечиках платьев с вытянутыми прямыми рукавами, словно облегающими бесплотные руки прежних жен Синей Бороды, чьи призраки с беспощадной немой насмешкой покачивались в шкафу, среди всех этих платьев отыскала халат в крупную серую с желтым клетку, надела его, нервно затянув шелковый пояс, и в этом халате, усталая, озабоченная, настороженная, сразу стала похожа на больную.

Да, в ту минуту в ее глазах не было ласки, но зачем ей понадобилось вставать с постели, когда ты отлично справился бы без нее, как было условлено, как ты уже справлялся много раз, когда она уезжала на лето с детьми,— впрочем, дома Анриетта никогда не передоверяла тебе все эти мелкие хлопоты, так как была убеждена, что тебе без нее не обойтись, и стремилась убедить тебя в этом...

Ты подождал, пока она выйдет из спальни, тихо притворив дверь, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате сыновей, и тогда, надев на руку часы (было чуть больше половины седьмого), ты сел на кровати, сунул ноги в домашние туфли и, почесав голову, рассеянно взглянул в окно на купол Пантеона, смутно вырисовывавшийся на сером небе, неотступно размышляя о выражении лица твоей жены и спрашивая себя, разумеется, не о том, догадывается ли она вообще — в этом не могло быть ни малейших сомнений,— а только о том, как далеко она зашла в своих догадках, в частности насчет этой поездки, и насколько она тебя раскусила.

Конечно, тебе было приятно выпить кофе с молоком, который она для тебя сварила, но старалась она — да она и сама это знала — совершенно напрасно, потому что так или иначе ты позавтракал бы в вагоне-ресторане.

На лестничной площадке ты не посмел отказать ей в унылом прощальном поцелуе.

— Времени у тебя в обрез. Правда, в первом классе место всегда найдется.

Откуда ей было известно, что на этот раз ты не мог заказать билет? Ты ли сам рассказал ей об этом, и если да, то зачем? Так или иначе, она не может, никак не может знать, ни в каком вагоне ты сейчас едешь, ни того, что ты совершаешь эту поездку украдкой, не по заданию и не за счет фирмы «Скабелли», а, напротив, втайне от римских начальников и твоих собственных подчиненных в Париже.

Она захлопнула дверь квартиры еще прежде, чем ты зашагал вниз по ступенькам, и упустила тем самым последнюю возможность тебя растрогать, хотя совершенно очевидно, что она ничуть к этому не стремилась и поднялась на рассвете, чтобы подать тебе завтрак, лишь в силу привычки, быть может, под влиянием своего рода презрительной жалости; ясно ведь, что эта жизнь опостылела ей еще больше, чем тебе. Какой смысл укорять ее — после этих ее слов, в которых, очевидно, была скрыта насмешка и на которые ты не нашел, что ответить, да и не хотел ничего отвечать,— укорять за то, что она даже не проводила тебя взглядом, когда для вас обоих было бы, право, гораздо лучше, если бы она вообще не вставала с постели, даже не разомкнула век, и ты покинул бы ее, пока она спала, и простыни и одеяла равномерно вздымались бы от ровного дыхания спящей женщины, едва различимой во мраке спальни с затворенными ставнями, которые ты даже не стал бы открывать.

Если ты боялся опоздать на этот поезд, неторопливо едущий сейчас мимо голых полей и бурых лесов, то лишь потому, что на поиски такси у тебя ушло гораздо больше времени, чем ты рассчитывал: ты вынужден был пройти с чемоданом в руках всю улицу Суффло, и только на углу бульвара Сен-Мишель, у кафе «Майё», после многих тщетных попыток тебе наконец удалось остановить машину, но шофер даже не потрудился распахнуть дверцу и помочь тебе поставить твой небольшой багаж, и у тебя появилось нелепое ощущение, будто он прочитал на твоем лице, что на этот раз ты намерен ехать третьим классом, а не первым, как ты привык, и особенно неприятным было вдруг поразившее тебя открытие, что реагируешь ты так, словно в самом этом факте заключено нечто позорное — странный поворот утренних мыслей, еще не сбросивших пелены прерванных сновидений.

Забившись, как и сейчас, в правый угол, ты смотрел на проплывавшие мимо пустынные тротуары, витрины запертых магазинов, стволы деревьев, затем увидел церковь Сорбонны и ее безлюдную площадь, руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора, Винный рынок, решетчатую ограду Ботанического сада; слева, над парапетом Аустерлицкого моста, посреди других колоколен, верхушку собора, высящегося на своем острове, и, наконец, справа — вокзальную башню с часами, показывающими восемь утра.

В тот миг, когда ты спросил у контролера, пробивавшего твой билет, только что купленный в международной кассе, где платформа, на которую тебе нужно пройти, ты вдруг увидел, что она совсем рядом, и тут же, у начала платформы, висел циферблат, его неподвижные стрелки показывали не время дня, а время отправления поезда — восемь часов десять минут,— и табло с перечнем главных остановок на твоем пути, уже давно запомнившихся тебе наизусть: Ларош, Дижон, Шалон, Макон, Бур, Кюлоз, Экс-ле-Бен, Шамбери, Модан, Турин, Генуя, Пиза, Рим—вокзал Термини и дальше (а этот поезд следует дальше) Неаполь, Реджо, Сиракузы, и ты, воспользовавшись несколькими оставшимися у тебя минутами, купил наугад вот эту книжку — с тех пор ты не выпускаешь ее из рук — и пачку сигарет, которая еще нераспечатанная лежит в кармане твоего пальто, под шарфом.

За окном прохода от церкви отъезжает большой черный автомобиль, он едет по шоссе вдоль полотна наперегонки с поездом, то приближаясь, то удаляясь, исчезает за лесом и, вынырнув из-за него, пересекает речушку с ивами и заброшенной лодкой у берега, отстает, затем вновь нагоняет твой вагон, останавливается у развилки, поворачивает и катит к деревеньке, которая вскоре скрывается за холмом вместе со своей колокольней. Поезд проезжает станцию Монтеро.

В грохот поезда вдруг врывается трель звонка — в синей фуражке с золотым позументом и белой куртке к вам идет официант вагона-ресторана, и, видно, не ты один дожидался его появления, потому что молодожены тоже встрепенулись и теперь, глядя друг на друга, улыбаются.

Какой-то мужчина, женщина, еще одна женщина, которая видна тебе только со спины, вышли из своих купе и идут по проходу; кто-то рукавом плаща провел по стеклу, к которому ты по-прежнему прижимаешься виском, затем о стекло раз-другой ударилась большая дамская сумка из черного нейлона с крупной пластмассовой застежкой.

В купе стало заметно жарче, и ты чувствуешь, как накаляется на полу между сиденьями выложенный ромбовидными пластинками отопительный мат. Твой сосед, тот, что последним вошел в купе, на вид самый бедный из твоих попутчиков, закрывает свой журнал, какую-то долю секунды колеблется, не зная, куда его девать, затем встает, кладет его на полочку, и страницы тотчас разворачиваются веером, а он снимает свой плащ и, смяв его толстой рукой, словно тряпку для протирки автомобиля, резким движением швыряет на сетку между своим же свертком в газетной бумаге и твоим чемоданом (роговая пряжка пояса сначала постукивает по металлическому ободу багажной сетки, затем пояс соскальзывает, и она начинает раскачиваться), потом снова берет журнал, раскрывает его и усаживается на место.

Интересно, какую по счету свадьбу и какой именно актрисы запечатлел этот снимок?

Повторный звон колокольчика заставляет тебя обернуться вправо, и несколько секунд ты следишь за белой курткой официанта, а он возвращается к себе в вагон-ресторан, чтобы разлить по чашкам — бледно-голубым, словно изменчивое весеннее небо в каком-нибудь северном городке — невкусный, но дорогой кофе.

Молодая женщина, первой решившаяся последовать приглашению, а затем и ее муж, извинившись, проходят мимо тебя; они краснеют и улыбаются, словно это первая в их жизни поездка, и решительно все, даже самое мелкое происшествие, радует их и восхищает, они наполовину задвигают за собой дверь купе, которая все это время была широко раскрыта, и торопливо уходят в вагон-ресторан.

Человек, сидящий напротив тебя, приподнимает штору на стеклянной перегородке.

Ступай и ты в вагон-ресторан; засунь в карман эту книжку — сейчас она только мешает тебе — и выйди из купе; не потому, что ты всерьез ощущаешь голод,— ведь ты пил кофе совсем недавно — и не в силу привычки — ведь сейчас ты в другом поезде, не в том, которым ездишь всегда, и должен приноровиться к иному распорядку,— а просто потому, что это входит в программу, заранее намеченную тобой: механизм, который ты сам привел в движение, теперь начинает действовать чуть ли не помимо твоей воли.

## II

Да, это здесь, это и есть твое купе, вон тот человек с седыми висками, который сидел напротив тебя,— теперь он погружен в изучение толстой книги в черном коленкоровом переплете, а рядом с ним — его безупречно аккуратный, румяный сосед с глазками хищной рыбешки, а вон и священник у окна, который вновь тщетно пытается углубиться в чтение своего требника.

Для тех двоих, для влюбленных, для супругов — ты оставил их четырьмя вагонами дальше, когда, склонившись друг к другу над столиком, они наслаждались неторопливой беседой,— любой пустяк служит поводом для разговора, вызывает новый прилив восторга, а тебя одиночество и уныние вновь пригнали в эту клетушку — твое прибежище в поезде, уносящем тебя вдаль, клетушку, помеченную этой вещью, твоей собственностью — чемоданом, лежащим слева от тебя на багажной сетке.

Но твое место под ним, возле двери купе по ходу поезда,— ты был так доволен, когда обнаружил, что оно свободно, ведь именно его ты всегда заказываешь через Александра Марналя в вагоне первого класса для своих служебных поездок, а потому, уходя из купе, тебе, конечно, следовало бы его занять, оставив на сиденье книжку, которая сейчас лежит у тебя в пальто, оттопыривая карман, и без того набитый до отказа, тем более что ты так или иначе не стал бы ее читать в вагоне-ресторане,— место твое теперь занято: его захватил пассажир, который последним вошел в купе, тот самый, кого ты с первой минуты невзлюбил за то, что он, так явно щеголяя своею силой, распахнул дверь одним ударом плеча, за дурацкую самоуверенность и вульгарность, и сейчас он по-прежнему, не отрываясь, разглядывает свой иллюстрированный журнал, не выказывая ни малейшей готовности уступить тебе захваченное место; он, несомненно, коммивояжер, только вот чем он торгует — вином, медикаментами или, может быть, бельем? — но уж наверняка не пишущими машинками, потому что в таком случае при нем был бы совсем иной багаж, если только он не сбежал, подобно тебе, от своих будней...

За время твоего отсутствия в купе стало еще жарче, а может быть, это от ходьбы, от горячего кофе, который ты выпил: ты весь вспотел. Твое лицо, оказавшееся как раз на уровне зеркала, покачивается в его рамке от тряски поезда. Сегодня утром ты побрился наскоро и теперь замечаешь у себя около ушей множество черных точек. Влажной ладонью ты ощупываешь подбородок. Кожа на нем шероховатая и жест-

кая, да и вообще у тебя усталое лицо, тусклый взгляд и горькая складка у рта. Даже после второй чашки кофе ты все еще до конца не стряхнул с себя сон, хотя — как ты убедился, взглянув на часы,— сейчас уже больше девяти утра, а это значит, что в любой другой день недели ты — гроза запаздывающих машинисток — уже сидел бы у себя в конторе на авеню Оперы, да к тому же вчера вечером ты довольно рано лег спать.

Эта поездка должна была принести тебе свободу, молодость, великое очищение тела и души; почему же ты не испытываешь уже сейчас ни воодушевления, ни счастья? Откуда эта сковавшая тебя вялость, чтобы не сказать больше — оцепенение? Может быть, это усталость, накопившаяся за долгие месяцы и годы, когда ты подавлял ее неослабным усилием воли, сейчас мстит тебе и захлестывает тебя, пользуясь твоим бегством, подобно тому, как приливная волна использует малейшую брешь в плотине, чтобы затопить поля, прежде защищенные прочной преградой, и терпкой солью вытравить в них все живое.

Но ведь именно для того, чтобы отвести угрозу, которую ты и так слишком хорошо сознаешь, задумал ты это путешествие; разве поезд не уносит тебя туда, где затянутся первые мелкие трещины, предвестницы старости, разве он не мчит тебя в Рим, где ждет тебя отдых и живительное обновление?

Отчего же тогда, как струна, натянуты нервы, откуда тревога, нарушающая ток крови в твоем теле? Отчего до сих пор ты не чувствуешь разрядки? Неужели вся причина волнения, растерянности, страха только в том, что поезд следует по иному расписанию и ты выехал из Парижа в восемь утра, а не вечером, как привык? Неужели ты уже стал таким рутинером, рабом привычки? Если так, тем настоятельнее необходима ломка, потому что, прождав еще несколько недель, ты бы все потерял, навсегда остался бы в этом пресном аду и никогда уже ты не отважился бы вырваться оттуда. Но, слава богу, освобождение близко, и впереди — много чудесных лет.

А сейчас сними пальто, сложи его и закинь на свой чемодан. Правой рукой ты ухватился за сетку; ты вынужден наклонить корпус влево — поза тем более неудобная, что ее нужно сохранять при этой непрекращающейся тряске до тех пор, пока ты не нажмешь большими пальцами на кнопки сверкающих замков (и оба язычка разом отойдут, высвобождая кожаную крышку, и она, словно подталкиваемая мягкой пружиной, плавно поднимется кверху); пока, просунув под крышку руку, ты не нащупаешь вслепую мешочек из плотного нейлона в красную и белую полоску, куда сегодня утром, насухо вытерев полотенцем лицо — перед тем ты пристально разглядывал его в зеркале, в твоей квартире в доме пятнадцать на площади Пантеона,— ты в спешке и раздражении даже не сложил, а побросал как попало еще влажную кисточку для бритья, крем в тюбике из серой пластмассы, пачку новых лезвий, зубную щетку, гребенку, зубную пасту; пока, нащупав этот гладкий нейлоновый мешочек с маленьким колечком от застежки-молнии, ты не прикоснешься к кожаному чехлу с домашними туфлями, к шелковой малиновой пижаме, которую, памятуя о предстоящей встрече с Сесиль, ты тщательно выбирал вчера вечером среди отливающих всеми благородными цветами радуги стопок белья в зеркальном шкафу твоей спальни, в то время как Анриетта была занята последними приготовлениями к ужину и до тебя сквозь разделяющую ваши комнаты стену долетали отзвуки ссоры твоих сыновей, хотя они, право, уже достаточно взрослые, чтобы научиться выносить друг друга; пока, наконец, ты не обнаружишь книжицу, которую искал.

Крышка захлопнулась, мягко подпрыгнув раз-другой, и ты оставил чемодан, даже не потрудившись защелкнуть замки.

Ты опустился на середину сиденья; слева от тебя у окна, открывающего вид на стремительно летящие поля и медленно разворачивающуюся линию горизонта, затянутого туманом,— священник, шепчущий про себя молитвы (сколько же часов у них на это уходит!), справа — склоненный над раскрытым журналом коммивояжер, неторопливо и обстоятельно изучающий репортаж о свадьбе очередной кинозвезды, сидя у стекла, выходящего в коридор, по которому проплывает красное вельветовое пальто, недавно мелькнувшее перед тобой в вагоне-ресторане.

Ты чувствуешь, как проникает тепло сквозь подошвы твоих желтых ботинок; на одном из них порванный шнурок связан узлом, который ты заткнул под язычок, и он, словно раздувшийся прыщ, слегка выпячивает кожу ботинка и к тому же натирает тебе ногу, а между двумя твоими ботинками вклинился третий, черный, блестящий, сверкающий в полумраке, и смотрит в противоположную сторону; из него выглядывает синий носок, прячущийся под краем суконных брюк в мелкую полоску, где чередуются два разных оттенка серого цвета, а поперек полосок пропущена тонкая белая нить, которая вьется беспорядочными кругами, напоминая утренние облака в ветреную погоду.

Черный ботинок, вздрогнув, перемещается вправо, нога, которую он украшает, ложится на колено другой ноги, а ты сдвигаешь ступни и, взяв в руки справочник железных дорог юго-восточной Франции, выпущенный издательством «Шэ», начинаешь разглядывать его квадратную небесно-голубую обложку, и твои руки дрожат той же мелкой дрожью, что и весь вагон на пути из Парижа в Рим.

Справочник «издан 2 октября 1955 года на время зимнего сезона, действителен по 2 июня 1956 года включительно» и пестрит объявлениями: «Отель де ла Пэ», Ницца, открыт круглый год» (ты ни разу там не останавливался), «Нуга фирмы «Шабер и Гийо»; затем крохотными буковками — ты подносишь страницу к глазам, стараясь их разобрать, а это затрудняется тем, что тебе, конечно, не удается удержать книжку в неподвижности,— еще одна надпись: «Золотой улей», она изгибается, словно ручка от корзинки, над рисунком, запечатлевшим улей старинного образца,— круглый низенький домик с соломенной крышей, а четыре точки в разных местах, по всей вероятности, должны изображать пчел (поезд рокочет низким басом, лишь временами сменяющимся скрипучим фальцетом, который напоминает, что это существо, мчащееся по металлическим рельсам, само сделано из металла); и еще объявление: «Вербена из Веле» (ты ни разу не пробовал «вербены», кажется, это зеленоватый приторный напиток, можно хоть сейчас спросить его в вагоне-ресторане, где обычно предлагают ликеры).

Тут ты вспоминаешь: Пюи-ан-Веле — это один из тех бесчисленных городков, где тебе ни разу не доводилось бывать, один из тех провинциальных французских городков, где наверняка можно умереть от скуки, несмотря на все геологические раритеты, дайки (так их, кажется, называют?) и собор, украшенный фресками, городок, где у вас имеется свой представитель, уполномоченный фирмы «Скабелли» по всему Севеннскому округу, хотя жители этих мест явно не испытывают особой нужды в пишущих машинках — это мог бы с уверенностью сказать любой школьник с начальным образованием, но ведь вам надо было охватить всю страну сетью ваших отделений, и потому понятно, что дела у него идут из рук вон плохо, у этого человека, которому не далее как вчера по твоему приказанию отправили письмо, выдержанное в весьма грозном тоне, у человека, которого ты ни разу не видел и чьего имени даже не запомнил, потому что полностью перепоручил этот участок Моландону и тот ежегодно, совершая инспекционную поездку по Центральной Франции, наведывается также в Пюи.

Им давно уже пора вернуться в купе, новоиспеченному мужу и его

молоденькой жене, ведь они раньше тебя пришли в вагон-ресторан, и когда, войдя, ты увидел их, им уже успели подать завтрак, и они намазывали маслом поджаренные ломтики хлеба. Правда, они едут вдвоем, они вместе открывают мир, и все приводит их в восторг; должно быть, они совершают это путешествие впервые в жизни, и им так много надо сказать друг другу, и нет нужды, подобно тебе, нарочно растягивать отдельные эпизоды пути, чтобы хоть как-то заполнить пустоту и умерить скуку, к примеру, стараться медленнее жевать, чтобы только убить несколько лишних минут — ведь любой пустяк отнимет у них время, а оно и так пролетит слишком быстро, ведь их не гнетет предчувствие усталости от долгих часов, которые пройдут, прежде чем вы доедете до места, от долгих столь привычных для тебя часов пути, отделяющих тебя от Сесиль, которые на этот раз тебе придется провести в неудобном вагоне третьего класса, тогда как те же неудобства ничуть не омрачат радости молодоженов, и если они, подобно тебе, едут в Рим, то завтра утром ты увидишь, как они проснутся — измученные, но со счастливой улыбкой.

Новобрачная входит в купе, изящная, приветливая, извиняется сначала перед твоим соседом справа, коммивояжером, захватившим твое место, и тот поднимает голову, оторвавшись от иллюстрированного журнала, лежащего у него на коленях — он водит по нему ручкой, пытаясь решить кроссворд; затем — перед преподавателем, сидящим напротив тебя (да, он, бесспорно, преподаватель), и тот захлопывает свою книгу в коленкоровой черной обложке с приклеенной к корешку грязной бумажной этикеткой овальной формы, где старомодным толстым пером выведен черной тушью шифр, под которым эта книга значится в библиотеке, скорее всего библиотеке какого-нибудь учебного заведения; потом — перед англичанином (он, несомненно, англичанин), вон тем пассажиром с на редкость прямой осанкой, единственным в этом купе, кто покамест не занят чтением; наконец перед тобой, а ты не успеваешь вовремя убрать с дороги ногу, и, споткнувшись, она выбрасывает вперед левую руку, другой прижимая к себе сумку, похожую на корзинку, — плетеную сумку с окантовкой из белой кожи и веревочными ручками, из нее торчат страницы сложенного вдвое дамского журнала и кончик косынки,— и на какой-то миг опирается пальцами о зеленый дерматин рядом с твоим бедром, а ее плащ задевает твои колени. Она оборачивается — ее губы сейчас на уровне твоих глаз — и улыбается своему спутнику, который следует за ней, держась правой рукой за металлический обод багажной сетки напротив тебя. Вновь обретя равновесие, молодая женщина наклоняется снова уже затем, чтобы взять синий путеводитель и итальянский разговорник, которые она оставила на сиденье в знак того, что места заняты,— она протягивает обе книжки своему мужу, и тот укладывает их на полку.

Почувствовав, что в купе стало жарко, молодожены тоже снимают свои плащи.

Сев у окна, она ставит сумку в угол рядом с собой, стиснув ладони коленями и продавив ямку в своей юбке из серого твида. Она снова достает с полки свои книги и располагается с ними на сиденье; молодожены переглядываются, переводят взгляд на тебя, улыбаются, они видели тебя там, в вагоне-ресторане, где юный супруг размешивал сахар в массивной голубой чашке, и этот завтрак, который ты даже не разделил с ними, а лишь наскоро проглотил в том же кафе на колесах, неприметно сблизил вас троих и отделил от четырех других пассажиров, и теперь тебе было бы легко нагнуться к супругам и завязать разговор, но ты совсем к этому не расположен, и новобрачному надоедает ждать, он отводит глаза, принимает солидный вид и, раскрыв путеводитель, разворачивает план какого-то города, а его жена достает из сумки дамский

журнал и начинает листать страницы с новыми модами. Убрав руку с окна, священник опять погружается в чтение требника, устало шепча слова молитвы. За окном видны коровы, пасущиеся на полях. Ты снова углубляешься в изучение справочника.

Вот напечатанные убористым шрифтом параграфы железнодорожных правил, узенькие колонки с перечнем станций, столбцы международных линий, и вот, наконец, та самая, что тебя интересует: «*E*. Италия», и ты быстро отыскиваешь в ней поезд, в котором сейчас сидишь: «скорый, номер 609, с вагонами 1-го, 2-го и 3-го классов» (говорят, с будущего года третий класс отменят); черный ромбик над строчкой отсылает тебя к сноске, содержащей дополнительные сведения о твоем поезде: ты узнаешь, что в этом составе имеются вагоны прямого сообщения не только «Париж — Рим», но и «Париж — Сиракузы», и спрашиваешь себя, не в один ли из этих вагонов ты сел и не в Сиракузы ли держат путь эти влюбленные, эти молодожены, и хотя ты знаешь этот город только понаслышке, да еще по рекламным фотографиям, он представляется тебе вполне подходящим для медового месяца, особенно в эту пору, когда даже в Риме может оказаться плохая погода.

Поезд проезжает станцию Сен-Жюльен-дю-Со с ее фонарями и таблицами на фонарных столбах — название станции крупными буквами выведено на боковой стенке вокзала; минует колокольню, дороги, поля, леса. Молодожены обсуждают какую-то деталь маршрута, и муж отыскивает ее на карте. За окнами коридора мелькают огороженные заказники, тянутся холмы, а впереди бежит дорога, по которой едет грузовик — он то сворачивает с нее, то снова оказывается тут как тут, потом вдруг скрывается за каким-нибудь домом, а за ним мчится мотоциклист, который вскоре обгоняет машину, описав вокруг нее изящную дугу, вытянутую, как лук с отпущенной тетивой; грузовик отстает от мотоцикла, затем от поезда и исчезает из поля зрения.

Этот поезд, выехавший из Парижа с Лионского вокзала, как всегда, в восемь часов десять минут и имеющий в своем составе вагон-ресторан (о чем свидетельствует знак: скрещенные вилочка и нож),— ты, по примеру молодоженов, недавно побывал в нем и снова посетишь его в час обеда, но не в час ужина, потому что к тому времени вагон-ресторан уже будет другой, итальянский,— этот поезд сделает остановку в Дижоне, чтобы снова отправиться в путь в одиннадцать часов восемнадцать минут; в тринадцать часов две минуты он минует Бур, в четырнадцать часов сорок одну минуту проедет Экс-ле-Бен (наверно, горы вокруг озера будут покрыты снегом), на двадцать три минуты задержится в Шамбери, чтобы пассажиры другого поезда успели сделать пересадку, а на границе для исполнения всех формальностей будет стоять с шестнадцати двадцати восьми до семнадцати часов восемнадцати минут (маленький домик, нарисованный после слова «Модан», обозначает таможню), в девятнадцать часов двадцать шесть минут он прибудет в Турин на площадь Национале (к тому времени совсем уже стемнеет) и отправится оттуда в двадцать часов пять минут; отойдет от станции Площадь Принчипе в Генуе в двадцать два тридцать девять, в час пятнадцать будет в Пизе и, наконец, завтра утром в пять часов сорок пять минут, задолго до рассвета, прибудет в Рим на вокзал Термини,— этот поезд, в котором почти все для тебя непривычно, потому что ты всегда ездишь другим (сведения о нем приведены здесь же, в соседней графе), экспрессом «Париж — Рим» номер семь, со спальными вагонами, в нем есть только первый и второй класс, и идет он несравненно быстрее этого, покрывая все расстояние за восемнадцать часов сорок минут, тогда как вот этот — сейчас посмотрим — проделывает тот же путь за двадцать один час тридцать пять минут, иными словами — сейчас подсчитаем,— идет на два часа пятьдесят минут дольше экспресса, да и расписание того куда удобнее:

он отправляется из Парижа в час ужина, а прибывает в пункт назначения на другой день вскоре после полудня.

Чтобы получить более полные сведения о поезде, в котором ты едешь (расписание того, другого, экспресса «Париж — Рим», которым ты обычно путешествуешь, тебе знакомо во всех деталях, и когда ты сидишь в одном из его вагонов, тебе совсем не нужна эта квадратная книжечка, ведь несмотря на всю твою многоопытность, ты разбираешься в ней с трудом), тебе следовало бы изучить таблицу номер 500, где гораздо подробнее описана эта трасса и перечислены все станции — даже те, мимо которых поезд проскакивает без остановки; затем, после Макона, когда поезд сворачивает с магистрали Париж — Марсель, тебе следует обратиться к таблице номер 530, а начиная с Модана уже нужен итальянский справочник, потому что здесь сведения о конечном отрезке пути есть только на одной страничке и перечислены лишь основные пункты: Турин, Генуя, Пиза, тогда как наверняка есть и другие остановки, по всей вероятности, в Ливорно, а может быть, и в Чивита-Веккия.

Будет еще совсем темно. Ты с трудом очнешься от сна, много раз прерывавшегося,— особенно если тебе придется остаться на этом неудобном месте посредине сиденья, хотя есть основания надеяться, что тебе удастся завладеть одним из углов, как только сойдет кто-нибудь из твоих спутников, ведь не может быть, что все едут туда же, куда и ты.

Кто же из этих шести будет еще к тому времени в купе, освещенном, по всей вероятности, одним голубым ночником, тем самым круглым, темным глазком, который ты различаешь внутри плафона, где он примостился между двумя прозрачными грушевидными лампочками? Огни в деревенских домах будут погашены. Ты увидишь, как промелькнут фары двух-трех грузовиков, вокзальные фонари, и ощутишь утренний озноб; ты проведешь ладонью по подбородку, куда более колючему, чем теперь, встанешь, выйдешь из купе и проследуешь в конец коридора, чтобы умыться.

Затем, после нефтеперегонного завода с его факелом и лампочками, расцвечивающими алюминиевые вышки, точно рождественскую елку, пока поезд будет огибать город, еще объятый потемками и сном, но уже огласившийся перезвоном трамваев и шумом троллейбусов, перед тобой проплывут пригородные станции: Рим-Трастевере (и ты увидишь скупые отсветы в черной воде реки), Рим-Остьенсе (ты угадаешь во тьме очертания городской стены и светлый пик пирамиды) и Рим-Тусколана (и отсюда, от Порта-Маджоре, поезд устремится прямо к центру).

Наконец вплотную придвинется Термини, прозрачный вокзал — он так хорош на восходе солнца, и как раз на восходе к нему и подъезжает этот поезд в другое время года, но завтра в такой ранний час будет еще совсем темно.

За окном коридора возникла ферма, окруженная желтыми тополями, потом извилистая дорога, то исчезающая в ложбинке, то вновь проглядывающая из-за частых полосок распаханных борозд, вздыбившихся комьями земли и усеянных вороньем; по дороге едет, приближаясь к полотну, мотоциклист в шлеме и кожаной куртке и скрывается между откосами под мостом, на который — ты успеваешь это заметить — как раз въезжает паровоз, тянущий твой поезд, и несколько первых вагонов. Через окно, у которого сидят молодая женщина и священник, ты пытаешься вновь увидеть мотоциклиста, но он, вероятно, давно уже отстал.

Решение ехать в Рим пришло внезапно; ведь в понедельник вечером, когда ты вернулся к ужину домой, без чемодана, который ты запер в своей конторе на авеню Оперы, угол улицы Даниэль Казанова, потому что машина осталась в гараже, у тебя даже в мыслях не было ничего по-

добного, и хотя ты уже давно задумал найти для Сесиль службу в Париже, все же до последнего времени ты не предпринимал сколько-нибудь серьезных шагов в этом направлении, и только во вторник утром, разделавшись со всеми текущими делами и просмотрев корреспонденцию, накопившуюся за время твоего пребывания в Риме, ты позвонил одному из твоих клиентов, Жану Дюрье, директору туристского агентства — его витрины видны из окна твоей конторы — и, предупредив, что разговор носит конфиденциальный характер, спросил, не знает ли он о каком-нибудь подходящем месте для твоей знакомой — тридцатилетней женщины незаурядных способностей. Она бегло говорит по-английски и по-итальянски и в настоящее время, насколько ты знаешь, служит секретарем у военного атташе при французском посольстве в Риме, что не слишком ее интересует, и потому готова согласиться на скромное жалованье, лишь бы вновь вернуться в Париж.

Вполне возможно, что такое место найдется, ответил Дюрье: как только он что-нибудь выяснит, он тебе позвонит; и в самом деле, к твоему великому удивлению и радости, он позвонил в тот же вечер, заявив, что задумал провести реорганизацию в своем агентстве и в свете намечаемых перестановок дама вроде той, о которой ты говорил, может весьма ему пригодиться, и тут же предложил достаточно выгодные условия — настолько выгодные, что ты взял на себя смелость заверить его в согласии Сесиль.

А когда надо приступать к работе? Когда даме будет угодно — чем раньше, тем лучше, но в то же время торопиться некуда, пусть она спокойно завершит все дела в Риме, оформит свое увольнение, перевезет сюда все, что нужно, и обоснуется в Париже, ведь ему отлично известно, как трудно заранее предвидеть все сложности, которые могут возникнуть при переезде,— и в его голосе, в его учтивых фразах ты уловил неприятный оттенок сообщничества.

В ту минуту ты думал уладить все это дело путем переписки и встретиться с Сесиль лишь во время очередной поездки в Рим, куда всякий раз в конце года фирма «Скабелли» созывает на совещание директоров своих иностранных филиалов, и только в среду обстановка накалилась, вероятно, потому, что это было тринадцатое ноября, твой день рождения, твое сорокапятилетие, и Анриетта, всегда придававшая большое значение нелепым семейным праздникам, на сей раз уделила этому событию особое внимание, терзаемая подозрениями, гораздо более обоснованными, чем она сама предполагала, надеясь тебя удержать, сковать путами этого жалкого ритуала — не из любви, конечно, все это у вас давно уже в прошлом (если вас и связывала в молодости страсть, то все равно ей не сравниться с тем чувством раскрепощения и восторга, которое подарила тебе Сесиль), а из усиливающегося с каждым днем страха (ах, как быстро она старится!), как бы что-нибудь не изменилось в ее привычном жизненном укладе, и не из настоящей ревности даже, а из боязни, как бы ты не совершил необдуманного шага, как бы случайная бурная ссора не нарушила ее покоя и благополучия детей, хотя чего-чего, а уж этого ей не приходится опасаться, но только она никогда тебе не доверяла или, во всяком случае, уже давно утратила к тебе доверие, и в этом, должно быть, и следует искать источник разлада, возникшего между вами и с годами все углублявшегося,— в этом да еще в том, что твоя удачливость, твой бесспорный жизненный успех, которому она обязана этой прекрасной квартирой, столь высоко ею ценимой, ни в чем ее не убедили, и ты всегда чувствовал, задолго до того как у нее появились для этого реальные основания, ее немой укор, недобрую настороженность.

Когда в среду ты вошел в столовую в час обеда (в рамке окна сверкал великолепный орнамент на фризе Пантеона, освещенный лучом бе-

лого ноябрьского солнца, которое вскоре померкло), когда ты увидел своих четверых детей, неуклюже, с насмешливым видом стоявших у стола позади своих стульев, когда ты уловил на лице жены, на ее запавших губах улыбку торжества, тебе показалось, будто все они сговорились между собой и расставили тебе западню, будто подарки на твоей тарелке — приманка и все блюда на столе тщательно выбраны с тем, чтобы тебя завлечь (конечно, за двадцать без малого лет совместной жизни она отлично усвоила твои вкусы). Да и вообще все это затеяно только для того, чтобы убедить тебя, что отныне ты пожилой, степенный, усмиренный человек; а между тем только совсем недавно тебе открылась иная жизнь, та, какой ты жил лишь по нескольку дней в Риме, та, другая жизнь, в сравнении с которой твои будни в парижской квартире казались лишь жалкой тенью, и вот почему, осторожности ради, подавив раздражение, ты стал им подыгрывать, изобразив чуть ли не веселье, похвалил их за умелый выбор подарков и послушно задул все сорок пять свечей, но в душе ты уже твердо решил немедля положить конец этому затянувшемуся фарсу, этой устоявшейся фальши. Самое время это сделать!

Теперь Сесиль приедет в Париж, и вы поселитесь вместе. Не будет ни развода, ни скандала — в чем, в чем, а в этом ты совершенно уверен; все пройдет гладко, бедная Анриетта смолчит, детей ты будешь навещать примерно раз в неделю; и ты заранее предвкушал не только согласие, но и ликующую радость Сесиль, которая столько раз подтрунивала над твоей ханжеской добропорядочностью.

Ах, это грозящее удушье, надо немедля бежать от него, вдохнуть полной грудью воздух близкого счастья; надо сообщить эту новость Сесиль, с глазу на глаз, чтобы, наконец, все было решено без недомолвок.

И вот, после обеда, в конторе на авеню Оперы, убедившись, что больше не предвидится никаких срочных дел, ты объявил своему заместителю Мейнару, что намерен уехать на несколько дней — с пятницы до вторника,— и послал Марналя за справочником, который ты сейчас держишь в руках, не попросив его, однако, купить билет и заказать для тебя место, потому что ты вовсе не хотел оповещать всю контору о том, что ты снова отправляешься в Рим.

Вечером, когда ты сказал Анриетте, что непредвиденные обстоятельства вынуждают тебя уехать в пятницу утром (это утро сейчас уже на исходе), ее удивил не столько сам факт — ведь тебе и вправду не раз случалось наведываться в правление фирмы по какому-нибудь срочному делу в промежутке между двумя обычными командировками,— сколько непривычный и явно неудобный час твоего отъезда, который ты выбрал, чтобы провести весь уик-энд с Сесиль, чтобы уже в субботу пообедать с ней вдвоем, но еще, надо признаться, и потому, что в этом поезде есть вагоны третьего класса, и ты подумал, что эта неожиданная поездка — она необычайно важна для всей твоей будущей жизни, но без нее ты, в сущности, мог бы вполне обойтись, и, естественно, никто ее тебе не оплатит — и без того потребует значительных затрат; но вот по этому-то частному поводу — из-за часа отъезда и выбранного тобой поезда — она засыпала тебя вопросами, и тебе пришлось измышлять разные доводы, что, по правде говоря, ты проделал довольно неуклюже, и против каждого из них она легко выдвигала справедливые возражения, на которые тебе нечем было ответить, и, видя твое нелепое упрямство, удивлялась еще больше.

Во время последовавшего за этим объяснением ужина, тягостного для всех, дети то и дело усмехались, не поднимая голов, вы же с Анриеттой не обменялись почти ни словом, и только когда Жаклина — после того, как ты велел ей вымыть руки, перепачканные чернилами,— встала

и вышла из-за стола, пожав плечами, ты вспылил, а мать, уж конечно, не нашла ничего лучшего, как громогласно вступиться за нее, и девочка вернулась назад, разумеется, не упустив — хоть и находилась в ванной — ни единого слова из этой перепалки, и уселась на свое место, преисполненная гордости, что в конечном счете взяла над тобой верх (Жаклина — младшая и твоя любимица; у тебя нет никакой близости с остальными детьми, ты не знаешь их мыслей, не понимаешь их увлечений, все трое образуют против тебя нечто вроде единого фронта, кроме тех случаев, когда братья дерутся между собой), и если бы у тебя оставались хоть какие-нибудь сомнения, эта сцена наверняка устранила бы их.

Проглотив последний кусок, ты надел пальто, спустился вниз и зашагал в гараж на улицу Эстрапад; выведя оттуда машину, ты помчался за черту Парижа и проделал в дождливом сумраке около ста километров, а потом, возвратившись в город, оставил автомобиль у тротуара на площади Пантеона, и когда после полуночи ты вернулся домой, Анриетта, которая была уже в постели, но не спала, ничего не стала тебе говорить, а только окинула тебя чуть насмешливым и презрительным взглядом.

По счастью, на другой день, то есть вчера, в четверг, все улеглось, и за семейным столом царил мир; в этот отчаянно холодный день — стужа не убывала, а напротив, становилась злее,— за этот день, полный суматохи и суеты, ты должен был уладить — ради короткого отпуска, который ты сам, без спросу, взял себе до среды,— все дела фирмы «Скабелли», как всегда, бесконечно запутанные, так что вечером тебе уже казалось, будто затор на площади Французского театра рассасывается еще дольше обычного, а в гараже, где ты собирался попросить на время твоего отсутствия основательно почистить и смазать машину, невыносимо скрипевшую всю эту неделю, тебе пришлось долго ждать, и в конце концов, потеряв терпение, ты прикрикнул на служащего, чтобы он соблаговолил уделить тебе внимание, да к тому же в доме пятнадцать на площади Пантеона не работал лифт, и ты был вынужден пешком подняться на пятый этаж, но, несмотря на то, что ты задержался, стол все еще не был накрыт, и ты услышал, как переругивались у себя в комнате Тома́ и Анри и как в эту перебранку бестолково, неловко вмешалась Анриетта, а когда она вышла в коридор, чтобы позвать Мадлену, ты поймал ее взгляд, знакомый, тусклый, усталый, мертвый взгляд, и в нем, как только она тебя увидала, вспыхнула настороженность, враждебность и презрение, которым она казнит тебя, словно это ты виноват в ее стремительном увядании,— и эти жалкие семейные будни схватили тебя, словно тиски, сдавили тебе горло, как руки убийцы, эти сумеречные полуживотные будни, от которых ты теперь, наконец, будешь избавлен.

Ты ждал избавления потому, что в портфеле у тебя уже был спрятан вот этот самый справочник в синей обложке, который ты сейчас держишь в руках и по-прежнему неотрывно разглядываешь, хотя твои глаза уже ничего в нем не различают, и вчера после ужина, прежде чем лечь в большую супружескую кровать, не дождавшись Анриетты, которая легла, лишь когда ты уже уснул, ты положил его в чемодан поверх смены чистого белья, приготовленного в дорогу.

Он казался тебе своего рода талисманом, ключом, залогом твоей свободы, счастливого приезда в ослепительный Рим, обновления, чье волшебство усугубляется тайной, залогом бегства от этой покойницы, лишь притворяющейся живой и занятой чем-то нужным, от этой покойницы со взглядом инквизитора, от этого трупа, с которым ты так долго не решался расстаться только из-за детей, хотя каждый день,

словно отхлынувшая волна, уносил тебя все дальше от них, так что теперь в твоих глазах они подобны восковым слепкам с самих себя; они ревниво таят от тебя свою жизнь, да и тебе с каждым днем все меньше хочется знать о них и делиться с ними,— залогом бегства от Анриетты, с которой вы не можете развестись, потому что она на это не согласится, да и ты при твоем положении предпочтешь избежать скандала (фирма «Скабелли» с ее итальянской, ханжеской, поповской моралью сурово осудила бы подобный поступок), от Анриетты, которая, подобно чугунному ядру, повисла у тебя на ногах и увлекла бы тебя в затхлую пучину скуки, бессилия, изнурительных, отупляющих будней и духовной спячки, в болото, где сама она погрязла уже давно, если бы не твоя спасительница Сесиль, если бы не эта свежая струя воздуха, этот источник силы, бьющей через край, если бы не эта дружеская рука, протянутая к тебе и сулящая счастье и свет;

залогом бегства от этой мрачной, неотступной тени, которую ты теперь, наконец, покинешь, к волшебнице, которая силой одного-единственного взгляда вырывает тебя из пут этой отвратительной пародии на жизнь, возвращает тебе твое «я», даруя целительное избавление от этой обстановки и этих обедов, этого увядшего тела, этой надоедливой родни;

залогом принятого, наконец, решения порвать с прошлым, сбросить с себя оковы ложной щепетильности, мертвящего малодушия и показать детям пример силы воли, отваги, решимости, озарившей все своим отблеском и позволившей тебе вытерпеть, не сдаваясь, не отступаясь от задуманного, не потонув в буднях навсегда, эту неделю цифр, распоряжений и сделок, эту неделю дождей, криков и ссор.

Он казался тебе залогом этого путешествия, оставшегося тайной для Анриетты, потому что, хоть ты и сказал ей, что едешь в Рим, ты все же скрыл от нее свои истинные намерения, однако Анриетта прекрасно понимает, что за переменой привычного часа отъезда кроется некая тайна, твоя тайна, чье имя — ей хорошо это известно,— чье имя Сесиль, и потому, по сути дела, уже нельзя считать, что ты ее обманул, и потому ложь, которую ты ей преподнес, не была ложью в прямом смысле слова, не могла быть ложью в прямом смысле слова, потому что так или иначе (на это ведь можно смотреть и под таким углом зрения) — это неизбежный этап на пути к выяснению ваших отношений, к восстановлению искренности между вами, столь глубоко подорванной теперь, на пути к раскрепощению самой Анриетты, обретающей благодаря разрыву с тобой пусть неполную, частичную, но все же — свободу;

залогом путешествия, которое останется тайной для всех, потому что на авеню Оперы не знают, куда ты уехал, потому что никакая почта не настигнет тебя в Риме, где обычно, когда ты прибываешь в отель «Квиринале», тебя уже дожидаются письма и телеграммы, и поэтому, впервые за много лет, эти несколько вольных дней станут для тебя настоящей разрядкой, как в те времена, когда ты еще не достиг нынешнего положения, когда ты еще не успел сделать настоящую карьеру;

тайной потому, что в правлении фирмы «Скабелли» на Корсо никто даже не подозревает, что ты приедешь в Рим в субботу утром и уедешь в понедельник вечером, и никто не должен знать, что ты там будешь, и тебе придется соблюдать известную осторожность, чтобы тебя не опознал кто-нибудь из услужливых, любезных и хорошо тебе знакомых агентов фирмы «Скабелли»;

тайной пока даже для самой Сесиль, потому что, желая насладиться ее изумлением, ты не предупредил ее о своем приезде.

Но зато она одна будет до конца посвящена в эту тайну, и эта встреча, нежданная для нее, станет мечом, который, наконец, разрубит

все путы, сковывающие вас, удерживающие вас вдалеке друг от друга.

Среди ночи тебя разбудил скрип тормозов на площади Пантеона, ты зажег лампочку, вмонтированную в стоящий справа от тебя подсвечник стиля «ампир», и взглянул на бедную Анриетту, которая спала на другой половине кровати с открытым ртом, разметав по подушке седеющие волосы, и словно была отгорожена от тебя непреодолимой рекой белого полотна.

За окном, в просвете между молодой женщиной и священником, мелькают одна за другой опоры высоковольтной линии вдоль дороги; по этой дороге едет огромный бензовоз с прицепом, приближаясь к железнодорожной насыпи, возвышающейся над полями и круто поворачивающей сразу же за мостом, под которым бензовоз исчезает. Человек, сидящий напротив тебя, быть может, видит его теперь за окнами коридора, а тебе в твое окно заметно лишь мельканье новых опор высоковольтной линии на холмах, все более крутых и высоких.

Вокзал Термини встретит тебя во мраке зеркальным блеском стеклянных стен, когда, пройдя с чемоданом в руке по перрону под легким бетонным сводом, покоящимся на четырехугольных столбах из гладкого черного мрамора, среди толпы сонных, беспорядочно спешащих к выходу пассажиров, ты отдашь итальянскому контролеру половинку билета, купленного сегодня утром на Лионском вокзале, того билета, что сейчас, сложенный вдвое, лежит в бумажнике рядом с паспортом, справкой о многодетности и прочими документами в левом внутреннем кармане твоего пиджака, а в зале Потерянных шагов, где еще будут закрыты книжные и другие киоски, сквозь огромные стеклянные створки и сквозь тот, второй, призрачный зал, который в них отразится, ты увидишь не термы Диоклетиана, смутно темнеющие на другой стороне площади, а огни фонарей, голубые искры троллейбусов и стелющиеся по земле вспышки фар.

Когда же ты выпьешь «эспрессо» в баре, который если еще не будет открыт к тому времени, то вот-вот откроется, когда ты побываешь в albergo diurno[1] в подвальном этаже вокзала и, приняв душ, побрившись и переодевшись, снова поднимешься наверх и только теперь расстанешься со своим чемоданом, сдав его на хранение,— уже начнет сереть за окном и робко забрезжит сумрачный рассвет; но только к половине седьмого или даже к семи взойдет, наконец, солнце, осветив все серые и желтовато-красные фасады зданий и развалины вокруг площади, а ты между тем, освободив от бремени свои руки и ум, будешь медленно потягивать душистый caffelatte[2], устроившись поудобнее, чтобы наблюдать картину восхода, стремясь найти свое место, прочно обосноваться в этом наступающем дне и почитывая газеты, которые ты купишь, как только их доставит на велосипеде разносчик; а тем временем мало-помалу начнет заниматься, разгораться, шириться, набирать силу утренняя заря, и когда потом ты выйдешь из вокзала, перед тобой во всем великолепии откроется город, темно-красный, словно из всех его стен и камней сочится древняя кровь, окрашивая в тот же цвет лежащую на них пыль, и небо — ты в этом уверен — будет светлым, безоблачным, и так как в запасе у тебя останется еще около двух часов, чтобы прогуляться, прежде чем наступит минута, когда ты встретишь Сесиль у подъезда ее дома,— Сесиль, ничего не подозревающую и, как всегда по утрам, торопящуюся в посольство,— ты беззаботно погрузишься в этот ясный воздух Рима, и он будет для тебя как вновь обретенная весна после парижской осени, и пешком, ничем не обреме-

[1] Комнаты отдыха *(итал.)*.

[2] Кофе с молоком *(итал.)*.

ненный, ничем уже не скованный, отправишься исследовать все повороты и закоулки, какие только тебе приглянутся, сколь бы длинным, изломанным и причудливым ни был твой путь.

Но все же он, как всегда, приведет тебя поначалу на площадь Эседра, и сейчас ты пытаешься угадать, забьет ли уже в это время фонтан, построенный в начале нынешнего века, и сухими или мокрыми будут его похотливые бронзовые дамы, смешные и вместе с тем восхитительные, однако на этот раз, поскольку ты будешь прогуливаться пешком, ты сможешь пройти под аркадами и свернуть на улицу Национале, где к тому времени уже начнут открываться магазины и появятся отвратительные грохочущие мотоциклы; но на этот раз — вместо того, чтобы войти в отель «Квиринале», расположиться там и оставить чемодан,— ты завтра лишь торопливо прошагаешь по противоположной стороне улицы мимо еще сонной гостиницы, если только в этом самом месте, ради вящей и даже, пожалуй, смехотворной осторожности, ты не свернешь на какую-нибудь другую, параллельную, улицу, прячась от швейцара отеля, которому прежде ты позволил бы встретить тебя, принять твои вещи и рассыпаться в раболепных приветствиях; ты проследуешь дальше, спускаясь к памятнику Виктору-Эммануилу, мимо туннеля, оставив по правую руку Корсо, уже запруженный машинами и людьми, пройдешь мимо дворца Венеции, минуешь церковь Иисуса и пойдешь дальше к Сант-Андреа-делла-Валле; впрочем, нет, совершенно ясно, что тогда будет еще слишком рано, несмотря на все зигзаги, кружные пути и передышки, которыми ты постараешься усложнить, украсить, обогатить и дополнить свой маршрут; и хотя отдельные отрезки этого пути иной раз казались тебе бесконечно длинными и унылыми, когда ты проделывал его в такси или совершал тот же путь в обратном направлении, возвращаясь ночью пешком в отель из квартиры Сесиль, завтра он покажется тебе мучительно коротким, несмотря на всю твою медлительность человека, утомленного проведенной в вагоне ночью, но нет, твоя прогулка должна быть еще дольше, еще прекрасней, тебе следует полнее насладиться этим часом, который тебе так редко случалось здесь наблюдать, новым освещением, которое он сулит, этой прелюдией к изумлению и восторгу Сесиль, прелюдией к трем последующим дням — предвестникам счастливого будущего; нет, не надо сразу же спешить дальше, не стоит даже идти к церкви Иисуса, а лучше, обойдя Капитолий, снова спуститься к Тибру и направиться к Ларго Арджентина с его средневековой башней и широким рвом посередине, населенным голодными кошками, к Ларго Арджентина, с его руинами четырех римских храмов времен республики, по той людной улице, название которой ты позабыл,— она выходит на мост Гарибальди, и вы выбираете ее всякий раз, когда отправляетесь ужинать в какую-нибудь пиццерию в Трастевере; а еще можно будет пойти...

Она не выйдет из дома раньше девяти, но задолго до этого ты займешь пост на углу улиц Монте-делла-Фарина и Барбьери, прямо напротив ее высокого дома с потемневшим изображением святого Антония Падуанского над дверью и заржавевшими дощечками двух страховых компаний, чтобы подстеречь тот миг, когда она отворит ставню в своей комнате на пятом этаже, и, стоя на посту, закуришь сигару — не забыть бы купить сигары, когда ты в следующий раз пойдешь в вагон-ресторан.

За окном коридора, в просвете между амбаром и кустами над сонным прудом, вдруг появляется мотоциклист, резко сворачивает вправо, и его сразу закрывает большой синий автобус с грудой багажа на крыше, потом мотоциклист сворачивает влево, мчится к железнодорожной сторожке, мимо которой, обгоняя автобус, вскоре проносится поезд, и

вдали показывается деревня с колокольней и водонапорной башней. Молодожены глядят в окно, прижавшись друг к другу, и их головы ритмично покачиваются. Поезд проходит станцию Жуаньи; весь поселок отражается в Йонне.

Ты вспоминаешь о своем справочнике и, захлопнув его, разглядываешь на синей обложке схематическую карту юго-востока Франции, где еле заметным контуром намечены берега Средиземного моря и границы, чтобы было легче отыскивать города, размещенные на карте с весьма приблизительной точностью и соединенные между собой прямыми черными линиями, тонкими или жирными, напоминающими то ли трещины на стекле, то ли свинцовую арматуру витража, сюжет которого уже нельзя разобрать; человек, сидящий напротив тебя, встает, он все еще в плаще, застегнутом до самого подбородка и перетянутом поясом, но он не выходит на ближайшей станции Ларош-Мижени, где непременно останавливаются все поезда дальнего следования, станции, живущей, существующей только нуждами железной дороги, раз он оставил на полке зонтик и шляпу, а на багажной сетке — чемодан, обтянутый сине-зеленой шотландкой; а встал он, скорее всего, просто потому, что хочет пройти в конец коридора, не зная, что поезд уже подъезжает к вокзалу и что на остановках воспрещается пользоваться некоторыми удобствами, но надписи об этом запрете в вагоне вывешены только на двух языках: французском и итальянском, а он, вероятно, плохо понимает тот и другой, известно ведь, что британцы презирают жителей континента, и, стало быть, ничто не помешает ему исполнить свое намерение.

Впрочем, у него на родине, в Англии, вероятно, заведен точно такой же порядок, и почему ты решил, что он не умеет читать ни по-французски, ни по-итальянски, что он не такой же, как ты, обычный пассажир этой трассы,— может быть даже, в отличие от тебя, он привык ездить именно этим поездом, да и с чего ты взял, что он англичанин, этот человек, о котором ты сейчас можешь с полным правом сказать только одно — что он похож на англичанина, что цвет его лица, одежда и багаж выдают англичанина,— человек, который еще не вымолвил ни единого слова и сейчас тщетно пытается закрыть за собой дверь.

Поезд остановился, и все пассажиры одновременно вскинули головы, оторвавшись от чтения, застигнутые врасплох наступившим вдруг покоем и тишиной.

Ты видишь, как этот человек, вышедший в проход и сейчас стоящий к тебе спиной, опускает стекло и высовывается наружу, чтобы взглянуть на станцию, словно здесь можно что-нибудь увидеть, кроме железной, покрытой белой эмалью таблицы с ржавчиной вокруг болта, прикрепляющего ее к столбу,— таблицы, на которой красными буквами выведено название «Ларош-Мижени»,— да серого неба, прочерченного черными линиями проводов, черной земли, исполосованной блестящими рельсами, да деревянных вагонов и низеньких, старенькых домишек.

Струя прохладного воздуха врывается в купе, из репродуктора доносятся хриплые невнятные звуки, которые под конец составляют нечто похожее на слова: «Поезд следует до Дижона без остановок».

Слева от тебя священник постукивает ногтями по черному кожаному переплету своего требника; пассажир, которого ты про себя называешь преподавателем, сняв очки, протирает круглые стекла замшевой тряпочкой; сосед, которого ты прозвал коммивояжером, снова занялся своим кроссвордом; а в проходе тот, кого ты прозвал англичанином, достает из кармана плаща пачку сигарет «Черчмен» и, вынув из нее последнюю сигарету, выбрасывает коробку на рельсы, затем, медленно подняв оконное стекло, оборачивается к тебе, чиркает спичкой, закуривает, достает из кармана своего клетчатого пиджака газету «Манчестер

гардиан», пробегает глазами несколько строк, затем, сложив газету, поворачивается и уходит, скрывшись из виду.

Тебе вдруг захотелось последовать его примеру; ты встаешь, просовываешь справочник под крышку незапертого чемодана, хватаешь свое пальто, роешься в его левом кармане, под шарфом, извлекаешь оттуда роман, купленный на Лионском вокзале перед самым отходом поезда, и кладешь книжку на место, где ты только что сидел, а заодно достаешь из кармана непочатую пачку сигарет и надрываешь угол.

Пассажиры, сидящие по обе стороны двери, вытянули ноги в проход между сиденьями, и ты, извинившись, что вынужден их обеспокоить, выходишь из купе.

## III

Ты снова сел на свое прежнее место, покинутое коммивояжером, вдруг заметившим в проходе знакомого в тот самый миг, когда среди летевшего вам навстречу бургундского пейзажа показались очертания станции Лом-Алезия и депо старых паровозов по соседству с поселком Ализ-Сент-Рен, сейчас отсюда невидимым, где, по преданию, Юлий Цезарь победил галлов; ты сел на свое место, не притронувшись к лежавшему рядом роману, который ты положил сюда в знак того, что это место занято, и сейчас, чувствуя, как в лицо тебе бьет струя чересчур прохладного воздуха — оттого, что в конце вагона слегка приоткрыто одно из окон,— ты, стараясь умерить сквозняк, потянул к себе дверь, и она, вдруг поддавшись, сдвинулась примерно сантиметров на двадцать.

Повозившись несколько секунд с крышкой пепельницы, привинченной к стенке, ты вынул из правого кармана пиджака пачку сигарет с надорванным уголком, но нетронутой белой бумажной лентой, опечатывающей эту пачку, в которой, однако, уже недостает двух сигарет; взяв третью, ты закурил, прикрыв ладонями огонек, при этом у тебя чуть защипало в глазах от дыма, и тебе пришлось раз-другой моргнуть, затем, взглянув на часы и увидев, что на них четверть одиннадцатого, ты обнаружил, что, хотя твое путешествие длится уже больше двух часов, до ближайшей остановки в Дижоне, куда поезд прибудет в одиннадцать двенадцать, в твоем распоряжении остается еще около часа; стряхнув пепел, ты продолжал потягивать дым через эту маленькую трубочку, свернутую из белой бумаги и набитую крошевом из толченых сухих листьев, глядя, как вспыхивают и мерцают две красные точки в толстых стеклах очков сидящего напротив тебя человека, уже не англичанина, а твоего прежнего визави — преподавателя, склонившегося над толстой книгой с пожелтевшими страницами; эти две красные точки при каждой твоей затяжке то разгораются, то быстро гаснут рядом с крохотным, искаженным отражением выходящих в коридор стекол и неприкрытой двери, за которой кривой лентой пробегает окрестный пейзаж, две красные точки под высоким, с тремя резкими морщинами лбом, венчаемым уже заметно поредевшими волосами.

Он старается не отводить глаз от строк, скачущих из-за поездной тряски, старается быстрее прочесть книгу, не упуская при этом ничего важного, в правой руке он держит карандаш и время от времени ставит крестики на полях; эта книжка, очевидно, нужна ему как материал для лекции, которая, вероятно, еще не готова, но должна быть прочитана сегодня вечером, скорее всего, лекция по вопросам права: хотя название книги — оно повторяется вверху на каждой странице — слишком резво пляшет, чтобы ты, сидя напротив, мог его разобрать, однако тебе все же удается различить первые три буквы — «ЗАК»; в заголовке, очевидно, есть слово «законодательство», и лекция, вероятно, должна быть

прочитана в Дижоне, потому что на этой трассе вплоть до самой границы нет другого университетского города.

На его узкой, неспокойной руке — обручальное кольцо; наверно, он ездит читать лекции в Дижон дважды или трижды в неделю, а может быть, только раз, если ему удалось выговорить себе приличные условия, если он подыскал там для себя какое-то пристанище или же дешевую гостиницу, которая ему по средствам — ведь жалованье у него, скорее всего, небольшое; наверно, он оставляет свою жену в Париже, где, как большинство его коллег, живет вместе с детьми, если, конечно, у него есть дети, и вот ради них-то ему и приходится квартировать в Париже, чтобы они могли учиться,— не то чтобы в Дижоне не было отличных лицеев, нет: детям нужно жить в Париже потому, что они, наверно, уже имеют дипломы бакалавра, по крайней мере, старшая дочь или старший сын (пусть это глупо, но ты, конечно, предпочел бы, чтобы твоим первенцем был мальчик), ибо преподаватель, хоть, по всей вероятности, и моложе тебя на несколько лет, но наверно, женился раньше и его детям, которым родители уделяют куда больше внимания, чем ты своим, легко было учиться блестяще, не в пример Мадлене, которая в семнадцать лет еще только заканчивает лицей.

Он лихорадочно перелистывает страницы, снова возвращается к прочитанному, совесть его неспокойна: наверно, он корит себя за то, что до последней минуты откладывал работу, которую следовало бы завершить давным-давно без всякой спешки; а может быть, у него возникло какое-нибудь непредвиденное затруднение и ему пришлось наспех переделывать все, что было сделано прежде, заново перекраивать эту самую лекцию, тогда как он вовсе не предполагал к ней возвращаться,— ведь из года в год, с тех пор, как он получил свою должность, он без всяких изменений ее повторял. Чувствуется, что это настоящий интеллигент и, безусловно, порядочный человек.

Конечно, при его жалованье он никак не мог бы позволить себе предпринять вдруг вылазку в Рим, вроде той, которую совершаешь сейчас ты, более того, если бы он располагал необходимыми средствами, если бы стремление избегать лишних трат на одежду не стало для него второй натурой, он, наверно, предпочел бы носить не такие костюмы, как тот, что сейчас на нем, совсем вытертый и, судя по всему, не притязавший на элегантность даже в дни своей молодости, наверно, он с радостью надел бы другое пальто, а не это черное с огромными пуговицами, возможно, уже ставшее на факультете притчей во языцех, пальто, которое он, единственный из всех пассажиров купе, не удосужился снять, но не потому, что зябнет больше других, а потому что, всецело поглощенный своей работой, просто не подумал об этом; к его лицу, недавно еще казавшемуся таким бледным, теперь прилила кровь, и видно, как нервно вздрагивают его веки за сверкающими стеклами очков.

У него наверняка нет средств купить себе автомобиль (и если сам он не страдает от этого, никогда даже не помышляет об этом — ведь он, видно, столь же скромен в своих привычках, сколь и щепетилен — его жене, его детям автомобиля наверняка не хватает) — ну разве можно жить на свете, будучи профессором права? Но не логично ли спросить в таком случае, как же можно жить на свете, будучи директором французского филиала фирмы «Скабелли»? Конечно, ты зарабатываешь намного больше него, у тебя есть машина, ты можешь позволить себе кое-какие прихоти, ты хорошо одеваешься, да и твоя жена тоже, когда она этого хочет,— вернее, могла бы хорошо одеваться, если бы хотела; и все же, хотя его работа тебе не по вкусу, зато она, бесспорно, по вкусу ему самому, и именно по этой причине он избрал себе эту профессию и согласился жить чуть ли не в нищете, тогда как тебе до поступления на службу к Скабелли, безусловно, не было ни малейшего дела ни до

пишущих машинок, ни до торговли ими; к тому же у преподавателей очень большой отпуск, а твой досуг почти всегда пожирает служба, даже в тех случаях, когда ты выезжаешь из Парижа куда-либо, кроме Рима.

Конечно, фирма «Скабелли» выпускает отличные машинки, они ничуть не хуже любых других, красиво отделаны и работают безупречно, но все это — за пределами твоих обязанностей, твоей компетенции и твоих забот, ведь ты не имеешь ни малейшего отношения к производству, твоя задача сводится к тому, чтобы люди покупали пишущие машинки марки «Скабелли», а не «Оливетти» или «Гермес», для чего, разумеется, нет сколько-нибудь серьезных оснований,— это игра, иногда забавная, а иногда и утомительная, не дающая тебе ни минуты покоя, прибыльная игра, которая могла бы тебя извести, словно какой-нибудь порок, но все же не извела, коль скоро сегодня ты свободен, коль скоро ты сейчас летишь навстречу своей свободе, имя которой Сесиль; и уж, конечно, из вас двоих скорее следовало бы жалеть тебя, а не его, хоть ты и живешь, не зная материальных забот, а он явно стеснен в средствах,— ведь он занят тем, что его интересует, краеугольным камнем своей жизни он сделал любимое дело; не его надо бы жалеть, а тебя, не будь у тебя этой лучезарной любви, залога твоей независимости, залога того, что ты преуспел вдвойне: во-первых, обеспечил себе почти полный достаток, во-вторых, сберег молодость духа, которая необходима, чтобы начать жизнь, полную волшебного риска.

И все же достаток твой нельзя назвать полным, все же ты не совсем свободен от денежных забот — будь по-другому, ты сидел бы сейчас в вагоне первого класса, что было бы куда приятнее, но можно взглянуть на вещи и по-иному, сказав, что неудобства, связанные с поездкой третьим классом, тебя не пугают и ты не настолько утратил спортивный дух, чтобы считаться с такими пустяками. Сейчас тебя больше не клонит ко сну, ты полон жизненных сил, ты — победитель.

Сигарета жжет тебе пальцы; она сама догорела в твоей руке. Юный супруг поднялся, положил на свое место итальянский разговорник и синий путеводитель и, извинившись, что вынужден тебя потревожить, вышел из купе и скрылся где-то за твоей спиной.

Пепел осыпался тебе на брюки, и ты стряхнул его на металлический, выложенный ромбами мат возле ног преподавателя, который закрыл свою книгу и, подобно юному супругу, тоже поднялся с места, но лишь для того, чтобы, сняв черное пальто, небрежно кинуть его на багажную сетку между набитым бумагами портфелем и чемоданом, обтянутым сине-зеленой шотландкой, а затем снова лихорадочно углубился в свои изыскания.

Ты раздавил в пепельнице окурок. Чья-то рука постукивает по стеклу, отделяющему купе от прохода, это рука контролера с щипцами для пробивания билетов, и ты начинаешь рыться во внутреннем кармане пиджака, торопясь достать бумажник — не тот, черный, который дети в среду преподнесли тебе по случаю дня рождения, ты оставил его в коробке, на полке зеркального шкафа в спальне, а старый, красный, в нем лежит твой паспорт, срок действия которого через месяц истекает, и потому надо будет поручить Марналю продлить его перед очередной поездкой в Рим на ежегодное итоговое совещание,— бумажник, в одном отделении которого лежат сложенные вдвое пять тысячефранковых купюр, а в другом — две купюры по десять тысяч, иными словами, несколько больше тех двадцати тысяч, которые в принципе разрешается провозить через границу, даже за вычетом стоимости предстоящего обеда в вагоне-ресторане, впрочем, если даже и вздумают проверить твою наличность (тебе еще ни разу не случалось с этим сталкиваться), то и тогда не станут придираться из-за такой мелкой суммы, правда, если

бы вдруг и возникло какое-нибудь недоразумение, ты тотчас оставил бы на таможне недозволенный излишек; ты достаешь этот бумажник, где у тебя спрятано удостоверение личности, весьма потрепанное, с той старой фотографией, на которой тебя невозможно узнать; несколько тысяч лир; три билета парижского метро; автобусный абонемент с несколькими, уже оторванными талонами (сейчас священник протягивает контролеру небольшой кусочек картона, а после проверки кладет его на прежнее место между форзацем и обложкой своего требника); три итальянские марки, свидетельство о многодетности, моментальный снимок: ты с Сесиль на Корсо; билет члена Общества друзей Лувра, который ты забыл продлить, удостоверение члена Общества Данте Алигьери и, наконец, проездной билет; ты протягиваешь его контролеру, он пробивает его, и ты кладешь его обратно в бумажник.

Выйдя из купе, контролер сталкивается с юным супругом, возвращающимся на свое место; слегка смутившись, тот делает знак жене, роется в одном кармане, потом в другом, наконец находит билеты и, отделавшись от контролера, снова извиняется, что вынужден тебя потревожить.

Захлопнув журнал, молодая женщина кладет его рядом с собой, поверх синего путеводителя и итальянского разговорника; она поправляет сбившуюся прядь волос, берет свою сумку и встает; в проходе между сиденьями подается в сторону, чтобы пропустить мужа, и, чуть заметно задев ногой в шелковом чулке твои обтянутые брюками колени, дарит тебе улыбку, а ее муж между тем садится у окна напротив священника, на место, оставленное женой.

Контролер уже вышел из соседней двери и теперь постукивает щипцами для пробивания билетов по стеклу следующего купе. Преподаватель закрыл свою книгу, вид у него довольный — наверно, он решил, что хватит, лекция уже готова, теперь он справится; он засовывает карандаш в нагрудный карман, рядом с авторучкой и носовым платком, которым, по всей видимости, он уже пользовался, потирает руки, почесывает у себя за ушами, массирует пальцами веки, встает, берет с багажной сетки свой портфель, кладет в него книжку в черном коленкоровом переплете с клочками бумаги вместо закладок и, наконец, тоже выходит, насвистывая какую-то песенку, которую тебе не удается расслышать, ты лишь угадываешь ритм по движениям его губ, по тому, как он отбивает такт, ударяя ладонью по всему, что попадается на его пути; дважды стукнув рукой по стеклу, что справа от тебя, он исчезает, но на смену ему почти тут же приходит молодая женщина, и, даже еще не успев войти в купе, она замечает, что муж похитил ее журнал и листает его с иронической улыбкой, вероятно, потому, что читает раздел, где дамы поверяют свои сердечные тайны, и углы его губ то поднимаются, то опускаются в такт движению поезда; подойдя к мужу, молодая женщина насмешливо произносит: «Вот видишь, и тебе это интересно»,— первые слова, помимо многочисленных извинений и формул учтивости, которые наконец произнесены кем-то вслух за все время путешествия в этом зале ожидания на колесах,— и юный супруг в ответ, ласково улыбнувшись, пожимает плечами.

Поезд минует станцию Дарсей. Почти в самом конце коридора контролер выходит из одного купе и тут же входит в следующее, по всей видимости, последнее, затем появляется девушка примерно одних лет с Мадленой, а за ней на некотором расстоянии коммивояжер, еще недавно занимавший угловое место, которое ты выбрал перед отправлением поезда и которым тебе снова удалось завладеть. Молодожены опять сели рядом, но поменялись местами: теперь он сидит у окна, а она — рядом с англичанином. За окнами коридора проносится длинный товарный состав с деревянными, грязно-белого цвета вагонами-холодильни-

ками, на которых крупными черными буквами выведена какая-то надпись.

Только бы в Риме стояла хорошая погода — hic ver assiduum [1],— только бы завтра утром тебе не пришлось искать прибежища в одной из соседних подворотен, спасаясь от пронизывающего ливня, какие бывают в осеннюю пору в Риме,— это может помешать тебе встретиться с Сесиль, ты не увидишь ее, даже не сможешь ее догнать в тот миг, когда она выйдет в своем прозрачном плаще и бегом помчится к посольству; хорошо бы спокойно дожидаться ее на свежем воздухе, уже отдохнув, отойдя после этой ночи, которая никак не обещает быть приятной, набросив на руку пальто и покуривая сигару, одну из тех, что ты сейчас купишь в вагоне-ресторане,— дожидаться, стоя в тени, но радуясь солнцу, золотящему крыши домов, на углу улицы Барбьери, напротив дома 56 по улице Монте-делла-Фарина, который станет твоим тайным пристанищем на две ночи.

Ставни на окнах пятого этажа еще будут закрыты, когда ты встанешь на свой пост, ведь при твоем нетерпении, сколько бы ты ни кружил по городу, ты все равно не выдержишь, и наверняка придешь к своему наблюдательному пункту раньше восьми часов, и будешь долго ждать, стараясь как-то убить время, рассматривая фасад дома своей Сесиль и трещины на нем, разглядывая лица первых прохожих; потом наконец отворится ее окно, и, может быть, ты увидишь ее в проеме, когда, перегнувшись через подоконник, она случайно взглянет на какой-нибудь грохочущий мотоцикл,— увидишь ее иссиня-черные волосы, волосы итальянки, хотя по отцу она француженка, еще не причесанные волосы, которые она движением головы откинет назад, за плечи, и, наверно, тут-то она и заметит тебя, но, не подозревая о твоем приезде, она тебя не узнает, самое большее, может быть, подумает, что этот бездельник, который так настойчиво ее разглядывает, чем-то напоминает тебя.

Так на какое-то время ты как бы станешь свидетелем ее жизни без тебя, затем она нырнет в затемненную глубь своей просторной, изысканно обставленной комнаты с высоким потолком, какие встречаются только в старых римских домах, с диваном в углу, где вы свободно помещаетесь вдвоем, с цветами, которые она всякий раз подбирает так заботливо и умело,— комнаты, расположенной рядом с двумя другими, которые сдаются на лето туристам, а сейчас наверняка будут свободны, и одна из них станет официально твоим жильем на эти две ночи; комнаты, достаточно изолированной от остальной части квартиры, расположенной по другую сторону маленькой темной прихожей, откуда через застекленную дверь сразу входишь в огромную кухню,— изолированной от всей остальной части, где проживает со своим семейством хозяйка — госпожа Да Понте, однофамилица либреттиста Моцарта и художника Бассано [2].

Итак, ты станешь ждать, когда она появится в дверях, заслонив святого Антония, почти невидимого под запыленным стеклом, появится, как ты надеешься, в платье с широкими складками, в красных и лиловых разводах, с большой белой шалью на плечах, твоим подарком,— в ней она особенно хороша — или, если на дворе будет прохладно, в своем темно-зеленом вельветовом костюме; ее черные волосы, заплетенные в косу, будут обвиты вокруг головы и заколоты двумя-тремя шпильками со стеклянными головками, переливающимися всеми цветами радуги, губы — накрашены, брови — чуть подведены синим карандашом, и больше никакой косметики на ее лице, на ее ослепительной коже.

[1] Здесь всегда весна *(лат.)*.

[2] Да Понте — настоящая фамилия итальянского художника Якопо Бассано (ок. 1515—1592).

Она сразу же свернет налево к Сант-Андреа-делла-Валле, так она всегда ходит на службу, хотя это отнюдь не самый короткий путь, и тут уж она непременно тебя заметит, тем более что ты сделаешь ей знак, окликнешь ее, если потребуется, и даже бросишься к ней, если всего этого будет мало,— и она застынет на месте, не веря своим глазам.

Ты рассмеешься. Ты скажешь ей, что пробудешь в Риме до вечера понедельника, ничего больше не добавляя: лучше сделать так, чтобы ее изумление нарастало постепенно, и насладиться им до конца, лучше дарить ей эту радость капля за каплей, не упуская ни одной; ты заставишь ее пойти в другую сторону, поведешь ее пить кофе на Ларго Арджентина, пренебрегая ее отказом, ее боязнью опоздать в посольство,— ведь теперь опоздание уже не страшно; успокоив и расцеловав ее, ты затем сядешь вместе с ней в такси (в этот час на Корсо наверняка можно схватить какую-нибудь машину, разъезжающую в поисках пассажиров), что, по правде говоря, чистейшая роскошь — ведь расстояние, которое вам предстоит проехать, совсем ничтожно, и выигрыш времени тут пустячный,— и отвезешь ее на площадь у дворца Фарнезе, где, расставаясь, пообещаешь зайти за ней в час пополудни.

Затем всю первую половину дня ты проведешь один — ведь ты нигде не обосновался, твой чемодан все еще лежит в камере хранения, и ты чувствуешь себя в Риме туристом; ты воспользуешься этой свободой, этим нежданным досугом, чтобы вновь посетить музей, в котором ты не был уже много лет, по крайней мере, с тех пор, как узнал Сесиль, одно из редких мест в этом городе — разумеется, помимо здания фирмы «Скабелли» и всех других зданий, так или иначе имеющих отношение к этой фирме,— где ты ни разу не бывал вдвоем с Сесиль, и прежде всего потому, что этот музей — музей Ватикана — открыт всегда лишь с десяти утра до двух часов дня и неизменно закрыт по воскресеньям.

Точно так же ты ни разу не бывал с ней в соборе святого Петра, потому что она, подобно тебе, ненавидит пап и священников, только куда более неистово и неприкрыто (и отчасти за это ты так сильно ее любишь), что, однако, нисколько не мешает ей бесконечно наслаждаться зрелищем фонтанов, барочных куполов и фасадов, но, по правде сказать, ты и сам не испытываешь ни малейшего желания завтра утром вновь посетить это гигантское, ущербное творение архитектуры, это огромное, подавляющее своим богатством свидетельство нищеты.

Первым делом тебе придется — потому что от нескольких тысяч лир, которые ты прихватил с собой, уже скоро почти ничего не останется, как только ты заплатишь сегодня вечером за ужин в итальянском вагоне-ресторане,— придется снять немного денег с твоего текущего счета в одном из отделений Римского банка на Корсо, напротив дворца Дориа-Памфили, затем ты поедешь на автобусе до площади Рисорджименто, и после долгой прогулки пешком вдоль внушительных городских стен ты доберешься до музея, когда наверняка уже пробьет десять и, следовательно, он уже будет открыт.

Ты торопливо пройдешь нескончаемые коридоры, где так нелепо выстроены в ряд античные статуи, нахватанные из разных мест, независимо от их достоинств и эпохи, стремясь поскорее миновать это скопище посредственных работ, где, правда, нет-нет, да и мелькнет настоящий шедевр, только непременно испорченный, с какой-нибудь дурацкой головой, руками или идиотскими ногами, приставленными к нему задним числом (неужели в этом давно уже загнивающем заповеднике не найдется никого, кто восстал бы против этого вопиющего обмана и хаоса?); ты пойдешь взглянуть на Станцы [1], немного постоишь в Сикстинской капелле и спокойно возвратишься назад через апартаменты Борджиа.

[1] Четыре комнаты Ватиканского дворца, расписанные Рафаэлем и его учениками

В час дня Сесиль, выйдя из здания посольства на площади у дворца Фарнезе, станет искать тебя взглядом, и вы отправитесь пообедать, например, в ресторан «Тре Скалини» на площади Навона, где раньше находился цирк императора Клавдия, и там, восхищаясь тем, как купол и эллиптические башни собора, созданного Борромини, тянутся вверх, подхваченные общим порывом, которому подчинено все пространство этой вытянутой площади, любуясь брызгами, взлетающими вверх в знаменитом фонтане Четырех Рек, и статуями Дуная, Нила, Ганга — с задранным кверху носом, как бы отпрянувшего в изумлении — и Ла-Платы, лица которой не видно под окутывающими ее покровами, разглядывая этих четырех белокаменных великанов, словно водящих хоровод вокруг утеса, где водружен обелиск из розового гранита, и навертывая на вилку спагетти, ты, наконец, откроешь ей цель твоего приезда, скажешь, что на этот раз прибыл сюда не по делам фирмы «Скабелли», а исключительно ради того, чтобы повидаться с ней, что ты подыскал ей в Париже службу, что ты не взял номера в «Квиринале», а будешь жить все эти дни у нее, для чего тебе придется сразу же после обеда сначала отправиться для переговоров к госпоже Да Понте, а потом забрать из камеры хранения чемодан, чтобы затем вдвоем, без всякой спешки, обняв друг друга за талию, как двое юных влюбленных, вы могли побродить по Риму, наслаждаясь его красотой, развалинами, деревьями и улицами, которые, учитывая, что контора фирмы в это время обычно закрыта, сегодня все будут принадлежать вам, даже Корсо и площадь Колонны, за исключением, правда, улицы Витторио Венето и особенно окрестностей «Кафе де Пари», где синьор Этторе Скабелли имеет обыкновение засиживаться часами.

Когда зайдет солнце, вы вернетесь на улицу Монте-делла-Фарина, чтобы взять пальто, потому что Сесиль, возможно, захочет поужинать в какой-нибудь пиццерии неподалеку, и по пути вы поинтересуетесь, какие фильмы послезавтра идут в кино, потому что завтра ты почувствуешь усталость от предыдущей мучительной, беспокойной ночи, той, которая сейчас тебе только предстоит; вот почему, поднявшись в комнату Сесиль, вы оба рано ляжете в постель, и на этот раз ты покинешь ее лишь на другое утро.

За окном прохода по-прежнему низко стелются тучи. Англичанин заложил ногу на ногу. В окне купе колеблется мягкая зыбь холмов, покрытых виноградниками с опавшей листвой.

До того, как ты узнал Сесиль, ты не испытывал такой сильной любви к Риму, хотя уже был знаком с главными достопримечательностями этого города и ценил его атмосферу; но только вдвоем с Сесиль ты начал шаг за шагом открывать его для себя, и теперь все его улицы окрашены твоей страстью к ней, так что, мечтая о Сесиль подле Анриетты, ты в самом сердце Парижа мечтаешь о Риме.

В минувший понедельник, прибыв в Париж экспрессом из Рима в девять утра и проведя в купе первого класса несравненно лучшую ночь, чем та, которая предстоит тебе на этот раз,— прибыв в Париж в утренний час, когда скупые лучи утреннего солнца уже пробивались сквозь стекла, ты, вопреки обыкновению, не сразу покинул Лионский вокзал и, вместо того чтобы сесть в такси, поехать к себе в дом номер пятнадцать на площади Пантеона и там побриться и принять ванну, а затем, зайдя в гараж на улице Эстрапад, взять свой автомобиль и поехать на нем в контору,— вместо этого ты стал искать в огромном здании вокзала что-нибудь вроде римского albergo diurno, и в самом деле, ты обнаружил там маленькую

душевую, где вымылся в кабинке, по правде сказать, сомнительной чистоты; затем, поскольку в дни твоего возвращения из Рима ты обычно не появляешься у себя в конторе раньше половины одиннадцатого, ты воспользовался оставшимся временем, чтобы немного побродить по городу, наподобие какого-нибудь римского туриста в Париже, словно ты постоянно живешь в Риме и наезжаешь в Париж лишь от случая к случаю, по делам, раз в два месяца или, самое большее, раз в месяц.

Оставив чемодан в камере хранения и решив про себя, что ты поручишь Марналю забрать его до конца дня, ты зашагал к Сене, перешел Аустерлицкий мост, а так как и вправду стояла довольно хорошая для ноября погода, ты, проходя мимо Ботанического сада, расстегнул пальто, пересек весь остров Сен-Луи, по дороге выпив кофе с молоком и проглотив несколько рогаликов, хотя ты по обыкновению уже выпил чаю с сухариками в вагоне-ресторане и, стало быть, позавтракал раньше — впрочем, таким завтраком тебе никогда не удавалось насытиться, и после него ты всегда еще раз плотно ел дома, и, вероятно, в минувший понедельник этот домашний завтрак, как всегда, был приготовлен и дожидался тебя,— а ты вместо этого обошел чуть ли не весь старый город, засунув одну руку в карман брюк, а в другой держа портфель и помахивая им в такт какой-то мелодии Монтеверди, которую ты напевал про себя; и, вероятно, стрелка часов уже приближалась к десяти, когда у собора Парижской богоматери ты сел в шестьдесят девятый автобус, и он наконец доставил тебя на площадь Пале-Рояль.

Стараясь продлить ощущение, будто твое путешествие еще не завершено, ты решил, что не станешь обедать дома, но, не желая понапрасну волновать Анриетту, ты позвонил к себе на квартиру по телефону (Дантон—двадцать пять—тридцать) и узнал, что жены нет дома, а дети, разумеется, сейчас в школе,— все это ты узнал от кухарки Марселины, которую и попросил передать хозяйке, что придешь домой только к вечеру.

Спустя полчаса Анриетта позвонила тебе сама:

— Попросите, пожалуйста, мосье Дельмона.

— Да, я слушаю. Как дела? Сегодня я не смогу обедать дома. Мне очень жаль.

— А к ужину ты придешь?

— Конечно.

— А как будет завтра?

— А чем так знаменателен завтрашний день?

— Ничем. Ведь твой день рождения в среду.

— Ах, да. Как это мило, что ты помнишь.

— Хорошо съездил?

— Как всегда.

— Ну что ж, до вечера.

— До вечера.

На другой стороне улицы Даниэль Казанова, в одной из витрин туристского агентства Дюрье, были вывешены афиши, рекламирующие красоты Бургундии: блестящая черепица богадельни в городе Бон; сентябрьские виноградники, увешанные черными гроздьями, темнеющими среди пятнистой листвы; могилы французских герцогов в Дижоне. Другая витрина, на авеню Оперы, вся посвящена зимнему спорту: здесь лыжи, альпинистские пояса с веревками, толстые ботинки с красными шнурками, огромные фотографии подвесной канатной дороги и ослепительных снежных полей, испещренных лыжнями, фотографии чемпионов по прыжкам с трамплина, летящих по воздуху с вытянутыми вперед руками, зимних домиков с пушистыми снежными шапками на крыше, сверкающими и переливающимися на солнце, с мокрыми деревянными балконами; фотографии девушек в узких брюках, в свитерах с ярким рисунком,— короче, картины Савойи, совсем непохожей на ту, которую скоро пересечет твой

поезд, мрачную и пасмурную, со скудными пятнами грязноватого снега. Третья витрина отведена Италии: на снимках — усеянный звездами купол церкви св. Плащаницы в Турине, лестница дворца Бальби в Генуе, Пизанская башня, играющий на свирели юноша из Тарквинии, площадь святого Петра с обелиском из цирка Нерона, перенесенным сюда по распоряжению папы Сикста Пятого, и бесчисленные виды других городов, по большей части тебе незнакомых: церковь в Лукке, триумфальная арка Траяна в Беневенто, амфитеатр в Виченце; наконец, четвертая витрина зазывала в Сицилию.

Ты пересек улицу Пирамид, оставив справа между аркадами статую всадницы, отливавшую на фоне облаков мягким золотистым блеском, в то время как на другой стороне авеню Оперы витрины других туристических агентств на разные лады повторяли все то же слово — Италия; свернув направо на площадь Французского театра, ты подождал, пока зеленый свет сменился красным и, точно плотина, остановил поток машин; затем ты пересек улицу Риволи в установленном для пешеходов месте, и когда ты очутился на противоположном тротуаре, перед тобой вдруг возникло ничем не заслоненное хмурое перламутровое небо над Тюильри. По одну сторону, скрытые за деревьями сада, у тебя остались три скверные статуи, изображающие сыновей Каина, по другую сторону — Триумфальная арка на площади Карусель, и в этот миг ты увидел позади нее и впереди другой арки — на площади Звезды — серую иглу Обелиска.

На стоянках теснились автомобили, прижатые друг к другу, словно книги на библиотечных полках, а у входа в павильон Мольен стояло несколько автобусов; сидя на каменных скамейках, увешанные фотоаппаратами американки листали планы города в ожидании гидов.

По обыкновению, даже не взглянув на саркофаги и бронзовые копии с античных статуй Ватиканского музея, ты поднялся по лестнице, которая ведет к Нике Самофракийской, ты шел, куда тебя тянуло, не имея в виду никакого определенного места; миновав — один за другим — всю вереницу египетских залов, ты поднялся по узкой винтовой лестнице в залы восемнадцатого века.

Твой взгляд торопливо скользнул по картинам Гварди и Маньяско в первом, по холстам Ватто и Шардена во втором, по работам английских портретистов и Фрагонара в третьем; и только в самом последнем зале ты остановился, но не ради Гойи и Давида. Картины, в которых ты восхищенно рассматривал каждую деталь, к которым тебя так безотчетно влекло, принадлежали кисти третьестепенного художника Паннини: на двух крупных полотнах он изобразил две вымышленные картинные галереи, размещенные в необыкновенно высоких залах, широко открытых для знатной публики, где священники и аристократы прогуливаются между статуй, вдоль увешанных пейзажами стен и, подобно посетителям Сикстинской капеллы, жестами выражают свой восторг, любопытство, изумление; особенно примечательным в этих картинах было отсутствие сколько-нибудь ощутимой разницы между предметами, числящимися реальными, и другими, изображенными на вымышленных холстах, словно живописец стремился отобразить торжество замысла, увлекавшего многих художников его времени: создать на полотне эквивалент реальности, столь абсолютный, чтобы написанную маслом капитель — не будь рамы — невозможно было отличить от настоящей; так мастера архитектурного пейзажа времен римского барокко, изображая на полотне пространство, создают с помощью волшебного набора символов — всех этих пучков пилястров и сладострастно изгибающихся волют — памятники, соперничающие своей выразительностью и внушительностью с массивными объемами подлинных античных руин,— которые всегда были перед глазами художников, вызывая их зависть,—

и собрав воедино все детали античного декора, делают их основой собственного языка.

Это сопоставление, это стремление во что бы то ни стало сравняться со всем тем, что начиная с шестнадцатого века воспринималось как вызов, брошенный Римской империей римской церкви, и поражало с первого взгляда в обеих картинах, симметрично висящих по обе стороны окна, выходящего на Квадратный двор: на холсте справа — галерея видов современного Рима, на холсте слева — галерея видов Древнего Рима, и ты не без удовольствия узнал Колизей, базилику Максенция, Пантеон, представшие перед тобой такими, какими они были двести лет назад, примерно в то время, когда их запечатлел на своих гравюрах Пиранези: три белые капители храма Марса Мстителя на форуме Августа, едва возвышающиеся над уровнем земли, три белые капители, которые теперь венчают роскошные высокие колонны; портик храма Антонина и Фаустины с фасадом церкви, сооруженной внутри храма и сохранившейся по сей день; триумфальную арку Константина и арку Тита, в те времена плотно окруженную домами; термы Каракаллы среди полей и таинственный круглый храм, так называемый храм Минервы Целительницы, который и сегодня еще виден из окон поезда, когда подъезжаешь к вокзалу.



За окном, в гуще виноградников, под чернеющим, подернутым облаками небом, виден скат церковной крыши — желтая черепица отчетливо выделяется среди домиков, окруживших церковь. На отопительном мате между сиденьями металлические полоски скрещиваются и переплетаются, словно миниатюрные рельсы на какой-нибудь сортировочной станции.

Два года назад или чуть больше — помнится, это было летом, в конце августа — ты сидел в купе третьего класса, точно таком же, как вот это, на том же самом месте у двери в коридор по ходу поезда, и напротив тебя сидела Сесиль, возвращавшаяся из отпуска в Рим, Сесиль, с которой ты едва был знаком, которую только что первый раз увидел в вагоне-ресторане.

Час был куда более поздний, чем теперь, дело шло к вечеру, и вы оба находились в поезде, который, подобно этому, выезжал из Парижа утром и прибывал в Рим на рассвете, по всей вероятности, в этом же самом поезде, только расписание с тех пор немного изменилось; тогда ты сел в этот поезд из-за каких-то помех, возникших в последнюю минуту, сейчас ты уже не помнишь каких, но, разумеется, до обеда ты ехал в первом классе, в итальянском вагоне, увешанном цветными репродукциями знаменитых картин — из тех, что находятся в Риме, например, «Аллегории любви земной и небесной» из музея на вилле Боргезе (эту вещь особенно часто репродуцируют).

Когда ты впервые увидал Сесиль, ты сидел в ресторане за столиком у окна, намереваясь обедать во вторую смену. Поезд давно проехал Дижон, Бон, Макон, Шалон и даже Бур; теперь за окном уже тянулись не виноградники, а горы.

Она была в платье рыжевато-красного цвета с низким вырезом на загорелой груди; ее черные волосы, заплетенные в косы, были обвиты вокруг головы и заколоты шпильками с золотыми головками, губы накрашены помадой почти лилового цвета.

Пассажиры постепенно заполняли вагон, но, по счастью, вы остались за столиком вдвоем, и, поскольку стояла сильная жара, первыми словами, с которыми ты к ней обратился, был вопрос, не будет ли она возражать, если ты откроешь верхнюю половину окна для вентиляции, затем

увидев, что она достала из своей черной сумки справочник — только не синий, какой ты сейчас держишь в руках, а скорее нежно-зеленый, такой, как стены под багажными полками,— а у тебя справочника не было, ты осведомился, когда поезд прибудет в Экс-ле-Бен.

— Во всяком случае, вы кончите обедать задолго до того, как будете на месте.

— Нет, я схожу не там. Я еду в Рим, только, увы, не туристом, а по делам.

Поначалу вы лишь перебрасывались скупыми вежливыми замечаниями, перемежавшимися долгими паузами, затем постепенно завязался оживленный разговор об обеде, о вине, которым ты ее угостил, о блюдах, которые вам подавали. И разговор продолжался до тех пор, пока, посмотрев на свой счет, она не обнаружила, что ей не хватит французских денег.

— Я думаю, официант согласится получить в лирах...

— Да, но только по весьма невыгодному курсу. Вот что: я обменяю вам тысячу лир по парижской таксе.

Тут она начала рассказывать о себе, ты узнал, что она, как и ты, едет в Рим, что она служит в этом городе, во дворце Фарнезе, вот уже несколько лет, что ей очень нравится этот город, его жизнь, а также ее служба, но что она там все же довольно одинока, а сейчас возвращается из Парижа, где она провела месяц отпуска, из Парижа, с которым ей было трудно расстаться, что по матери она итальянка и родилась в Милане, но числится французской подданной и что она закончила во время войны коллеж Севинье.

Когда вновь открыли границы, она вернулась к своей родне по матери и вышла замуж за молодого инженера, служившего на заводе «Фиат» и через два месяца после свадьбы, вскоре после того, как они обосновались в Турине, погибшего в ужасной автомобильной катастрофе. Когда она вспоминает об этом, ее еще и сейчас бьет дрожь, вот почему она решила оставить все, что напоминало ей о прошлом, и переехать поближе к югу.

Почти все посетители вагона-ресторана уже возвратились на свои места, официанты складывали скатерти; выйдя вслед за нею, ты прошел мимо своего купе первого класса, но тебе так хотелось в свою очередь рассказать о себе, что ты проводил Сесиль в ее купе и сел на сиденье напротив. Поезд в то время как раз шел вдоль озера Ламартин.

Вы все еще разговаривали, когда поезд пересек границу, а вечером вместе отправились в итальянский вагон-ресторан. За окном расстилался залитый солнцем бесконечный горный пейзаж Пьемонта, долины уже окутала тень, но выше на склонах гор еще блестели крыши домов из серой дранки, пот ручьями тек у тебя по спине, и в то же время ты чувствовал, как в воздухе разливается прохлада. Она слушала твои речи, смотрела на тебя, восхищалась тобой, смеялась. Время шло, надвигалась ночь. Когда вы вернулись в ее купе, там уже оставалось всего три пассажира: старая итальянка, вся в черном, и два французских туриста — брат и сестра.

Поезд шел туннелями Генуи; вы глядели на освещенные витрины магазинов, на лунные блики, лежавшие на воде; вы оба молчали; кто-то попросил погасить свет. На потолке горела теперь лишь одна-единственная синяя лампочка, но окна в проходе еще не были зашторены. На какую-то долю секунды ей вдруг показалось, что ты сейчас уйдешь, а ты и вправду раздумывал, не пора ли уйти, но как быстро ты подметил огорчение на ее лице! Ты остался на том самом месте по ходу поезда у стенки, отделяющей купе от коридора, где сидишь вот сейчас, она же сидела напротив, там, где сегодня сидит преподаватель, с улыбкой склонив голову набок, засыпала под твоей охраной; временами она вздрагивала и,

встрепенувшись, поглаживала руками дверной косяк, случалось, она слегка приоткрывала рот, чтобы вздохнуть, и тогда виднелись ее зубы, едва заметно покусывавшие нижнюю губу, она вся сжималась в комок, а потом ее снова охватывало и усыпляло монотонное покачивание поезда.

Ты ерзаешь ногами по отопительному мату. За окном пошел дождь, которого можно было ждать с первой минуты, как только вы отъехали,— он пошел тихо и деликатно, рассыпая мелкие брызги, растекавшиеся по стеклу сотнями полосок, тоненьких, как реснички.

Картина справа от окна называлась «Галерея видов современного Рима»; здесь был микеланджеловский Моисей, а в прочих рамах — все фонтаны Бернини; ты мысленно совершил прогулку от фонтана Четырех Рек на площади Навона к фонтану «Тритон» около дворца Барберини, от площади святого Петра к лестнице на площади Испании и к церкви Санта-Тринита-дей-Монти, и за каждым из этих памятников тебе чудилось лицо Сесиль, внимательный взгляд Сесиль, той, что благодаря тебе еще больше полюбила эти места, той, из-за кого ты еще больше их полюбил.

Ты почувствовал голод и, взглянув в окно, увидел, что часы на Центральном павильоне внутри залитого дождем Квадратного двора уже показывают половину первого.

Сойдя вниз по узенькой винтовой лестнице, ты торопливо миновал все египетские залы, но, добравшись до Ники Самофракийской, вместо того чтобы сразу спуститься дальше, повернул налево и, пройдя Семиметровый зал, торопливо зашагал по большой галерее, пробираясь сквозь многочисленные группы иностранцев к картинам Пуссена и Лоррена, этих римских французов.

Сейчас ты пытаешься вспомнить, как были развешены в зале холсты, однако тебе не удается восстановить в памяти все детали их расположения; конечно, ты точно знаешь, что на правой стене висела маленькая картина, изображающая Форум в семнадцатом веке, с тремя колоннами храма Диоскуров, наполовину утонувшими в земле, — Кампо Ваччино, бычий рынок, пустырь, в который превратилось сердце столицы мира; ты помнишь также, что там была картина «Руфь и Вооз», похожая на гобелен, с ее вертикальной организацией пространства, где жесты обоих персонажей напоминают движения жнецов на египетском барельефе, с ее потемневшим от времени и лака пшеничным полем; дальше — но это не точно — возможно, была «Чума в Афинах» или же «Похищение сабинянок»,— короче, одна из картин, которые не отличить от помпеянской живописи, и трудно поверить, что создавший ее художник не мог быть знаком с искусством Помпей, а просто, благодаря потрясающей интуиции, сумел уловить его дух через посредственную фреску «Свадьба Альдобрандини», с которой он написал любопытную копию, находящуюся во дворце Дориа. Но что было на другой стене? Очевидно, «Вакханалия»; а что еще? «Улисс возвращает Хрисеиду ее отцу»? «Морской порт на заре»? «Прибытие Клеопатры в Тарс»? А может быть, все три картины вместе?

Ты стал разглядывать людей на этих картинах — они написаны с таким простодушием, что как бы взывают к твоему разуму и просят вдохнуть в них жизнь,— и в конце концов ты поддался соблазну и начал придумывать для каждого из них историю, представляя себе все, что они делали до изображенной на холсте сцены и после этого выхваченного и запечатленного живописцем жеста,— одного из многих за время

их долгих странствий по морю или похождений на улицах пышных приморских городов, среди колоннад и залов, среди высоких деревьев в садах, окружающих величественные жилища, фантастические, но овеянные живой поэзией Вергилия и более верные духу древности, чем дурацкие гипсовые реконструкции памятников, которыми еще долго — до каких же пор? — будут донимать нас бесчисленные поколения тупиц учителей.

От всех этих грез тебя отвлек твой желудок, пунктуальный, как часы, что считается признаком старости, но и тут ты почему-то не стал спешить, хотя мог бы покинуть Лувр куда быстрее, если бы миновал зал Ван-Дейка и спустился вниз по лестнице, ведущей в зал средневековой скульптуры; но нет, ты вернулся назад тем же путем, каким пришел, протискиваясь сквозь группы ахающих посетителей, через Семиметровый зал, мимо Ники Самофракийской, а потом не мог удержаться и бегло, совсем бегло окинул взглядом мозаики Антиохии, портреты римских матрон времен Нерона и статую Нерона в отрочестве — серьезного круглолицего мальчика в тоге.

Когда ты поднялся на террасу, сооруженную на месте некогда стоявшего здесь памятника Леону Гамбетта, Триумфальная арка на площади Карусель была едва различима за густой сеткой дождя, а Обелиск, естественно, совсем не виден.

Улица Риволи была точно так же запружена машинами, как и полчаса назад, но теперь на всех ветровых стеклах щеточки усердно чертили один и тот же веерообразный рисунок.

В ресторане на улице Ришелье, где тебе не раз случалось назначать деловые встречи, ты заказал спагетти по-болонски, но то, что тебе подали, сказать по правде, вряд ли заслуживало этого названия,— а может быть, чувство одиночества, вдруг захлестнувшее тебя, когда ты принялся есть, помешало тебе насладиться блюдом и оценить его по достоинству. Что же касается кофе, то хотя тебе и посулили, любезно улыбаясь, настоящий «эспрессо», все же спустя несколько минут тебе принесли так называемый «фильтр», разумеется, отличной крепости, но у тебя не хватило терпения ждать, пока чашка наполнится доверху, и ты тут же расплатился по счету. Неужели для того, чтобы поесть так невкусно да к тому же в таком угрюмом настроении, ты отказался вернуться домой к обеду, рискуя еще больше запутать, усугубить свой разлад с Анриеттой этой очередной бесполезной ложью?

В твоей пачке итальянских «Националe» еще оставалась одна сигарета, но на улице шел такой сильный дождь, что она потухла и ты бросил ее на мостовую. Часы показывали всего-навсего половину второго, а тебе нисколько не хотелось являться в свою контору на двадцать пять минут раньше срока, тем более что, очутившись там в одиночестве, ты мог бы не выдержать и заснуть, потому что при всей привычке к железнодорожным путешествиям — даже если едешь в комфортабельном вагоне первого класса — ты с каждым разом все больше от них устаешь.

Скоро это станет гораздо проще, ты ведь уже неоднократно ставил этот вопрос перед фирмой «Скабелли», и в конце концов было решено, что впредь тебе будут оплачивать проезд в спальном вагоне, но сейчас ты едешь даже не первым классом, и, подумав о том, что, по сути дела, тебя ждет бессонная ночь, ты посетовал на свою всегдашнюю бережливость, сохранившуюся с тех времен, когда ты располагал куда более скромными средствами,— впрочем. нет, тут же поправился ты, не скаредность побудила тебя ехать в третьем классе, а скорее некое сентиментальное, романтическое соображение — ведь два года назад, в августе, в этом самом поезде ты впервые встретил Сесиль, и ты оставил свой вагон, чтобы перейти в ее купе, в точности такое же, как это, и сел напротив нее, заняв то самое место, на котором сидишь теперь; ты потому

взял билет в этот вагон, что, куда бы вы ни ездили с Сесиль, вы всегда путешествовали третьим классом, впрочем, и за всем этим тоже скрывалась бережливость — ведь это ты платил за Сесиль во время ваших последних поездок и не хотел тратиться слишком уж щедро из вечного страха, что тебе не хватит средств на содержание квартиры для твоей семьи в доме номер пятнадцать на площади Пантеона, из вечной боязни, что Анриетта спросит тебя, на что ты потратил свои деньги. Ах, что бы тебе пораньше отучиться от этой мелочности — к тому же теперь, при твоем достатке, она кажется смехотворной,— тогда вы с Сесиль давно уже вели бы ту самую жизнь, которой ты наслаждаешься лишь во время недолгих наездов в Рим.

Однако тебе надо было как-то убить эти полчаса, и так как погода не позволяла тебе предпринять прогулку по городу, ты пересек авеню Оперы и зашагал по левому тротуару, поднимаясь по ней вверх и совершая в обратном направлении тот же путь, которым совсем недавно добрался из конторы до Лувра: по левую руку от тебя потянулись витрина книжного магазина с выставленными в ней путеводителями по Риму и Парижу; потом витрины туристического агентства твоего приятеля Дюрье — прежде он вовсе не был таким уж близким твоим приятелем, но теперь ты так признателен ему за то, что именно у него нашлось место для Сесиль, за то, что именно он дал тебе возможность перевезти ее в Париж, за то, что именно он, сам того не подозревая, даровал тебе свободу,— первая его витрина, рекламирующая Сицилию; и вторая, отведенная Италии, с фотографиями площади святого Петра, в центре которой стоит обелиск из цирка Нерона, затем играющего на свирели юноши из Тарквинии, Пизанской башни, лестницы дворца Бальби; и третья витрина с видами Альп; а на улице Даниэль Казановы — четвертая, посвященная Бургундии, той самой французской провинции, по земле которой ты сейчас едешь, приближаясь к ее плотоядной столице, некогда слывшей местом фантастических неожиданностей и шуток, но с тех пор, как взял верх Париж, ставшей прежде всего обителью отдыха и удовольствий; на цветных фотографиях в витрине были запечатлены двор Бонской богадельни и ее кровля, на которой выложены узоры из разноцветной обливной черепицы, алтарь с «Ангелом Страшного Суда» Рогира ван дер Вейдена, фреска Мельхиора Брудерлама «Бегство в Египет» и черно-белый «Колодезь пророков»; на ярких плакатах красовались виноградные гроздья, виноградники и вино в бутылях; наконец ты подошел к твоей собственной витрине, подстерегавшей тебя на другой стороне улицы,— типично итальянской витрине с гигантскими черными буквами, составляющими имя «СКАБЕЛЛИ» — по ночам оно не обведено неоном, а вырисовывается внушительными китайскими тенями на фоне подсвеченного матового стекла причудливой формы; стекло доходит до самого тротуара, а стены витрины выложены мозаикой, и на тонких пестрых проволочках в разных местах подвешены пишущие и счетные машинки, освещенные — каждая — специальным миниатюрным прожектором (правда, Оливетти проделывал те же фокусы еще раньше тебя),— и ты прошел мимо соседней двери, ведущей в жилые квартиры, старой двери, которой приходится пользоваться не только служащим фирмы, но и всем важным клиентам, направляющимся в твой кабинет на втором этаже; ты давно уже собираешься перестроить вход, несмотря на колебания римских хозяев фирмы, не испытывающих особого восторга при мысли о крупных расходах на перестройку дома,— ведь фирма не может заполучить его в собственность,— но пока-то в доме всего одна-единственная лестница ведет в верхние этажи, и, пройдя эту дверь, ты миновал вслед за ней книжный магазин Брентано и витрину итальянской мореходной компании.

Спустившись по бульвару Капуцинок к улице Комартен, ты вошел

в «Римский бар», который по вечерам обычно набит битком, так оно было и в тот вечер, ибо ты потом вторично зашел сюда после работы, стремясь по возможности отдалить свое возвращение в дом номер пятнадцать на площади Пантеона, встречу с Анриеттой и детьми,— тогда в баре было много крашеных дам, которые сидели на высоких табуретах, играя тонкими иглами каблуков и болтая ногами, сплошь и рядом короткими и толстыми, и поправляли клипсы из поддельных бриллиантов, между делом постукивая пальцем по длинным мундштукам; то было вечером, а днем в баре почти не оказалось посетителей за исключением нескольких стариков, в этом «Римском баре» с его «старинной обстановкой»,— у него нет ничего общего с настоящими современными барами итальянской столицы, но он вполне мог бы существовать в Риме конца девятнадцатого века,— с его помпезной безвкусицей, с его смачными, кофейных тонов, картинами, запечатлевшими характерные эпизоды того пышного и в то же время темного разгула, того неуемного разврата, которым восторгались, как своим идеалом, откровенным и величественным, свободным от оков буржуазной добропорядочности трусоватые парижские сладострастники славных времен начала века,— такими, как «Мессалина в венериуме», «Торжественное вступление Нерона в Рим» и т. д.,— в этом баре с креслами, обитыми красным бархатом, и с коллекцией старых монет; но ты отлично знал, что сколько бы этот бар ни называл себя «Римским», ты не получишь здесь «эспрессо», которого тебе так хочется, и тебе пришлось примириться с тем, что тебе снова подали «фильтр», и ты стал медленно попивать его, наблюдая краем глаза за двумя стариками, читавшими газету и время от времени что-то шептавшими друг другу на ухо, пока ты вдруг не спохватился, что уже без пяти два и ты едва успеешь добраться до конторы к моменту ее открытия, предварительно зайдя в табачную лавку за сигаретами; когда же вечером, в половине седьмого, последним покинув контору, ты запер ее дверь на ключ под шуршанье сыплющего во мраке мелкого дождя, разноцветного в лучах света, источаемого всеми вывесками, витринами, фарами и световыми сигналами, ты немного постоял на тротуаре, подзывая все такси подряд, но тебе не попалось ни одной свободной машины, и, держа в руках чемодан, который Марналь после обеда забрал из камеры хранения, ты зашагал назад — ведь тебе было бы слишком тяжело волочить чемодан по коридорам метро, куда тебе в конце концов пришлось спуститься, чтобы поехать домой,— и потому ты вернулся в контору, в свою охваченную мраком и тишиной капитанскую рубку, и сквозь окна притихших комнат наблюдал за мельканием намокших теней и огней; ты оставил чемодан на столе и, избавившись от ноши, снова ненадолго заглянул в «Римский бар» — на этот раз он был набит битком, заполнен дамами и мужчинами помоложе тех дневных посетителей; ты провел в баре не более получаса, ровно столько, сколько нужно, чтобы выпить чашку крепчайшего чаю, потому что ты продрог и после ночи, проведенной в поезде, никак не опасался, что чай помешает тебе уснуть, когда ты придешь домой, затем, протискиваясь сквозь толпу мокрых пешеходов, торопливо шагающих по бульварам, ты направился к станции метро на площади Мадлен, сделал пересадку на станции Севр-Бабилон, где перешел на линию, идущую к Аустерлицкому вокзалу, и снова выбрался в город уже на станции Одеон, где на лестнице столкнулся с разноплеменной толпой студентов, спускавшихся вниз.

Ты выбрал этот путь не потому, что он самый короткий — ведь если бы ты спешил попасть в дом номер пятнадцать на площади Пантеона, тебе было бы лучше сесть в автобус,— а потому, что тебе хотелось по возможности продлить это итальянское путешествие, сегодня совершенное тобой в Париже, и ты старался пройти мимо памятников, напоминавших римские, которые ты полюбил из-за Сесиль, и, любуясь

этими осколками Рима в Париже, ты вспоминал глаза, голос и смех Сесиль, ее молодость и нетронутую свободу.

Ты выбрал этот путь потому, что тебе хотелось, словно какому-нибудь туристу, пешком, не торопясь, прогуляться по бульвару Сен-Жермен, пересечь бульвар Сен-Мишель, затем повернуть направо и снова пойти вверх по левому тротуару, но не для того, чтобы долго разглядывать руины (ты отнюдь не хотел останавливаться в темноте, под дождем, да и что там разглядывать?), а чтобы всего-навсего коснуться плечом этих стен из камня и кирпича, оставшихся от терм, в которых бывал Юлиан Отступник,— единственного осколка его «любезной Лютеции»,— впрочем, одного этого факта вполне достаточно, чтобы навсегда связать его имя с этими руинами.

Площадь Пантеона была почти совсем пуста, как всегда в этот час, но обычно в этот час ты уже бывал дома: ты приезжал сюда в своей машине, которая в понедельник вечером еще стояла в гараже на улице Эстрапад, куда ты вновь водворил ее вчера; темная глыба храма с его невидимым куполом нависала над площадью, казавшейся от этого еще более длинной, и у тебя было такое ощущение, что ты никогда ее не пересечешь, и тут автомобиль, повернувший назад под дождем, на мгновенье осветил огнями своих фар статую Жан-Жака Руссо.

Ты нажал на кнопку, и парадная дверь отворилась с легким треском,— окно привратницкой было плотно завешено портьерой, сквозь которую с трудом пробивался красноватый свет; включив на лестнице электричество, ты вошел в лифт и поднялся на пятый этаж, и тут в прихожую, вытирая руки о серый фартук, вышла Анриетта.

Она ждала, что ты по обыкновению ее поцелуешь, но ты решил прекратить эту комедию и начал молча расстегивать пальто, и тогда она спросила:

— Где же твой чемодан?

— Я оставил его в конторе: сегодня я без машины, и мне не хотелось тащить его с собой. А что дома?

— Ужин будет готов через несколько минут. Хорошо ты провел сегодняшний день?

— Великолепно. Правда, я немножко устал.

Она снова побежала торопить Марселину, а ты заглянул в комнату мальчиков, и оба тут же вскочили с виноватым и вместе с тем дерзким видом; Анри до того, как услышал твои шаги, явно валялся на постели, читая детективный роман — он успел засунуть его под подушку, хотя и не целиком,— а Тома украдкой вытер руки о вельветовые штаны, в точности повторив привычный жест матери, и теперь стоял перед наполненной до краев раковиной, где плавали и покорно шли ко дну бумажные кораблики с разноцветными парусами; пепельница, красовавшаяся на большом столе,— наверняка украденная одним из братьев в каком-нибудь кафе,— была доверху набита обрывками жженой бумаги и окурками, а толковый словарь Гаффио валялся на полу среди школьных учебников — мальчики, по всей видимости, только что швыряли их друг в друга.

Закрыв дверь, ты услышал сдавленный смех, затем ты направился в комнату дочерей (в углу игрушечная коляска Жаклины с ворохом беспорядочно набросанных кукольных вещичек, на середине комнаты под лампой — гора незаконченного шитья); развалившись в глубоком кресле, Мадлена читала журнал «Она».

— А где Жаклина?

— Мама велела ей готовить уроки в столовой.

Они действительно в самом неблагодарном возрасте, твои дети, уже утратившие обаяние и прелесть малышей, к которым спешишь по вечерам, чтобы забавляться с ними, как с чудесными игрушками, но в то же

время все, даже Мадлена, еще слишком малы, чтобы ты мог говорить с ними, как со взрослыми, как с друзьями; с одной стороны, у тебя никогда не было возможности неотступно следить за их занятиями — из-за службы и прочих забот, а с другой стороны, ты с трудом выносишь возню, которую они поднимают, и это вызывает у тебя раздражение против них, что в свою очередь мешает им доверяться тебе, и потому они стали для тебя как бы маленькими чужестранцами — необузданными, дерзкими, всегда находящимися в сговоре против тебя, чужестранцами, которые, несомненно, догадываются, что у тебя с их матерью не все ладно, и следят за вами обоими,—чужестранцами, которые хоть и не толкуют об этом между собой, нет, конечно, было бы довольно странно толковать о таких вещах, но наверняка размышляют об этом, знают, что им говорят неправду, однако уже не смеют прийти к тебе и о чем-то спросить.

Если ты так долго не решался дать волю чувству к Сесиль, причиной тому, конечно, были они, но и это тоже не выход — медленное загнивание семьи у них на глазах; нет, совсем напротив, надо совершенно честно показать детям, что их опасения оправданы, надо произвести хирургическую операцию, которая, возможно, причинит им боль, но зато уничтожит ту душевную заразу, от которой их уже начало лихорадить; надо показать им, что ты человек смелый и решительный в своих чувствах, и за это они потом будут тебе же благодарны, значит — именно ради детей надо отбросить все колебания и не прятаться больше.

Ты же не собираешься их бросать, ты всегда будешь им помогать, следить за тем, чтобы они не знали лишений, но самое главное, теперь им можно будет прийти к тебе с открытой душой, без прежней недоброй улыбки; ваши отношения уже ничем не будут замутнены.

Очутившись в своей комнате, ты растворил окно, взглянул на черную глыбу Пантеона, силуэт которого смутно проступал сквозь сетку дождя над вереницей мокрых автомобильных фар, и ты подумал, что из всех парижских памятников, помимо терм Юлиана, пожалуй, именно Пантеон неизменно вызывает в твоей памяти образ Сесиль, и не только потому, что его название, естественно, повторяет название храма, который Агриппа посвятил двенадцати богам, но еще и потому, что фриз с гирляндами, находящийся на одном уровне с окнами твоей квартиры, представляет собой одну из самых удачных в классической архитектуре имитаций прекрасных римских орнаментов; затем, затворив ставни и выйдя в ванную комнату, чтобы там помыть руки, ты увидел под зеркалом пустую полку, на которой обычно лежат твои туалетные принадлежности, и решение оставить чемодан в конторе показалось тебе довольно глупым, и ты задумался над тем, каким образом тебе удастся завтра утром побриться, ведь твои сыновья еще слишком малы и у них нет необходимых принадлежностей — кисточки для бритья и всего прочего,— и коль скоро не могло быть и речи о том, чтобы предстать перед девицами Капденак, Ламбер и Перрен с суточной щетиной на лице, тебе оставалось только одно — сразу же после завтрака пойти к парикмахеру.

Анриетта наверняка подумала об этом, как только ты вошел в квартиру, потому что у нее на редкость острый взгляд на такие пустяки, но смолчала, предпочитая, чтобы ты сам сделал это открытие и еще острее ощутил свое унижение, еще лучше почувствовал, что не можешь без нее обойтись, не потому, что любишь ее (любви уже не вернешь), а потому, что тебе не справиться без нее со всеми мелочами быта: опять все та же политика, цель которой — помешать тебе сделать решающий шаг и уберечь детей от скандала; все та же трусливая, мелочная политика, к тому же лицемерная, потому что в душе жена не меньше твоего желает разрыва, но она страшится его, страшится жалости своих подруг, боится того, что скажут детям их одноклассники в школе,— вот с чем она бо-

ится столкнуться, вот почему она изо всех сил стремится отдалить взрыв, надеясь, что спустя какое-то время ослабнет и твоя страсть и твоя решимость и все останется как было.

Ради этого она хитрит на каждом шагу, изворачивается, но в случае успеха — чего же она добьется? Печального преимущества видеть тебя окончательно сломленным; мрачной радости грешника — увлечь за собой в пучину адского огня и адской скуки еще и другую душу; торжества победы, но какого жалкого торжества, коль скоро оно лишь в том, что при ней останется человек, не выдержавший этой войны на измор, человек, которого она после всего будет презирать еще сильнее, чем сейчас, когда борьба не завершена.

Вот тогда она и вовсе перестанет тебя выносить, и ее отчужденность сменится ненавистью, ведь она поймет, что удержала тебя против твоей воли, исключительно благодаря твоему малодушию, заразив тебя своим страхом перед приятельницами-гусынями, и тогда какие молнии станут метать эти глаза, в которых уже и теперь не угасает упрек! Как ей простить тебе и себе самой, что она до конца обнажила свою трусость, растоптав в тебе все, что еще могло быть достойно любви?

Как упрямо она гнет свою линию, преследует свою цель, в благородстве которой ей легко убедить всех других, цель, состоящую в том, чтобы привести вас обоих, тебя и себя, к безвозвратной гибели!

Ты расположился в кресле у окна гостиной, откуда открывается великолепный вид на подсвеченный фриз Пантеона; сидя при свете одинокого металлического торшера, ты слушал транслируемые по радио отрывки из «Орфея» Монтеверди и сквозь застекленную дверь видел Марселину, хлопотавшую в столовой; ты начал разглядывать на противоположной стене гравюры Пиранези, одну из цикла «Темницы» и другую из цикла «Римские древности», затем в твоей маленькой библиотечке латинских и итальянских авторов, которую ты составил себе за время романа с Сесиль, ты выбрал первый том «Энеиды» в серии, издаваемой Гийомом Бюде, и раскрыл его в том месте, где начинается шестая книга. В это мгновение вошла Жаклина — на большом и указательном пальцах правой руки у нее красовались чернильные пятна,— уселась в кресло, стоявшее по другую сторону камина у высокого шкафа с французскими книгами, и, слегка смущенная чем-то, скрестила руки на груди.

— Ты хорошо съездил, папа?

— Да, детка. А ты как себя вела в это время?

— Ты опять встречался с той дамой?

— С какой дамой?

— Сам знаешь, с той, что приходила к нам в гости.

— Ты имеешь в виду мадам Дарчеллу?

— Ох, не знаю я ее фамилии! Ты звал ее Сесиль.

— Да, я встречался с ней. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Она скоро опять к нам приедет?

— Не думаю.

Тут Анриетта, желая известить тебя, что ужин уже на столе, отворила застекленную дверь и наградила дочь таким взглядом, что та покраснела, заплакала и побежала в ванную комнату — умыть руки.

Что могла означать эта сцена? Может быть, то была простая случайность, но почему же тогда девочка покраснела, заплакала и бросилась бежать — неужели только потому, что ее смутило поведение матери и твое собственное? Не вернее ли предположить, что она расспрашивала тебя с умыслом, желая проверить обоснованность подозрений, зародившихся в ее маленькой головенке, надеясь выпытать у тебя сведения, которые она таким образом узнала бы первой, и еще — и в этом одна из причин, почему так больше не может продолжаться, почему так бессмысленно дальше скрывать правду и увиливать от решения, позорно

стыдясь своего «я» и своего счастья,— разве ты не уловил во взгляде этой девчушки, которая всего каких-нибудь несколько лет назад горячо тебя любила, которая только что ласково подошла к тебе и, наверно, по-прежнему нежно тебя любит, хотя, подражая своей сестре Мадлене, и старается держаться как взрослая,— разве ты не уловил в ее взгляде легкой насмешки?

Вот о чем ты размышлял, лежа в постели, потому что чашка крепчайшего чая, который ты выпил вечером в «Римском баре», не давала тебе уснуть, несмотря на всю твою дорожную усталость.

За окном припустил дождь, по стеклу застучали крупные капли, медленно сползая вниз извилистыми ручейками. Сложив газету, англичанин снова сунул ее в карман пиджака. За другим окном, по ту сторону коридора, ты еще смутно различаешь под дрожащими, спутанными телеграфными проводами темные пятна домов и деревьев, мелькающих там и сям между холмами, покрытыми виноградниками без листьев.

Но теперь дело сделано, решение принято — ты свободен.

Конечно, еще нужно будет уладить множество мелочей, и жизнь войдет в колею не раньше, чем через два-три месяца, но решающий шаг уже сделан.

Послезавтра утром, в воскресенье, когда ты проснешься около девяти часов на пятом этаже дома пятьдесят шесть по улице Монте-делла-Фарина, сквозь щели ставней будет светить солнце, а с улицы до тебя донесется итальянская речь.

Первым делом ты выберешься из комнаты Сесиль — к тому времени она, вероятно, уже будет на ногах,— она протянет тебе кувшин с горячей водой, и ты пройдешь через боковую дверь в комнату, которая официально будет считаться твоим жилищем, и разбросаешь на постели белье, а затем начнешь умываться.

Потом вы выйдете на улицу, и, если погода будет достаточно хороша, вы отправитесь за город, чтобы где-нибудь пообедать, например на вилле Адриана, где вам еще ни разу не случалось бывать осенью, а не то где-нибудь на берегу моря, если так захочет Сесиль, потому что право выбора, как и вообще весь этот день, будет принадлежать ей; но если нависнут дождевые тучи, тогда она, может быть, снова поведет тебя поклониться первому римскому чуду, которое она тебе открыла — фреске «Страшный Суд» Пьетро Каваллини в церкви святой Цецилии в Трастевере, куда священник-иезуит каждое воскресенье в одиннадцать часов утра впускает по особому разрешению всех желающих посмотреть роспись.

И поскольку в это время даже в Риме быстро темнеет, вы рано возвратитесь в квартиру Сесиль, и она соорудит тебе ужин, потому что всегда рада показать, какая она искусная повариха, и на этот раз ты снова рано ляжешь в постель.

На другой день, в понедельник, ей придется снова пойти к девяти утра во дворец Фарнезе, на другой день и во все последующие, пока она не получит письма с приглашением поступить на службу в туристическое агентство Дюрье, пока она не заявит о своем уходе и не согласует его с посольством; ты встретишься с ней лишь в полдень, а утром ты постараешься в одиночку осмотреть какой-нибудь из памятников или музеев, которые она скоро уже не сможет посещать вместе с тобой, потому что скоро ее уже не будет в Риме, так что когда ты снова приедешь в Рим и снова навестишь эти места, это уже будет своего рода паломничество туда, где начиналась ваша любовь, ты можешь, например, пойти в Музей терм напротив вокзала, с комнатой Ливии, этим цветущим садом, населенным певчими птицами; или в Ватикан, если ты не успел осмотреть в этом музее все, что хотел, правда, Сесиль ни разу не

сопровождала тебя в этих походах, но именно ради нее, из любви к ней, ты снова пойдешь туда и станешь еще внимательнее изучать эти залы, которых она никогда не видела, отчасти потому, что ей не позволяло время, но и потому, что такова была ее воля, пойдешь, чтобы потом донести до нее дух творений, украшающих эти залы, отделив его от заслоняющей их неприятной, уродующей шелухи.

К тому же этот поход в Ватиканский музей, намеченный на ближайший понедельник, подобно завтрашнему походу, чьим завершением ему, возможно, суждено стать, будет твоей первой — за долгие месяцы — прогулкой к римскому памятнику, предпринятой без Сесиль, он станет, таким образом, самой первой из всех тех прогулок, которые тебе скоро неизбежно придется совершать без нее, когда она переедет к тебе в Париж и ее уже не будет в доме по улице Монте-делла-Фарина и некому будет тебя там встретить; этот поход в Ватиканский музей будет своего рода прощальной церемонией, предвещающей ее отъезд.

Короче, если ты не используешь оба утра для этой цели, то, наверно, пройдет довольно много времени, пока тебе снова представится эта возможность, ведь ты не сможешь часто отлучаться из Парижа на четыре-пять дней, да к тому же, когда Сесиль уже не будет в Риме, тебе этого и не захочется.

Ты боишься, как бы вечный город тогда не опустел для тебя, как бы ты не стал в нем тосковать по женщине, из-за которой тебя влекло в этот город, которая удерживала тебя в нем. Разве не резонно предположить, что отныне у тебя будет только одно желание: уладить свои дела в Риме и поскорее сесть в первый попавшийся поезд, даже не использовав уик-энда, и что ты привыкнешь уезжать отсюда по субботам в тринадцать часов тридцать восемь минут в вагоне первого класса, а еще лучше — в спальном вагоне, тем самым поездом, который ты выбрал в минувшее воскресенье, поездом, покрывающим расстояние от Рима до Парижа куда быстрее, чем тот, что ты выбрал для своего отъезда в понедельник вечером,— выбрал только потому, что в нем есть вагоны третьего класса.

После обеда — это уже решено — ты отправишься бродить в ту часть города, где на каждом шагу видишь развалины древних памятников Римской империи, где, можно сказать, только их и видишь, где как бы отступил и современный, и барочный город, чтобы не нарушать их величавого одиночества.

Ты пересечешь Форум, поднимешься на Палатин, и тут чуть ли не каждый камень, чуть ли не каждый обломок стены будут вызывать в твоей памяти какие-нибудь слова Сесиль, какие-нибудь любопытные мысли и сведения, которые ты вычитал и приберег для нее; стоя у дворца Септимия Севера, ты будешь глядеть, как спускаются сумерки на каменные рога терм Каракаллы, высящихся посреди пиний; ты пойдешь дальше, через храм Венеры и Ромы, и, стоя внутри Колизея, увидишь, как гаснет закат и сгущается тьма, потом ты минуешь арку Константина и проследуешь по улице Сан-Грегорио и улицу Черки вдоль древнего Большого цирка; во мраке ты увидишь слева от себя храм Весты и с другой стороны — арку четырехликого Януса; тогда ты направишься к Тибру и пойдешь вдоль реки до улицы Джулии, а затем вернешься к дворцу Фарнезе, и тогда, по всей вероятности, тебе придется подождать считанные минуты, пока оттуда выйдет Сесиль.

За окном коридора, плохо различимый под шквалом дождя, проходит длинный товарный состав: сначала — платформы с углем, затем — другие, груженные длинными балками, некрашеными автомобильными корпусами, поставленными один против другого, словно надкрылья мертвых букашек, насаженных на булавку; затем вагоны для скота с решет-

ками на окнах, бензоцистерны с узкими лесенками, плоские платформы, доверху наполненные щебнем — будущим балластом на других железнодорожных путях, и, наконец, последний вагон с башенкой и фонарем, правда, не у самого окна, а чуть подальше, в глубине. Молодожены молчат, и он и она поглощены чтением, и он и она протянули ноги под твое сиденье. В коридоре, опираясь на медный поручень, теперь стоит преподаватель, он курит. Мелькнула станция, названия которой ты не успел разобрать.

Священник, сидящий слева от тебя, встает, захлопывает свой требник, укладывает его в черную папку и оставляет на сиденье, чтобы занять место; проходя мимо, извиняется, что вынужден тебя обеспокоить, и, слегка отодвинув дверь купе, тут же исчезает за твоей спиной.

Сейчас одиннадцать часов, через одиннадцать минут поезд будет в Дижоне,— интересно, туда ли едет священник? На вид ему лет тридцать пять, это крепкий, энергичный человек; сидя в своем углу в полном одиночестве, он, видно, изнывал от скуки. Прочел ли он все положенные молитвы или ему попросту надоело? Как много скрывает сутана от посторонних глаз! Она, конечно, кое о чем свидетельствует, но сколько всего можно утаить под этим облачением! Разве узнаешь, кто он—отец-иезуит или учитель в коллеже, сельский кюре или викарий городской церкви? Он носит одежду, свидетельствующую о его духовном сане, о том, что он ежедневно читает молитвы и служит обедни, но в черных складках его сутаны ты не сыщешь ни единого указания на его образ жизни и на повседневные занятия, на среду, с которой он связан.

Куда он едет? Вероятно, куда-нибудь дальше Дижона, если судить по его поведению; надо думать, дальше, но не намного, потому что у него нет с собой никакого багажа, кроме этой черной папки. Что же заставило его собраться в путь? Маловероятно, чтобы, подобно тебе, он ехал к женщине, может быть, он гостил у своих родных или ездил повидаться со старушкой матерью; наверно, у священников, как и у всех людей, тоже иногда бывает отпуск; наверно, им тоже позволяют изредка путешествовать по собственной охоте, да только сезон не слишком подходящий... Но вряд ли он путешествует по долгу службы, точнее, в силу того, что́ в его жизни соответствует понятию служебного долга, не совсем ясно, зачем ему курсировать между Парижем и Дижоном, если только он не ученый, ездивший в Париж читать лекцию и знакомиться с какими-нибудь документами в Национальной библиотеке на улице Ришелье, где ты в минувший понедельник вечером, возможно, столкнулся с ним, сам того не заметив,— впрочем, на ученого он не похож.

Преподаватель обернулся, он входит в купе, садится, глядит на часы, снимает очки, достает из кармана футляр, вынимает оттуда замшевую тряпочку и снова протирает стекла.

У этого человека на лице прямо-таки написано, что он преподаватель и привык разгребать старый интеллектуальный хлам; в тех же случаях, когда по лицу этого точно не определишь, людей его типа легко выдает костюм, книги, которые они читают, манеры, жесты; зато у его соседа все человеческое заслонено сутаной, духовным саном и требником.

Вряд ли он сейчас едет в Рим, однако возможно, он уже бывал там раньше, возможно, он мечтает там побывать, чтобы увидеть папу, смешаться с этой толпой людей в сутанах, которые, словно рои жужжащих мух, заполняют все улицы,— толстые и худые, молодые и старые,— наверно, он видел или скоро увидит совсем другой Рим, совсем не похожий на тот, что за эти два года показала тебе Сесиль.

Оторвав взгляд от своего итальянского разговорника, молодой супруг заметил, что место напротив него пустует, его молодая жена, сидящая рядом, уже отложила в сторону женский журнал, теперь она ли-

стает путеводитель и разворачивает план какого-то города, ты видишь, что это Рим.

Чтобы священник мог снова войти в купе, ты убираешь ноги, он достает из папки, лежащей на скамейке, свой требник, но не открывает, а сует в карман, глядя куда-то вдаль сквозь пелену дождя.

Недовольство, отразившееся на его лице, нервная судорога, которая сводит его тонкие пальцы,— чем их объяснить: глубокой и тайной неудовлетворенностью, сомнением во всем том, что символизирует его облачение; или сожалением, что путь, который он избрал,— он и сам не смеет признаться себе в этом до конца,— это не его путь, да и вообще — тупик, а может быть, это следствие временных мелких неприятностей, тень, неожиданно нависшая над его жизнью; в этом случае вполне подтвердилось бы предположение, что он ездил в Париж проведать больного родственника, а может быть, он парижанин и его больной родственник живет в Буре или Маконе?

Но может быть, за этим напряжением скрывается не воспоминание, а тревога; может быть, это не тень прошлого на его лице, а предвестье будущего, ибо и он тоже должен принять важное решение, быть может, даже в эту самую минуту, или, быть может, это произошло мгновение назад, когда вместо того, чтобы вновь углубиться в свой требник, как ты ожидал, он брезгливо сунул его в карман, может быть, именно тогда он принял решение еще важнее того, что отправило в путь тебя, может быть, он задумал отказаться от этих молитв и от этого платья и теперь, лишившись всего, но обновленный, хочет окунуться в свободу, которая прежде страшила его, леденя душу.

Нет, он спокоен, просто он ворчит про себя; он будет носить сутану всю свою жизнь, наверно, он работает надзирателем в каком-нибудь небольшом коллеже, наверно, он с утра до вечера шпыняет мальчиков — сверстников твоих сыновей, и они уважают его за то, что он отлично играет в футбол!

Преподаватель, сидящий напротив тебя, глядит в окно коридора, видно, он узнал по какой-то примете, что поезд подходит к станции, он встает, надевает пальто, берет под мышку портфель, и англичанин тоже надевает пальто, берет свой чемодан и выходит. Ты готов биться об заклад, что он представитель лондонской виноторговой фирмы, который приехал сюда договориться о покупке вин нового урожая.

Все гуще сеть рельсов и проводов, за окном первые дома Дижона.

Тебя тянет размять ноги. Роман, который ты купил на перроне Лионского вокзала и который до сих пор даже не раскрыл, все так же лежит на сиденье рядом с тобой; уходя, ты слегка подвигаешь книгу — так, чтобы твое место считалось занятым.

*(Окончание следует)*

Л. ЭЙДЛИН

# ИДЕИ И ФАКТЫ

## Несколько вопросов по поводу идеи китайского Возрождения

Наука боролась за то, чтобы Восток перестал быть экзотикой. И наука победила. Потому что выступала она вместе с жизнью, приблизившей к нам Восток со всеми его общечеловеческими печалями и чаяниями.

И теперь наука предъявляет следующие свои права — она хочет знать о Востоке столько же, сколько знает она о Западе. Она торопится, она приносит с собою готовые меры, оправдавшиеся не раз. И вдруг оказывается, что рассеявшийся дым экзотики все же скрывал за собою некую «особенную стать», которая тоже ждет своего изучения, чтобы одарить трудолюбивого исследователя и знакомым и новым.

И мы ищем. Отсвет этих поисков лежит на всех работах о восточных литературах. Это разные работы, и статья наша, толчком к написанию которой послужили две-три последние из них, пользуясь традиционной китайской терминологией, есть «статья о разном», касающемся изучения освобожденной наконец от экзотического взгляда на нее китайской литературы, то есть вопроса о том, достаточно ли подготовили мы себя — знаниями, исследованиями, переводами — к суждению о ней в полном ее объеме.

Наука о литературе — актуальнейшая наука, в особенности когда она относится к странам Востока, где литература в жизни общества всегда занимала одно из главенствующих мест. Актуальность науки о китайской литературе имеет еще одну дополнительную причину. После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики в ней в продолжение приблизительно пятнадцати лет непрерывным потоком переиздавалась классика и было выпущено огромное число исследований по истории китайской литературы. Выходили специально литературоведческие журналы Академии наук Китая и университетов страны. Ничего этого больше нет. И, значит, наши труды в области изучения истории и литературы Китая приобретают особую актуальность: китайские ученые через какое-то время (мы не знаем, сколько оно продлится) вернутся в науку о Китае и его литературе, не прерванную, а продолжавшую свое движение, несмотря на ощутительную потерю в ее рядах, может быть, самой важной колонны.

I

Усилился интерес к периодизации китайской литературы, что естественно и закономерно, так как углубление и расширение знаний в той до удивления необозримой области, какой является вся масса китайской литературы, требует и большей точности и большей детализации в делении ее истории по периодам развития. Как и следовало ожидать, прежде всего занялись пересмотром периодизации сами китайские ученые, кстати сказать, подарившие нам в своих исследованиях и бесценный фактографический материал, на котором во многом основывается наша наука. Н. Т. Федоренко в статье «Вопросы периодизации истории китайской литературы» рассматривает точки зрения различных китайских авторов, начиная с тридцатых годов. И мы видим, что говорят ли они о древности, средневековье, о новом ли времени, о феодальном или послефеодальном периодах, какой бы точки зрения ни придерживались они, как бы ни восставали против «династийной» рутины, все они без исключения не могут обойтись без укоренившихся «династийных» названий и «династийных» де-

В основу статьи положен доклад, прочитанный 3 февраля 1970 г. в Ленинграде на четвертой научной конференции «Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока».

лений, укладывая свою периодизацию внутри и вне этих остающихся существовать названий и делений и не всегда даже замечая подобную свою «непоследовательность». Самые же последние книги — выпущенная в 1962 и переизданная в 1963 году «История китайской литературы» Института литературы Академии наук Китая и помеченная 1964 годом «История китайской литературы» Ю Го-эня, Ван Ци и других — почти не выходят за пределы «династийного» деления. Автор одной из новых периодизаций, видный китайский ученый Чжэн Чжэнь-до, также не сумевший и даже не попытавшийся выбраться на свободный простор из заколдованного круга «династийной» схемы, очень правильно говорит о связи смены династий, происходившей даже не через десятки, а через сотни лет, с изменениями в китайском обществе, а также о заметной для исследователя внешней привязанности определенных литературных жанров ко времени определенных династий.

На двух конференциях по теоретическим проблемам изучения литератур Дальнего Востока, состоявшихся в Ленинграде в 1968 и 1970 годах, были произнесены доклады — Л. Н. Меньшикова «К вопросу о династийной периодизации истории китайской классической литературы» и Л. Н. Меньшикова и Л. К. Павловской «Справочные пособия как показатель этапов развития китайской литературы». Тезисы этих докладов опубликованы.

Что периодизация? Вывод ли она из тщательного исследования литературного процесса или путеводитель в литературном процессе? А может быть, и скорее всего, и то и другое? Литературный процесс есть объективная реальность вне зависимости от осознания его нами. Периодизация же — порождение нашего осознания литературного процесса, и она может и должна изменяться с более глубоким проникновением нашим в литературу, со все большими достижениями ученых-историков в их наблюдениях над развитием общества. Но как изменяться? Нас в данном случае интересует китайская литература. Что же, полностью пренебречь так называемой китайской традицией, отмахнуться от нее — кто нас за это осудит? — и найти нужные нам вехи в литературах, а соответственно и обществах, расположенных ближе к нам во времени и в пространстве и подробнее изученных? Не хотелось бы, и не по тому даже естественному чувству, что жаль расставаться с тем, на что ушло так много труда и пристрастия китаиста. Последнее во имя науки грешно было бы не преодолеть. Но довели ли мы нашу науку о китайской литературе до такого состояния, когда мы в силах утверждать категорически, как сказано у китайского поэта, «что принять, что отбросить»?

А ведь безвозвратный переход от «династийной» периодизации к другой (с уверенностью в большем ее научном обосновании) это не совсем то же самое, что переход от пара к электричеству. И что бы и в каких вариациях ни было нам предложено, мы обязаны строжайше проверить, пригодно ли оно на роль электричества. Говоря же о «династийной» периодизации, которую мужественно милуют авторы двух названных нами докладов, мы задаем себе еще один вопрос: а так ли уж династийная она? И так ли уж одиозны наименования, данные периодам по названиям династий? Ведь важны ассоциации, привязанные к этим наименованиям, в общем всегда условным. «Николаевская Россия», «Елизаветинская Англия»! За именами правителей стоят и определенные социальные категории, рисуется картина состояния общества, и, говоря так, мы меньше всего думаем о неправой чести, воздаваемой царям. Так что пусть не смущает нас эта «монархическая» сторона, и прежде, чем объявлять бескомпромиссную войну «династийной» периодизации, попробуем поискать причины ее появления, а затем и стойкости существования, то есть обосновать то, что кое-кому из нас представляется возникшим стихийно.

В докладах Л. Н. Меньшикова и Л. Н. Меньшикова и Л. К. Павловской как раз и делается попытка наполнить «династийную» периодизацию присущим ей содержанием, или, точнее, найти в ней конкретное, оправдывающее ее содержание. Можно считать выводом из обоих докладов заключение Л. Н. Меньшикова и Л. К. Павловской о том, «что в истории китайской литературы вполне возможно придерживаться династийной периодизации, что эта периодизация отнюдь не противоречит известным нам фактам развития китайской литературы».

Она и не может им противоречить, потому что факты развития китайской литературы зашифрованы названиями «династийной» периодизации, всегда требующими своего раскрытия. Будем говорить так, что развитие китайской литературы вполне укладывается в пространствах «династийной» периодизации, которая при правильном взгляде на китайскую литературу, при достаточной изученности китайской литературы очень удобна для того, чтобы все вместить «в свои концы». Применимость «династийной» периодизации мы видим в разумном сочетании ее с делением истории человеческого общества на периоды древности, средневековья (либо как у В. Ф. Сорокина в статье «Китайская литература» — раннего, развитого, позднего феодализма), нового времени, при всем различии вкладываемого в каждом конкретно-национальном случае в эти периоды содержания. Чем больше мы узнаем, тем более сложным становится для нас предмет нашего изучения, но и тем яснее пути его развития. В совместных трудах китаистов-литературоведов с историками будет улучшена старая или выработана новая периодизация. Но поиски не должны приводить к попыткам (а они есть) директивного отстранения «династийной» периодизации. Свержение «династийной» периодизации без обеспечения тем золотым

запасом, какой представляет собою доказательство научной истины, было бы преждевременным.

И неопределенность «династийной» периодизации, и завидную гибкость ее видели старые китайские эрудиты, не раз проявлявшие умение преодолеть первое и воспользоваться вторым, то есть понимавшие, что, грубо говоря, есть соответствующая тара, форма и размеры которой позволяют ей принять в себя как подготовленное ныне, так и добавленное будущим содержимое. Возьмем в качестве наиболее уместного здесь (да и в дальнейшем) примера таиского поэзию. Танское государство (VII—IX века) существовало долгих триста лет, на протяжении которых бывали коренные перемены, в то или иное время находившие отражение в состоянии и содержании литературы. Термин «танская поэзия», таким образом, давая (конечно, человеку, знакомому с китайской литературой) представление об общем характере поэзии, никак не однозначен и просит внутренних уточнений. Они и были произведены еще в XIII веке Янь Юем, а вслед за ним в последующие два столетия юаньским ученым Ян Ши-хуном, минским Гао Бином, а затем и другими, разделившими танскую поэзию в ее развитии на четыре периода — начало, расцвет, середину и закат. Далеко не все безупречно в этом продержавшемся века делении, но оно являет собою пример рационального применения «династийной» периодизации, логической оправданности ее не голыми схемами, а самой литературой. Не будем придираться и к названиям частей: они в орбите терминологии тех времен. Для нас важнее усмотреть здесь осмысление существа танской поэзии. Найденные старыми эрудитами различия внутри танского времени помогают нам определить особенности развития танской поэзии — постепенное изменение взгляда ее на мир и на человека в движущемся китайском обществе.

## 2

Традиционное деление танской поэзии плодотворно и потому, что оно демонстрирует принадлежность поэтов начала Таи к общей танской поэзии и в то же время связь через них танской поэзии со всей той разнообразной и противоречивой поэзией, которую мы назовем дотанской и которая в конце концов переплавилась в таискую. В линии развития китайской литературы, прослеживаемой нами здесь, дотанская поэзия играет первостепенную роль, а кстати, одну из сторон этой поэзии представила нам недавно вышедшая книжка «Юэфу. Из средневековой китайской лирики».

Юэфу — китайские народные песни, а также подражание поэтов этому жанру. В кратком предисловии переводчик Борис Вахтин сообщает о происхождении песен и о том, что им для издания выбраны южные юэфу, относящиеся к IV—VI векам и большей частью уже публиковавшиеся в выходившем в 1959 году сборнике его переводов «Юэфу. Из древних китайских песен»

Юэфу этого времени — во многом порождение уже городской культуры со сравнительно развитым ее хозяйством, с разветвленной сетью торговых сухопутных и водных путей, на которых застигала странника тоска по дому или в сторону которых обращался взор тоскующей по страннику жены. Чаще всего юэфу эти — пятисловные четверостишия. Их отличает мягкий лиризм, верность чувству к любимому (или любимой), изящество поэтической мысли. При всей своей простоте, при ограниченности тематики, они не всегда просты для понимания и, пожалуй, сложны для перевода, если он стремится к передаче образов и даже наполняющих стихи омонимов (когда идет игра разными значениями одного и того же слова — иероглифа) и омофонов (когда намек дается так же точно произносимым словом, но имеющим другой иероглиф, а значит, и другое, присущее тому значение).

Уже ханьская поэзия обогащалась песнями юэфу в начале нашей эры, юэфу же IV—VI столетий были питательной средой для поэтов дотанского и даже танского времени. Стоит заглянуть в антологию VI века «Юй тай синь юн». Упоминавшийся нами ранее ученый XIV века Ян Ши-хун в южных юэфу видит начало знаменитых танских четверостиший. Не один китайский исследователь любит находить подтверждение этому на примере прославленного четверостишия Ли Бо «Думы в тихую ночь», сопоставляя строку «Поднимаю голову и гляжу на луну в горах» с почти такою же строкой, появившейся намного раньше в одной из песен юэфу. «Новые юэфу» — жанр танской поэзии. Составитель антологии юэфу ученый-литератор XI—XII веков Го Мао-цянь включил в этот свой ставший классическим сборник и авторские юэфу (стихотворения, появление которых было обусловлено народными песнями) многих поэтов разных времен вплоть до танского. Само фиксирование юэфу не могло обойтись без поэтического вмешательства, и трудно доискаться до четкого раздела между фольклорным и литературным потоками дотанской поэзии.

На вопрос о том, какое место отведено южным юэфу в истории китайской литературы, отвечает ответственный редактор сборника академик Н И. Конрад в предисловии. «Эти песни принадлежат китайскому Средневековью». Ну что же, давно уже обычным для нас стало делить историю человечества на древность, средневековье, новое время и в эти термины вкладывать то содержание, какое присуще исследуемому нами обществу и его культуре. Средневековье может быть «мрачным», может быть и «просвещенным», не переставая оставаться средневековьем. Но есть термины другие, качественные прежде всего, термины, неотделимые для нашего сознания от тех мест планеты и от особенностей развития тех человеческих обществ, к которым они привязаны первоначально. И когда такой термин произвольно или «непроизвольно» прилагается к другому месту на земле и к другому обществу, наука обязана потребовать самых

исчерпывающих доказательств, самых жестоких испытаний исследованиями и только после этого принять его или отвергнуть.

Сборник юэфу заинтересовал нас и предисловием ответственного редактора, скрупулезной его точностью в определениях времени средневековья, захватившего «даже кусочек VIII в.», и затем уже следующего за ним Возрождения. «А с VIII в. Средневековье в своей классической форме кончилось: начался великий подъем на новые рубежи, рубежи «китайского Возрождения», то есть своеобразной эпохи не только обновления всего духовного мира, но мощного шага вперед во всей культуре».

«Китайское Возрождение», которое оттого, что оно китайское, не перестает быть Возрождением. Оно прежде всего Возрождение, а потом уже китайское. Не так ли? Еще патриарх отечественной китаистики Василий Павлович Васильев удивлялся тому, что великого древнего историка Сыма Цяня «почему-то называют китайским Геродотом». Мы же не удивляемся «китайскому Возрождению» и с большой заинтересованностью воспринимаем каждое следующее о нем утверждение и заранее объявляем нашу поэзию. Она такова: мы приветствуем любую идею в близкой нам области изучения китайской литературы, но хотим (как от других, так и от себя), чтобы ни блеск, ни широта идеи не обрекали бы на неизвестность ту «мелочь» фактов, которая, появившись на свет, заставила бы поблекнуть самое идею и уже и усомниться в ней. Не так легко и не так просто добываются факты в глубинах, скрывающих богатства китайской литературы. Тем ценнее факты для нас, тем необходимее нам знать и помнить о тех, уже добытых.

Не ново и, безусловно, закономерно сопоставление китайской литературы с любой другой мировой литературой, что нашей синологией и ранее прекрасно показано было в таких работах В. М. Алексеева, как опубликованная в 1944 году статья «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве» или известные читателю в реферативном изложении доклады 1945 года «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве», «Греческий логос и китайское дао». Не ново и слово «Возрождение» в применении к китайской литературе. Но носило оно скорее метафорический характер, являлось синонимом расцвета, ныне же в статьях Н. И. Конрада слово это «Возрождение» стало термином, и сторонники Возрождения в китайской литературе для того, чтобы устранить любое сомнение в аналогичности этого ими выдвигаемого Возрождения тому, западноевропейскому, называют его также Ренессансом.

Идея Возрождения на Востоке, или, вернее, в восточных литературах, ибо в основном и как ни странно для подобной, захватывающей все области человеческой деятельности идеи, прилагается она пока к литературе, идея эта не осталась не замеченной историками культуры. Ее оспаривают Л. М. Баткин в статье «Тип культуры как историческая целостность» («Если бы эта задача (типологические соотношения.— Л. Э.), в сущности, и поставленная, пусть в начальной и недостаточно корректной форме, некоторыми советскими востоковедами, была решена, тогда можно было бы по-настоящему истолковать всемирное значение Итальянского Возрождения. Парадокс — из числа излюбленных историей — состоит в том, что это значение западноевропейский Ренессанс приобрел не потому, что был самым типичным и наилучшим среди всех случившихся ренессансов, а потому что других ренессансов не было. Этот оказался единственным»), В. И. Рутенбург в статье «Итальянское Возрождение и «Возрождение мировое» («Интерес к человеку и вера в его силу совершенно по-разному формулировались, воспринимались и реализовались в разные эпохи и в разных странах мира и не могут сами по себе служить критерием для выявления наличия или отсутствия Возрождения. Вопреки этому, ссылаясь на наличие в китайской литературе элементов рационализма, гуманизма, лирической поэзии в VIII—XIII вв., акад. Н. И. Конрад утверждает, что эта «эпоха имеет также все права называться «Возрождением» в том же большом историческом смысле», что и эпоха Возрождения в Италии»). В 1957 году на самой заре идеи восточного Возрождения О. Л. Вайнштейн и Б. А. Чагин в рецензии на вышедший в 1955 году сборник «Из истории социально-политических идей» писали: «Наличия на Востоке такого же культурного, экономического, социального и политического перелома, каким было Возрождение на Западе, никто еще не доказал». Где же правда? Правда лишь одна — в доказательствах, поскольку научной правды, добытой иными путями, и не бывает.

## 3

Так вот о доказательствах. В статье «Было ли Возрождение в Китае?» В. И. Семанов, по-видимому основываясь на всей линии наших работ и, в частности, на некоторых высказываниях на дискуссии о периодизации восточных литератур, в предисловии к переводам В. М. Алексеева китайской классической прозы или в совместном с В. Ф. Сорокиным очерке «Китайская литература», называет наше отношение к идее Возрождения скептическим. Не возражая против такого определения и не подтверждая его, заметим, что всякая новая мысль в науке, пока она не стала категорической и нетерпимой ко всем другим, есть благо, и как благо, но и как гипотезу, рассматриваем мы идею Возрождения в Китае. Она нам не мешает, она и не взрывает то старинное «династийное» деление, к которому мы относимся снисходительно, потому что «династийное» деление никогда не препятствовало любым уточнениям и любой необходи-

мой детализации внутри и обобщениям вне его. В его рамки легко, без ущерба для себя может быть вмещена и идея Возрождения при одном лишь условии — ее надо подтвердить на живой литературе в связях последней с историческими процессами развития китайского общества, то есть с его изменениями в экономике, политике, культуре. За тринадцать лет — от возражения двух рецензентов и до настоящего времени, идея китайского Возрождения прошла немалый путь развития, а мы все не можем отделаться от недоуменных вопросов в своем назойливом желании «снизить» идею до «мелочи» фактов.

Движение идеи китайского Возрождения чувствуется, например, в том, что статья Н. И. Конрада «Начало китайского гуманизма», опубликованная в третьей книжке журнала «Советское востоковедение» за 1957 год, при перепечатке в сборнике статей того же автора «Запад и Восток» в 1966 году уже называется «Хань Юй и начало китайского Ренессанса», и заключительная фраза «Таково было начало китайского гуманизма» теперь уже читается: «Таково было начало китайского Ренессанса».

В том же 1957 году в статье «Проблема реализма и литературы Востока», напечатанной в первом номере «Вопросов литературы», мы прочитали о временны́х границах мировой литературы гуманизма: «Начинает ее в VIII—XII веках Китай, продолжает в IX—XV веках Средняя Азия и Иран вместе с прилегающей частью Индии; заканчивает в XIV—XVI веках Европа». Так мы узнали, что литература китайского гуманизма относится к VIII—XII векам, а в 1959 году, после выхода в свет хрестоматии «Китайская литература» с принадлежащим Н. И. Конраду «Кратким очерком истории китайской литературы», и о том, что века эти называются Возрождением. Самые категорические сведения были, правда, получены нами и до этого в примечаниях Н. И. Конрада к книге Б. Роуленда «Искусство Запада и Востока» (ИЛ, 1958): «У Дао-цзы (У Дао-сюань) — мастер настенной живописи; прославленный художник эпохи китайского Гуманизма и Возрождения (VIII—XII вв.)»... «Ван Вэй (699—759) — один из крупнейших поэтов Китая в эпоху китайского Возрождения; пользовался славой и как художник»... «Как указывалось выше, время правления династии Тан (618—906) является для Китая эпохой Гуманизма и Возрождения, точнее — ее первой половиной (вторая половина — эпоха Сун, 960—1279). Поэтому рисунки Хань Ганя и Леонардо да Винчи исторически сопоставимы»... «Мин Хуан — император Сюаньцзун (712—756) династии Тан. Время его правления — эпоха блестящего расцвета литературы и искусства ранней поры китайского Ренессанса»...

В статье Н. И. Конрада «О смысле истории» (1961—1965) китайскому Возрождению становится тесно в объявленных ранее границах VIII—XII веков: «Такой эпохой, видимо, надо считать VIII—XV века в истории китайского народа, IX—XIII века в связанной между собой истории народов Ирана, Средней Азии и Северо-Западной Индии, XIV—XVI века в истории Европы». Так, уже из статьи «Шекспир и его эпоха» (1964) явствует, что Ван Ян-мин (1472—1526) есть «последний представитель ренессансной философской мысли в Китае», и сам собою напрашивается вывод в статье «Философия китайского Возрождения (о сунской школе)» (1965): «Таким образом, эпоха Возрождения — в плане философии — начинается в VIII в., заканчивается на пороге XVI в.» — или в статье «Об эпохе Возрождения» (1965): «Как было указано, эпохой Возрождения в Китае я предлагаю считать VIII—XV вв.».

Готовая идея Возрождения в китайской литературе вместо поисков изменений в понимании и изображении человека, присущих этой литературе, развивающейся в этом обществе, толкает к универсальной схеме, в которую укладывается все долженствующее находиться в ней. А не может ли быть так, что то, к чему Италия пришла путем Возрождения, охарактеризованного Энгельсом в «Диалектике природы» как «величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством»[1], что все это или, скорее, частично и приблизительно это Китай приобретает иными средствами, постепенным, хотя и прерывистым, но неуклонным развитием, без необходимости «переворота». Мы, по крайней мере, другого Китая не знаем и будем только признательны, если нам его откроют, а не провозгласят! Мы полагаем, что более пристальный и непредубежденный взгляд поможет нам понять своеобразие китайской или иной культуры, отличие ее от всех прочих, при тех многих общих чертах, какие свойственны всей человеческой культуре. Освободясь от экзотических оценок Востока, мы не должны отказывать ему в присущих ему особенностях, а также в различиях внутри него. Они-то в совокупности со знанием стран Запада и помогут нам понять мировой литературный процесс. Не так-то легко найти в себе силы для преодоления соблазна наплывающих сходств, менее, чем различия, требовательных к глубине постижения материала.

## 4

О глубине постижения литературного материала мы и хотим сказать. Было ли все-таки Возрождение в Китае? Признание или непризнание Возрождения не меняет ни уровня, ни состояния культуры: Возрождение — лишь этап в развитии культуры, указывающий на характер общества, определяемый этим термином. Хорошо Возрождение или плохо — не в этом же вопрос. Понадобилось ли оно?

Прислушаемся к тому, что говорят о Возрождении некоторые заинтересованные востоковеды. Академик В. М. Жирмунский в статье «Алишер Навои и проблема Ренессанса в литературах Востока»: «Общие ис-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.

торические предпосылки эпохи Возрождения нам хорошо известны: начало распада феодальных отношений, зарождение внутри зрелого феодального общества новых тенденций буржуазного развития. Предпосылки эти наличествовали в известной мере и в феодальной общественности Средней Азии второй половины XV в., породившей великого основоположника классической узбекской литературы Мир Алишера Навои (1441—1501)». В. М. Штейн в статье «Участие стран Востока в подготовке европейского Возрождения»: «Когда говорят о Возрождении в отдельных странах Востока, то нередко сводят его к известному частичному подъему науки и культуры, а это, разумеется, противоречит самому понятию Ренессанса: им должна обозначаться неповторимая историческая эпоха, когда молодая буржуазия впервые расправляет крылья в области культуры и науки, чтобы создать наиболее благоприятные условия для своего господства». Некоторая прямолинейность формулировок не препятствует их правдивости.

Возрождение совершалось людьми и породило людей. Кто были они? «Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем, чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными»[1]. Не приходится напоминать читателю, что слова эти принадлежат Энгельсу, который, указывая на противоречие исторического процесса, тем не менее не преминул заметить, что гуманисты эпохи Возрождения были причастны к основанию буржуазного общества.

Находя сходства в явлениях культуры, нас настойчиво уверяют, что китайское общество пережило Возрождение. Но аналогичны ли причины этих «сходств»? Нельзя сказать, чтобы подобный вопрос не вызывал беспокойства не только у нас, и в статье Н. И. Конрада «Об эпохе Возрождения», относящейся к 1965 году, можем мы прочитать: «Принято отмечать, что в эпоху Возрождения в Италии начали возникать формы капиталистического производства. Но следует помнить и другие слова Маркса: «Хотя первые зачатки капиталистического производства спорадически встречаются в отдельных городах по Средиземному морю уже в XIV и XV столетиях, тем не менее начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию»[2]. Италия — страна Средиземноморья, XIV—XV вв.— время ее эпохи Возрождения. Следовательно, эпоха эта все еще принадлежит феодальной эре истории этой страны. С еще большим основанием то же можно сказать о времени Возрождения, то есть о VIII—XV вв. в Китае. И все же это уже особый этап истории феодального общества. Я предложил бы назвать его переходным». Переходный этап в восемь веков Такое может себе позволить только Китай. Время китайского Возрождения дано Н. И. Конрадом безоговорочно — сначала время Возрождения, а потом уже обоснование его принадлежностью к «феодальной эре истории». Скажем лишь, не посягая на права историков-китаистов, а им предстоит еще немало потрудиться над изучением китайского общества (они-то еще и не произнесли своего слова о китайском Возрождении), что во времена Хань Юя, с которого «началось китайское Возрождение», отсутствовали даже «первые зачатки капиталистического производства». Возрождение не эстетическая категория, а концепция, неразрывно связанная с марксистским учением о социально-экономических формациях, и мы не видим оснований для неприменимости всей суммы известных энгельсовских характеристик к Возрождению, если оно происходит в Китае. Во всяком случае, основания эти не представлены.

Выше мы восстановили картину эволюции предлагаемой нам идеи Возрождения, завершившейся «китайским Возрождением» (впервые в кавычках — случайно или преднамеренно?) в предисловии Н. И. Конрада к сборнику переводов «Юэфу. Из средневековой китайской лирики». И мы хотим высказать недоумения, возникшие у нас в связи с аргументациями статей о Ренессансе. Наши вопросы касаются только области непосредственных наших занятий — истории китайской литературы. Если наши вопросы даже укрепят позиции китайского Возрождения, заставив где найти для него большей нерушимости факты, а где и убедительно опровергнуть нас или терпеливо дать нам дополнительное разъяснение, мы тоже будем довольны. Как говорят в этих случаях китайцы с давних, еще доренессансных времен — «просим поучения»: кто в нем не нуждается.

Перед тем как подойти к главному предмету наших размышлений — литературе предлагаемого нам Возрождения, мы хотели бы задержаться на дотанских временах, когда происходило великое становление пятисловного стиха. И было это не меньшим подъемом на высокую ступень, чем подъем танский. А говорим мы о нем потому, что он тоже явился подготовкой к победам VIII и последующих веков, одним из главных звеньев в цепи достижений китайской литературы. К танскому времени пятисловный стих (а за ним и семисловный, уже не потребовавший столь мучительного вызревания) был готов к тому, чтобы принять в себя содержание наступившей эпохи.

Пятисловный стих это новый этап в жизни и культуре Китая, а не просто прибавление одного знака в четырехсловной строке. Это означало, что на смену ставшей уже малоподвижной рамке и вместо неясных очертаний иероглифической картины явилась гибкость охвата, и четкость рисунка, и определенность слова, зазвучавшего яснее, да и психологическая определенность — поэзия приобрела иное качество и расширила свои границы. Это произошло также и благодаря проникновению разговорного

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.
[2] Там же, т. 23, стр. 728.

языка в литературную поэзию. Утверждение пятисловного стиха при его распространенности в стране повлияло на общее состояние письменного китайского языка, умерив расплывчатость иероглифической «живописи» и уточнив диапазон стоящих за ней понятий и слов. Пятисловные стихотворения возникли в древности и к I—II векам, как считает китайская наука, достиглн зрелости в «древних стихотворениях», девятнадцать из которых в VI веке были включены в «Вэньсюань», литературный изборник.

Стихотворения юэфу (в особенности предтанские), называемые в предисловии Н. И. Конрада (с чем мы совершенно согласны) жемчужиной китайской поэзии,— образец пятисловных стихов. Понимание роли «древних стихотворений» и юэфу в подготовке танского подъема, умение увидеть в четырехсотлетнем процессе совершенствования пятисловного стиха не случайность, а характерную особенность длительного развития китайской культуры имеет немаловажное значение для исследователя. Так почему же в своем «Кратком очерке истории китайской литературы», на который Н. И. Конрад многократно ссылается в последующих работах, автор так невнимателен к этой части истории китайской поэзии, что, говоря о «Сборнике (?) девятнадцати песен», вопреки очевидности утверждает: «В них отражены радости и горести простого (?) народа»,— и, наконец, не замечает своей описки: «В «древних песиях» (гуши) этого сборника мы находим новый метрический размер: в песнях Ши-цзина преобладает четырехстопный метр, в этих песнях — пятистопный и семистопный (?)». И дальше: «Поэтический жанр «древних песен» и их размер перешел в литературную поэзию («Древние стихотворения» сами по себе литературная поэзия.— Л. Э.). В стиле этих песен пятистопным стихом стали писать довольно значительные поэты ханьского времени Су У и Ли Лин». Но наука давно ушла от этого взгляда: военачальники древности Су У и Ли Лин кончили свои жизни в I веке до н. э. и не могут считаться авторами приписываемых им пятисловных стихотворений, которые были созданы позднеи. Еще Лю Се в начале VI века выражал сомнение в авторстве Ли Лина, изыскания же современных ученых окончательно утвердили невозможность этого. Не сужает ли Н. И. Конрад нежеланием своим углубиться в дотанскую поэзию подъездные пути к манящему саду танской литературы, не обрекает ли он танскую литературу на усилия, какие ей и не потребовались?

А между тем именно состояние дотанской литературы немалый критерий того, понадобилось ли Возрождение литературе танского подъема. Вот почему хотелось бы большего внимания всему, что предшествовало расцвету VIII века. Вот почему считаем мы нужным остановиться на проблемах, рождаемых книгой переводов юэфу IV—VI веков, так называемых южных юэфу. А проблемы эти возникают сразу же, начиная с предисловия Н. И. Конрада: «А те, кто прочтет эти песни, увидят, что у китайского народа уже в далеком прошлом не были одни конфуцианские, неоконфуцианские, псевдоконфуцианские «цитаты», в какие бы разнородные оболочки они ни рядились». Нам, признаться, намного понятнее сетование другого нашего ученого В. П. Васильева, когда он ровно девяносто лет тому назад в своем «Очерке истории китайской литературы» возмущался тем, что леса конфуцианских комментариев закрыли в древней китайской книге песен, «Шицзине», гармоническое здание народной поэзии: «Ведь мы имеем здесь песни, которые, сохраняя местный гений, гений китайского народа, в то же время свидетельствуют, что и китайцы некогда походили на прочих людей своими страстями и слабостями, что они были откровеннее, пока милые учителя не научили их из их же собственных песен сделаться ипокритами». Так вот мы как раз и думаем — почему бы это переводам юэфу к нашему непредубежденному (и просвещенному «Шицзином», Цюй Юанем, Цао Чжи, Тао Юань-мином, Ван Вэем, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Синь Ци-цзи, Лу Ю, Ван Шифу, Ляо Чжаем, да и первым, намного более полным изданием переводов юэфу) читателю надо пробиваться через конфуцианские «цитаты»? В нашей стране переведено довольно много произведений классической китайской литературы, даже достаточно много для того, чтобы представить себе величие ее и глубокую человечность «уже в далеком прошлом».

Другое дело — достаточно ли все-таки много и достаточно ли ясно переводим мы, имея в виду не только просвещение читателя, но и просвещение просветителей, нас самих, помощь нам в осознании развития китайской литературы — вот беспокойство, которое не должно оставлять нас, потому что, по глубокому нашему убеждению, нет и не может быть настоящего исследования художественной литературы без наличия переводов ее на язык исследования. Другое дело — достаточно ли знаем мы уже сейчас те или иные литературы Востока в законном и нужном нашем стремлении поставить их в мировой литературе на заслуженное ими место. «Наиболее значительные из них известны нам не менее, чем литературы народов Европы»,— заранее ответил на наш вопрос Н. И. Конрад в интервью для «Литературной газеты» 10 августа 1965 года. Не менее. Взгляд Н. И. Конрада на просветительскую роль переводов юэфу (даже нам кажущийся преуменьшающим общую нашу осведомленность в китайской литературе), взгляд этот дает нам основания предполагать, что речь здесь идет не о китайской литературе, а о тех наиболее значительных остальных, в которых мы не вправе считать себя компетентными. В. М. Алексеев не раз говорил в последние свои годы: «Горько уходить из жизни с пониманием того, как мало ты знаешь». Конечно, не надо смешивать субъективные, даже незаурядные знания с мерой всего объема достижений науки, конечно, за два почти де-

сятилетия, прошедших со времени кончины великого нашего китаиста, многое сделано и китайскими учеными, и нами, но все-таки... разговор-то ведь о необозримой китайской литературе, о трудностях, каких не знают ни переводчики, ни исследователи западных литератур, когда и поныне остается действительным сказанное В. М. Алексеевым полвека тому назад о том, что «даже самый поверхностный перевод с китайского требует несравненно больше времени, чем блестящий перевод с языков Европы».

Две преграды надлежит преодолевать нам — недостаточную изученность китайской литературы вообще и неполноту перевода ее у нас, две преграды на пути к желаемым нами и необходимым нам обобщениям. Обе они будут устранены: дело за временем и за нами. Требования к нам мы разрешим себе продемонстрировать на уже затронутом выше дотанском материале, введя в ход повествования обыкновенную рецензию на сборник переводов юэфу.

## 5

Переводы Б. Вахтина заслуживают доброго слова. Они, что называется, корректны. Из них можно понять бесхитростную прелесть стихотворения юэфу:

С мыслью печальной
Утром иду за ворота.
С мыслью печальной
Вечером в сад возвращаюсь.
Некому мне
Улыбнуться с приветом и лаской.
В сердце всегда
Я с тоской вспоминаю тебя.

Наш читатель получил сборник переводов китайской поэзии, который порадует его. Песни юэфу привлекают своею душевной открытостью, а также спрятанною за бронею старых иероглифических знаков простотой, и мы, конечно, согласны с автором предисловия, что «всякое украшательство им противопоказано». Освобождение от рифмы, наиболее перспективное при переводе китайской классики (мы, впрочем, никому не навязываем эту нашу уверенность), остерегает переводчика и обрекает его взамен этого на нелегкие хлопоты по сбережению многих драгоценных подробностей, определяющих китайскую поэзию. Значит, не нужны ни придуманный «волнующим» ветер, ни «тихая постель» (тихая ночь, как, например, у Ли Бо, но никогда не тихая постель!), ни сделанные «горячими» слезы. Надо следить и за тем, чтобы красота добавлений не расходилась со всегда присущей китайской поэзии логикой обстоятельств. «Годы и луны Текут, обгоняя друг друга» или в другом стихотворении «Годы и луны Бегут, обгоняя друг друга». Есть ли нужда в объяснении, что для человека любого и самого далекого столетия годы и луны, то есть дни, выстраивающиеся в месяцы и годы, не могут обгонять друг друга, а строго следуют даже в торопливости своей один за другим, иначе было бы не течение времени, само по себе удручающее поэта своею непреклонностью, а хаос неуправляемого произвола природы. Излишество румян, потворство таящейся в каждом из нас небезупречности вкуса только мешают национальной подлинности, нарушают точность восприятия.

Но есть вещи более серьезные и более непосредственно относящиеся к теме нашей статьи, есть проблемы, уже, пожалуй, почти не возникающие при переводе и исследовании произведений Запада. Это хотя бы точное понимание текста (часто в его истоках). И не только потому, что восточный (китайский!) текст для перевода вообще сложнее западного, а и потому еще, что западный текст прочитан и истолкован неоднократно, чего пока никогда не скажешь твердо о восточном. Ведь жаль непонятого поэтического текста не просто из-за того, что он пропал для читателя, замененный более или менее удачной выдумкой. Дело даже не в этом, а в суждении читателя об уровне находящейся перед ним поэзии: своя, переводческая выдумка, как бы ни была она хороша, не в силах заменить поэтическую мысль, принадлежащую времени, которое читатель должен представить себе. Чем тоньше мысль, тем, значит, развитее поэтическое сознание человека, тем дальше продвинулся он вперед в понимании места своего на земле и в отношении своем к окружающему, созидаемому им миру.

«В расцвете весны Распускаются сотни цветов,— Сорви и воткни В тугую прическу любой. Гуляем и топчем Цветы «позабудь-о-печали» И вместе встречаем Разгар долгожданной весны». Мило. Но зачем на малом пространстве в двадцать знаков дважды говорить о весне. Для того, чтобы назвать ее еще долгожданной? Многословен переводчик, не понявший четвертой строки «Сян юй цзи шэн нянь», что означает — вместе, в дружбе достигнем мы «шэн нянь», годов расцвета, возмужания. Тех самых годов, о которых сказано у современника и «соседа» южных юэфу Тао Юань-мина: «В жизни время расцвета никогда не приходит снова». И милая картинка обретает заложенное в ее оригинале движение мысли.

«Давно мы расстались — Дул ветер весений тогда, Сейчас возвращаюсь — И летние тучи плывут. Дорога длинна, Но стремлюсь я к тебе постоянно... Вина не моя, Что мой путь оказался столь долгим». Нам нравится, как передал переводчик традиционный прием первой половины стихотворения. Так почему же скукой плоской информации веет от второй его части? Куда девалась поэзия? Но она есть! «Лу яо жи юэ цу, фэй ши во янь лю», что означает — дорога дальняя, торопятся солнце с луною, а вовсе не я это надолго задержался. Вот ведь как он оправдывается — и дорога, и торопливый бег времени, и совсем уже оказывается лишним надуманное вместо этого «Но стремлюсь я к тебе постоянно», да еще с многоточием...

И еще одно стихотворение. «Жизнь человека — Лишь сотня неполная лет. Горя же встретится в ней На десять столетий. Ты

рано узнаешь Тяготы жизни людской — Будешь ты ночью Один... со свечою в руке». Что за мрачное предсказание? Где разгадка одиночества и свечи? Читатель, вознамерившийся для возможного прояснения заглянуть в первое издание, найдет там чуть иной вариант второй части стихотворения: «Рано узнаешь Ты тяготы жизни людской — Словно ты ночью Идешь со свечою в руке». Итак, между двумя изданиями проделан путь от иллюзорности («словно...») к реальности («будешь...»). Полное неясностей в переводе стихотворение есть вариация отрывка из пятнадцатого «древнего стихотворения» и из ханьской песни юэфу «Западные ворота»: «Годы жизни не доходят до ста, но всегда забот в них на тысячелетье. День краток, жаль, что ночь длинна. Так почему не взять свечу и не побродить с ней?» Вот откуда и у Тао Юань-мина в одном из стихотворений «За вином»: «И слова обращаю я к тому, кто уже хмельной. Лишь закатится солнце, пусть немедля свечу берет». Отрывок этот нашел свое место и во вдохновенной статье В. М. Алексеева «Н. Я. Марр. К характеристике ученого и университетского деятеля»: «Отнюдь не монах, не аскет, не суровый жизнененавистник, Николай Яковлевич, как один из старых русских ученых, все же считал, что каждый час, проведенный вне кабинета, есть час потерянный, и если китайский поэт, негодуя на краткость жизни и любования природой, пел:

День краток —
ночь — увы — длинна!
Зачем не брать...
свечу —
и с ней гулять? —

то разве не прекраснее во много раз образ ученого, который вдруг, в холодном и темном вагоне вскакивает после едва трехчасового сна, зажигает огарок свечи и пишет свои пламенные статьи?».

Как и Тао Юань-мин, как и В. М. Алексеев, но уже по неминучей обязательности должен был переводчик вспомнить о «Девятнадцати древних стихотворениях» и о юэфу «Западные ворота». Тем более что сам же он и опубликовал перевод «Западных ворот» в первом издании. Но здесь нас постигает разочарование: «Жизнь наша — сотня лет неполных, А горя в ней на десять жизней. Короток день, а ночь без края, Ночь горя, скорби и несчастья. Светильником веселья вправе Мы осветить свою дорогу». Ночь горя, скорби и несчастья! Светильник веселья! Не о том, что сказано поэтом, написал переводчик, и, значит, неоткуда было ему взять подспорье для непонятой им второй половины стихотворения юэфу — «Цзао чжи жэнь мин цу, бин чжу е син ю», что означает: «Давно известно, что человеческая жизнь коротка, возьмем же свечу и ночью отправимся гулять», а никак не «Ты рано узнаешь Тяготы жизни людской — Будешь ты ночью Один... со свечою в руке». Может быть, переводчика смутил иероглиф «цу», больше известный ему в значении «торопиться», «приближаться», «тесниться»? Но, например, у поэта Чжан Хуа (232—300) в третьем из его пяти «Стихотворений о любви» сказано: «Когда ты в радости, то жалеешь, что ночь коротка, в печали же досадуешь, что ночь длинна». Ночь коротка — «е цу». В разбираемом же нами стихотворении человеческая жизнь коротка — «жэнь мин цу».

Трудности исследования дотанской поэзии связаны, как видим, и с опасностями, подстерегающими нас при ее переводе, опасностями, не минующими вообще ни одного переводчика старого китайского текста. Без исчерпывающего же исследования можем ли мы настаивать на «величайшем прогрессивном перевороте» и отвергать плавный подъем литературы танского времени?

## 6

В танское время возникло «движение за гувэнь». Возможно, что и само по себе оно способно навести на мысль о Возрождении. Но уж когда называется оно «фугу», что можно перевести «возвращением к древности», тут трудно и упрекнуть того, чей взор немедленно обратится к Вазари. «Движение за гувэнь» длилось не менее четырехсот лет, потому что после танского Хань Юя было оно вновь поднято сунскими писателями и мыслителями Оуян Сю и другими. Да и начало недовольству официальной прозой было положено еще в VI веке, затем продолжено в суйском государстве и затем провозглашалось во второй половине VII века поэтом Чэнь Цзы-аном. Здесь действовали разные причины и разные обстоятельства. Мы должны лишь заметить, что почва для реформаторского движения Хань Юя и Лю Цзун-юаня была подготовлена и психологически предшествующими прямыми выступлениями, и практически сочинениями типа «Плача на древнем поле сражений» Ли Хуа, умершего за два года до рождения Хань Юя, да и творчеством великих поэтов Китая VIII века.

Хань Юй обратился к древности. Это роднит его с гуманистами Возрождения на Западе. Да, конечно, если не очень помнить о том, что обращение Хань Юя к древности не новаторство, а традиция — уже Конфуций обращался к древности. На этот раз обращение к древности было призывом к новой литературе, освобожденной от пут формальной красивости. А знак древности — это символ правды, откровенности, простоты, и «путь-дао», которым Хань Юй хотел наполнить «простую» форму, это в переводе на современный язык содержательность произведения. Конечно, требования, поставленные «движением за гувэнь», были новыми, поскольку они входили в согласие со временем, но вопросы были вечные и древние. Например, нравственность художника и творчество его как отражение этой нравственности. И танские и сунские реформаторы в продвижении вперед и мысли и литературы видели себя восстановителями древней правды, и когда Оуян Сю выступил за индивидуальность в творчестве, он даже не попытался представить это новшеством:

«В древности ученые не являли собою нечто однородное. Хотя одинаковы были они в убеждениях («дао»), но речи и сочинения их не были схожи...» Не надо ни на мгновение забывать о том, что обращение именно к древности за моральными наставлениями бывало в Китае не красивой фразой, а насущной необходимостью.

К концу танского времени мы уже не видим в литературе ни той силы гражданственности, ни той яркости талантов, что отличало гувэнь в пору расцвета движения. Прошло столетие или немногим больше, и «движение» возродилось снова, чтобы подарить потомкам «восемь танских и сунских великих», не считая тех, кто был рядом с ними. Удивительные (но и трудные) времена, необыкновенные люди! Мы понимаем ученого, имеющего перед глазами картину итальянского Возрождения и обладающего всем возможным знанием китайской истории в стремлении его совместить героев стран и эпох. Мы от души желаем ему удачи. Мы пока еще не верим только в схожесть происходившего. И не хотим форсированных решений. А они даются. «Дао» — путь конфуцианской высшей правды и нравственности — переводится как наука и просвещение, «цзюньцзы» — человек, идущий этим путем и, значит, носитель правды и нравственности (по одному из нескольких переводов В. М. Алексеева — человек совершенной морали и культуры),— изображается как «просвещенный человек». Если мы к этому добавим, что государственную школу «дасюэ» или «тайсюэ», существовавшую в Китае с давних времен, Н. И. Конрад переводит как «университет», а Хань Юя называет «профессором», то увидим, что намеренное соединение Вазари и Хань Юя в одну пару («Но что такое в глазах Вазари и Хань Юя эта самая «древность»?») накладывает на выводы резкий свой отпечаток. Даже В. М. Алексеев, еще не знавший о Возрождении, но, как известно, любивший модернизировать старые китайские названия должностей, то, что переведено Н. И. Конрадом как: «Профессор, придя рано утром в Университет, созвал студентов, поставил их у здания и, поучая их, сказал:..» — переводит: «Учитель государственных питомцев вошел поутру в старший класс, созвал своих учеников, велел им встать к порогу у директорских палат и им прочел такое наставленье...»

К увлеченности выдвинутой идеей относим мы и суждение Н. И. Конрада о том, что такое гувэнь. До сих пор было известно, что гувэнь есть стиль прозопоэтических сочинений, по характеру своему противоположных произведениям стиля пяньвэнь, то есть более или менее свободных от законов формалистической изощренности. Одно из значений гувэнь в буквальном переводе — древняя литература. Хань Юй включил в это название свои прозопоэтические сочинения, подчеркнув таким образом, что он продолжает простой стиль древности. Благодаря позднейшим антологиям мы твердо знаем, что в гувэнь входят сочинения начиная с древних, а наряду с ними и принадлежащие танским и сунским реформаторам. Согласно Н. И. Конраду: «Гувэнь буквально «древняя литература», но поскольку в нее входили произведения Хань Юя, Лю Цзун-юаня и прочих возрожденцев VIII—XII вв., и прежде всего именно их, постольку это не была литература древности». Да, та часть гувэнь, которая относилась к Хань Юю, не была для его современников литературой древности, но почему этот вывод распространяется на все произведения гувэнь — вот вопрос, который немедленно возникает у непристрастного читателя еще до того, как он перейдет к окончательному заключению: «Поэтому вполне точно по его смыслу наименование гувэнь можно понимать как «литература Возрождения».

Точность тут субъективная. Лучше всего предоставить слово самому Н. И. Конраду по поводу антологии «Гувэнь чжэньбао» как свидетельства Возрождения: «В этом сборнике представлены прежде всего писатели VIII—XII вв., то есть тех веков, которые ознаменованы развитием этого движения (за «возвращение к древности».—**Л. Э.**); эти писатели представлены большим числом своих произведений. Представлены и писатели прошлого — с III в. до н. э. по VI в. н. э., но только очень немногие и притом крайне ограниченным числом своих произведений. Так что в сущности это сборник произведений писателей Возрождения...»

Произведем самый примитивный анализ состава антологии. В ней тридцать пять имен. Из них одиннадцать (четырнадцать произведений) относятся к дотанским временам, пять (шесть произведений) принадлежат танским поэтам до ханьюевой поры, Хань Юй и его соратники (всего их пятеро) участвуют девятнадцатью сочинениями, и наибольшее число имен (тринадцать) и произведений (двадцать шесть) принадлежит сунским поэтам XI века (лишь один не первостепенный Тан Гэн относится и к XII веку). Так почему же «представлены прежде всего писатели VIII—XII вв.» и в гувэнь «входили произведения.. прежде всего именно их...»? Между прочим, антология, построенная по жанровому принципу, открывается сочинениями Ханьского У-ди (140—87 до н. э.), Цюй Юаня (IV—III вв до н. э.) и Тао Юань-мина (365—427).

А откуда известно, что антологией «Гувэнь чжэньбао» сочинения «писателей древности и средневековья даны как бы для того, чтобы показать, что возрожденцы, во-первых, ценят, как они говорили, подлинные шедевры прошлого, во-вторых, что их собственные произведения действительно восстанавливают блеск этого прошлого, что новая «древняя литература» — достойная преемница старой, классической»? В предисловии к прозопоэтической части антологии, написанном в четвертый по лунному календарю месяц 1366 года, подобное проникновение в психологию «возрожденцев» отсутствует. Для составителей антологии «Гувэнь

чжэньбао», живших уже на расстоянии двух-трех веков от выдающихся сунских писателей, все прошлое в литературе было «старинных наставников усердным трудом», они равно почитали и Чжунчан Туна, и Хань Юя, и Су Ши.

Н. И. Конраду было бы несравненно удобнее для оправдания своей точки зрения на гувэнь, как «литературу Возрождения», воспользоваться не «Гувэнь чжэньбао», а более ранними сборниками (кстати говоря, по другому поводу упомянутыми в его статье «Философия китайского Возрождения») — антологией ученого XII века Люй Цзу-цяня «Гувэнь гуаньцзянь» («Ключ к гувэнь»), которая почти сплошь состоит из танских и сунских авторов, или антологией ученого XIII века Се Фан-дэ «Вэньчжан гуйфаиь» («Образцы сочинений»), в которой из далей времен лишь Чжугэ Лян и Тао Юань-мин. Но означает ли факт антологии, почти полностью занятой стихами Пушкина и его современников, что пронзведения державинской поры это уже и не стихи? Сам Хань Юй так не полагал, иначе он не дал бы своим сочинениям названия гувэнь. Мы охотно допускаем, что для читателей века Хань Юя, а потом и Оуян Сю со словом «гувэнь» прежде всего ассоциировались сочинения знаменитых их современников, но не для позднейшего же исследователя!

На основе «Гувэнь чжэньбао» в конце XVII века учеными-литераторами У Дяо-ху и У Чу-цаем была построена по хронологическому принципу более полная антология «Гувэнь гуаньчжи», собрание лучших образцов гувэнь, которое заканчивается минскими писателями от XIV по XVII век, и (да не упрекнут нас в мелочности!) позволителен вопрос — следует ли относить гувэнь XVI и XVII веков к гувэнь, поскольку сочнинения эти уже вне пределов Возрождения, как мы помним, закончившегося в начале XVI столетия.

Но в пределах Возрождения великолепная юаньская драма, занявшая в XIII—XIV веках, как пока мы можем судить, место всегда главенствовавшей лирической поэзии, которая вместила себя внутрь драмы. И что же? В статье «Шекспир и его эпоха»: «Ренессансная драма началась в Китае XIII—XIV вв. Это так называемая «юаньская драма». Но высшее достижение ренессансной драматургии в этой части мира — японская драматургия XVII—XVIII вв., сложившаяся в стране, где явления Ренессанса не были автохтонными». В статье «Об эпохе Возрождения» подтверждается мысль о ренессансной драме, которая впервые «сложилась в Китае и там же достигла очень большого развития».

Так название ренессансной драмы присвоено «тому, что именуется в Китае драмой», как сказано было о данном роде литературы на шесть лет ранее. «Литературным жанром эту драму назвать можно только условно... Трудно назвать эти пьесы драмой в привычном для нас смысле: в них почти отсутствует драматическое развитие» — вот что и подобное в таком духе читаем мы в «Кратком очерке истории китайской литературы» и что, слава богу, расходится с утверждениями статьи «Шекспир и его эпоха»: «Если под драмой понимать театральное произведение, в котором фабула превратилась в законченный сюжет, рассчитанный на специфически театральные способы его изложения; если в этом изложении словесная часть получала полноценное значение, то придется признать, что драма в том ее облике, в каком она предстала на феодальном этапе развития человечества, появилась именно в эпоху Ренессанса. В этом убеждает нас вся история театра. Именно такова, например, «юаньская драма» XIII—XIV вв. в Китае — первая по времени возникновения ренессансная драма вообще».

Мы рады, что творения китайских поэтов и драматургов Гуань Хань-цина, Ван Шифу, Ма Чжн-юаня получили более благосклонную оценку, рады н тому, что «династийное» названне — юаньская драма — может обозначать нечто совершенно определенным образом отличающееся от следующей за ней минской драмы и при этом никого не вводить в заблуждение. Китайское Возрождение в «Кратком очерке истории китайской литературы» кончалось XII веком, и несправедливая оценка юаньской драмы не тревожила автора. Идея Ренессанса сыграла благотворную роль для отношения автора к юаньской драме, но пока еще не доказала «ренессансности» самой драмы, нелегкий, не на ходу «просматривающийся» текст которой в нищенских дозах (десять-пятнадцать из по крайней мере ста сорока сохранившихся пьес) представлен в переводе и почтн не исследован. А мы к ней подходим с теми же мерками, что к Шекспиру, и рассуждаем о ней с той же свободой, что о Шекспире, «поскольку в ией — и, может быть, нанболее впечатляюще — представлен ннднвндуальный человек, человеческая личность, человеческий характер и отражена гуманистическая умонастроенность передовых слоев китайского общества». (Теперь уже такая характеристика, которая не принизнла бы и драматургию Чехова.)

Статья «Шекспир и его эпоха» комментирует книгу М. и Д. Урновых «Шекспир. Его герои и его время». Авторы книги говорят о музыке, дополняющей слово в пьесах Шекспира. Н. И. Конрад замечает по этому поводу: «Еслн бы нужно было указать в драматургии на что-либо такое, что сразу же выдает принадлежность ее к Ренессансу, то лучше такой приметы, как мне кажется, трудно что-либо найти. Сказанное М. и Д. Урновыми о музыке в драматургии Шекспира полностью приложимо к музыке в «юаньской драме» н в «драме Но»... Но ведь это побочный признак вообще, а для Китая попросту ничего не доказывающий, если помнить роль музыки во всей истории китайской поэзии и не забывать о синтетическом характере традиционной пекинской и местных драм, продолжавшнх развиваться после «кнтайского Возрождення» и полноправно представляющих современное китайское искусство. Мы не возражаем против происшедшего дальнейшего протяжения Ре-

ренессанса, который захватил таким образом юаньскую драму. Нам лишь жаль, что производится это удлинение не в результате конкретных исследований, которые бы определили такие признаки, как ренессансный гуманизм, ответственность человека за совершающееся в мире, уровень взгляда на человеческую личность, выводя их из анализа состояния общества и уверяясь в них путем тщательного изучения литературного материала.

## 7

Невозможно в размерах сравнительно небольшой статьи выразить все возникшие у нас по поводу китайского Ренессанса недоумения. Поэтому вернемся к предлагаемому нам началу его и к поэзии, на время оставленной нами. «Исключительный расцвет поэзии в Китае VIII—XIII вв. хорошо известен и не требует каких-либо дополнительных разъяснений»,— констатируется в статье «Об эпохе Возрождения». Предположим и это, хотя сунская поэзия изучена и проанализирована даже на ее родине намного слабее, чем танская, что же до юаньской, то тут нам и совсем не до хвастовства. «Требуется другое: определить то качественно новое, что внесла эта поэзия в общую историю китайской поэзии, и почему это новое принадлежит именно Возрождению». Эта поэзия! Как будто поэзия всех этих шести веков, за которые сменился, по крайней мере, три раза облик китайского общества, не претерпела серьезнейших изменений и в содержании и в форме в самом широком смысле. И нет ли искусственности в ситуации, требующей определить, «почему это новое принадлежит именно Возрождению»? Что принадлежит оно Возрождению, в этом, значит, и сомнений нет?

И когда Н. И. Конрад в статье «Шекспир и его эпоха» призывает «немного повнимательнее почитать стихи таких поэтов, как Петрарка, Ронсар, Рудаки, Саади, Хафиз, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и», которых «у нас знают хорошо, но разрозненно», потому что соединение их в одно «было бы гораздо более убедительным аргументом в пользу признания Ренессанса мировым явлением, чем иные исторические исследования», мы и здесь не видим аргумента в пользу китайского Возрождения. В поэзии внимание к человеку, тонкое раскрытие человеческих чувств, соединение пейзажа с человеческими переживаниями, да и многое другое, присущее поэтическому восприятию мира, само по себе не может быть ни общим признаком переживаемого обществом Возрождения, ни «убедительным аргументом в пользу признания Ренессанса мировым явлением». Мы все-таки за «исторические исследования», те или иные, как за самую необходимую часть аргументов, долженствующих подтвердить или опровергнуть данную гипотезу: одно не заменяет другого.

«Мне кажется, что для понимания существа того переворота в общественном сознании, который произошел в эпоху Возрождения, в первую очередь важно то, что проявилось в философии и поэзии»,— пишет Н. И. Конрад в работе «Об эпохе Возрождения», ссылаясь на статью «Три поэта». Переворот в общественном сознании, как мы понимаем, проявился в перевороте в поэзии. О нем-то мы и хотим спросить, оставляя сейчас в стороне все остальное. «Все остальное, как бы оно ни было значительно, укладывается в те же рамки, в том числе и то, что имело место в литературе в целом». Мы бы предпочли, чтобы процесс укладывания в те же рамки проходил в длительных муках исследований, а не в продолжение кратких четырех последующих страниц, правда, заключаемых абзацем: «Все это еще ждет своего исследователя, и без обстоятельного исследования этих явлений нам просто не обойтись, если мы хотим как-то сдвинуться с устоявшихся и застоявшихся позиций». Казалось бы, спорить не с чем, но: «Это исследование, я уверен, принесет новый огромной важности материал для понимания китайской эпохи Возрождения — ее содержания, ее размаха, ее исторического значения, а через нее — для понимания многих явлений культурной жизни соседних стран — Кореи и Японии». Может быть, но почему упорно исследователь нужен только для подтверждения уже найденной до него непреложной истины? Насколько свободнее почувствовал бы себя исследователь, если бы та же идея китайского Возрождения вставала бы перед ним не в виде целевой установки, предложенной авторитетным ученым, а в виде возможного в науке решения вопроса.

Танская поэзия — не внезапность, а логическое следствие, непреложный результат. Связи китайской литературы в веках прочнее, чем нам это может представляться. Мы не все прочитали и не всегда обращаемся к старым критикам. Не будем бояться того, что нас засосет трясина «китайской традиции»: в «традиции» очень немало и сухих мест, которые только помогут нам выбраться на широкую дорогу мирового литературного процесса. Надо стараться сохранять при этом самостоятельность и не подпадать под влияние авторитетов, как и всегда в науке. Читая старых китайских эрудитов, мы наблюдаем свободное обращение с временами, отстоящими для нас далеко одно от другого, но оказывающимися сближенными в своей поэзии. Так, ученый-литератор XVII века Ван Ши-чжэнь не раз рассуждает с друзьями о том, что среди танских стихов есть такие, которые оставляют далеко за собою стихи времени Лючао (а мы и не сомневались в этом), но есть и такие, что не идут в сравнение с последними. «Будет большой неправдой,— утверждает один из собеседников Ван Ши-чжэня,— считать, что все стихи Лючао ниже танских». Заметим, что разговор здесь идет не просто о форме стихов и не о всяких стихах, а только о тех, что сохранились до XVII века и, значит, выдержали пристрастное испытание

временем. Так ли уж требует это особых доказательств? Не скажет ли об этом уже перечисление имен Цзо Сы, Тао Юань-мина, Се Лин-юня, Бао Чжао? Но взглянем на поэта, приблизившегося по времени к VII веку и соединившего в своем творчестве традиции Юга и Севера — Юй Синя (513—581), одного из искуснейших представителей повергнутого Хань Юем стиля пяньвэнь, выберем простое его четверостишие

На Янгуань
путь в десять тысяч ли,

Где нет навстречу
ни одной души,

Где лишь стесинились
гуси у реки:

Как осень, так
летят они на юг —

и разве не родственно оно танскому и пейзажем своим, и сдержанной печалью, да и отказом уже от изощренности? А стихотворение Юй Синя «Пыльное зеркало»

Ясное зеркало
с ясной луною схоже.

Вот и навечно
его положил я в ящик:

Так ли уж нужно,
чтоб в нем виски отражались,

Если покрыты
они осенней травою!

явно предвосхищает четверостишие Бо Цзюй-и «Смотрюсь в зеркало»:

Чист и блестящ
круг бронзовый, зеркальный.

Рябят-пестрят
виски от белых нитей.

Да можно ли
упрятать глубже годы?

Моим летам
ты, зеркало, не веришь!

Но обратимся к сведениям о танской поэзии, изложенным во вступлении к статье «Три поэта» в сборнике «Запад и Восток», а также в «Кратком очерке истории китайской литературы». В статье «Три поэта»: «Ли Бо (701—762) — первый поэт китайского Возрождения. Это несомненно... Но открыл новую эру в поэзии не он один: рядом с ним стоят два его современника — Ван Вэй (699—759) и Ду Фу (712—770). Они трое — подлинные зачинатели великой поэзии Возрождения в Китае, а Возрождение в Китае открыло собою эру Возрождения во всех странах Восточной Азии». Мы не считаем себя вправе поднимать руку ни на всеобщий Ренессанс, прокатившийся по всему миру, «как некий вал», ни даже на одну восточноазиатскую часть его. В который уж раз напоминаем, что сомнения наши ограничиваются китайским Возрождением, и если к Возрождению в конце концов можно привыкнуть, то трудно, однако, примириться с тем, что «Ван Вэй явился создателем пейзажной лирики», как гласит «Краткий очерк». К такому неожиданному заключению не приходили ни китайские историки литературы, ни писавшие у нас о Ван Вэе Н. Т. Федоренко и В. А. Кривцов. Оно странно расходится и с мнением самого автора очерка, который до этого отмечает появление лирики природы «как особой отрасли поэзии» в китайской литературе IV—V веков. Да если бы и так, если бы, что совершенно невозможно при том, как развивалась китайская поэзия, если бы вдруг действительно начиналась пейзажная лирика в танское время, то ведь впереди Ван Вэя и рядом с ним был еще и Мэн Хао-жань! А с Ван Вэя, если уж угодно, стало принятым деление (весьма условное) лирики на «пейзажную» и «пограничную». В 1960—1961 годах журналом «Вэньсюэ пинлунь» была проведена дискуссия о пейзажной лирике с участием Линь Гэна, Чжу Гуан-цяня и других знатоков китайской поэзии. Обсуждалось многое, но что действительно не вызывало споров, так это оформление китайской пейзажной лирики в IV—V веках (Се Лин-юнь, Бао Чжао, Се Тяо), а также то, что, как сказано у Линь Гэна, «в танское время пейзажная поэзия сделала шаг вперед в повышении своего уровня и в дальнейшем развитии». Увлеченность идеей Ренессанса приводит и к утверждению, что Ван Вэй «напоминает деятелей европейского Возрождения своей многогранной одаренностью: это был первоклассный поэт, замечательный художник, превосходный каллиграф, то есть график, и музыкант». (Называя Ван Вэя великолепным поэтом, идеальным живописцем, В. М. Алексеев пишет, что «Ван особенно интересен именно этим совмещением в себе двух талантов, оказавшихся равновеликими и поселенными один в другом, ибо это сосуществование, отнюдь не редкое в Китае (подчеркнуто нами.—Л. Э.), никогда, по-видимому, не достигало такой совершенной гармонии»). Не слишком ли часто опознание Ренессанса производится по неким вторичным признакам?

В характеристике Ван Вэя как создателя, а не инициативного продолжателя пейзажной лирики, может быть, действует непроизвольное желание возвысить танских поэтов как зачинателей Ренессанса, почему случай с Ван Вэем кажется нам выражением одного из двух обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся в статьях о Возрождении в китайской литературе. «Не так!» — говорим мы, и это первое обстоятельство. Второе же — «так, но не потому!» Когда нас уверяют в статье «О смысле истории»: «Деятели китайского Возрождения видели ценность человеческой личности главным образом в способности человека к самосовершенствованию»,— и сравнивают с таким же похвальным, но иным взглядом на ценность человеческой личности среди гуманистов Ирана и Средней Азии и еще иным у представителей Ренессанса в Италии, то мы прежде всего ждем подкрепления мысли нелегкими литературными доказательствами (в которые должны входить и обоснованные сравнения со взглядом на человека во все предшествующие времена),

но и напоминаем, что самосовершенствование есть непременное качество «цзюньцзы», высоконравственного человека со времен Конфуция и входит так же непременно в мировоззрение Тао Юань-мина: «Не теряя мгновенья, вдохновим же себя усердьем, Ибо годы и луны человека не станут ждать!» Это «так, но не потому». Не в Возрождении тут сила, как и при непременном в Китае всех времен обращении к древности.

8

«Так, но не потому». Здесь уместно рассмотреть Тао Юань-мина, каков он есть и каким он выглядит при идее Возрождения. Нам говорят, что Возрождение в Китае начинается с VIII века, то есть в танское время. Мы знаем, что главный род литературы этого периода — лирическая поэзия, мы знаем, что вершиной дотанской поэзии было творчество Тао Юань-мина. Но он обманул позднейших ценителей своими «садами и полями». Он не был тихим буколиком, и танское время воспользовалось его великими достижениями для создания новой своей поэзии, не взрываясь, а вытягивая нить развития. Так представляется нам, если не следовать консервативному мнению той китайской традиции, взор которой не выходил за пределы таоюаньминовых «садов и полей».

Н. И. Конрад пишет о Тао Юань-мине в «Кратком очерке истории китайской литературы»: «В его поэзии нашла отражение неудовлетворенность жизнью, судьбой, характерная для низшего слоя мелких феодалов, не далеко ушедших от крестьян, трудившихся на своих небольших участках или зарабатывавших себе пропитание чиновнической службой». И заключает так: «Пока у него была горсть риса, кувшин вина да его любимый инструмент — лютня, он считал, что больше ему ничего не нужно. Таким первым поэтом «полей и садов», как назвала его традиция по наименованию одной из его поэм, он и остался в истории китайской литературы». Трудно согласиться с тем, что таким он остался в истории китайской литературы. В предисловии к сборнику переводов юэфу Н. И. Конрад называет поэзию Тао Юань-мина одной из жемчужин средневековой китайской поэзии наряду с песнями юэфу. Сочетание это очень неясное: с поэзией Тао Юань-мина непритязательные песни юэфу при всей их прелести несопоставимы. Творчество Тао Юань-мина выразило дух и настроения мыслящей верхушки его времени, кристаллизовало самые высокие достижения поэзии прошлых веков, дало нравственное и художественное направление последующей китайской поэзии, что засвидетельствовано и самой этой поэзией, и поэтическим трактатом одного из последних танских стихотворцев Сыкун Ту, и, наконец, исследованиями.

Если же Тао Юань-мин соответствует характеристике, данной ему частью традиционной китайской критики и Н. И. Конрадом, то в чем его преимущества перед предшественниками и современниками, такими, например, как Се Лин-юнь или Бао Чжао, в чем признанное его величие? И мог ли бы такой Тао Юань-мин стать знаменем танской и сунской поэзии? Конечно, нет. Но пренебрежем этим фактом действительности и предположим, что Тао Юань-мин остается в своих «садах и полях». И что же, могла ли бы в этом случае без взрыва, без резкого поворота в умах и в литературе появиться на свет танская поэзия? Конечно, нет, и тогда уж, если поверить этому, танская поэзия сама по себе становится симптомом происшедшего переворота и толкает нас к разысканию сил, которые потрясли китайское общество. Такой Тао Юань-мин служит к оправданию идеи Возрождения.

Очень важно понять, что преклонение перед Тао Юань-мином спустя несколько веков после его жизни есть не только и не просто культ, а преемственность. Но понять это можно, осознав, что «сады и поля» — не главное в Тао Юань-мине, а также, что сам поэт — не одинокое явление, а лишь явление исключительное, как всякий гений. В. М. Алексеев писал «Китайскую поэму о поэте», а затем очерк «Китайская литература» для сборника «Литература Востока» тогда, когда в современном ученому Китае изучение Тао Юань-мина ограничивалось немногими статьями и вышедшей в «Библиотеке для юношества» незначительной книжечкой Сунь Юй-сю. В. М. Алексеев называет Тао Юань-мина поэтом «опрощения и винных чар». Это была бы слишком малая и даже вводящая в заблуждение часть правды о поэте, если бы дальше не были сказаны огромной прозорливости слова о том, что Тао Юань-мин сыграл, «по-видимому, в поэзии Китая роль нашего Пушкина» и «первый освободил поэзию от придворных связей и общественно-исповедных кастовых обязательств, наложенных веками на китайского ученого-поэта».

Слова о Пушкине требуют полного проникновения в их смысл, особенно теперь, через полвека после того, как они были написаны, полвека, давших нам в самом Китае большое число общих историй китайской литературы, несколько специальных трудов о Тао Юань-мине и ряд если не книг, то серьезных статей о поэтах таоюаньминовой поры. Слова В. М. Алексеева о Тао Юань-мине и Пушкине есть аналогия более глубокая, чем это может показаться скользнувшему по ним взгляду. Сравнивая Тао Юань-мина с Пушкиным в той роли, какую он сыграл в литературе, вспомним о пушкинских предшественниках и последователях, и среди них о тех, кто только и остался для истории литературы. Пушкин был гениален, но не одинок в своих достижениях. Русская поэзия могла гордиться стихами Жуковского, Дениса Давыдова, Батюшкова. Девятнадцатилетний Пушкин

явился к Катенину: «Побей, но выучи!» А следом шли Лермонтов, Тютчев... Может быть, не стоит так прямо уж сравнивать Тао Юань-мина с Пушкиным? Но нет, отчего же! В. М. Алексеев в кратком очерке ничем не подтвердил свои как будто сами собою разумеющиеся слова. Поэты очень близкого (особенно по китайским представлениям) к Тао Юань-мину времени уже и забыты и полузабыты, но поэзия Тао Юань-мина во многом питалась теми, кто жил и за полвека и за век до него — Цзо Сы, Лю Кунем, Го Пу, Ван Си-чжи, а рядом с Тао Юань-мином творили такие замечательные стихотворцы, как Се Лин-юнь, Бао Чжао. И уже немногим больше столетия оставалось до танского времени. «Солнцем русской поэзии» был назван и действительно был им не Лермонтов даже, не Баратынский, не Тютчев, а Пушкин. Как и Пушкин, великий китайский поэт был, конечно, единственным, но никогда не одиноким в достижениях своего времени, а значит, и в наследстве, оставленном им потомкам. Не мог потеряться след его, который вел прямо к танской поэзии! Факты, с которыми встречается в своей будничной работе историк китайской литературы, подтверждают мысль, не однажды выраженную В. М. Алексеевым. Вот она: «Когда сравниваешь историю Китая с историей других древних государств, Египта, Вавилона, Иудеи, Греции, Рима и др., то невольно удивляешься тому, что он один только из всех остался хранителем своей исторической культуры, которая ни на минуту не прерывалась и даже не задерживалась в своем развитии». Как важно это «даже не задерживалась», не в пылу полемики вырвавшееся!

Мы высказали какую-то часть наших недоумений по поводу идеи Возрождения в китайской литературе. Недоумения эти, как можно было заметить, затрагивают и общую недостаточность наших знаний и спорность утверждений. Хотелось бы, чтобы огромный этот предлагаемый нам мир китайского Возрождения, протянувшийся вначале от VIII по XII, а теперь уже и до XVI века, был подтвержден не широкими рассуждениями (когда легко заманчиво похожее принять за действительное), а точными фактами литературы, да и истории, конечно: так многого, необходимого нам, не знаем мы не то чтобы досконально, но и поверхностно до сих пор. Взять хотя бы сунскую поэзию в ее соотношении и различиях с танской — предмет спора разных веков — тема исследования, в частности, японского ученого Есикава Кодзиро, далекая еще до завершения. А юаньские и минские стихи, в оценке которых обнаруживали колебания эрудиты типа уже упоминавшегося Ван Ши-чжэня? А танская и сунская проза в их внутренних особенностях и языковых различиях? (Напомним о не так давно опубликованной интересной статье С. Е. Яхонтова «Письменный и разговорный язык в VII—XIII вв. н. э.».) Не лучше ли подождать окончательного решения вопроса о Возрождении (раз уж он поднят) до появления необходимых монографических исследований и переводов, а также книг, специально посвященных «китайскому Возрождению», что не умалит ни широты, ни яркости самой предлагаемой нам гипотезы, особенно если она будет подтверждена. Мы, кажется, не столь уж оригинальны в заботах о предмете наших занятий. Иначе почему бы И. М. Дьяконову заключать свою статью «О типичных чертах древних литератур Востока» призывом к монографической разработке проблем древневосточной литературы «на конкретном фактическом материале, чтобы впоследствии перейти к обобщениям». Труд, упорный и кропотливый труд над «конкретным фактическим материалом», вполне естественно, соединенный с озарениями ученого, приведет нас к логическому заключению о процессе развития китайского общества и китайской литературы, вне зависимости от того, найдется ли в этом процессе место Возрождению или оно останется в стороне от него. В. М. Алексеев в до сих пор, к сожалению, не изданной «Рабочей библиографии китаиста» свой разбор помещенных в старых энциклопедиях статей о Китае, которые написаны «лучшими для того времени знатоками», завершает следующим образом: «Когда появится статья «Китай» в БСЭ, я точно так же буду ее рекомендовать, если только синологическая грамотность будет в ней (или в них) достаточно соблюдена и если установленные истины не будут смешаны с личными воззрениями, предположениями, теориями». Надо думать, что всем нам — радеем ли мы за китайское Возрождение или сомневаемся в нем — правило это по душе.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

# РАЗГОВОР ДРУЗЕЙ

Весной этого года в Москве состоялась встреча писателей СССР и Болгарии, посвященная ленинской теме в литературе. В искусстве обеих стран эта тема имеет давние традиции. Об этом говорил в своем выступлении глава делегации, видный болгарский поэт, Герой Социалистического Труда Младен Исаев:

«Если бросить даже беглый взгляд на творчество наиболее талантливых писателей в довоенной Болгарии, разделявших ленинские эстетические принципы, можно увидеть, какое благотворное влияние они оказали на болгарскую литературу. Тогда Георгий Караславов написал книгу «Селькор» и «Споржилов», Крум Велков — роман «Село Борово», Людмил Стоянов — «Холеру», «Земную жизнь» и др., Христо Радевский — стихотворение «К партии», Николай Хрелков — «Полуночный экспресс», Орлин Василев — «Белую тропу» и «Огненный обруч». И это только часть той большой литературы, которая была создана нашими революционными писателями, вдохновленными идеями Ленина».

Болгарские писатели, подчеркнул Исаев, несмотря на стену, воздвигнутую тогда фашистами и отделявшую Болгарию от советской страны, находили невидимые тропы к советской книге, следили за литературной жизнью первого в мире советского государства. Такие писатели, как Христо Смирненский, Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, создали талантливые произведения, проникнутые идеями Октября, идеями великого Ленина.

Критик Наташа Манолова напомнила, что в свое время А. В. Луначарский писал о двух путях, по которым пойдет развитие ленинской темы в литературе: реалистическом и романтическом. Можно сказать, что развитие болгарской ленинианы пошло в основном по романтическому пути. В ярких поэтических произведениях о Ленине, которыми болгарская литература по праву может гордиться, гармонично слились национальные и интернациональные чувства народа.

Как понимать ленинскую тему в литературе, как работать над образом Ленина— эти вопросы стояли в центре внимания всех выступавших.

«Я — рядовой поэт, я — поэт-рядовой,— сказал в своем выступлении Орлин Орлинов,— и верю только одной теории, ставшей для меня самым главным практическим законом: применять ленинизм в своей поэзии, а это значит, прежде всего, любить свой народ, это значит, прежде всего, бороться за дело партии, за дело коммунизма и за победу коммунизма на своей родине и во всем мире.

Кто-то, может быть, скажет: это ведь не закон, а шаблон. Да, это первый и единственный шаблон, которому я служу и готов служить всю жизнь. Когда этот простой закон не проходит через мозг поэта и, прежде всего, через сердце поэта, когда этот закон не становится делом жизни, верой, исповедью, тогда он превращается в шаблон, тогда слова поэта никого не волнуют, ни для кого не убедительны, никого не воспламеняют».

В словах болгарских гостей, так же как и в выступлениях советских участников встречи, чувствовалась искренняя обеспокоенность тем, чтобы в книгах, прямо или косвенно связанных с изображением жизни и деятельности Ленина, не было «приторного елея» и «конфетной красоты», чтобы в подходе к этой ответственнейшей теме было соблюдено то необходимое чувство меры, без которого искусство перестает быть искусством.

Болгарский прозаик Кольо Георгиев, продолжая мысли, высказанные в докладе советской писательницы Лидии Фоменко, коснулся ряда проблем, возникающих перед теми, кто пишет о Ленине. «Некоторые литераторы,— сказал он,— выработали себе модель отношения рядовых современников к Ленину только как к вождю революции, как к гению, как к историческому феномену, в котором отсутствует человеческая непосредственность. Они не хотят понять, что гениальность Ленина еще и в том, что он всегда оставался простым в общении человеком. Они считают, что, увеличивая дистанцию между простым человеком и Лениным, дают возможность увидеть гения во всем величии. На самом же деле они его отдаляют, делают менее доступным для понимания».

У болгарских писателей, заметил Кольо Георгиев, меньше возможностей создавать произведения непосредственно о Ленине, так как Ленин не был в Болгарии. В этом, пожалуй, причина того, что в болгарской литературе такое большое место занимает именно поэтическая лениниана. «Но наша любовь к Ленину,— продолжает болгарский прозаик,— к его идеям, к его делу обязывает нас создавать образы людей ленинского типа — мужественных, дерзких, готовых все отдать за победу великого дела коммунизма, таких людей, о которых говорил Ленин в работе «Лучше меньше, да лучше», «что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести,— не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели»[1].

Другой стороны той же проблемы коснулся детский писатель Георгий Струмский, посвятивший свое выступление воспитанию молодого поколения в ленинском духе. «Думаем ли мы достаточно, работаем ли самоотверженно,— поставил вопрос Струмский,— для того, чтобы передать молодому поколению нашу веру и нашу гордость коммунистов? Продолжаем ли мы хорошую традицию наших больших художников, которые создавали вдохновенные книги для детей и юношества не между прочим, а с полной творческой отдачей?»

«Недавно я читал о биологическом законе толерантности,— продолжал Струмский.— Организм выбрасывает всякое чуждое тело, всякий чуждый белок. Но оказывается, если такой белок ввести в зародыш, организм навсегда останется толерантным к нему, примет его без сопротивления. Так неправда и жестокость, не свойственные детской психике, но рано привитые организму, сделают из ребенка человека, не способного бороться с неправдой и жестокостью, не способного даже их отличать. Поэтому крайне необходимо спешить, чтобы обеспечить детству золотой запас коммунистической правды, справедливости, красоты... Дети должны поступить в большую светлую школу ленинской коммунистической идеологии. В этой школе, которая находится повсюду вокруг нас, решающую роль играет книга — прежде всего художественная — и писатель, способный правдивым увлекательным художественным словом повести по правильному пути сотни тысяч читателей».

В центре доклада Васила Колевского, выступлений Ивана Цветкова и Чавдара Добрева стоял вопрос об ответственности писателей, обращающихся к образу Ленина, о ленинском понимании партийности литературы.

«Борьба между двумя идеологиями,— сказал литературовед и критик Ч. Добрев,— идет крайне ожесточенно, не на жизнь, а на смерть. Мира между ними существовать не может, потому что невозможно мирное сосуществование враждебных и противоположных идейных позиций. Двадцатый век показывает, что коммунистическая идеология одерживает победу, что она все более могущественно властвует над умами и сердцами современников. Это победа Ленина, стоящего во главе современной коммунистической революции».

Встреча показала, что болгарские писатели хорошо знакомы с произведениями советской литературы, связанными с именем Ленина, а советские писатели знают лучшие достижения несущей ленинские идеи современной литературы Болгарии. Это был откровенный дружеский разговор, разговор соратников, которые ставят перед собой и решают близкие идейные и творческие задачи.

Журнал «Иностранная литература» предлагает вниманию читателей доклад известного болгарского критика Васила Колевского «Ленин, социализм, литература». Доклад печатается в сокращенном виде.

## ВАСИЛ КОЛЕВСКИЙ

# ЛЕНИН, СОЦИАЛИЗМ, ЛИТЕРАТУРА

Передовое человечество отмечает 100-летие со дня рождения В. И. Ленина в условиях победного шествия его идей по всей земле. Эти идеи имеют решающее значение для развития прогрессивной литературы и искусства, для зарождения и утверждения метода социалистического реализма. Мне хочется проследить не-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 391—392.

которые из основных моментов проникновения ленинских принципов в болгарскую литературу.

Предпосылкой этого процесса явились богатые революционные традиции болгарского народа, болгарской литературы, органическая связь с русским революционным движением, с русской литературой. В маленькой, экономически отсталой Болгарии еще в конце XIX века создается марксистская партия, указывающая на социалистическую революцию как на единственно реальный путь к освобождению своего народа от ига капитализма. Уже тогда коммунистический идеал в Болгарии утверждается в теоретических трудах Д. Благоева, в произведениях Д. Полянова, Г. Киркова как высший эстетический идеал.

В начале века в Болгарию впервые проникают труды Ленина. Через Болгарию провозят в Россию ленинскую «Искру». Победа революции в России доказала, что вековая мечта человечества — создание бесклассового общества, владыкой которого будет труд,— не утопия. Она показала пути для воплощения этой мечты.

Раскройте пожелтевшие страницы изданий БКП «Работнически вестник» и «Ново време», выходивших «легально» до 1923 года. В любом номере вы встретитесь с Лениным, услышите его призывный голос, его лаконичные, точно достигающие цели слова, разъясняющие миллионам трудовых людей, что такое социалистическая революция, как приступить к построению социалистического общества. Невозможно назвать здесь все опубликованные у нас произведения Ленина. Все, что было им сказано и написано, тем или иным путем проникало в Болгарию, появлялось в партийной печати.

Таким образом, прогрессивные писатели Болгарии имели возможность в первые же годы после революции познакомиться со взглядами Ленина на диктатуру пролетариата, с его стратегией и тактикой социалистической революции, с его идеей построения нового, социалистического общества, новой, социалистической культуры.

Партийная печать познакомила болгарских читателей и с основными философскими трудами Ленина. В №№ 22 и 23 журнала «Ново време» (1921) опубликованы «Три источника и три составных части марксизма», а в №№ 19 и 20 того же журнала за тот же год — главы из «Материализма и эмпириокритицизма». Большой интерес болгарских ученых и писателей — коммунистов к гносеологическим проблемам, разработанным Лениным в этом труде, впоследствии дал свои плоды. Так, Т. Павлов, мировоззрение которого складывается в этот период, руководствуясь ленинскими идеями, выступил позднее со своим выдающимся сочинением «Теория отражения».

В № 10 журнала «Ново време» (февраль, 1923) напечатана самая существенная часть статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература». Болгария в те дни сотрясалась от грохота вулкана революции. Литературная жизнь характеризовалась появлением множества течений и группировок, стремившихся направить развитие литературы в соответствии со своими взглядами на жизнь. Насколько важны были для болгарских коммунистов высказывания Ленина по вопросам литературы и искусства, показывает статья Георгия Димитрова «По какому пути?», появившаяся всего несколькими месяцами позже в издании БКП для творческой интеллигенции газете «Артист» (июль, 1923).

Первая встреча между В. И. Лениным и Г. Димитровым датируется 1921 годом. В Болгарии в это время издавалось много марксистской литературы, в том числе и произведений Ленина. При встрече с руководителем БКП Ленин выразил желание познакомиться с этими изданиями. Часть литературы была ему доставлена, и, чтобы он мог ею пользоваться, Г. Димитров подарил ему от имени ЦК БКП болгарско-французский и французско-болгарский словари с посвящением: «Нашему любимому учителю и незаменимому вождю мировой пролетарской революции тов. Ленину — от ЦК БКП. За ЦК Г. Димитров. Москва. 5.III.1921 г.».

Статья Димитрова «По какому пути?» — один из ярких документов борьбы за утверждение ленинских принципов партийности в литературе и искусстве. Статья появилась как ответ на потребности болгарского революционного движения, болгарской пролетарской и прогрессивной литературы и искусства. Но вместе с тем она ставила вопрос об общих закономерностях революционной борьбы, месте и роли искусства в революции, подтверждая интернациональную сущность ленинских принципов.

Пройдет всего несколько месяцев после написания этой статьи, и вместе с В. Коларовым Г. Димитров поведет восставший болгарский народ на открытую вооруженную борьбу против фашизма. Поражение сентябрьского восстания 1923 года не дало тогда возможности болгарскому народу пойти с советскими народами по пути социализма. Это поражение помешало тогда и полному утверждению ленинских принципов в болгарской литературе. Но борьба за распространение и воплощение этих принципов не прекращалась.

Статья Ленина «Партийная организация и партийная литература» была для болгарских коммунистов поддержкой не только при объединении пролетарских творческих сил, не только при выяснении задач пролетарской, прогрессивной

литературы. Она явилась незаменимым оружием в борьбе против буржуазной реакционной эстетической мысли. Взгляды Ленина помогали рассеивать иллюзии «надклассового», «непартийного» характера литературы и искусства, которыми жили в то время многие писатели.

Слово Ленина — голос революции! Едва ли появились бы на свет гениальные стихи Хр. Смирненского об Октябре, о борьбе рабочего класса в Болгарии и во всем мире без огромной работы БКП по пропаганде и популяризации ленинизма. Интересно отметить, что в комнате Смирненского в его родном доме было два портрета — Ленин и Горький. Наверно, подобно своему великому современнику Вл. Маяковскому, Хр. Смирненский провел не один «разговор с товарищем Лениным». Творчество Смирненского — одно из высших поэтических воплощений ленинской правды в мировой пролетарской поэзии начала 20-х гг. В основе этой поэзии лежит болгарская революционная действительность — бунт масс на фронте и под Владаей, чему Смирненский был личным свидетелем, надвигающаяся революционная буря 1923 года. Но несомненно также, что творчество Смирненского рождено великими событиями XX века, влиянием Октябрьской революции, воспринятой и воспетой поэтом и как революция трудового болгарского народа. Мировая литература не знает другого поэта того времени за пределами России, который создал бы так много истинно поэтических произведений об Октябре, о Советах. Когда будет написана история мировой пролетарской поэзии, поэтическое наследие Смирненского несомненно станет достоянием историков литературы во всем мире, получит заслуженную оценку и международное признание. «Красные эскадроны», «Москва», «Северное сияние», «Красный Прометей» — это шедевры не только болгарской, но и мировой поэзии.

Восприятие и утверждение ленинских принципов в жизни Болгарии и в ее литературе происходило трудно, мучительно, в борьбе не только с буржуазной философией и эстетикой, но и против догматизма и сектантства, против оппортунизма слева и справа. Показательна в этом отношении дискуссия между Ив. Генчевым, с одной стороны, и Г. Бакаловым и Т. Павловым — с другой. Генчев утверждал, что пролетарское искусство «не сможет взять готовые культурные формы искусства буржуазного, а должно будет упростить их, чтобы стать понятным массам». Таким образом, подобно современным проповедникам «культурной революции» в Китае, он представлял пролетарское искусство как нечто отсталое, примитивное, поворачивающее вспять человеческую культуру. Бакалов и Павлов доказывали, что марксизм-ленинизм является шагом вперед как в науке и философии, так и в литературе и искусстве. Пролетариат должен ратовать за создание произведений, в идейном и в художественном отношении представляющих новый этап в развитии национальной и мировой литературы и искусства. И они утверждали: если появляются такие писатели, как Хр. Смирненский, значит сама жизнь, само развитие литературы доказывают правоту их позиций. Статьи Бакалова и Павлова, написанные в связи с этой дискуссией, указывают на серьезный поворот нашей марксистской мысли к ленинизму.

После разгрома сентябрьского восстания 1923 года, в крайне тяжелых условиях фашистского террора, болгарские марксисты и антифашисты продолжают борьбу за пропаганду и усвоение ленинских идей. Особую роль в этом отношении сыграл журнал «Новый путь» под редакцией Г. Бакалова. «Ленин был бесспорно самой колоссальной фигурой современности,— пишет Г. Бакалов,— Ленин был олицетворением сознательного и борющегося за освобождение пролетариата: как горьковский Данко, нес он вырванное из груди горящее сердце и освещал дорогу человечеству».

Союзник «Нового пути» по борьбе против фашизма журнал «Пламк» страстно защищал идеи ленинизма как величайшее завоевание революционной мысли, как руководство к действию, как маяк, освещающий путь к свободе и для болгарского народа. По случаю годовщины со дня смерти Ленина «Пламк» пишет: «Человеком, создавшим дело русской революции, был Ленин. Прошел уже год со дня его смерти, а произведения его остались документом и краеугольным камнем новой идеологии, подлинной идеологии социальной борьбы. И эта идеология — ленинизм».

Насколько велик интерес к идеям Ленина, к его взглядам на литературу и искусство, свидетельствует тот факт, что на протяжении одного года статья «Партийная организация и партийная литература» была опубликована в Болгарии дважды — в журналах «Ново време» в феврале 1923 года и «Новый путь» в феврале 1924 года. Позднее она публиковалась целиком или частично в газете «Новины», в журналах «Наковалня», «Ведрина», «РЛФ» [1], «Фронт», «Кормило», «Нова литература» и др.

До недавнего времени в болгарской литературной теории преобладало мнение, что вся болгарская партийная литературная печать до середины 30-х гг. была поражена левым сектантством и оставалась чуждой ленинским взглядам на литературу и искусство. Конечно, нельзя отрицать, что литераторы-марксисты отдали немалую дань сектантству, но абсолютизировать это положение, не видеть,

[1] «РЛФ» — «Рабочий литературный фронт».

что сама жизнь и литературная борьба заставляли многих писателей и критиков обращаться к теоретическому наследию Ленина, стремиться к воплощению его принципов, означало бы не замечать явлений и процессов, составляющих социалистическую линию в развитии болгарской литературы, которая еще в условиях капитализма и фашизма завоевывает вершины нашей национальной художественной мысли.

В начале 30-х гг. в пролетарской и антифашистской печати Болгарии проводится большая дискуссия с целью пропаганды ленинских идей. Дискуссия начинается статьей Трудина (С. Гановского) в «РЛФ» (№ 61, 1931) «Диалектический материализм в литературе».

В это время самый большой вклад в утверждение ленинских принципов вносят писатели из круга «РЛФ». Еще в № 1 «РЛФ» в статье «Ликвидаторство» Т. Павлов недвусмысленно подчеркивает, что развитие революционного движения в Болгарии немыслимо без творческого усвоения марксизма-ленинизма, без трезвой оценки происходящих событий с ленинских позиций.

Ленинские взгляды дают возможность Т. Павлову преодолеть субъективизм Плеханова и рапповцев, преодолеть левосектантские отклонения и вульгарный социологизм, стать на правильные научные позиции по основным вопросам эстетики, литературы и искусства и вместе с лучшими советскими теоретиками влиться в передовые ряды борцов за социалистическое искусство и литературу.

Все это, конечно, не означает, что пролетарские и антифашистские писатели Болгарии первой половины 30-х гг. не отдали дани левому сектантству. Но, когда мы оцениваем их деятельность в целом, не это является определяющим. Главное — в их пафосе борьбы, в том, что они отдали свою жизнь и свой талант на службу борьбе, что создали литературу, непосредственно связанную с борьбой и идеалами рабочего класса, трудового народа. Высшим эстетическим идеалом этой литературы является борьба за коммунизм. Самые родные, самые дорогие в ней образы — образ партии, образ Ленина.

Как солнце
согревает в день весенний
ростки травы
и расплавляет лед,
так нас
сегодня греет солнце-Ленин,
так партия
нам силу придает!
Веди вперед нас, партия,
веди нас!
Крепка
твоя рабочая рука!
Мы верим
в твой могучий фронт единый,
в твой светлый разум,
в твердый твой
ЦК!

*(Хр. Радевский. «Мы растем». Перевод Павла Железнова)*

Положительный герой этой литературы — коммунист и антифашист. Его черты присущи лирическим героям стихотворений Хр. Радевского, Н. Ланкова, Мл. Исаева, Б. Овесянина. В прозе этот образ воплощен Кр. Велковым, Г. Караславовым, О. Василевым и др. Без этой литературы трудно представить рост и воспитание в коммунистическом духе легендарного поколения борцов, вынесшего на своих плечах всю антифашистскую борьбу, защитившего честь болгарского народа.

Утверждение ленинских принципов в прогрессивной болгарской литературе первой половины 30-х гг. охватывает не только сферу культуры. Эти принципы проникают также в организационную и политическую жизнь прогрессивной творческой интеллигенции. Без традиций Благоева, Киркова и Димитрова и без влияния Ленина трудно объяснить, почему в условиях монархо-фашистской Болгарии в период, когда в руководстве БКП господствуют левосектантские силы, создается единый антифашистский фронт в области литературы и искусства!

Во второй половине 30-х годов и позднее утверждение ленинских принципов в прогрессивной болгарской литературе прямо связано с усвоением, осознанием и утверждением социалистического реализма.

Социалистический реализм — творческая программа пролетарских и антифашистских литературных изданий в Болгарии в период после 1934 года. Так, в одном из номеров журнала «Нова литература», редактировавшегося Г. Бакаловым, говорится: «Новый художественный реализм — метод, которым руководствуется журнал». По цензурным соображениям вместо «социалистический реализм» болгарские авторы употребляли термин «художественный реализм».

Со страниц газеты «Литературен критик» Н. Вапцаров в разгар второй мировой войны советует молодым писателям: «Читайте новых поэтов художественного реализма». В этом методе Вапцаров видит воплощение ленинских принци-

пов в литературе и искусстве. А для поэта нет ничего величественнее учения, дела, имени Ленина! Прежде всего здесь нужно искать источник веры и оптимизма Вапцарова. Дело, которому рабочий-революционер, пламенный поэт посвятил свою жизнь, восторжествует, потому что озарено идеями Ленина. В стихотворении «Доклад» Вапцаров выражает свою гордость тем, что идет по ленинскому пути:

И знайте — иных
тут не может быть мнений,
в момент разгромил бы я
спорщиков ярых!
Я знаю, услышав слова мои,
Ленин
сказал бы:
«Вы правы,
товарищ Вапцаров!»

*(Перевод Музы Павловой)*

В этот период совершается настоящий перелом в развитии прогрессивной болгарской литературы. Жизненная правда и коммунистическая идейность сливаются в единое художественное целое. Преодолевается и неправильное отношение к литературному наследию. В духе ленинских взглядов на развитие культуры социалистическое искусство рассматривается уже как продолжение и развитие лучших национальных традиций. В преклонном возрасте Г. Бакалов находит в себе силы выступить с критикой левого сектантства в области литературы. Творчество писателей-реалистов становится опорой и союзником пролетарских и антифашистских писателей в их борьбе за утверждение социалистического реализма. В результате сложного и противоречивого процесса литературного развития, совершающегося в условиях фашистского террора, болгарская литература обогащается такими произведениями, как «Сноха» и «Дурман» Г. Караславова, «Холера» Л. Стоянова, «Песни мотора» Н. Вапцарова.

Особенно важно, что почти вся подрастающая талантливая смена в литературе связывает свою творческую судьбу с идеями социализма. И когда наступает решительный момент борьбы, эти писатели оказываются достойными своих предшественников, участников событий апреля 1876 и сентября 1923 гг. Имена Н. Вапцарова, Цв. Спасова, Хр. Кырпачева, Ив. Нивянина, К. Маджарова, В. Воденичарского и др., погибших в борьбе против фашизма, останутся навеки в истории болгарской литературы, вечно молодой литературы Ботева и Смирненского.

Победа 9 сентября 1944 года — это также победа демократического и социалистического направления болгарской литературы. Переход от капиталистического монархо-фашистского строя к народно-демократическому, к социалистическому строю находит свое отражение во всей жизни нации. В первые годы народной власти этим процессом умело руководила и управляла партия, во главе которой стояли ее овеянные легендарной славой вожди Г. Димитров и В. Коларов. Партия указывает и на конкретные задачи, стоящие перед болгарскими писателями, подчеркивает необходимость внимательного, дружелюбного отношения ко всем писателям, принимающим программу Отечественного фронта и отдающим свои силы строительству новой Болгарии.

В телеграмме Союзу болгарских писателей в мае 1945 года Г. Димитров пишет:

«Теперь, когда победно завершена освободительная война против фашистской Германии и начинается мирный период, перед творчеством наших писателей открываются самые благоприятные перспективы. Потому что наш народ нуждается, как в хлебе и воздухе, в настоящей народной художественной литературе, которая своей глубокой правдивостью и высокой эмоциональностью поднимет культурный и идейный уровень, разовьет преданность и любовь к народу и Родине, усилит ненависть к фашизму и ко всем врагам народа, будет бичевать все прогнившее и разлагающее здоровый народный организм (паразитизм, вульгарный карьеризм, мелочное эгоистическое политиканство), очистит болгарский воздух от миазмов великоболгарского шовинизма и всякого мракобесия, распространит любовь к истинной науке, поощрит героические подвиги в области труда и культуры, в борьбе во имя защиты народных свобод и прав, воспитает чувство славянского единства, международной солидарности и вечной дружбы с нашим освободителем — великим советским народом».

Политика партии, направленная на консолидацию творческих сил и раскрытие перспектив развития болгарской литературы по пути социалистического реализма, принесла свои плоды.

В один ряд с вдохновенными стихами об антифашистской борьбе поэтов-коммунистов Хр. Радевского, Мл. Исаева, В. Андреева становится поэма Д. Габе о Веле Пеевой. Подвиги болгарских бойцов во время Отечественной войны воспевают Ламар и Е. Багряна, Ст. Даскалов раскрывает свой эпический талант в романе «Пути».

В литературу приходит новое поколение, ряды которого формируются из участников антифашистской борьбы — партизан, политзаключенных, активных борцов,— и из среды восторженных «бригадиров», членов строительных бригад новой Болгарии.

Однако, когда наступают самые благоприятные условия для свободного творческого труда, общественно-политическая и культурная жизнь страны переживает серьезные потрясения, порожденные чуждым марксизму-ленинизму культом личности.

И, как всегда в любые тяжелые моменты, взгляды обращаются к ленинскому наследию. Здоровые силы в партии и литературе ведут борьбу за возвращение к ленинским нормам и принципам. Глубоко символический характер приобретает стихотворение В. Ханчева о Ленине, опубликованное в этот период:

Он должен был возникнуть среди нас.
Он должеи был возиикнуть,
чтобы правда
повсюду водворялась, как закон,
чтоб в молот переплавилась верига,
в струну — патрон,
чтоб горсти превратились в гнезда
дружбы...

*(Перевод Владимира Соколова)*

XX съезд КПСС и апрельский Пленум ЦК БКП знаменуют начало оздоровительного процесса. И это именно оздоровительный процесс в организме, а не разрушение организма, не разрушение построенного общества, построенной культуры, литературы, искусства, как некоторые пытаются представить этот процесс, относясь нигилистически к успехам партии, народа, писателей в развитии социалистического общества, социалистической культуры в те годы.

Нужно сказать, что здесь сильнее всего проявляется идеологическая диверсия империализма. В своей речи «Больше быть среди народа, ближе к жизни!», произнесенной на отчетно-выборном собрании болгарских писателей в апреле 1958 года, тов. Т. Живков, отметив, что основной линией в политике БКП до и после апрельского Пленума было социалистическое строительство, подчеркивает: «Следовательно, апрельский Пленум Центрального Комитета партии не ведет к изменению политики партии и линии строительства социализма, так как они были правильными. Что же мы имеем в виду, когда говорим, что апрельский Пленум ЦК БКП и его решения имеют историческое значение для развития партии и страны? Мы имеем в виду, что апрельский Пленум решительно осудил и отбросил пустивший корни и в нашей жизни культ личности, отрекся от связанных с ним порочных методов работы и руководства, раскрыл некоторые серьезные ошибки и недостатки, допущенные в практическом проведении политики партии, указал на реальные противоречия нашего общественно-экономического развития, создал творческую обстановку для действительного и последовательного решения назревших вопросов».

Руководящим началом организационно-политической и творческой деятельности партийных, государственных и творческих институтов в последнее десятилетие являются ленинские идеи и принципы. Борьба против буржуазной идеологии и ее диверсий, против ревизионизма и догматизма, против отклонений от марксизма-ленинизма, от социалистического реализма, за создание высокохудожественной партийной литературы — вот на чем сосредоточены наши усилия в этой области.

Конечно, и в жизни, и в литературе марксистско-ленинские прииципы прокладывают себе путь в борьбе с многочисленными препятствиями и трудностями. В последние годы марксистско-ленинской мысли у нас пришлось воевать против пессимизма, мелкотемья, против недооценки современной тематики, против попыток подменить социалистический гуманизм, героическое начало в литературе неким абстрактным гуманизмом, пассивной созерцательностью.

И снова в печати появляется статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», не только чтобы напомиить всем, что литература — часть общепролетарского дела, но и чтобы предупредить, что она самая специфическая, самая своеобразная часть этого дела!

# ПУБЛИЦИСТИКА

САНТЬЯГО ХЕНОВЕС

# ЧЕЛОВЕК — ВОЙНА ИЛИ МИР?

*Почему только мозг человека — из всего мира живых существ — утроил свои размеры за поразительно короткий период эволюции? Если верить издательству Хатчинсона, ключ к разгадке этой великой тайны обнаружил антрополог Роберт Бигелоу. Ответ, содержащийся в его только что вышедшей книге,— однозначен. Война. «Именно войны,— пишут авторы восторженной аннотации, излагающей в рекламном каталоге ход мысли автора,— потребовали от людей объединения внутри сообщества. Именно они способствовали повышению творческого потенциала человека, развили потребность во взаимном общении». Концепцию Бигелоу издатели называют «первой емкой, цельной и достоверной теорией человеческой эволюции со времен Дарвина».*

*Двадцать пять лет назад история опровергла одного автора, утверждавшего, что «война совершенно естественна». Мир не забудет ни тезиса Гитлера, ни цены, заплаченной человечеством за его опровержение. Тем не менее полемика на эту тему за минувшие с тех пор четверть века не утратила своей остроты и актуальности, ни на один день не обретала она академического характера — ни в сфере политики, ни в сфере идеологии, ни в сфере «чистой науки»...*

*Не обманет читателя и внешне спокойная, академическая манера изложения Сантьяго Хеновеса, автора книги «Человек — война или мир?», решительно выступающего против идеологии милитаризма, фашизма, расизма.*

*Профессор университета Мехико, крупный антрополог, активный деятель движения за мир, в 1969 году он был одним из членов экипажа папирусной лодки «Ра» норвежского ученого Тура Хейердала. После плавания советский участник экспедиции врач Ю. А. Сенкевич привез рукопись его книги на английском языке, выдержки из которой публикуются ниже.*

*Не все положения автора уместились в публикуемых нами отрывках, не со всеми из них мы могли бы согласиться.*

*Абсолютно неприемлема для нас позиция «культурного релятивизма», к которой сводятся по существу его мысли о месте культуры в жизни людей (эти главы в публикацию не вошли),— рассуждения о некоем абстрактном будущем мире «идейной всеядности», где прекратятся всякие споры, идейная борьба, где люди будут любоваться культурными ценностями друг друга, не делая при этом никакого различия между укладом первобытного мышления, религиозными принципами или диалектико-материалистическим мировоззрением создателей этих ценностей.*

*Упоминая о борьбе против империалистических войн и их поджигателей, Хеновес не доводит, однако, эту мысль до логического заключения, до вывода о том, что в определенных ситуациях народы бывают вынуждены бороться против агрессии с оружием в руках. Никто не может отнять у народов это право, ни в каком умозрительном построении нельзя уравнять агрессивные и оборонительные войны, колониалистскую экспансию и национально-освободительное движение, войны захватнические и войны гражданские.*

*Близок и дорог нам антивоенный, антимилитаристский пафос оригинальной работы Хеновеса. Мы разделяем его убежденность в том, что «мир, как и здоровье, пусть несовершенный, пусть неполный, представляется естественным состоянием разумно организованного человеческого общества». Среди лозунгов коммунистов — мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех народов — призыв к миру стоит на первом месте*

*Убедительно раскрывая реакционную сущность и несостоятельность социал-дарвинистских и фрейдистских попыток обосновать с биологической точки зрения неизбежность захватнических войн, Хеновес подходит к рассмотрению войны как социального явления, к выводу о том, что современные войны порождены империализмом, к признанию определяющей роли социальных критериев в исследовании происхождения войн.*

*Безусловная заслуга его книги — в широте постановки комплекса проблем, по которым современной прогрессивной науке еще предстоит сказать свое обобщающее слово. Неотложны в этом смысле и задачи советских ученых.*

*Публикуя отрывки из книги Хеновеса, редакция предполагает вернуться на страницах журнала к поднятым в ней вопросам.*

Если определения войны, как правило, отличаются ясностью и четкостью, то определения мира подчас смутны и расплывчаты.

В этой работе мы поставили себе задачу рассмотреть эти два явления — мир и войну — с точки зрения антропологических наук. Наше внимание больше всего сосредоточено на биологической стороне, но, конечно, учтены и данные культурной антропологии. Мы стремились не в ущерб научности оперировать материалом, легко доступным для восприятия. Читатель быстро обнаружит, что мы держимся очень твердого взгляда на предмет, о котором пойдет речь: попросту говоря, мы отвергаем войну, расизм, антропологические предрассудки. Но мы старались избегать оценочных формулировок и морализаторства. Когда обсуждаются моральные аспекты войны, будь то ядерной или обычной, ученый равен рядовому гражданину и его взгляды сами по себе весят не больше, чем взгляды любого другого лица, так как речь идет об общечеловеческих категориях. Наука такими категориями не оперирует. Наука ограничивается исследованием, экспериментом, предположением. Есть ли «умысел» в сотворении мира? Для чего на Земле появился человек? Наука не может предложить ответа на такие вопросы. Но если мы, как представители человеческого рода, считаем, что жизнь чего-то стоит, можно с помощью науки попробовать сделать так, чтобы человечество не уничтожило само себя.

Что же могут внести в исследование войны и мира антропологические науки? Прежде всего, как нам кажется, чтобы вообще истолковать воинственное или миролюбивое поведение человека, следует из области биологии перейти в область культуры. Это не означает полного отказа от биологических объяснений. Но они должны совмещаться с данными культурной антропологии. Такая комбинация подразумевает обращение к более широкому кругу понятий — к тому, скажем, что называли натурфилософией.

Второй важный вклад, который, на наш взгляд, может внести антропологическая наука,— верное понимание эволюции.

Не обязательно быть оптимистом, чтобы допустить: если мы развились из существ, более или менее похожих на современных человекообразных, то в будущем из нас, в свою очередь, может развиться что-то новое. Попробуем смиренно взглянуть на себя как на нечто среднее между животным и подлинным человеком. В отличие от Афины Паллады, которая родилась в полном вооружении из головы Зевса, жизнь не вышла из океана сразу во всем ее многообразии. Жизнь развивалась во времени, она находится в непрерывном становлении, идет постоянное совершенствование. Этот процесс, который мы называем эволюцией, кончится только вместе с концом света. И эволюция происходит не только в биологическом, но и в культурном плане.

В Индии есть легенда о четырех знаменитых факирах, которые задумали всем показать свое могущество. Первый, взяв несколько палочек, превратил их в костяк; второй нарастил на костяк плоть; третий облек ее кожей; а четвертый оживил то, что вышло. Но животное, сотворенное ими, оказалось огромным леопардом, который тут же сожрал всю четверку.

Мы надеемся (это уже оценочная формулировка), что в ходе культурной эволюции та же судьба не постигнет все человечество.

■

Наша история — во всяком случае, та ее часть, которую мы знаем лучше всего,— представляет собой хронику вооруженных конфликтов и тщетных усилий сохранить мир. Между 1920 и 1963 годами среднее количество войн (в самом прямом смысле слова) составляло одну в год. А история мира в наше время выглядит как череда сменяющих друг друга воздушных замков, каждый из которых быстро рассыпался. Достаточно посмотреть на список лауреатов Нобелевских премий, и вы заметите: если большинство лауреатов в области науки и (не всегда) литературы поныне вспоминают с большим почтением, то имена лауреатов премии мира почти забыты, а иные вызывают только скептицизм и насмешку.

В чем же изъяны определений мира? Мы отнюдь не рассчитываем найти ряд непогрешимых формул, чтобы ответить на этот вопрос и навсегда покончить с войнами.

Но попробуем для начала сказать, что мир слишком часто представляют как статичное и более или менее блаженное состояние бездействия. Быть может, потому, что мы склонны думать о нем, как о чем-то отдаленном, отнюдь не как о факте сегодняшнего дня. А может быть, мы мечтаем о чудесном прекращении всяких исторических перемен, готовы отказаться от прогресса и наслаждаться таким миром, который на деле подразумевает отказ от каких-либо усилий. Так думать о мире — значит отречься от него. Ведь перемены сопутствуют нам на каждом шагу, и образ жизни, основанный на противодействии переменам, неизбежно приводит к принуждению и применению силы.

Можно также сказать, что толковать мир как бездеятельность — значит не иметь что противопоставить пессимизму тех, кто считает мир невозможным, больше того — играть на руку тем, что рисует войну делом прекрасным или славным. Вот почему, рассматривая возможности действительного мира, нельзя в споре отступать из тех областей, где уже утвердились пессимисты и адепты войны. Поиски мира должны идти в реальном мире.

■

Поскольку всякая война корнями уходит в мир, получается, что мир, каким бы недолговечным он ни был,— явление столь же частое, как война. Вот почему неоправданно объявлять априори, будто война — «естественное» явление, а мир — всего лишь выдумка идеалистов. Наши природные наклонности говорят о противном; мир, как и здоровье, пусть несовершенный, пусть неполный, представляется нам естественным состоянием, позитивным порядком вещей, тогда как война, подобно болезни, кажется аномальным состоянием, негативным порядком вещей. Так, Монтескье называл мир «первым законом Природы».

Поэтому, хотя мы вряд ли можем претендовать на решение проблемы, которая столько столетий не давалась человечеству, нельзя отрываться от фактов и постулировать идеал, не ведая, как его воплотить в жизнь. Эта книга писалась с уверенностью, что можно, пусть в сжатом объеме, собрать нужные факты для дискуссии о мире в нашем мире, отмеченном переменами, напряженностью и конфликтами. Если война ныне не та, что прежде, то же можно сказать о мире и шансах его сохранить. Многие современные этнологи и антропологи склонны видеть в войне явление, привязанное к определенным отрезкам истории и формам человеческого общества. Нет никаких причин исключить войну из ряда явлений, которые, как и другие виды деятельности человека, имеют место в одни отрезки времени и исчезают в другие. Война, как и многое другое, некогда представлявшееся непреложным законом, может оказаться лишь одним из этапов в истории человечества.

Определять, что естественно, а что искусственно, или, выражаясь более научно, что отнести за счет биологии, а что за счет культуры,— дело рискованное. Хорошо известно, что большинство людей не очень-то приемлют биологический взгляд, по которому человек — всего лишь один из видов животного мира. Но на такое сопротивление наталкивается всякая необычная истина. Тот факт, что наша планета не является центром вселенной, обрел широкое признание лишь ценой долгих гонений и больших жертв. Точно так же немало чернил, а порой и крови пролито с тех пор, как некоторые люди впервые заподозрили, что род Homo sapiens вовсе не отличается в корне от всего живого, а представляет лишь одну из многих форм жизни на нашей планете.

И, однако же, когда дело касается войны, обо всем этом словно забывают. Всякий, кто желал возвеличить, даже просто оправдать войну, непременно черпал сравнения, примеры и ошибочные заключения в животном мире. Нередко те же люди, которых коробит сама мысль о том, что человеческий род не может больше почитаться властителем мироздания, считают войну славнейшим украшением человечества. Не замечая собственной непоследовательности, они в своем неустанном стремлении оправдать и утвердить войну ссылаются на то, что в животном царстве все время-де идет война. Эта страсть кругом видеть всеобъемлющий воинственный инстинкт и оправдывать им наши агрессивные безрассудства приобрела теперь претенциозный, псевдообъективный и псевдонаучный характер. Даже самая элементарная проверка общественного мнения показывает, как прочно внушены людям предвзятые туманные представления, будто конфликты неизбежны и невозможно управлять инстинктами, якобы унаследованными от диких животных предков.

На самом деле война вовсе не универсальное явление. Многим обществам она неизвестна. В частности, войны не знают австралийские аборигены, эскимосы, цейлонские веды и так называемые готтентоты Южной Африки. Примечательно написанное в 1756 году эскимосское письмо, цитируемое полярным исследователем Нансеном. Автор письма недоумевал, как это люди одной веры охотятся друг на друга, словно на тюленей, и крадут вещи людей, которых прежде знать не знали. Борьба за обладание землями представлялась ему необъяснимым и неслыханным проявлением жадности. Поражаясь, что в Европе не научились уму-разуму у эскимосов, он предлагал направить туда шаманов и миссионеров, чтобы они преподали европейцам эскимосский образ жизни.

Типичное для американского общества представление о мужественности как синониме агрессивности — еще один продукт культуры, кое-кем неверно воспринятый

как универсальный закон. У арапешэй (одно из трех племен Новой Гвинеи, описанных в классическом труде Мид о роли пола) почитают мужчину, которого у нас, с нашими традиционно ограниченными критериями, назвали бы «женственным» и как родителя, и как супруга. Воспитание в этом племени направлено на то, чтобы и мужчина, и женщина были одинаково общительны, незлобивы, всегда отзывчивы к нуждам и потребностям других. Арапешам никогда не приходило в голову, что пол может означать какие-то серьезные преимущества — будь то для мужчины или для женщины. В противоположность им, у мундугуморов (другое из племен, изученных Мид) мужчины и женщины гордятся своей агрессивностью. Все, что можно назвать выражениями материнской любви, здесь сведено до минимума, а выражения половой любви — до максимума. Мужчинам и женщинам свойственно поведение, которое мы, люди западной культуры, привыкли ассоциировать с очень буйным и распущенным мужчиной. Ни арапеши, ни мундугуморы не культивируют контраста между полами. Идеал арапешей — мягкий, нежный мужчина, женатый на такой же мягкой, нежной женщине; у мундугуморов идеал другой — буйный, агрессивный мужчина, женатый на буйной, агрессивной женщине. В третьем племени, чамбули, Мид нашла прямую противоположность взаимоотношениям полов, принятым на Западе: женщина преобладает и руководит, она скупа в проявлении чувств, а мужчина эмоционально подчинен и менее активен.

Большинство авторов сходятся на том, что войны в подлинном смысле слова, судя по всему, появляются только в неолите. Другими словами, война как определившееся явление существует меньше десяти тысяч лет. Конечно, проявления агрессивности человека отмечаются гораздо раньше. Ливингстон описывает следы ударов на черепе синантропа, жившего примерно пятьсот тысяч лет назад около нынешнего Пекина. Можно привести и другие примеры. Однако нас сейчас занимают не более или менее индивидуальные схватки, а продуманная, обладающая своей внутренней спецификой «агрессия» больших групп людей.

Конечно, насильственная смерть вовсе не редкость среди так называемых первобытных племен. Шаньон показывает, что у яномамо в конфликтах погибает 24 процента взрослых мужчин, и эта цифра, может быть, занижена. Много сходных примеров называет Ливингстон. Но такие племена, будь то теперь или в прошлом, сражаются и сражались иначе, и не по тем причинам, которыми объясняются войны «цивилизованных» народов. Например, известно много общин воинов, где мужчина не вправе жениться, пока он не убил другого мужчину. Охота за скальпами у индейцев Северной Америки, охота за головами и татуирование у даяков Борнео, возможно также высушивание голов, некогда принятое у некоторых племен Амазонии,— тоже примеры воинственных действий, которыми знаменовалось наступление зрелого возраста.

В обществах более развитой культуры часто видим класс воинов, существующий за счет слоев населения, производящих материальные ценности. По мнению специалистов, в таких обществах военная роль сливается с жреческой даже в мирное время. Так, в некоторых европейских феодальных обществах военная служба у представителей правящих классов начиналась с посвящения, причем новичок сперва раздевался донага, затем надевал новую одежду, как при вступлении в религиозный орден.

Оценивая труды по истории войн и военную литературу вообще, не надо забывать, что такие исследования обычно отражают взгляды правящего класса, которому служит военная верхушка. Отдельные одаренные и удачливые воины приобрели подлинную популярность, и рядовые люди с удовольствием слушали про их героические дела. Но от почитания героев далеко до присущего аристократии прославления войны, как таковой. И если в книгах по истории только о войнах и говорится, это, пожалуй, потому, что войны намного драматичнее прочих событий и о них легче писать. Еще в Наполеоновы времена большинство войн, как ни бедственны они были для сражавшихся, оставались событиями строго местного значения; новости распространялись медленно, и медленно передвигались войска. Изображать прошлое как непрерывное и повсеместное состояние войны — значит совершенно искажать социальную реальность.

Так, может быть, войны развились на почве представлений военной касты о «героическом»? Спору нет, взгляд на войну, как на нечто священное, в том или ином виде дожил до наших дней. Один немецкий автор недавно утверждал: «Война — самый возвышенный вид общения между людьми... войны необходимы время от времени, в них проявляется воля природы, чтобы она могла восстановить свою власть над большими человеческими коллективами, которые пытаются выйти из ее подчинения». От «Илиады» и «Одиссеи» до рыцарских романов средневековья и Ренессанса, от оперы XVIII—XIX веков до нынешних фильмов и телевизионных программ герой обязан пройти ряд испытаний его воинских доблестей — иногда весело и беспечно, иногда, особенно в немецкой поэзии и романах, обливаясь слезами. Смысл этой литературы очевиден: чтобы насладиться объятиями любимой, герой должен испытать объятия войны.

Виднейший в последнее время представитель такой этики — несомненно, покойный Адольф Гитлер, который всегда подчеркивал, что только война делает подлинного мужчину. «Война совершенно естественна и обыденна. Война исконна и органична. Нет начала и нет мира. Всякая борьба есть Война». Эти его типичные фразы — от-

четливый пример порочных социальных и биологических концепций, которые мы намерены разоблачать. Всякая борьба не есть война, если принять определение войны как продуманной агрессии в отношениях между численно значимыми группами внутри одного вида. Даже там, где войны неведомы, как у гренландцев, происходят конфликты и борьба. Однако они сводятся к умыканию женщин, представляющих собой не только сексуальную, но и экономическую ценность. Современные нации из-за этого не воюют.

Некоторые авторы полагают, что войну питает восхищение теми немногими, кто сумел быстро и основательно обогатиться силой оружия. Но хотя таких примеров достаточно, они не объясняют символического смысла, который придает войне большинство: что ни говори, война связана не только с корыстью, но и самопожертвованием. Отмечалось также, что войны, подобно спорту и кино в последнее время, использовались правителями, чтобы отвлечь умы. Что война для правителей — способ более спокойно распоряжаться своей властью и извлекать из нее большую выгоду. Макиавелли советовал иногда прибегать к войне для такой цели; Гегель говорил, что успешные войны предупреждают внутренние беспорядки и укрепляют государственную власть. Хорошо известно, как применяли этот принцип диктаторы нашего времени.

■

Некоторые психоаналитики считают, что истоки политического антагонизма надо искать в параноидных механизмах, посредством которых всякий индивидуум проецирует своего внутреннего «беса» на противника. Ссылаются и на другой психологический механизм— всеобщую склонность к самоистязанию, обычно вытекающую из остаточного чувства вины. Самоистязание осознается в плане культуры как самопожертвование, а это акт, заслуживающий поощрения и восхищения. Военные аспекты этого факта хорошо выражены в следующих словах, будто бы сказанных одним итальянским генералом во время второй мировой войны: «Списки жертв — лучшая пропаганда... Идея, ради которой люди отдали жизнь, становится в глазах других людей священной и бесспорной».

Склонность к самопожертвованию может принимать и форму, именуемую некоторыми психоаналитиками «авраамовым комплексом» — по известному эпизоду книги Бытия (жертвоприношение Исаака Авраамом). «Жертва тем более достохвальна, если включает существа или имущество, которыми вы больше всего дорожите...» Несомненно, многие люди по ряду причин одержимы идеей жертвенности. Обычно это проявляется в виде скрытого или явного стремления принести в жертву сына. Долго считали, что финикийский ритуал жертвоприношения детей, которых сжигали в честь Молоха,— всего лишь клеветническое измышление римлян. Однако недавно под двориком одного карфагенского храма были обнаружены многочисленные урны с обугленными детскими костями. Возможно, библейский ритуал посвящения перворожденного храму представлял собой пережиток древнего жертвенного обычая.

Военная иерархия обычно носит характер геронтократии — системы, где старший по возрасту наделен большей властью. И те, в чьих руках находятся судьбы войны, «посвящают» ей своих лучших, самых крепких сыновей. Кульминация такой патриархальной власти выражается в велении принести в жертву своего собственного сына. Это всегда преподносится как благородный акт. Одновременно этот акт укрепляет авторитет военной системы, которая, в силу прогресса техники, теперь осталась едва ли не единственной социальной организацией, где старшее поколение повелевает младшим. Да и то технический прогресс отразился на военной организации в том смысле, что уменьшилась роль и ценность накапливаемого с возрастом опыта.

Когда говорят, что война — плод коллективного недовольства, это кажется правдоподобным психологическим объяснением. В самом деле, можно представить себе более или менее общенациональное недовольство. Но как тогда объяснить, что оно не всегда ведет к войне? К тому же это недовольство может быть обоснованным или надуманным.

■

С общепсихологической, даже этической точки зрения нельзя проходить мимо утверждений, что война приносит многим людям огромное удовлетворение, а также дает возможность проявить высокие моральные качества. Джон Дьюи призывал человечество найти «моральный эквивалент войне». Если принять этот вызов, мы должны тщательно рассмотреть, какого рода удовлетворение дает война. Взять, скажем, чувство сплоченности с другими. Социальные исследования реакции человека на стихийные бедствия показывают, что перед лицом грозной опасности люди сплачиваются. Различия, будь то классовые, возрастные или должностные, стираются так, как это редко бывает в обыденной жизни. То же самое, похоже, верно для войны. Когда появляется враг, мы вдруг открываем для себя своих соседей и преодолеваем барьеры класса, образования и верований, которые нас обычно разделяют и которые снова вырастают, едва минует опасность. В критические минуты наша способность к объеди

нению увеличивается. Усиленное представление о товариществе, о групповой солидарности влечет за собой ослабление чувства личной ответственности.

Всякий психиатр, имевший дело с ветеранами войны, знает, как человек не находит себе места в условиях мира, потому что не может брать на себя ответственность или принимать решения, которые в войну принимались за него другими.

■

Война настолько глубоко укоренилась в психологии наций, что мир принято представлять как нечто, добытое через войну. Так, Pax Romana[1] есть всего лишь манифестация идеи о мире, насажденном державой, которую от других держав отличает скорее большая сила, чем большее миролюбие. Убедительно показано, что такой мир — попросту другой вид войны. Именно во время Pax Romana смертность рабов достигла вершины. Такое умиротворение приносит благо только умиротворителям. Ацтекский мир означал гибель окружающих племен. Империи завоевателей от Александра и Чингисхана до наших современников утверждали мир только ценой крови. Колониальные державы XIX века тоже использовали мир как предлог для агрессии; всякому известно, как Британия «умиротворяла» Индию, и точно так же Франция «умиротворяла» Марокко, Тунис и Алжир. Тезис о внедрении мира посредством войны и по сей день отстаивается теми, кто считает, что только абсолютный контроль, осуществляемый великой державой, может, объединив все государства, обеспечить мир. Не говоря уже о том, что апологеты этой точки зрения, по странному совпадению, обычно — граждане державы, предлагаемой на роль «умиротворителя», нужно еще доказать действенность такой системы. И даже если она окажется действенной, остается вопрос: стоит ли платить свободой за такой мир?

■

Часто можно услышать, особенно в обиходной обстановке, будто есть неумолимый закон природы, который никогда не даст нам жить в мире друг с другом. Когда спрашиваешь, что же это за закон, тебе говорят про «естественный отбор», путем которого жизнь устраняет слабых, обеспечивая развитие наиболее совершенных особей. Хотя мысль эта стара, как само человечество, обычно ссылаются на эволюционную теорию Дарвина.

Но ведь Дарвин, естественно, не мог всего объяснить, хотя бы потому, что тогда не были известны генетические аспекты современной биологии. Повредили ему и его же почитатели, биологические идеи Дарвина очень скоро начали расширять и утрировать, в чем участвовали не только другие биологи, но также многие социологи и философы. Возник социал-дарвинизм и философский дарвинизм, основанный на дарвиновском понятии о «борьбе за существование». Эту борьбу считали главной движущей силой грандиозного, всеобъемлющего процесса отбора, в котором «слабому» было суждено погибнуть, а «сильному» — выжить. «Природа,— говорил великий сподвижник Дарвина Томас Хаксли,— являет нам нечто вроде битвы гладиаторов, причем зрителю даже не надо опускать вниз большой палец, ибо милосердие вообще исключается». Такой подход трудно назвать беспристрастно научным; причем ошибка явно состояла не в том, что человека приравнивали к животным, а в том, что животным приписывали человеческое поведение. Дарвин и Спенсер жили во времена, когда современная промышленность только-только родилась, и конкуренция между богатыми, а также между богатыми и бедными склонила их к выводу, что в природе происходит то же самое, что и в окружающем их обществе.

■

Что же на самом деле открыл Дарвин? Он установил, что среди всех животных идет процесс отбора вроде того, который намеренно осуществляют скотоводы, и назвал этот процесс «естественным отбором». У различных особей происходят постепенные изменения, вроде тех, которые скотоводы получают у домашних животных. В том, что этот процесс существует, нет никакого сомнения, и это было настоящим ударом для тех, кто вырос в убеждении, что всякий вид вышел неизменным и раз навсегда оформившимся из рук творца Но, описывая механизм естественного отбора, Дарвин и еще больше его последователи делали упор на роли конкуренции и борьбы, умаляя роль сотрудничества и взаимной помощи,— как будто естественный отбор всегда есть только результат победы сильнейшего и гибели слабого, неприспособленного.

На самом деле, как нам известно после повторного открытия в 1900 году — великих экспериментов Менделя,— генетический отбор происходит куда более тонко. Во-первых, о генетическом отборе вообще можно говорить, только подразумевая групповую гибридизацию; применять это понятие к особям нелепо. Выживание в генетическом и эволюционном смысле всегда подразумевает выживание вида или каких-

[1] Римский мир *(лат.)*. Договор Рима с завоеванными об их добровольном подчинении.

то определенных видовых черт, а не отдельной особи. И говорить о «выживании наиболее жизнеспособного» можно, лишь подразумевая наиболее способного к производству потомства. А так как наиболее жизнеспособный в этом смысле вовсе не обязан быть самым сильным и среда, к которой должен приспосабливаться организм, подвержена всякого рода изменениям, заранее предсказать, кто будет наиболее жизнеспособным, подчас невозможно. Нередко им оказывается тот, кто лучше адаптируется.

И ведь среда, к которой должен приспособиться организм, чтобы выжить,— совсем не та нехитрая реальность, которую представляют себе те, кто слишком примитивно воспринимает тезис «борьбы за существование». На самом деле среда — чрезвычайно сложное понятие, она включает все, что окружает организм, в том числе его собственный вид, и во многих случаях трудно даже провести границу между средой и обитающей в ней особью. Природа установила сложнейшую обширную систему равновесия между несчетными организмами, каждый из которых составляет часть «среды» всех других. Равновесие есть и между организмами и населяемым ими неорганическим миром. В этих условиях, чтобы приспособиться к среде, сотрудничество важнее преобладания. Если бы понятие «борьбы» вообще имело смысл в генетике, то скорее всего такой: организм, который «борется» со средой, включая другие организмы, есть уродец, обреченный на немедленную погибель.

Выживание при изменившихся условиях может быть обеспечено только широким диапазоном черт, которые разные особи вносят в общий «генетический фонд». Этот диапазон предопределяет, в частности, не только сохранение «сильного» (пользуясь сомнительным термином социал-дарвинистов), но и «слабого», и всех промежуточных типов. Отсюда следует не то, что понятие «сила» не поддается определению, а то, что всякая данная черта в конечном счете окажется вредной для вида, если она не согласуется с другими чертами. Иначе мы столкнулись бы с парадоксом Спенсера по поводу смерти в войне высших организмов: естественный отбор наоборот. Тем не менее войны продолжаются, что побудило биолога Нила иронически заметить: если сильный будет настаивать на борьбе, слабые унаследуют пусть не землю, но хотя бы вдов сильных.

■

Наблюдения над поведением животных слишком часто отмечены преувеличениями и кривотолками. В частности, представление о джунглях как об арене сплошной жестокости — скорее романтический образ, чем научный факт. Марстон Бейтс, изучавший джунгли, пишет: «Условия настолько благоприятны, что чуть ли не любой организм может в них выжить, и большинство выживает. Есть, конечно, проблемы, но все виды сумели утвердиться, и нет растения или животного, которое доминировало бы над остальными». Истертую метафору «асфальтовые джунгли» следует толковать наоборот: джунгли можно назвать кровавыми и жестокими постольку, поскольку они похожи на город. Первые исследования поведения высших животных проводились почти исключительно на животных в неволе. В последнее время многие исследователи (Карпентер Гудолл, Марлоу Скотт, Шаллер, Де Фор, Лоренц и др.) занимались наблюдениями в естественных условиях и пришли к совсем другим выводам.

Если не считать охоту хищников, которую нельзя назвать борьбой или агрессией, животные на воле гораздо менее воинственны, чем принято думать. Схватки между представителями одного вида — род ритуала, они редко смертельны или хотя бы опасны.

Агрессивное поведение животных одного вида обычно связывают с двумя сопряженными понятиями: ареал[1] и размножение. Ареал можно понимать как источник пищи, но прежде всего он обеспечивает «возможность размножаться».

Тем не менее соперничество животных из-за самки, видимо, стимулировало воображение многих исследователей в ущерб объективности. В естественных условиях это соперничество характеризуется множеством исключений и вариаций.

Несомненно, животные одного вида дерутся между собой. Но условия таковы, что избегается смертельный бой. Поединок больше похож на символический ритуал. Порой все сводится к напоминающей танец демонстрации наиболее устрашающих или внушительных физических данных соперников. Многие плотоядные, после того как выявилось физическое превосходство противника, ложатся на спину в униженной позе, открывая самые уязвимые части своего тела. В эту минуту победителю ничего не стоит убить побежденного. Однако у самых свирепых хищников (в том числе у волков) это не принято. Нечто сходное наблюдают у ящериц, да и у других видов — от птиц и рыб до млекопитающих: волка, оленя, гориллы.

Похоже, что практически у всех животных срабатывает нечто вроде тормоза, который не позволяет победителю убивать побежденного соперника. Человек в этом смысле представляет явное исключение. И несмотря на свое доминирующее положение в животном мире, он пребывает в потенциально опасном положении. С точки зрения естественного отбора, если интересы о с о б и могут выиграть от крайней агрес-

[1] Область распространения какого-либо вида, рода, семейства и т. п. животных или растений.

сивности (направленной на то, чтобы устранить претендентов на ареал и самку), то к интересам *вида* это не относится. Будь в определениях «слабые» и «сильные» четкий научный смысл, можно было бы утверждать, что исключительное выживание «сильных» повлечет за собой нечто вроде хорошо известного феномена «дегенерации» семей, где приняты браки близких родственников. Если «сильные» не будут обновлять свое наследство свежим генетическим «привоем» от «слабых», они быстро дегенерируют.

Ни закон естественного отбора, при правильном его толковании, ни поведение особей других видов животного царства не объясняют и не оправдывают нашу воинственность. Даже инстинкт ареала, столь глубоко укоренившийся у многих видов, не преобладает над инстинктом самосохранения. Вообще забота об ареале у разных видов выражается в разной степени. Есть группы крайне жестокие, другие вполне гармонично уживаются с представителями своего или иных видов.

Что можно сказать об агрессивности в пределах более или менее организованных сообществ животных? Браун указывает, что «прямая борьба из-за пищи между животными одного вида почти неизвестна в животном царстве». Две группы шимпанзе, встретившись, не сражаются между собой. Случай частный, но тем не менее интересный, если вспомнить тесные узы, связывающие нас с африканскими человекообразными. Знаменитая горилла — в обычных условиях миролюбивое животное; половая жизнь у горилл проходит весьма безмятежно, спор за преобладание чаще всего сводится к угрожающим жестам. У обезьян макак доминирует подчас самка. Другие приматы, скажем бабуины, более агрессивны, они утверждают свое превосходство в драках, то и дело кусают друг друга. Но и они не дерутся до смерти.

Мы рассмотрели некоторые ходовые предрассудки и недоразумения, касающиеся свирепости животных. Стоит подчеркнуть, что очень долго внимание было больше сосредоточено на этом аспекте поведения животных, чем на социальной и кооперативной стороне. Эта тенденция по-прежнему довлеет над многими умами. Но исследователи нашли, что факты говорят другое. «Вместо ожесточенного соперничества между особями мы видим в сообществах животных развитое сотрудничество и взаимное покровительство» (Скотт). Один исследователь, пристально наблюдая волков, нашел, что их отличает дружелюбие. Множество примеров сотрудничества мы видим у приматов. Самки бабуинов, не имеющие потомства, ухаживают за чужими детенышами. Сходные черты поведения известны и у других приматов.

■

Одна вряд ли заслуживающая названия теории догадка видит причины войны во внутренней структуре государств. В эпоху европейских монархий ответственность за развязывание войн возлагалась на эту форму правления. Дескать, правители обращаются к войнам, чтобы удовлетворить свое честолюбие, свою алчность или любовь к славе. Или чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей и удержать народ в повиновении. Сторонники этого тезиса забывают, что древние республики были чрезвычайно воинственными, а Венецианская республика и Швейцарские кантоны не знали себе равных по воинственности среди других наций.

Полагали также, что к войне ведет недовольство и разочарование народа. Эта идея сродни предыдущей, но она подчеркивает скорее социальный, чем политический, аспект, видя в форме правления только средство для достижения всеобщего блага. Такой взгляд получил имя «гедонистического пацифизма». Вот как его оценивает Батай: «С точки зрения современной экономики, можно спросить: не равносильны ли в конечном счете теории гедонистического пацифизма, относящие воинственные тенденции за счет совокупно скуки, безработицы и неудовлетворенных основных нужд, теории *перераспределения* излишков? Человеческие общества знают только три способа использовать излишки: 1. Расточительные праздники. 2. Разрушительные, всепожирающие войны. 3. Повышение жизненного уровня. Отсюда можно заключить, что расширение по статьям «повышение жизненного уровня» и «праздники» повлекло бы за собой сокращение приходящегося на войну».

Бутуль, допуская, что Батай теоретически, может быть, прав, остается пессимистом:

«Но в современной цивилизации положение осложняет тот факт, что огромная часть населения живет приготовлениями к войне... Пришлось бы перестроить всю организацию труда и даже наши этические стандарты, создав цивилизацию досуга, сама мысль о которой — быть может, в силу старых пережитков — неприемлема для нашего воображения».

В числе причин, приводящих к военным конфликтам, часто называют определенные демографические проблемы, обычно — перенаселенность отдельных областей или всего мира в целом.

■

Самая серьезная из современных попыток понять суть войны сопряжена с изучением экономических сил, влияющих на нее или на ее подготовку. Нынешние госу-

дарства все больше осознают роль экономических мотивов в их конфликтах, иногда даже признают это открыто. Так было с теорией жизненного пространства, о которой столько говорилось в начале войны 1939 года. Нынешние государства очень хорошо отдают себе отчет в священном эгоизме экономических нужд; чтобы их оправдать, под них подводят более или менее дарвиновскую биологическую базу. «Биологические» доводы в пользу войны выглядят примерно следующим образом. Чтобы данная группа могла выжить, необходимо обеспечить — как именно, роли не играет — нужные для этого средства. Соседствующие группы (обычно — другие государства) приравниваются к другим животным видам. И война у людей оказывается «естественной» борьбой за существование между различными «видами» человечества; так оправдывается агрессия и экспансия за счет тех, кто принадлежит к другому «виду». Вспомним, как в начале второй мировой войны один английский политический деятель говорил, что, когда английская пуля поражает грудь немецкого солдата, это на благо цивилизации и культуры, чье выживание зависит от биологического выживания британского народа. У Бернарда Шоу нашлось мужество ответить на это, что, когда английская пуля поражает немецкого солдата, происходит то же самое, что и когда немецкая пуля поражает английского солдата; еще одна смерть добавляется в список жертв войны, древний, как сама история. «Причиной войн упорно называют экономические факторы,— говорит Раппопорт.— Но это подразумевает рациональный учет выгод и потерь, связанных с войной. В наши дни никто не утверждает, что война принесет прибыль какой-либо из сторон, и, однако, ядерная война — вполне реальная вероятность». Бутуль подчеркивает, что в Данциге, на который столь яро претендовали нацисты, было 200 тысяч жителей; война, выросшая из этих претензий, стоила немцам около 7 миллионов убитых. Вспомним, как после бомбардировки Алжира флотом Людовика XIV французский командующий был принят местным турецким беем. «Во сколько обошлась Его Христианскому Величеству Людовику XIV эта экспедиция?» — спросил бей. Француз ответил. «Какая жалость! — воскликнул бей.— Если бы король попросил меня бомбардировать Алжир, я сделал бы это за четверть цены».

Даже если стать на эгоистичную и псевдодарвинистскую точку зрения, то есть думать только о своей мгновенной выгоде, страшные опустошения, причиняемые войной, не могут быть оправданы экономической выгодой. Конечно, это вовсе не исключает экономические силы из ряда причинных факторов Их нельзя исключить только потому, что они не оправдывают войны и не приносят выгоды победителю. Военная индустрия в основном совпадает с мирной, особенно это относится к металлургии и машиностроению. В современных великих индустриальных державах налицо общая экономическая тенденция к перепроизводству и накоплению капитала. «Но вот наступает кризис. И надо выбирать: либо обречь на пассивность часть промышленного потенциала, либо придумать смелое решение. До сих пор всегда прибегали к программам вооружения — этому неисчерпаемому рынку для перепроизводящих металлообрабатывающих отраслей».

Главной чертой войны в наше время стала ее «тотальность». Началось с Франции, которая ввела всеобщую воинскую повинность. Наполеон говорил, что может позволить себе израсходовать тридцать тысяч человек в месяц. Сопоставляя Наполеона с Людовиком XVI, считавшегося самым воинственным королем монархистской Европы, Бутуль пишет: «...примерная цифра 300 тысяч солдат в самой интенсивной из войн (Людовик) — не так уж много, ведь при таком же примерно населении Революция и Наполеон держали под ружьем до миллиона человек. В 1914 году мы видим на 40 миллионов французов 4 миллиона мобилизованных. Прогрессия очевидна». После второй мировой войны правительство Белорусской ССР определило, что из 10 миллионов жителей республики (на 1939 год) десять процентов погибло и еще двадцать пропало без вести. В ту же войну Польша потеряла 14 процентов населения. Для контраста скажем, что США потеряли только 0,2 процента, хотя американские вооруженные силы были на всех континентах. В Южной Америке война Тройственного союза (1865—1870) сократила население Парагвая с 1300 тысяч до 300 тысяч. Подсчитано, что война 1914—1918 гг. обошлась Европе в двенадцать с половиной миллионов прямых жертв военных действий, да еще столько же погибло в связи с войной. Прямые и косвенные потери в войну 1939—1945 гг. некоторые авторы определяют в 100 миллионов погибших. Если выложить в ряд тела всех убитых на войне при жизни трех последних поколений, эта цепочка четыре-пять раз обогнет земной шар.

Развитие современной техники сопровождается огромным приростом населения в мире. Быть может, за это время жизнь стала дешевле...

Если прежде войны велись согласно самой корректной традиции, то — это подтверждается всеми — гражданская война в Испании повлекла за собой больше жертв от казней и расправ, чем от собственно боевых действий. То же можно сказать про войну 1940—1945 гг.; немцы истребили в Польше и СССР больше гражданских лиц и военнопленных, чем было жертв в боях... Это относится и к Франции, где число депортированных и эвакуированных превзошло количество солдат, павших на поле битвы.

■

Так где же обрести мир? Может быть, это безнадежный поиск? Мы не видим основательных причин для такого вывода. Мир всегда сосуществовал с всонным безумием, он даже сумел пережить все свои бесчисленные неудачи. Наверно, все народы мира приветствуют друг друга пожеланием либо мира, либо здоровья. Отсюда вытекает, что подсознательно мы расцениваем утрату мира как утрату общественного здоровья. Но если апологетов болезни найти трудно (кажется, еще никто не воздвигал в честь нее монументов и не превращал ее в символ престижа), то война превозносится и прославляется с тех пор, как существует.

Пример народов, которые не знают войн, к сожалению, не может нас утешить. В истории человечества везде, где зарождается цивилизация, в большинстве случаев тотчас появляется сопутствующая ей война. Возврат к уровню палеолитических племен как средство от воинственности — не очень перспективное решение.

Начиная поиск мира, мы установили факт, что нашу цивилизацию всегда отличала воинственность. Выносить в этой связи именем мира приговор цивилизации так же бессмысленно, как осуждать историю.

Среди мер для предотвращения войны очень часто обсуждалась возможность разоружения. Какие выводы должны мы сделать из того факта, что планы разоружения никогда не воплощались в жизнь? В 1888 году, выполняя рекомендацию Гаагского трибунала, Уругвай сократил свою действующую армию на одну четверть, а Чили и Аргентина сняли с вооружения по четыре военных корабля. Даже в этих редких случаях речь идет только о частичном разоружении. Выходит, даже теперь, в атомный век, человечество не желает покончить с войной? Будет ли война лишь ограничена настолько, чтобы человечество могло выжить и вечно продолжать воевать? Таково пессимистическое заключение Бутуля. Согласны мы с ним или нет, исторические и социологические исследования Бутуля позволяют увидеть, как глубоко укоренились воинственные предрассудки и сколь малой представляется вероятность того, что шансы мира когда-либо возрастут.

Но может быть, Бутуль что-то упустил из поля зрения? В прошлом чувства братства, даже чувство прекрасного находили себе пищу в войне. Теперь технические достижения настолько обезличили войну, что она в этом смысле уже не может дать никакого удовлетворения. И, возможно, тут коренится надежда.

■

Война так тесно связана с цивилизацией, которую мы знаем, что трудно представить себе цивилизацию, основанную на мире. Поэтому, идя по линии наименьшего умственного сопротивления, мы предпочитаем выяснять возможные достоинства войны и вооружаемся доводами, показывающими, что иная цивилизация невозможна. Даркхейм, один из основателей современной социологии, считает всякий человеческий прогресс результатом мирных общественных факторов, но и он показывает, что война универсальна, и не представляет себе общества без войны. Другие мыслители идут дальше: отвергают идею о мире как о единственном источнике прогресса и не хотят верить, что такое универсальное и характерное для человека явление, как война, может быть исключительно негативным.

К сожалению, остается фактом, что страны никогда не предавались делу мира так настойчиво, как они предаются войне. Мировой военный бюджет составлял в 1967 году около 150 миллиардов долларов. В январе 1968 года из общего бюджета США в 187 миллиардов долларов 43 процента приходилось на военные расходы.

Выше показано, как поверхностные толкования дарвинизма подвели под эту тенденцию видимость научной базы. В 1942 году лорд Элтон говорил: «Война, как бы мы ее ни ненавидели, остается главным двигателем эволюционного процесса. Слепая, жестокая, разрушительная — она выступает в роли конечного арбитра, в роли пробного камня, который мир изобрел, чтобы проверить способность нации к выживанию». Семью годами позже Артур Кейт, один из самых видных антропологов нашего столетия, отстаивал эволюционные плюсы войны, национализма, расовых конфликтов и предрассудков как двигателей биологического прогресса человечества. В 1953 году великий генетик Дарлингтон писал: «Одни люди рождены повелевать, другие — подчиняться, третьи остаются на промежуточном уровне... (империалистические расы и правящие классы), завоевывают свою позицию в силу адекватности их генетической характеристики условиям, с которыми они сталкиваются или которые сами создают».

Ардри, опираясь на исследования, проведенные другими, придерживается очень близкого взгляда. И для него борьба за существование во всех ее формах необходима и полезна, «несмотря на мнение,— говорит он,— которое наложило свою печать на образование в последние десятилетия и которое пытается отрицать благую роль конкуренции». Больше того: как Лоренц, так и Ардри утверждают, что человеку присущ смертоносный агрессивный инстинкт.

Опровергая эти заключения, нельзя закрывать глаза и на исследования, привязывающие тот или иной тип поведения к генетической основе. Напротив, современных представителей физической антропологии очень интересуют исследования «расовых»,

а вернее, групповых различий, толкуемых скорее в генетическом и биологическом контексте.

Во многих случаях утверждалось, что война приносит определенные «блага»: в частности, совершенствуется техника производства, ибо нужно превзойти реальное или потенциальное вооружение врага, но, кроме того, возникает контакт между обычно изолированными группами людей. Несомненно, много великих открытий было сделано или усовершенствовано под нажимом войны. Достаточно назвать расщепление ядра, которое, наверно, произошло бы много позже, если бы не необходимость для США изготовить атомную бомбу раньше противника. Однако этот аргумент не убеждает. Трудно решить, стоит ли такого рода прогресс целой войны. И мы вправе допустить, что все эти открытия были бы сделаны и в мирное время, причем так же скоро,— если бы столько людей и ресурсов не отвлекалось на дела, которые вели только к их гибели. А главное, даже если война благоприятствует определенного рода открытиям, она почти всегда мешает проистекающим от них благам стать достоянием всего человечества. Вот и «холодная война» замедлила ход науки, принудив исследователей разных стран работать изолированно и оберегать секрет своих открытий в области ядерной физики, космонавтики и многих других областях научного поиска. Но даже если согласиться, что войны эффективно служат прогрессу, какая от этого радость, если прав Бутуль, когда говорит, что практически все исчезнувшие цивилизации были погублены войной?

■

Так что же все-таки война — биологическое или социальное явление? Наш взгляд на неизбежность войн зависит от ответа на этот вопрос. Начиная с 1940 года Мид, Монтегю и другие авторы, не отрицая известного значения биологических факторов, утверждают, что война — продукт культуры. Нам кажется, биологические факторы, если они есть, с каждым днем играют все меньшую роль. Чтобы понять и решить эту проблему, мы должны обращать наше внимание на быстро развивающиеся культурные явления. Развитие оружия подавило у людей присущие всем остальным животным запреты против братоубийства и геноцида. В организованной борьбе между людьми трудно найти что-либо общее с поединками животных: нажать кнопку, чтобы стереть с лица земли целый город,— действие совсем другого рода и класса, чем удар когтем и даже чем убийство одного человека другим. Если человек смог подавить столь мощный и универсальный инстинкт, как уважение к особи своего вида, нет причин считать, что он бессилен одолеть приписываемые ему агрессивные или разрушительные инстинкты.

У нас попросту бедное воображение, если мы даже не пытаемся представить себе мир без войн. А ведь в эволюции человека несомненно происходили не менее глубокие перемены, когда столь же мощные инстинкты преображались или замещались иными. Появление речи, письма, возможности копить опыт, конечно, куда более фундаментальная перемена, чем исчезновение или преображение агрессивных или разрушительных инстинктов. Еще один пример — рождение земледелия, когда человек в корне изменил свои отношения с природой. Если орудия, изобретенные человеком в ходе тысячелетий, позволили ему принять вызов природы и извлекать пользу из ее продуктивности, то именно земледелие позволило ему раскрыть самый механизм этой продуктивности и управлять ею. Другими словами, человек не только пожинал плоды природы, он изменял ее. И это была куда более глубокая и радикальная революция, нежели перемены в образе мыслей, которые теперь нас пугают.

Очевидно, что учение об эволюции никак не может оправдать дальнейшего признания нами войны. Мы должны найти в себе необходимое мужество, чтобы представить себе другой образ жизни,— мужество, какое проявили наши древнейшие предки, когда покинули отведенную им природой первозданную пещеру и ступили на путь человеческого развития. Мужество, какое проявил пещерный человек, когда научился жить вместе с грозным помощником — огнем, что позволило ему переменить пищу, орудия и весь образ жизни. Мужество нашего далекого предка, который решился жить в мире языка, символов, мифов и сложных ритуалов, который вверил себя этому миру и через него всему своему роду, коллективному хозяину этой культуры. Мужество первобытного земледельца, который перешел на оседлость и попытался наладить новые отношения с природой, учреждая законы и религию, создавая цивилизацию и, в конечном счете, затевая организованную деятельность, которую мы называем войной.

Чтобы изобрести это новое явление — войну, человеку, очевидно, надо было применить все свои биологические свойства, инстинкты и тенденции. Во всем, что делал человек, он использовал свое биологическое наследство, трансформируя, изменяя, переставляя наличные его части. Именно поэтому человек, подстегиваемый желанием или потребностью, всегда умел найти в этом наследстве элементы, которые можно было приспособить к своим стремлениям. Отсюда получается, что воинственны наши стремления, а не биологические обстоятельства, благодаря которым мы ими обзавелись. Чтобы добиться мира, гармонии и взаимного сотрудничества, у нас есть и нужные свойства, и инстинкты, и аргументы.

Наше пристрастие к войне, конкуренции и выживанию зашло так далеко, что иные видят «войну» даже в отношениях между органами, тканями в органах, клетками в тканях. Взаимоотношения организма со средой тоже описывались как война, и всем нам знакомы фразы вроде «война против природы», хотя очевидно, что, не будь взаимного сотрудничества между человеком и природой, человек несомненно погиб бы, да и природа, пожалуй, тоже. Если бы мы и впрямь в о е в а л и с природой, нам давно пришел бы конец. Так описывать факты — явный антропоморфизм. Но если нас устраивают антропоморфические толкования, с таким же основанием можно говорить о «сотрудничестве» между атомами и о «дружбе» клеток. Чарльз Шеррингтон считает, что многоклеточный организм в своем развитии давно прошел стадию вечного антагонизма между клетками и являет пример сотрудничества на низшем биологическом уровне. Другие биологи заметили, что наклонности к общению обнаруживаются уже у одноклеточных, скопления которых основаны не на какой-либо явной цели, а на чем-то, что, скорее всего, можно бы назвать «чувством безопасности» или «импульсом привязанности».

Даже генетические механизмы можно описать в таких оборотах. При мутациях генов устойчивыми окажутся те изменения, которые лучше всего «кооперируют» с общей ситуацией, слагаемой из организма и его среды. В любой естественной среде взаимозависимость всех организмов сравнима с исключительно сложной сетью, где каждый элемент играет важную роль и малейшее местное изменение отзовется на всей системе. Внутри нашего вида, как и внутри любых видов, «борьба за существование» никогда не может стать борьбой против своего же рода.

Что до предполагаемого естественного превосходства каких-то групп людей над другими, то для него нет генетических оснований, и групповое выживание тут ни при чем. Нельзя аргументами из генетики животных оправдывать расизм.

Быстрая эволюция гоминидов несомненно в большой мере объясняется сотрудничеством. Групповая охота уже подразумевает высокую степень социализации, обязательной для того, чтобы в конечном счете произошло радикальное изменение культуры. Строго говоря, для культуры сотрудничество (не исключительно биологическое, ведь мы уже достигли другого, культурного плана) — все. Культура — общее наследство, сокровище, созданное всеми и не принадлежащее никому в частности. Это наследство, оставленное уже не природой, а людьми, одним поколением другому. Своеобразие человеческого рода заключается не только в том, что он получает это наследство, но и в том, что он может сознательно передавать дальше то, что сам сознательно завоевал и создал. Трудно найти более существенное и более характерное выражение сотрудничества, чем эта сознательная передача традиций культуры.

Мы видели, как некоторые наиболее серьезные исследователи, занимавшиеся войной, полагают, что она выполняет в человеческом обществе целый ряд незаменимых функций. По их мнению, понадобится найти путь, чтобы как-то иначе выполнять эти функции. Мы, напротив, возражали, что человеку нужна культура, развитая до такого уровня, когда нет места даже заменителям войны. Война — социальное явление, не биологическое и не психологическое. Поэтому сказать, что проблема мира тесно связана с проблемой социальной справедливости — не сентиментальный гуманизм, а голый социологический факт. Человеку присуще специфическое для него поведение — как поведение собак или уток специфично для них. У человека есть конкретные черты, которые претерпевали изменения и будут изменяться впредь. Одна из этих черт: он — единственное существо, знающее, что ему суждено умереть. Зная это, он может либо безвольно отдаться приливам и отливам естественных процессов, либо деятельно трудиться, чтобы их контролировать и преодолевать.

Неужели исключена возможность того, что то самое существо, которое изобрело войну, в один прекрасный день изобретет мир?

*Перевод с английского Л. ЖДАНОВА*

***ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ***

***ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ***

# «ВСЕ МЕНЬШЕ ЭКЗОТИКИ, ВСЕ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ»

**«В современной польской литературе деревня движется, как лавина»,— заявил недавно молодой польский писатель Ян Мария Гисгес. Необычайный расцвет литературы, посвященной деревне,— одно из самых значительных явлений культурной жизни Польши в последнее десятилетие. Творчество Станислава Пентака, Вильгельма Маха, Юзефа Озги-Михальского, Юлиана Кавальца, Тадеуша Новака, Юзефа Мортона, Станислава Черника, Эрнеста Брылля, Мариана Пилота и других писателей разных поколений ярко, глубоко, художественно, оригинально отражает исторические перемены в польской деревне.**

«Особенностью нашей литературной эпохи,— писал на страницах «Твурчости» Ярослав Ивашкевич,— является всеобщий рост литературы, посвященной деревенской проблематике», которая придает этой литературе «специфический национальный облик».

**Подтверждением этого мнения явился и прошедший недавно в Варшаве общепольский симпозиум «Деревня в литературе 25-летия ПНР». Его инициаторами явились Союз польских писателей, издательство «Людова спулдзельня» и редакция еженедельника «Тыгодник культуральны», а участниками — писатели, критики, публицисты, работники просвещения и издательств. Семь докладов и многочисленные выступления разносторонне осветили социально-политический, историко-литературный, эстетический и художественный аспекты литературы, посвященной сельской проблематике. Во всех выступлениях общим было утверждение, что эта литература, как ни одна другая, родилась заново после освобождения Польши благодаря социалистической революции, приходу к власти народа. Сегодня именно эта литература создала наиболее значимый образ исторических перемен в жизни польского народа, показала глубинные сдвиги в сознании некогда самой отсталой и самой многочисленной части общества, раскрыла социальные, моральные, психологические процессы, идущие в нем.**

**В центре дискуссии, развернувшейся на симпозиуме, как отмечает польская печать, оказались два доклада: Генрика Брезы — «Крестьянское направление в прозе» и Болеслава Голембовского — «Крестьянский герой в прозе».**

**Г. Бреза считает, что правильнее говорить о «крестьянском направлении в литературе» (а не о «деревенской литературе» или «литературе на деревенскую тему»), ибо в этом определении — качественно новый характер этой литературы, ее национальная специфика.**

«В польской литературе,— подчеркнул докладчик,— крестьянское направление исчезло несколько веков назад, и польская литература развивалась в отрыве от этой естественной и важнейшей культурной «почвы»... Польская крестьянская культура, находясь в своем первобытном состоянии, сохранилась как резервация культурных, созидательных сил. В таком состоянии она просуществовала до двадцатого века, подобного анахронизма мы не найдем ни в одной литературе. Ликвидация этого анахронизма — историческая необходимость, и процесс этот должен быть ускоренным и даже бурным. Высвобожденные культурные созидательные силы могут многого достичь и многое создать. Между традиционной крестьянской культурой и вершинами общенациональной культуры существовал в историческом развитии огромный разрыв. Стремительное его преодоление является трудным и сложным процессом».

Именно этот процесс, по мнению Г. Брезы, отличает сегодняшнюю польскую литературу. Преодоление разрыва между крестьянской культурой и общенациональной началось после того, как в литературу влились новые силы — писатели крестьянского происхождения. Социальное происхождение, по мнению Брезы,— главный критерий «крестьянского направления в литературе».

Безусловно, приток новых сил из народа — фактор чрезвычайно важный, свидетельство глубочайших революционных изменений в польском обществе. Но может ли этот фактор сегодня иметь столь решающее значение, не слишком ли он носит социологический характер? На наш взгляд, критерий происхождения, важный для понимания широкого процесса демократизации польской литературы, на двадцать пятом году существования народной власти интересен уже скорее в своем историческом аспекте.

В современной литературе, говорил Томаш Бурек в докладе «Место деревенского мотива в современной поэзии», есть два поколения крестьянских писателей: рождения 1900—1920 гг. и 1920—1940 гг. Если первое поколение познало горечь морально-психологических комплексов, связанных с социальным происхождением,— особенно это относится к тем литераторам, чье творчество начиналось в буржуазной Польше (С. Пентак, В. Мах, С. Черник и другие),— то второе поколение (например, Т. Новак, Э. Стахура, Э. Брылль, М. Пилот) от них уже свободно.

Современные романы и повести о селе отличаются социальной направленностью, отражением нынешней эпохи, и в этом главная заслуга их авторов. В этих произведениях складывается новое понятие народности литературы.

> «В наш век,— отмечал Т. Бурек,— деревня в литературе не является и не может быть уже отдельной проблемой, сосредоточием экзотики, предлогом для сентиментов».

Т. Бурек, как и другие участники симпозиума, подчеркивал, что писатели, особенно младшего поколения, стремятся к интеграции культуры, к тому, чтобы их книги, посвященные деревне, не были оторваны от проблематики и художественных поисков общенациональной литературы, а стали ее неразрывной частью. Молодые писатели показывают процесс общественной активизации польского крестьянства — и это одна из их важнейших заслуг.

> «Писатели с крестьянской биографией,— отмечал в «Культуре» С. Адамчик,— доказали, что их книги, зачастую вырастающие из непосредственных наблюдений и переживаний, создают в современной прозе тематическое направление, которое успешно реализует концепцию идейной и общественной роли литературы в современном обществе».

Варшавский симпозиум убедительно показал, что в Народной Польше деревенская проблематика получила новое, равноправное со всеми другими темами и проблемами, решение. Особенно ярко это раскрывается на проблеме героя. В докладе «Крестьянский герой в прозе», состоявшем из двух частей — «Крепостное право в литературе» и «Литературное раскрепощение»,— Бронислав Голембовский, сопоставляя нынешнего героя из крестьян с героем литературы прошлого века, показывает его новый социально-эстетический характер. Если раньше в польской литературе всегда существовали прототипы «крестьянин — пан», противопоставление крестьянского героя героям из шляхетской, буржуазной и интеллигентской среды, то теперь оно полностью ликвидировано.

> «Литературное раскрепощение крестьянского героя в польской литературе произошло лишь в Народной Польше в 60-е годы нашего столетия. Термин «литературное раскрепощение»,— сказал Б. Голембовский,— я понимаю условно, под ним я подразумеваю создание писателями таких крестьянских героев, которые обладают индивидуальными особенностями, как и литературные герои из других общественных классов».

В литературе 60-х годов образ крестьянского героя утратил черты антиисторичности и консерватизма, перестал быть изолированным, он поднялся на новую ступень сознательности — исторической, социальной и национальной. И в этом выдвижении крестьянского героя, в приобщении его к общелитературному герою Б. Голембовский видит начало литературной реформы, которая превратит крестьянина в героя нового типа. В связи с этим, однако, он замечает, что «раскрепощение» героя из крестьянской среды, какое мы наблюдаем в творчестве Т. Новака и Ю. Кавальца, еще не решает проблемы создания нового героя социалистической литературы. По его мнению, эта литературная реформа будет длительным процессом, в результате которого крестьянский герой превратится в «народного героя нового типа».

Успех литературы крестьянского направления, как справедливо отмечала польская пресса, заключается в том, что на фоне некоторых художественных произведений, уходящих от волнующих проблем современности, она глубоко связана с действительностью, трактует ее как общественно важный и интересный материал, не поддается преходящим литературным модам, импортируемым под вывеской «европеизации». Вместе с тем, как критически заметил Т. Бурек в своей статье, опубликованной газетой «Политика», эта литература

«в ее лучших образцах имеет скорее лирический характер, чем интеллектуальный, она чересчур увлекается метафоризацией внутренних переживаний и созданием символического образа мира, в ней недостает критического и реалистического анализа». Однако положительным является то, что «в ней все меньше экзотики, все больше проблем, и это позволяет надеяться на появление настоящего романа нашей эпохи».

**Подводя итог литературному симпозиуму, «Тыгодник культуральны» отмечает:**

«Попытка писателей крестьянского направления самоопределиться, по нашему мнению, сделана удачно, она показывает цели и задачи, стоящие перед этими писателями, помогает им уяснить себе источник своей силы и причины недостатков, помогает занять такую позицию, которая позволит еще больше укрепить связь литературы с жизнью, писателей с читателями,— все это является исключительно ценным итогом варшавского симпозиума. Задуманный как рабочая конференция, симпозиум стал одновременно демонстрацией писателей, борющихся за демократический облик нашей культуры, писателей, связанных с народными истоками, с их лучшими традициями и сохраняющими верность этим традициям».

**Несомненно, варшавский симпозиум и широкий круг проблем, поднятых на нем,— явление чрезвычайно важное в современной культурной жизни Польши, оно свидетельствует о большом внимании к общественной роли литературы, к национальной проблеме и проблеме народности, свидетельствует о высокой требовательности к качеству литературы. И, нам думается, прав был писатель Мариан Пилот, который призвал к созданию литературы без комплексов, на уровне высоких художественных критериев, достойных пера Станислава Пентака и Станислава Черника. М. Пилота поддержали многие выступавшие, убежденные, как и он, что вообще нет «деревенской» или «городской» литературы, а есть лишь хорошая или плохая литература, отражающая или не отражающая главные процессы эпохи.**

**А. ПИОТРОВСКАЯ**

# «БУДУЩЕЕ В НАС БОЛИТ»

Я знаю — смысл один
и протестующего крика,
и напряженной тишины:
будущее
в нас болит.

*Дхумил*

**Ежеквартальник «Алочана» («Критика») устроил в Дели дискуссию на тему «Поэзия и политика», в которой приняли участие самые разные поэты, пишущие на языке хинди: шестидесятилетний основатель школы «экспериментальной поэзии» С. Х. Ватсайян и двадцатипятилетний поэт и критик Ашок Ваджпейи; крупнейший критик-коммунист, главный редактор журнала «Алочана» Намвар Сингх и поэт Кайлаш Ваджпейи, который не примыкает ни к какой политической группировке; широко читаемые молодой индийской интеллигенцией Шрикант Варма и Рагхувир Сахаи и лирический поэт старшего поколения Немичандра Джайн. Иными словами, в дискуссии участвовали те, кто создает современную поэзию хинди. Она — предмет нескончаемых споров, показывающих, что несмотря на все перемены поэзия продолжает быть ведущим жанром индийской литературы.**

**На сей раз спор шел только об одном: как соотносятся поэзия и политика в Индии, в конкретной исторической ситуации сегодняшнего дня.**

**Младший из участников дискуссии, Ашок Ваджпейи, начал с заявления:**

«Вряд ли можно сегодня обойти стороной вопрос о связи — на творческом уровне — между поэтом и политикой в условиях развивающейся демократии».

**Неужели все та же «инстинктивная завербованность»? Творческая завербованность интеллигенции стран, понуждаемых историей в кратчайшие сроки догнать технологически развитые государства. Но если эта завербованность так очевидна, если художник «инстинктивно» стремится выполнить свое назначение, то зачем эта проблема обсуждается вообще?**

**Видимо, чтобы дать ответ, требуется хотя бы пунктирно наметить траекторию развития индийской поэзии XX века — тогда станет ясно, в какой точке она находится сейчас.**

**Приблизительно столетие назад проникновение в Индию демократических идей Запада привело к интеллектуальной революции, которая оказала влияние на развитие индийской литературы, и в первую очередь поэзии. Анализируя это сложное явление, профессор Делийского университета, известный исследователь индийской культуры Р. К. Дасгупта считает, например, что просвещенного индийца прежде всего поразило существование в западной традиции обширной светской литературы.**

«Санскритская литература,— говорит он,— была на три четверти религиозной, а что до других, разговорных языков, то поэзия на них была посвящена лишь духовным устремлениям человека. Западная же литература впервые представила индийскому читателю Человека во всей полноте человечности».

**Индийца, по мнению Дасгупты, влекли и элементы рационального, научно-критического мышления, которые он воспринял как выражение свободы человеческого разума, не скованного канонизированными авторитетами.**

**Воспитанный в условиях колониального угнетения, просвещенный индиец острей всего реагировал на идеи свободы личности и свободы народа, которые он находил в лучших образцах западной литературы.**

**Если, строго говоря, ортодоксальное индусское представление о мире не оставляло места для личности, растворяя ее без остатка в беспредельности вселенной, а Запад, напротив, вырывал ее из «космоса» и ставил в условия того или иного дуализма, то, столкнувшись с западным миропониманием, Индия начала искать для себя способ примирения этих противоположностей.**

**Одним из путей поиска стала философски-поэтическая школа «чхаявад» — название, которое едва ли поддается переводу. «Чха» значит «тень», а «вад» можно условно перевести, как «изм».**

**Героем поэзии чхаявада уже стал Человек — не частица мировой души, стремящаяся к возвращению в нее, а личность, с единственностью и неповторимостью ощущений, гармонически слитая с природой, но выделенная из нее тем, что она есть высочайшее и прекраснейшее из ее воплощений. Человек — центр поэзии чхаявада, а события, окружающие его, важны только той игрой теней, которую они проецируют на внутренний мир человека.**

**В дискуссии эта проблема была затронута в ее поэтическом преломлении.**

**Немичандра Джайн правильно отметил, что чхаявад не сумел найти точку равновесия:**

«Эта поэзия сковала себя уж очень узкими границами индивидуализма, она в целом была и эмоционально, и интеллектуально неглубокой. Ее антитезы были банальны: счастье — горе, надежда — разочарование, успех — провал».

**Революционные смещения эпохи требовали иной поэзии, или, словами того же Немичандры Джайна:**

«Национально-освободительное движение, ставшее ядром жизни всей страны, неуклонно росло, охватывая все классы, все слои общества, и очень скоро нельзя было найти ни одного мыслящего человека, который оставался бы в стороне от него или мог как-то отгородить свой внутренний мир. Поэтому поэзия тех лет присягала на верность революции и впрямую участвовала в политических кампаниях... Устанавливались теснейшие связи личности с окружающим миром, расширялись границы сознания и бытия, границы восприятия, созерцательность сменялась жаждой действия».

**Поэзия ожесточенной антиколониальной борьбы получила название прогрессивной поэзии. Вызванная к жизни гигантским политическим пробуждением огромного народа, прогрессивная поэзия была прямым продолжением политики. Она не столько сменила собой чхаявад, сколько затмила его, она сблизила язык поэтический с языком народа, сыграла чрезвычайно важную роль в разъяснении народу того идеала, во имя которого он боролся, но с другой стороны,**

«однозначная завербованность прогрессивной поэзии,— как замечает Немичандра Джайн,— заставляла поэта рисовать идеальную картину того, что должно бы существовать в ущерб отображению внутренней диалектики духовной жизни человека».

**Логика борьбы иной раз действительно приводила кое-кого из прогрессивных поэтов к голой лозунговости, но если в годы активной борьбы против англичан однозначность такого рода стихов, может быть, и была оправданной, то на новых этапах борьбы пробудившимся массам одних лозунгов было мало.**

**Именно это имел в виду участник дискуссии Ашок Ваджпейи, когда, может быть излишне обобщая, говорил:**

«Поэты чхаявада и без того сделали человеческий разум достаточно бестелесным, а прогрессивные поэты, все переведя в плоскость примитивнейшей социологии, окончательно лишили его конкретных черт... Самое прискорбное, что политическая завербованность и социальные мечтания прогрессивных поэтов вылились в пошлость, — в их произведениях опошлилась и политика, опошлилась и поэзия, и, в конечном счете, опошлился человек».

**Дело, конечно, не столько в примитивной и прямолинейной завербованности поэзии 40-х годов. Гораздо важнее другое — это была поэзия приземленного романтизма, она воспевала свободу Индии, которая рисовалась ей началом безоблачного счастья, исполнения всех желаний, эрой изобилия, где и Ганг и Брамапутра потекут молоком и медом, а человек автоматически станет счастлив. Тем острей и болезненней было**

разочарование индийской творческой интеллигенции, когда идеал сменился беспощадным свершением, когда независимая Индия — в новых границах, потому что на карте появилось слово «Пакистан»,— столкнулась с цепной реакцией проблем превращения вчерашней колонии в индустриальное государство.

Маятник откачнулся в другую сторону. К поэтам, писавшим на политические темы, стали относиться пренебрежительно, а политика стала восприниматься как нечто недостойное поэта, антигуманное и антиинтеллектуальное. Появился страх перед политическими партиями — «поклоняющийся одному богу не может быть поэтом»,— логическим развитием этого стало желание избежать причастности к политическим доктринам и к любой идеологии вообще. В результате, по словам Ашока Ваджпейи,

> «поэт, отказавшись от ясного видения мира, потерял и четкость поэтической формы; поэзия становилась бессвязной и бессмысленной, пока не стала просто невразумительной».

Одни поэты уходили в те годы в невразумительность, другие — в политику такой глобальности, что действительность как-то растворялась в ней; третьи — в упоенно-бездумное воспевание великого прошлого Индии, где все было эпически просто и не было оглушительной современности с ее проклятыми проблемами.

Но стрелки всех часов идут только вперед.

> «Несколько лет назад возникло направленне в литературе, получившее название «новой поэзии»,— продолжает Ашок Ваджпейи,— поэты этой группы понимают всю необходимость найти точку пересечения внутренних и внешних факторов человеческой жизни для отображения человека нашей эпохи. В поисках точки пересечения молодые поэты пришли к неизбежности установления новых связей с политикой. Создание интимной символики вдруг обернулось трусостью... мир без политики — иллюзией...»

Эту же мысль, кстати, выразил популярный поэт, один из тех, кого причисляют к направлению «новой поэзии», Рагхувир Сахаи в одном из своих стихотворений:

Если я скажу — то что-то будет.
Не в разбитых талисманах сила,
мне убить бы труса —
в себе.

Дискуссия на страницах «Алочаны» касалась не вопроса о том, должна ли поэзия быть связанной с политикой,— для «новой поэзии» это аксиома. Спор шел именно о поэзии политического протеста, или, как назвал ее молодой поэт Раджкамал Чаудри, о «поэтической политике», вместо «политической поэзии», с которой связано так много недоразумений и обид недавнего прошлого.

«Новая поэзия» стремится к беспощадности мышления, к не прикрашенному никакими иллюзиями, не смягченному никакими мечтами пониманию «трагедии человеческого существования» в сегодняшней Индии. Не случайно известный критик Балакришна Рао писал о ней в одной из своих недавних статей: «Единственное, чего боятся молодые поэты — боязни действительности».

Одним из любопытных выступлений на дискуссии была страстная декларация молодого поэта Шриканта Вармы, который ни на секунду не сомневается, что

> «долг и судьба художника — представлять мир во всей его цельности в наш век, когда политика окрашивает собой все без исключения проявления человеческого духа... Искать решения проблем века — не дело художника... Политика изменяет век, с изменившимся веком меняются отношения между мужчиной и женщиной, между государством и личностью, между художником и его творением. Назначение искусства — уловить и осмыслить эти перемены».

Рагхувир Сахаи идет дальше своего коллеги: для него поэзия — инструмент ломки существующего порядка вещей, но при этом он говорит:

> «Поэзия и политика располагаются на разных уровнях моей шкалы жизненных ценностей... Поэзия не бывает политической, она бывает просто поэзией... Я знаю, что для изменения жизни, общества, человека начинать надо с психологии человека. Поэтому я и пишу, это и есть основа моего творчества».

Но Сахаи же говорил и другое:

Язык пустыми обещаниями
уже не раз нас обманул.
В поэзии нет правды.
Нетерпеливость моих рук —
вот истина.

Не важно, думает ли Рагхувир Сахаи, что процитированные строки — политическая поэзия или просто поэзия. Объективно она ведет читателя к пониманию политических проблем, поэтому поэт должен был выразить здесь свое понимание мира. Тотальное отрицание едва ли может подменить собой это понимание, а без истолкования мира поэтом и политическая, и аполитичная поэзия одинаково лишены смысла.

**Это хорошо понимает Шрикант Варма:**

«По каким бы причинам Платон ни изгонял поэтов из своего идеального государства, для поэта просто нет достаточного резона, чтобы изгонять политику из государства внутри себя... Но,— продолжает он,— поэзия ни на что не способна из чувства долга и способна на все — добровольно. Существуют два уровня, на которых поэзия сообщается с политикой. Первый — это чисто событийный уровень, а второй — осмысление причин событий. Поэзия первого рода — это вполне поэзия, она рождается психическим складом поэта и его способностью сопрягать себя с эпохой. Поэт, ощущающий время не глубинно, а поверхностно и способный только критиковать, обыкновенно строит свои стихи только на самих событиях. Соответственно, если эти стихи действенны, то и воздействие их носит поверхностный характер.

...Поэзия второго рода касается глубоких ран общества; она принимает вызов, бросаемый ей социальными и духовными последствиями событий, но поскольку эта поэзия могущественна в своей действенности, то те результаты ее воздействия на человека, на общество, которые становятся осязаемыми, бросают, в свою очередь, вызов политике».

**Под другим углом зрения смотрит на тему дискуссии основоположник школы «экспериментальной» поэзии Сачиданаида Хирананда Ватсайян. Поэтов этой школы неоднократно упрекали в эксперименте ради эксперимента. Но теперь Ватсайян говорит:**

«Мы спорим не о поэзии и политике, а обсуждаем отношение к политике поэта. Я считаю, что поэзия может изменить общество и изменяет его. Не будь это так, сегодня бы уже не осталось ни писателей, ни читателей. Но влияние поэзии на общество не бывает прямым и непосредственным. Более того, она далеко не всегда влияет на общество так, как предполагал поэт, но тем не менее влияет. Если поэзия углубляет наше восприятие, если она будоражит наше сознание, то разве не ведет это в конечном счете к переменам? И разве перемены эти не социальны?»

**Ватсайян находит, что современность сместила поэзию с ее прежней оси, но он видит это смещение не в деполитизации поэзии, а в возникновении новых, многозначных и многоплановых форм сочетания поэзии с политикой, которые, делая поэта причастным ко всем проявлениям жизни, затрудняют в то же время для него реализацию своей причастности.**

«Для современности,— считает Ватсайян,— характерно, с одной стороны, все более неотвратимое проникновение политики во все аспекты нашей жизни, с другой, она все больше теряет связь с конкретным лицом. Поэт прошлого выступал против конкретного носителя зла, например, против раджи, что стало невозможным в наши дни. Поэт может выступать против феодализма, против капитализма, против милитаризма, против белого или черного расизма — но у них не бывает лиц... Как же быть поэту, если его противник не имеет ни облика, ни формы? Вступая в войну теней, поэт начинает сомневаться в собственном облике и индивидуальности.. »

**Можно соглашаться с Ватсайяном или не соглашаться, но нам важней вывод, к которому он приходит:**

«Проблема поэта состоит сегодня в том, что он ведет именно политическую борьбу,— политическую, потому что она ведется за моральные ценности — против аполитичности и политиканства».

**Аполитичность и политиканство — как две ипостаси единой сути — становятся сегодня самым страшным противником современной поэзии.**
**Об этом говорит и организатор дискуссии, критик-коммунист Намвар Сингх:**

«Лобовая политическая поэзия — самый наглядный пример доведения до абсурда тезиса о связи поэзии с политикой. Внешне целиком посвященная политике, эта поэзия антиполитична по сути. Когда начинают с политики тотального отрицания, то, как правило, кончают отрицанием политики — при этом убивают поэзию...

...Если протест становится «константой» поэзии, то скоро в ней вырабатываются штампы, а штампы не отличаются большой привлекательностью вне зависимости от того, положительны ли они или отрицательны. Эти противоположности роднит примитивность языка».

**Но примитивность изобразительных средств есть свидетельство упрощенного восприятия жизни. Негативный протест и протест во имя протеста превращается, таким образом, в то самое политиканство, против которого он поначалу был направлен.**

«Те, кто полагает, будто поэзия несовместима с политикой, потому что политика очень уж примитивна, становятся жертвами собственного упрощения,— продолжает Намвар Сингх.— Настоящая политика так же сложна, остра, напряженна

и проблемна, как настоящая поэзия поэтому в поэзии, связанной с настоящей политикой, есть и жизненность и глубина.. В определенном смысле вся поэзия — политическая, даже если сам поэт этого не сознает».

**Безусловно, прав Намвар Сингх, утверждая, что когда пишет мыслящий поэт, то он не может не выразить свой взгляд на мир, то есть, даже не связывая свое произведение прямо с политикой, он так или иначе воздействует политически на свою аудиторию. Поэтому так важно, чтобы поэт вглядывался в мир пристально и глубоко, поэтому поэзия простого отрицания обречена в конце концов на бессловесность.**

**Боясь политических доктрин, не веря ни в какие идеологические структуры, так как они кажутся ему посягательством на совсем недавно обретенное им «я», «новый поэт» тем не менее уже сделал для себя вывод о неприемлемости хаоса для поэзии, которая сама есть сложноорганизованная структура.**

«Поэзия так называемого протеста или отрицания — это просто ложь,— пишет Шрикант Варма.— Она противопоставляет себя политике, но на политической же платформе, то есть делает политику частью себя и пользуется ее же принципами... Лжепротест и есть то самое отрицание личности, против которого он якобы протестует, это и есть отрицание человека в искусстве».

**«Новая поэзия» не знает пока верного решения проблемы синтеза поэзии и политики, она хочет быть и отрешенной и причастной в одно и то же время; она задает вопрос за вопросом, она не знает успокоенности.**

**Сумеет ли «новая поэзия» ответить на эти вопросы, ответить поэтически и политически?**

**Хорошо уже, что сумела их задать.**

**М. САЛГАНИК**

# Тревога за людей, гордость за людей

## (Аргентинский художник Хуан Карлос Кастаньино)

«Тревожный отдых» — так называется одно из последних полотен (масло, 1968) аргентинского художника Хуана Карлоса Кастаньино. Приморский песчаный пляж. На песке — загорелый человек с газетой перед глазами. Но сквозь газету глаза его устремлены в море, вздымающее черные, фиолетовые, кроваво-красные волны. Не отдых — тревогу, волнение, беспокойство выражает эта картина: человек словно видит бушующий мир насилия, войн; художник встревожен за судьбы людей на земле.

Жизненная программа, эстетическая позиция Х. К. Кастаньино особенно ярко выражены в другом его полотне — «Помни о Гернике» (акварель, 1965). Разрушенная фашистами Гернika... Художник в академической мантии с факелом-кистью в вытянутой руке бросается к столу с красками, к мольберту. На столе, как от удара, смешались, растеклись будто ожившие краски и скатилось на пол чудовищно-абстрактное глиняное подобие человеческой головы. А на коричневом хаосе холста — небольшое белое, распятое кнопками полотно с черным изображением убитого солдата. Его раскинутые руки и огромный сапог, некогда топтавший Гернику и нацеленный своею толстой подошвой в лицо людям, теперь не страшны. Но —

Пайадор (народный певец)[1].

[1] Здесь и далее — иллюстрации к поэме Хосе Эрнандеса «Мартин Фьерро». 1962 г.

Мартин Фьерро. 1962 г.

**Помни о Гернике. 1965 г.**

*К статье М. Былинкиной*
*«Тревога за людей, гордость за людей»*

Плуг. 1964 г.

Идиллия в пригороде. 1968 г.

Беспокойный отдых. 1968 г.

Мать. 1966 г.

«помни Гернику»: такие сапоги топчут землю Вьетнама... Тот же факел-кисть в вытянутой руке освещает фигуру казненного, но непокорившегося вьетнамского патриота,— эта акварель называется просто «Свидетельство, 1967». Тревога и гордость за тех, кто имеет право зваться людьми, вне этих мотивов нельзя осмыслить этапы жизненного и творческого пути шестидесятидвухлетнего художника Хуана Карлоса Кастаньино, одного из основателей современного реалистического искусства Аргентины, члена Национальной Академии изящных искусств. И люди хотят видеть его работу: более десяти персональных выставок в Аргентине (итог — шесть национальных премий и среди них высшая национальная премия «Гран при» салона 1962 г.); участие в тридцати международных выставках в странах Америки и Европы, в том числе — в СССР в 1958 г.; и, наконец, семь личных выставок за границей. Последняя, в Москве (1969) — наиболее представительная, по заявлению самого Кастаньино. На ней были экспонированы 54 произведения (1951—1968). «Он всюду — в пустыне и в толпе...» — сказал о художнике уругвайский писатель Энрике Аморим в своей монографии «Хуан Карлос Кастаньино» (1945). Слова эти с правом относятся и к географии выставок и к творческим интересам художника вообще. А интересы его и изобразительные возможности действительно широки: от громад настенной живописи до тончайшего искусства графической миниатюры, от массовых сцен до штрихового портрета...

Двадцатипятилетний выпускник Высшей художественной школы Буэнос-Айреса, молодой архитектор Кастаньино увлекся настенной росписью. В 1933 г. он получает третью премию Национального салона в Буэнос-Айресе за фреску «Рабочие и крестьяне». Из-

Гаучо в поединке.

вестный мексиканский монументалист Давид Альфаро Сикейрос, работавший в ту пору в Аргентине, делает его своим помощником. Остросоциальная направленность работ Сикейроса захватывает молодого аргентинца — неосознанные социальные симпатии становятся осознанными идеологическими устремлениями. На протяжении почти тридцати лет появляются в Аргентине настенные росписи Кастаньино. И, может быть, самая интересная из них — «Человек — Космос — Надежда» (1959 г.), посвященная запуску первого в мире космического спутника Земли. До сих пор в его некоторых позднейших работах улавливаешь почерк монументалиста: динамичность композиций («Митинг», 1968 г.), специфическая гиперболизация форм тела (серия «Материнство», 1966—1967).

Вторым большим учителем Кастаньино стал Пабло Пикассо. Их духовное родство чувствуется и в картине «Помни о Гернике», и в других произведениях социально-символического ха-

Старик Виснача.

Изгнание.

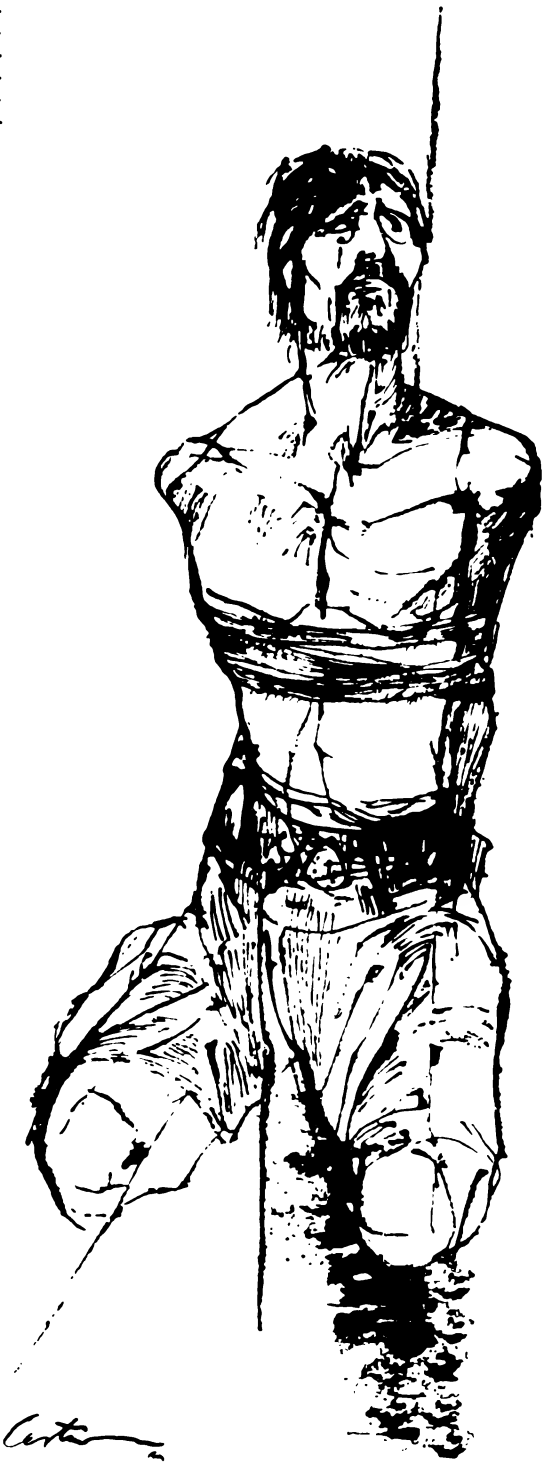
рактера (например, серия акварелей «Распятия», 1965—1968).

Пройдя школу больших мастеров современного передового искусства, активно реагируя на события, волнующие прогрессивное человечество, Кастаньино вырастает в самобытного, истинно национального мастера Аргентины. Холст «Плуг» (серия «Степь», 1963—1965) — это боль за брошенную бедняком крестьянином аргентинскую землю, но это боль и за все брошенные земли и плуги, от которых война или нужда оторвала крестьянские руки. Акварель «Идиллия в пригороде» (1967) — это реальная окраина Буэнос-Айреса с потоком автомашин, несущихся мимо скопища лачужек, это кадр из жизни двух обычных аргентинцев: один, лежа, смотрит ввысь, в пустоту, а другая с тревогой вглядывается в его глаза. И в изображении этой «любовной идиллии» снова видится тревога творца картины за человеческие судьбы. Национальные пейзажи и образы преобладают в работах Кастаньино, однако он не увлекается фотогеничностью натуры, он создает галерею типов. «Женщина из Неукена», «Житель побережья» и т. д. — остро ощутим здесь социальный подтекст. Ни жизнь, ни художник не заставили этих полунищих людей склонить головы, молить о жалости к ним...

Кастаньино - мыслителю свойственны психологизм и социальная символика. Кастаньино—художнику широкого стилевого диапазона — свойственны стремление к гармонии и особая стройность композиции, идущие, как он сам говорит, от его архитектурной «закваски». Наиболее отчетливо это выражено в графике. Графика в период зрелости особенно привлекает художника. Среди многочисленных графических работ Кастаньино самые популярные — рисунки пером (1962 г.) на темы классической аргентинской поэмы «Мартин Фьерро» Х. Эрнандеса (1834—1886). Эти иллюстрации, ставшие alter ego поэмы, не только оценены искусствоведами, но и завоевали любовь аргентинцев. По-настоящему зримым стал их популярнейший литературный герой, мудрый и мужественный гаучо, восставший в прошлом веке против жестокого произвола власть имущих. Любопытно, что когда поэма Эрнандеса выходила в свет (1872—1877), выпуски «Мартина Фьерро», по свидетельству литературоведа Р. Джусти, продавались десятками тысяч экземпляров — вместе со спичками и хозяйственными товарами. Едва ли не то же самое произошло в наше время с альбомом репродукций рисунков Кастаньино к «Мартину Фьерро»: изданный тиражом в 400 тысяч экземпляров (1962), он разошелся чрезвычайно быстро. «Ни одна латиноамериканская книга не выдержала столько изданий и не получила столько восторженных отзывов от национальной и иностранной критики»,—пишет Р. Джусти о «Мартине Фьерро», который почти за 100 лет «существования» переиздан около сорока раз. Однако именно последние издания с иллюстрациями Кастаньино сделались предметом охоты библиофилов. Произведение Эрнандеса — трагическая стихотворная повесть о судьбе большинства аргентинских крестьян конца XIX века, когда вольные гаучо, сражавшиеся против испанского ига, превращались в эпоху капитализации Аргентины в бездомных

**Пытка.**

пеонов и солдат. Современное произведение Кастаньино — графические фрагменты этой повести, рисунки-протесты против необратимой трагедии капиталистического мира. Чем по существу отличается изображение «распятого» на земле Мартина Фьерро от картины распятого на кресте вьетнамца? Кастаньино сумел передать в своих работах именно ту мысль, которую выразил Эсекиэль



Тюрьма.

Мартинес Эстрада в исследовании «Смерть и воскрешение Мартина Фьерро» (1948): «Мартин Фьерро не человек, это класс, раса, почти целый народ, борющийся против высших классов нашего общества, притесняющих его; это протест против несправедливости; это сатирический вызов тем, кто хочет диктовать и править страной, не зная нужд народа...» Сын скромного каретника, родившийся и проведший детство в пампе провинции Буэнос-Айрес, Кастаньино знает быт и жизнь гаучо, прежних и современных. Но и в иллюстрациях к «Мартину Фьерро» главное для него — типическое обобщение, социальная оценка явления. Лучший пример тому — его известнейший рисунок «Портрет Мартина Фьерро» (перо), который художник, к слову сказать, сделал «на одном дыхании», всего за полтора часа. Символ непокорного, гордого мученика-борца. Не изменяя духу далекой эпохи, но и не подчеркивая этнических деталей, Кастаньино-иллюстратор очень современен. И в этих рисунках большого аргентинского графика и живописца Хуана Карлоса Кастаньино—мысль гуманиста, и здесь все та же тревога, все та гордость за человека.

**М. БЫЛИНКИНА**

**«И мой храбрый сотоварищ умер на моих руках» (из поэмы «Мартин Фьерро»)**

НАШИ ГОСТИ

# ЕЩЕ ОДНА ВСТРЕЧА

В середине пятидесятых годов состоялась первая встреча читателей «Иностранной литературы» с Генрихом Бёлем. Тогда на страницах журнала появился его рассказ «Молчание доктора Мурке». И вот теперь, четырнадцать лет спустя, Генрих Бёль, когда его спросили, какие из созданных им творений наиболее близки ему самому, ответил:

— Пожалуй, короткие рассказы — «Молчание доктора Мурке», «В долине грохочущих копыт»...

Это признание, сделанное в беседе с сотрудниками редакции, гостем которой не впервые был Генрих Бёль, показалось неожиданным. Думалось, писатель назовет один из своих романов, быть может, самый последний — «Глазами клоуна». Кстати сказать, дня за два до того, как состоялась беседа, Бёль присутствовал на спектакле, поставленном по этому роману театром имени Моссовета; актеры и зрители тепло приветствовали его, как старого знакомого. Он и был для многих из них старым знакомым: ведь его книги издавались в нашей стране сорок раз общим тиражом в 2 миллиона 177 тысяч экземпляров.

Бёль не объяснил, почему ему больше по душе созданные им произведения «малого» жанра. Он только добавил, что для него, как для художника, не существует альтернативы: форма или содержание; в наличии такой альтернативы он видит опасность для литературы.

«Молчание доктора Мурке» и «В долине грохочущих копыт» совершенно не похожи друг на друга, хотя обоим рассказам в полной мере свойственна гармония формы и содержания. Первый из них, как помнят читатели, гротескный, а второй, на русский язык не переведенный, трудно определить одним словом: он дышит романтикой юности — отсюда, между прочим, и его необычное заглавие,— но это романтика, запечатленная реалистически. Не потому ли рассказ «В долине грохочущих копыт» так дорог Бёлю, что его герои — подростки, им обоим, мальчику и девочке, по четырнадцать лет? И писателю явно хочется защитить их, иногда от самих себя, чаще от окружающих с их мещанской ограниченностью, а еще и от самого страшного — от того, что символизирует собой пистолет, по субботам старательно начищаемый отцом мальчика, воевавшим при Гитлере.

Все, что создано Бёлем, настолько связано между собой сложившимся и устоявшимся отношением к поэзии и к искусству, что нелегко догадаться, отчего он, хотя бы и среди коротких рассказов, выделил эти два,— так же, как не угадаешь, почему он, чьи произведения не раз экранизировались без его личного участия, стал одним из создателей фильма, сделанного по рассказу «Не только под рождество» [1]. Он предпочел в случае неудачи самому нести ответственность — так Бёль в беседе объяснил свой поступок, но это не объяснение сделанного им выбора. Говоря о фильме, писатель бросил реплику, которая, по всей вероятности, может служить хотя бы одним из ключей, позволяющих открыть секрет глубокого смысла сложного произведения. К концу фильма, как и в конце рассказа, в ритуале ежевечерне повторяющегося рождественского праздника участвуют манекены. А люди, все-таки присутствующие на этом затянувшемся празднике, по словам Бёля, «мертвее мертвых ку-

[1] См. «Иностранную литературу» № 6, 1959.

кол». Душевно мертва и хозяйка дома, которая криком кричит, если хотя бы один вечер не увидит розовощекого ангела на верхушке рождественской елки, шепчущего, как ей кажется, слово «Мир!». Не стремится ли писатель показать, что все, что удовлетворяется иллюзией мира и благополучия на земле, мертвее мертвых? И случайно ли, что рассказ, действие которого относится к первым послевоенным годам, в фильме осовременен? Судя по тому, как Бёль делился впечатлениями от работы над фильмом, это осовременивание закономерно.

Писатель говорил о разном, ни на чем подробно не останавливаясь, будя мысль своих слушателей. Речь шла и о различных поколениях современных западногерманских писателей: к первому послевоенному — точнее, вошедшему в литературу после войны — в числе других принадлежит он сам; ко второму, например, Гюнтер Грасс, лучшим произведением которого Бёль до сих пор считает «Жестяной барабан», к третьему — литературная молодежь. Речь шла и о западногерманской молодежи вообще, ее беду писатель видит в том, что она предпочитает мыслить вне истории. Бёль упомянул о Розе Люксембург, чья трагическая гибель, по его мнению, нарушила преемственность исторических традиций немецкого народа, в которой нуждается молодежь.

О нарушении преемственности Бёль говорил и по другому поводу. Почти все большие писатели Германии после прихода Гитлера к власти ушли в изгнание. Там они создавали антифашистские произведения, которые читались во всех странах мира, кроме их родины. Известные миру имена были пустым звуком для молодых немцев, чья юность началась в годы нацизма. И когда фашистскому режиму пришел конец, молодежи предстояло, заполняя брешь в своем сознании, заново осваивать весьма существенную часть современной немецкой литературы. А это, как сказал Бёль, не так-то просто.

Следует добавить, что это оказалось особенно сложным в ФРГ и что Генрих Бёль, помогая заполнить брешь, еще в 1964 году написал доброжелательную статью о романе Анны Зегерс «Транзит», созданном в эмиграции.

Генрих Бёль не только отвечал на вопросы, но и спрашивал. Его живо интересовала сегодняшняя русская литература, ее молодая поэзия и проза, ему хотелось услышать о новых книгах, об их тематике и художественном своеобразии. Вместе с тем в беседе был затронут вопрос и о классике, как русской, так и немецкой. Телевидение Кёльна, рассказал Бёль, проводит цикл передач под названием «Писатель и его город», для этого цикла он написал сценарий «Достоевский и Петербург». Работая над сценарием, Бёль посетил в Ленинграде места, связанные с жизнью и творчеством Достоевского; его водил по этим местам внук писателя А. Ф. Достоевский, с его помощью Бёль воскресил в своем воображении атмосферу старого Петербурга, по которому ходил Раскольников.

В беседе участвовала и Аннамария Бёль, жена писателя, переводчица с английского. За последние годы в ФРГ вышло несколько американских книг, переведенных супругами совместно. Генрих Бёль хорошо знает американскую прозу XX века, особенно близок ему Уильям Фолкнер.

Писателя, между прочим, спросили, какая из недавно прочитанных им книг доставила ему удовольствие. Бёль сказал, что давно уже разучился читать как обыкновенный читатель; беря в руки книгу, он всегда смотрит, как она сделана. На вопрос: «Неужели всегда?» — он ответил, что просто так, для удовольствия, перечитывает Теодора Фонтане. И тут же, противореча этому «просто так», добавил: «Даже в его чистой прозе столько пыли!»

Это было сказано в конце беседы, а в начале Бёль произнес фразу, значение которой трудно переоценить.

— Все, что публикуется, ангажировано,— сказал он.

Если ангажированность — слово, которое часто употребляют и которым нередко злоупотребляют,— перевести как внутреннюю приверженность чему-то, как потребность что-то отстаивать и чему-то сопротивляться, то из сказанного следует многое, хотя бы отрицание возможности так называемого «чистого искусства».

Сам Бёль в создаваемых уже третье десятилетие романах и рассказах, посвященных судьбам его соотечественников в военное и послевоенное время, отстаивает все, чем жив человек. И сопротивляется умертвлению этого живого: не только войне, о которой никогда не забывает, но и мнимомирным условиям существования, сложившимся на его родине и убивающим человеческую душу.

«Все написанное,— сказал Бёль в одной из своих статей,— писалось против смерти». Разумеется, это суждение относится не ко всем, кто именует себя писателями. К Генриху Бёлю оно применимо в полной мере.

**Л. СИМОНЯН**

## СНОВА В ИСПАНИИ

**Хесус Искарай. Развалины крепостной стены. Перевод с испанского В. Виноградова и Р. Сашиной. Послесловие И. Тертерян. Редактор Л. Борисевич. Москва, «Прогресс», 1969. 272 стр.**

Жаркий, ослепительный полдень. Белая пыльная площадь плавится от полуденного солнца. Медово и вкрадчиво вещает репродуктор: «Ефрейтору Рохелио Масу, проходящему военную службу в Касересе, от его подружек Марухиты и Пили. Вспоминаем о тебе с любовью, хотим поскорее с тобой увидеться. Шлем привет и подарок от всей нашей компании...» Ошалевшие от жары и скуки завсегдатаи бара Браулио окружили несчастного Метеора — длинного юнца с лицом, усеянным прыщами,— а тот тщетно пытается защитить от солнца купленное для матери мороженое. Мороженое тает и капает, Метеор тоскливо озирается, а клиенты Браулио наслаждаются привычным спектаклем... Жара, жара, всюду палящее солнце... Время как будто остановилось в этой стране за колючей проволокой, остановилось с последними выстрелами республиканцев.

Солдаты Республики спят вечным сном в каменистой испанской земле, спят, сраженные в боях, замученные в застенках, расстрелянные на тюремных задворках. А живые? Им остались муки бессилия и разочарования, им надо было разучиться дышать, разучиться говорить и надеяться. Спящее царство генерала Франко, охраняемое ефрейтором Рохелио.

Такой предстала провинциальная Испания середины 60-х годов перед молодыми эмигрантами-коммунистами, героями романа Хесуса Искарая «Развалины крепостной стены», вернувшимися на родину после продолжительного пребывания во Франции. И надо было пожить здесь не день и не месяц, чтобы услышать голоса — пусть пока еще очень тихие,— напоминающие о свободе, увидеть, что борьба за дело Республики — невидимый и трудный бой — продолжается.

В эмиграции, в Париже, все представлялось гораздо проще. Казалось, нужны только сильная воля, страсть, готовность к действию... И поэтому бесконечная усталость друзей их юности, когда-то неуемных оппозиционеров (теперь один из них женится на богатой вдове, а другие травят Метеора), пропасть непонимания, отделяющая их от родителей (все те же процессии с пресвятой девой, все та же теология и та же поэзия Кеведо в качестве хлеба духовного), какое-то всеобщее безразличие, охватившее провинциальную интеллигенцию, неведение и нежелание ведать — все это стало серьезным испытанием для бывших эмигрантов. И не пребывание на чужбине, а возвращение, встреча с родиной, стало для них пробным камнем.

Всем им — и пианисту Висенте, и его подруге Марилус, и Вальдесу, и его жене, французской коммунистке Ивонне, и Ногерасу — не слишком сладко жилось в Париже: мыли тарелки в третьеразрядных ресторанах, грузили книги, развозили белье по заказчикам, даже «пели» «народные испанские песни» в тех же ресторанах за ужин и несколько грошей. Главным для них тогда было сохранить себя, свои идеалы и свою решимость. Некоторым это оказалось не под силу.

И все же не полуголодная, порой чреватая оппортунизмом бедность задавала тон в маленьком кружке эмигрантов, душой которого, стержнем, руководителем был старый республиканец Ихинио. В кружке

много говорили и спорили об Испании, такой близкой и в то же время такой далекой, о том, какая она и какой должна стать, строили планы возвращения и дальнейшей работы, уже там, на родине.

В Париже молодые испанские интеллигенты в общем-то смутно представляли себе истинное положение вещей во франкистской Испании.

Найти свое место на родине — вот основная и общая проблема, вставшая перед героями Искарая, проблема чрезвычайно актуальная для испанской эмиграции начала 60-х годов, когда появилась возможность возвращения на родину. Жить и работать предстояло не в Испании, созданной в их представлении неведением и ностальгией, а во вполне реальной стране — тоталитарном государстве «всеобщего благоденствия»,— для этого надо было узнавать эту страну заново, порой жертвуя многими личными планами и замыслами.

За последние годы в испанской литературе все чаще и отчетливее звучат «мотивы Республики». Продолжение дела, завещанного республиканцами, борьба за свободную, прогрессивную Испанию в сегодняшней политической ситуации — вот тема, волнующая современную испанскую литературу. Возвращение из эмиграции и самоопределение на родине — один из ее аспектов. Писатели (как, например, Хуан Гойтисоло в вышедшем на русском языке романе «Особые приметы» [1]) стремятся дать свое решение этой большой и драматичной проблемы. Многие из них сами вот уже долгие годы находятся вдали от родины, и конфликты, встающие перед героями их романов,— это нередко их собственные конфликты, которые им еще предстоит разрешить.

Коммунист Хесус Искарай покинул Испанию вместе с последними республиканскими частями. Вот уже больше двадцати лет он работает в газетах и журналах, издаваемых Испанской коммунистической партией в эмиграции. Ему не раз приходилось нелегально пробираться в Испанию для организации в Мадриде подпольного издания центральной газеты «Мундо обреро». На материале собственных впечатлений, личного опыта писателя, побывавшего в одном из партизанских отрядов в горах Испании, написана его книга «30 дней с партизанами Леванта».

Роман «Развалины крепостной стены» издан в Париже в 1965 году. В том же году в Мексике была опубликована его небольшая повесть «Низина». Для романа характерна присущая Искараю — прежде всего журналисту по принципу видения жизни и ее творческого воссоздания — документальная манера изложения. То, что выходит за пределы основной проблемы — интимные переживания, настроения, быт персонажей,— все это дается как бы между прочим, не останавливает на себе внимания писателя и, очевидно, не представляется ему нужным.

И тем не менее его герои — живые люди: Вальдес не может забыть обманувшую его возлюбленную; Марилус приходит в отчаяние от благочестивой жестокости матери; тяжело болен Ихинио, которому, вероятно, и умереть суждено на чужбине. Все они прежде всего — коммунисты, борцы, и их самое большое счастье и самое большое горе — их «трагическая страна», их Испания.

Постепенно проходит растерянность первых дней возвращения на родину, и Вальдес и его друзья начинают замечать, что не так уж крепка и неприступна крепостная стена франкистского режима, отделяющая Испанию от остального мира, что то тут, то там она обрушивается и осыпается. Обманчива сонная тишина «умиротворенного» франкистского царства.

**Т. ГОНЧАРОВА**

[1] Роман был опубликован в «Иностранной литературе» №№ 8—9 за 1967 год.

## DE PROFUNDIS КУРТА ВОННЕГУТА

**Курт Воннегут. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. Послесловие Р. Орловой. «Новый мир» №№ 3—4, 1970.**

Шестого августа 1945 года на Хиросиму упала бомба, уничтожившая восемьдесят тысяч человек. Три дня спустя такая же судьба постигла Нагасаки.

Эмоциональный отклик на событие предшествует его рациональному анализу. Когда причудливое и неотступное ощущение, в котором сливалось все: и облегчение (наконец-то наступил долгожданный мир!) и скорбь о близких, не вернувшихся с войны, и смутный ужас при мысли о том, что случилось в двух далеких японских городах,— когда это ощущение чуть притупилось, выявилась настоятельная по-

требность в осмыслении исторического, социального, нравственного опыта войны.

Одна за другой стали появляться книги, рассказывающие, каким потрясением была война для поколения молодых американцев начала 40-х годов, которые сражались в этой войне, лишь к самому концу ее осознав, что они были не только участниками борьбы против фашизма, но и пушечным мясом для генералов Пентагона, строивших далеко идущие политические планы.

В «Нагих и мертвых» Нормана Мейлера и «Отсюда — в вечность» Джеймса Джонса — книгах, которыми заявило о себе поколение, пришедшее в литературу с фронтов второй мировой войны, потрясенная Америка открывала для себя правду о войне и о фашизме, который грозил стать реальностью и в этой стране.

Определяющей чертой американского романа о войне стала безысходность. Происходившее в Европе в годы фашистской оккупации не укладывалось в сознании. Но все-таки это была «боль других»; а для американцев, чья жизнь на какое-то время тесно переплелась с армией, главным было понять, почему на Гвадалканаре и в Арденнах рухнули их юношеские представления о героическом, о долге, о демократии, которую необходимо защищать. Почему американская армия оказалась машиной, подавляющей в человеке все человеческое, делающей его безликим автоматом, который не волен распоряжаться своими действиями и своей судьбой?

Эти вопросы возникают в американском военном романе постоянно; для Курта Воннегута, чья книга «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» обратила на себя в прошлом году внимание читателей в США, они столь же актуальны, как были двадцать лет назад для Мейлера и Джонса. Есть, однако, существенная особенность, отличающая такие книги, как роман Воннегута или «Уловка-22» Джозефа Хеллера (1961) от «Нагих и мертвых» и «Отсюда — в вечность».

В глазах Мейлера и Джонса первых послевоенных лет, армия, которую они знали не по книгам, а по собственному опыту, была средоточием античеловеческого начала в американской жизни, а война — его наиболее откровенным проявлением. Настоящая, очеловеченная жизнь была возможна только за пределами армии, в условиях мира; и какими бы горькими ни были их книги, какой бы вовеки недостижимой ни оставалась такая жизнь для большинства их героев, сама ее возможность не исключалась.

Для Курта Воннегута, который тоже прошел войну, попал в немецкий плен и был свидетелем разрушения Дрездена англо-американской авиацией, война — уже не проявление каких-то жестоких, но не единственных начал американской жизни. По своей сути жизнь одинакова и в дни войны и в дни мира, и в армии и вне армии. В книге Воннегута война — это никем не осознанная истинная реальность, которая пронизывает всю ткань бытия. Когда война принимает зримые формы и люди становятся ее непосредственными участниками, происходит не какой-то резкий сдвиг бытия, но лишь прояснение его сущности. Выходят на поверхность и делаются очевидными для всех таящиеся в глубинах американского общества и человеческого сознания жестокость, отчужденность, абсурдность стремлений и взаимоотношений, непреодолимое психическое смещение мира.

В одной из рецензий на книгу Воннегута, появившихся в США, говорилось, что каждое поколение, пережившее психологический шок войны, должно создать свою «Бойню номер пять». Быть может, это и не лишено оснований; во всяком случае, у романа Воннегута в литературе США есть прямой предшественник — «Огромная камера» Э. Э. Каммингса (1922), где впервые в духе «висельного юмора» война была изображена как тотальная бессмыслица и жестокий фарс.

Однако «Бойня номер пять» помечена 1969 годом — и это деталь немаловажная. Разумеется, нельзя проводить прямые параллели между книгой Воннегута, полной отголосков событий двадцатипятилетней давности, и тем, что происходит в наши дни во Вьетнаме. Но нельзя не видеть и того, что в «Бойне номер пять» в гротескных, на грани шаржа формах запечатлелась духовная атмосфера Америки самых последних лет — страны, в которой потенциал насилия возрос в чудовищной степени, питая своего рода «катастрофическое мироощущение» таких не забывших уроки минувшей войны писателей, как Курт Воннегут.

Не случайно в вводной главе, где Воннегут рассказывает, как родился у него замысел создать роман о разрушении Дрездена, промелькнула парадоксальная, на первый взгляд, фраза: «В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима». Мы подходим здесь к главной идее книги Воннегута, точнее сказать, ощущаем ее ведущую тональность. Клод Изерли сошел с ума, когда понял масштабы совершенного его руками преступления. Американские пилоты, рассуждает Воннегут, сбрасывавшие февральской ночью 1945 года бомбы на Дрезден, *знали,* что стратегический объект — мост через Эльбу — не может быть настолько важен, чтобы разрушать огромный город, *знали,* что идет бессмысленное в военном отношении и бесчеловечное по сути истребление десятков тысяч людей. Немцы, расстреливавшие на окраинах Дрездена узников концлагерей, бежавших во время очередного налета, *знали,* что война проиграна, что воодушевлявшая их когда-то гитлеровская идеология обанкротилась, что на месте Дрездена еще долго будут громоздиться одни руины. Знали — и тем не менее бомбы продолжали падать, а залпы немецких патрулей не умолкали.

С точки зрения исторической, такое уравнивание неправомерно. Воннегуту можно было бы возразить, что пилоты американских ВВС оставались бойцами антигитле-

ровской коалиции, а немецкие солдаты продолжали служить вермахту, что и сами летчики, бомбившие Дрезден, не осознавали тогда чисто политического, а не военного характера этой акции. Ужас происходившего в Дрездене заслонил от автора политический смысл разрушения этого города, когда судьба войны была давно решена. De profundis, крик, донесшийся из глубины ада,— вот ощущение, остающееся от книги Воннегута.

Как и у Хеллера в «Уловке-22», только, пожалуй, в еще более острой форме, у Воннегута выступило противоречие между глубоким отвращением к войне, как таковой,— и попыткой представить ее трагический абсурд непреложной закономерностью всей современной цивилизации; между радикальным неприятием стихии разрушения и жестокости — и принципиальным нежеланием принять в расчет социальную обусловленность войны, характер целей, к которым стремятся противники.

Война даже не отвратительна, поскольку не может быть отвратительным то, что закономерно и неизбежно возникает из самой природы человека и общества. А именно такой выступает война в книгах современных американских романистов. Эти книги — образец критики самой жизни, а не критики социальных условий. И в этом смысле они — знак времени, ибо у того же Воннегута отчетливо выразилось то разочарование в жизни, которое свойственно сейчас, в годы Вьетнама, миллионам американцев.

Один из таких американцев, Билли Пилигрим — персонаж, подчеркнуто лишенный индивидуальных психологических качеств, своего рода общеличность, «единица статистики»,— стал героем «Бойни номер пять». Как и автор, Билли прошел через плен и пережил ад той ночи, когда с лица земли исчез Дрезден. Действие свободно перемещается из современности в прошлое и обратно, реальное соседствует с фантастическим. Двуплановость — не только композиционный, но и содержательный компонент романа Воннегута.

В самом построении книги выражена мысль о расщепленности бытия на всеми осознаваемый, но по сути иллюзорный «мир» и никем не осознанную, но по сути всепроникающую «войну».

Роман Воннегута в художественном отношении представляет собой реализацию метафоры, положенной в основу его идейной конструкции. С одной стороны — перед нами влачащий скучное существование где-то в американской провинции сорокапятилетний оптик, которым время от времени овладевают мучительные воспоминания о далекой дрезденской ночи в феврале 1945 года. С другой — человек, обитающий (и для самого себя вполне реально, хотя все близкие считают Билли помешанным) на мистической планете Тральфамадор, куда он попал при весьма загадочных обстоятельствах: в день свадьбы его дочери Билли похитила спустившаяся к Земле с этой планеты летающая тарелка.

С одной стороны — человек, которому только прошлое сообщает подчас мысль, что все вокруг чревато взрывом нерегулируемого насилия. С другой — провидец, открывший на Тральфамадоре то, что кажется ему истинной тайной бытия: война, враждебность всех всем — вот некое подспудное состояние всякого человека, фундаментальный принцип всякого общества.

В книге Воннегута проступают очертания реального действия, которое могло бы составить сюжет «обычного» романа о войне. Молодой американец, призванный на фронт и ставший помощником полкового капеллана. Тяготы и лишения армии. Бои где-то во Франции. Плен. Эшелон с голодными, заросшими грязью американскими солдатами, тянущийся под бомбежками через всю Германию. Концлагерь на задворках Дрездена, разместившийся в опустевших за отсутствием работы скотобойнях. Невысокий забор, окруживший бойню номер пять, где расположили группу, в которую попал Билли Пилигрим. В минуту краткого затишья у этого забора будет расстрелян немолодой школьный учитель-американец за то, что зачем-то подобрал на развалинах рухнувшего дома чайник, а вслед за ним — поляк — за то, что прятался в подвале, принадлежавшем его возлюбленной-немке.

Память о Дрездене сохранится у воннегутовского героя навсегда. Билли освобождают из плена, он возвращается домой, женится, приобретает оптическую мастерскую. Однажды терпит катастрофу самолет, в котором он летел по делам в Монреаль, и только Билли удается спастись. Однако после сотрясения мозга его все чаще посещают видения прошлого, и вспоминается всегда одно и то же: Дрезден, гибнущий под бомбами; груды щебня, на которых валялся аккуратный плакатик: «Когда будешь выходить из нужника, он должен быть таким же чистым, как когда ты в него вошел»; потерявшие направление улицы, горящие трупы, Эдгар Дерби, бессмысленно двигающийся с чайником в руке навстречу патрулю, кровь, кровь...

Война для Билли Пилигрима оказалась похожей на крестовый поход детей — это был поход обреченных. И сам Билли — точно повзрослевший годами, но не духом участник такого похода. Он все так же по-детски недоумевает: почему жизнь была непоправимо исковеркана этим «крестовым походом»?

Вот здесь и вступает в действие тот механизм свободной от канонов жанра, от хронологической и сюжетной последовательности прозы, который позволил Воннегуту объединить в едином временном отрезке прошлое, настоящее и вымышленное, придав через проникающее каждый эпизод книги сопоставление современной Америки то с Дрезденом, то с несуществующим Тральфамадором обобщенное значение своему художественному анализу.

Дрезден — это война в ее наглядном проявлении. Америка в изображении Воннегута — страна, где шаткий мир таит вечную

угрозу всеобщей резни. Тральфамадор — как будто бы планета разума, на которой не бывает войн. Но какие бы удивительные открытия ни ожидали здесь воннегутовского героя, одно оказалось для Билли вполне привычным и на Тральфамадоре: человеческая жизнь на этой планете была столь же абсурдной, как и на Земле.

То, что на Земле проявлялось как вспышки опустошительных войн, на Тральфамадоре горит всегда ровным, холодным пламенем. А ведь «если бы войны даже не шли на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная матушка-смерть». Не физическое умирание — смерть в душе, смерть идеала и надежды, беспомощность перед абсурдом, который не скроет даже развитая до совершенства способность юмористически воспринимать все происходящее вокруг. Таков итог длительных путешествий Воннегута и его героя во времени.

Отблески Дрездена и Хиросимы на страницах книги Воннегута так явственны, словно бы роман писался по свежим следам этих событий. В интервью после выхода «Бойни номер пять» Воннегут сказал, что готовился к этой книге много лет, возвращаясь памятью к пережитому в Дрездене на исходе войны. Вводная глава романа свидетельствует, что автор не удовлетворен своим творением. «Эта книга не удалась,— говорит Воннегут,— потому что ее написал человек, обратившийся в соляной столп».

Книгу Воннегута нелегко читать: мешают ее разорванность, хаотичность, подчас — и композиционная бессвязность. Еще больший ущерб наносит роману предельный пессимизм автора: концепция войны как тотальной бессмыслицы, как проявления истинной — бесчеловечной — сути современной цивилизации — не может быть механически применена к войне против фашизма, сколь бы достойными и вызывающими сочувствие ни были антимилитаристские побуждения, двигавшие пером Воннегута.

Однако сама безнадежность, пронизывающая «Бойню номер пять», по-своему непритворна. Она показательна для понимания духовного климата современной Америки, для понимания настроений, столь распространенных в этой стране сейчас, через двадцать пять лет после победы.

**А. ЗВЕРЕВ**

## ПИСАТЬ СТИХИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ!

**Дю Белле и Ронсар. Стихи. Перевод с французского, вступительная статья и комментарий Вильгельма Левика. Москва, «Детская литература», 1969. 175 стр.**

«Писать стихи по-французски!»—так назвал В. Левик свою вступительную статью к сборнику Дю Белле и Ронсара. Это название перекликается со словами, поставленными эпиграфом к этому изданию: «Идет он подвига неториою тропой» (Дю Белле).

Я бы не назвал статьей вступительный очерк к книге. Это живой, взволнованный рассказ о времени и о людях, которые начертали свои имена во времени. Одна из сложнейших эпох — эпоха становления французской национальной культуры — осознана не в отвлеченных понятиях, а в полнокровных, ощутимых образах. Надо было глубоко пережить творчество каждого из этих поэтов, чтобы так рассказать о трагической во многом, но вместе с тем и величавой судьбе зачинателей современной (в широком смысле) французской поэзии, которые встают перед нами во весь свой рост не как призраки, ушедшие в историю, но как живые люди, близкие современному читателю.

Оба поэта были реформаторами французского языка, оба пришли в эпоху его безвременья, когда многие французские поэты писали по-латыни, считая свой родной язык слишком бедным и невыразительным. Но не только язык обогатили и облагородили Дю Белле и Ронсар, они ввели во французскую поэзию множество новых форм, обогатили ее строфику, а главное выразили новые чувства и мысли, положившие конец средневековому мышлению,— чувства и мысли людей Ренессанса.

Имя В. Левика давно известно всем, кто любит поэзию. Подписанные этим именем переводы читаются с доверием ко вкусу и дарованию переводчика. Ведь это он одарил нас своеобразной антологией «Из европейских поэтов XVI—XIX веков», по-новому прочитал таких «труднопереводимых» поэтов, как Гейне и Бодлер, по существу, открыл русскому читателю лирику Камоэнса и большого австрийского поэта Н. Ленау. Переводческая деятельность В. Левика высоко оценена не только у нас, но и в зарубежных странах, в особенности социалистических.

Диапазон В. Левика широк. Он познакомил русского читателя и с классиками и со многими современными поэтами. Петефи, Томпа, Янош Вайда, Арань — такова поэтическая Венгрия В. Левика. Будучи одним из

редакторов антологии польской поэзии, он сам перевел Мицкевича, Словацкого, Выспянского, Броневского, Ивашкевича, Тувима. От Гете, Шиллера, Бюргера до поэтов антигитлеровского Сопротивления в Германии, до крупного мастера пролетарской поэзии И. Бехера — такой предстает поэтическая Германия в переводах В. Левика.

Среди заслуг Вильгельма Левика — открытие нашему читателю поэзии Дю Белле и Ронсара. «Лишь повседневное всегда воспеть готов, я — худо ль, хорошо ль — пишу стихи на случай» — стихотворением с такими строками, я бы сказал программными, открывается книга. Почти неизвестный у нас Дю Белле (1522—1560) предстает как один из глашатаев победоносного художественного метода реализма. «И, непричесанный, без фижм и парика, незнатный именем, пусть он войдет в века наперсником души и дневником сердечным»,— это говорит о своем стихе не только Дю Белле, это сумел точно, адекватно выразить его русский переводчик.

Стихи Дю Белле, как уже было сказано, не антикварная ценность, а глубокие, страстные раздумья человека, исповедующего высокие нравственные идеалы, умеющего судить себя самым строгим судом, жаждущего истины и справедливости.

Дю Белле был большим мастером сонета. Вот один из шедевров французского поэта в переводе В. Левика:

Я не люблю двора, но в Риме я
придворный.
Свободу я люблю, но должен быть рабом.
Люблю я прямоту — льстецам открыл свой
дом;
Стяжанья враг, служу корыстности
позорной.

Не лицемер, учу язык похвал притворный;
Чту веру праотцев, но стал ее врагом,
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все
кругом;
Друг добродетели, терплю порок
тлетворный.

Покоя жажду я — томлюсь в плену забот,
Ищу молчания — меня беседа ждет,
К веселью тороплюсь — мне скука ставит
сети.

Я болен, но всегда в карете иль верхом,
В мечтах я музы жрец, на деле — эконом,
Ну можно ли, Морель, несчастней быть
на свете!

Разве это стихотворение представляет лишь историко-литературный интерес? Разве не жжет сердце воплощенная в нем живая боль? Не поражает своеобразная «диалектика души»?

Ронсар, живший в те же годы, что и Дю Белле, но на четверть столетия переживший своего друга (1523—1585), был поэтом совершенно другого художественного склада. Искусство Левика как переводчика в том и сказалось, что, объединив в одной книге двух сверстников, он сумел воссоздать своеобразие каждого из них. Дю Белле захватывает нас глубиной своих раздумий, горечью всеобщей и личной неустроенности бытия. Ронсар пленяет изяществом стиха, красотой жизнерадостных образов, которые обращены непосредственно к чувству. Вот как говорит с русским читателем Ронсар в переводе В. Левика:

Плененный в двадцать лет красавицей
беспечной,
Задумал я в стихах излить свой жар
сердечный,
Но, с чувствами язык французский
согласив,
Увидел, как он груб, неясен, некрасив.
Тогда для Франции, для языка родного,
Трудиться начал я отважно и сурово,
Я множил, воскрешал, изобретал слова,
И сотворенное прославила молва.
Я, древних изучив, открыл свою дорогу,
Порядок фразам дал, разнообразье слогу,
Я строй поэзии нашел — и волей муз,
Как Римлянин и Грек, великим стал
француз.

Возвышенный взгляд на мир человеческих чувств, и в том числе на великое и бессмертное чувство любви, как бы пронизывает собой всю лирику Ронсара.

Но кто отверг любовь — несчастный
человек!
Отвергнут музами он будет сам навек,
Они не одарят его искусством слова,
Он к хороводу их не будет приобщен,
И влагу зачерпнуть уже не сможет он
Для губ нелюбящих из родника святого.
Я сам свидетель в том, и ты, мой друг,
заметь:
Едва хочу богов иль смертного воспеть,
Немеет мой язык, мне слово не дается.
Когда ж любви хвалу творят мои уста,
Развязан мой язык, проходит немота,
И песня без помех сама из сердца льется.

Общеизвестно, что право на полноценное существование обретает только то переводное произведение, которое становится явлением отечественной поэзии. Когда мы читаем строки: «Не позабуду этот блеск прекрасный двух карих глаз, двух солнц души моей», когда входит в нашу душу чувство, выраженное словами: «Лишь тихий вздох, прорвавшийся случайно, лишь грусть моя, лишь бледность говорит, как я люблю, как я терзаюсь тайно», то мы не только приобщаемся к прекрасному миру чувств и волнений французского поэта, жившего четыреста лет тому назад,— мы читаем прекрасные русские стихи.

В. Левик умеет сохранить свободу стиха и в то же время воспроизвести музыкальное звучание подлинника. Примечательна в этом смысле строфа:

Мой боярышник лесной,
Ты весной
У реки расцвел студеной,
Будто сотней цепких рук,
Весь вокруг
Виноградом оплетенный.

В заключение следует сказать, что стихи Дю Белле и Ронсара выпущены издательством «Детская литература» в серии «Поэтическая библиотека школьника» и тем самым вошли в обиход школьного чтения наряду со стихами лучших русских и советских поэтов, уже появившимися или появляющимися в той же серии

Искусство перевода снова сыграло свою омолаживающую роль, благодаря которой произведения литературы, уже стареющие даже у себя на родине, потому что стареет и выходит из употребления язык, на котором они написаны, обретают новую жизнь, когда их воссоздает в другой стране другой мастер — на другом, но современном языке.

**ГРИГОРИЙ ЛЕВИН**

## МУЖЕСТВО И ГОРЕЧЬ АНУЯ

**Жан Ануй. Пьесы. Том 1—2. Составление В. Маликова и Ю. Яхниной. Переводы с французского под редакцией Е. Бабун. Послесловие Л. Зониной. Москва, «Искусство», 1969.**

Два томика пьес Жана Ануя вызывают у меня, режиссера, чувства особого рода. Перечитывая «Антигону», я невольно вспоминаю все творческие «перипетии» своей работы над спектаклем, который мне довелось ставить; читая «Жаворонка», «Коломбу», «Эвридику» и некоторые другие пьесы, я испытываю желание сменить письменный стол на режиссерский, мне хочется их поставить.

Я не берусь анализировать творчество этого известного французского драматурга. Л. Зонина в послесловии к двухтомнику делает это весьма серьезно и обстоятельно. Я могу поделиться своим субъективным и поэтому, очевидно, весьма односторонним ощущением драматургического мира Ануя.

Известно, что Ануй «начал свой путь драматурга с вызова буржуазному укладу, буржуазной морали». Отрицанием этого уклада, этой морали пронизано все его творчество.

Л. Зонина справедливо пишет, что «отрицание Ануя не подкреплено никаким положительным общественным идеалом». Но в этом отрицании, в нежелании успокаивать и утешать, в умении бесстрашно и порой презрительно взглянуть прямо в лицо самой неприглядной правде ощущается немалое мужество художника.

И мне начинает казаться, что эта мужественная, горькая нота должна быть камертоном всех спектаклей, которые невольно возникают в моем режиссерском сознании, или, вернее, еще в «подсознании».

Горечь, трезвость, беспощадная наблюдательность, отсутствие каких-либо романтических иллюзий — все это живет в пьесах Ануя. Самые чистые и благородные порывы его героев чаще всего приводят их к гибели. Мало того, они всегда сталкивает высокое с низменным, поэтическое с пошлым, трагическое со смехотворным. Многие его пьесы словно предостерегают людей от наивной веры в возможность счастья.

От разочарований и компромиссов чаще всего избавляет смерть. Благополучие — почти всегда сделка, отречение от самого себя.

И все-таки, несмотря на утверждение столь горьких истин, в пьесах Ануя, на мой взгляд (повторяю, это, наверное, очень субъективно), нет атмосферы отчаяния, безнадежности. Я не могу присоединиться к сетованию французского критика по поводу Ануя: «Как жаль, что этот талант, это красноречие выливаются в небытие, в умелый фейерверк, озаряющий на мгновение пустой мрак».

Мир пьес Ануя не кажется мне «пустым мраком» — его озаряет прекрасная угловатость юности, гневной и скорбной, как чистое и хмурое лицо микеланджеловского Давида. Юность — великая надежда Ануя.

Ануй часто доказывает, что твердыня, оплот всякой несправедливости — безграничность и многоликость человеческого эгоизма. Но любовь Антигоны и Гемона, Орфея и Эвридики и других юных героев Ануя возвышается над эгоизмом, горит чистейшим пламенем, в котором сгорает чудовищная пошлость жизни. Любовь — тоже великая надежда Ануя.

Еще одно, тоже чаще всего связанное с юностью,— неукротимое своенравие, почти грозное упрямство личности, неподкупность, стойкость.

Один из излюбленных мотивов Ануя — отказ от благополучия, от счастья, от покоя, от самой жизни, если ради них нужно смириться, отречься, свыкнуться, «устроиться». Две, может быть, самые прекрасные героини Ануя — Антигона и Жанна — говорят об этом в монологах, где высокая патетика удивительным и причудливым образом соединяется с великолепной иронией, с царственной насмешливостью.

«АНТИГОНА. Как вы все мне противны с вашим счастьем! С вашей жизнью, которую надо любить, какой бы она ни была. Вы, словно собаки, облизываете все, что найдете. Вот оно, жалкое, будничное счастье, надо только не быть слишком требовательным! А я хочу всего, и сразу, и пусть мое счастье будет полным, иначе мне не надо его совсем! Я вот не хочу быть скромной и довольствоваться подачкой, брошенной мне в награду за послушание. Я хочу сегодня же быть уверенной во всем, хочу, чтобы мое счастье было таким же прекрасным, каким я видела его в своих детских мечтах,— или пусть я умру...»

«ЖАННА. А я не хочу, чтобы все улаживалось... Я не хочу дожидаться вашего «со временем». Вы представляете себе Жанну, которая доживает до того, когда все уладится... Жанну, выпущенную на свободу, возможно, даже прозябающую при французском дворе на скромной пенсии?.. Жанну, все принявшую, Жанну раздобревшую, Жанну, превратившуюся в лакомку... Можете представить себе Жанну нарумяненную... Жанну, завлекающую кавалеров, а может быть, даже Жанну замужнюю?.. А я не хочу никакого конца! Особенно такого! Никаких счастливых концов, никаких концов, которым нет конца!.. Вот это настоящая Жанна, только она и есть Жанна! И не та, которая распухнет, побледнеет и станет заговариваться в своей келье или же, если ее

освободят, сумеет уютненько устроиться, не та, которая свыкнется с жизнью... Отказываюсь от отречения... их костер не пропадет зря, наконец-то и у них будет праздник!»

Эти монологи кажутся мне блистательной «декларацией прав» человеческой личности, здесь звучит, может быть, наиболее высокая нота в творчестве Ануя.

Человеческое достоинство, живущее вопреки всем страхам и всем унижениям,— самая великая надежда Ануя.

Антигона не уступает, даже когда ей самым убедительным образом доказывают очевидную житейскую бессмысленность ее поступков, ее упорства.

Уважение и сочувствие Ануя с теми, кто, подобно Антигоне, находит в себе силы сказать «нет» всем доводам так называемого «здравого смысла», и он беспощаден в изображении жалких усилий тех, кто ловит подачки, брошенные в награду за послушание.

И вот здесь, в этой точке в творчестве Ануя происходит как бы скрещение двух линий, двух традиций французской драматургии — с одной стороны, идущей от высокого рационализма Корнеля и Расина, с другой — от великого юмора Мольера.

«Антигона» считается образцом так называемой «интеллектуальной» драмы. Но я по собственному режиссерскому опыту знаю, сколько юмора, психологических подробностей, полнокровной характерности обнаруживается в строгих конструкциях этой пьесы, какая действенная динамика, театральная занимательность скрыты в ее сложных диалогах-диспутах.

Обаяние драматургии Ануя — в изящном и точном сочетании жизненного и театрального, в безупречной логике его драматургических построений.

Поэтому, очевидно, оказалось, что к «Антигоне» вполне применима традиция русского психологического театра, то, что Станиславский условно называл «театром переживания». Наверное, и в этом причина того, что в последнее время пьесы Ануя довольно широко ставятся на советской сцене. Они интересны не только беспощадностью отрицания буржуазных отношений, но и утверждением силы человеческого достоинства. Никакие, самые уродливые и трагические противоречия и условия жизни не могут унизить человека, разрушить его цельность, запятнать его чистоту. Антигона идет на казнь, Жанна всходит на костер, дикарка Тереза отказывается от безмятежного счастья. Как бы ни были горьки сценические парадоксы Ануя, лучшие его пьесы не вселяют отчаяния, они учат мужеству и достоинству.

Вероятно, эту точку зрения можно оспаривать, но я сразу же оговорился, сказав, что читаю пьесы Ануя прежде всего как режиссер, пытаясь определить, что в них станет для меня главным, для чего, во имя чего мне хочется их ставить.

**Б. ЛЬВОВ-АНОХИН**

## ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

### ПОСЛЕДНИЙ РОМАН АМАДО В. ЭРНАНДЕСА

**Amado V. Hernandez. Mga Ibong Mandaragit. Maynila, 1969.**

В о всю обложку на ярко-красном фоне — черная когтистая лапа хищника, нацеленная на мирные жилища. Так оформил последний роман известного филиппинского писателя Амадо В. Эрнандеса «Хищные птицы» его коллега по тагальской ежедневной газете «Талиба» («Страж») художник Педро Венесуэла. В основу этой книги положены действительные события, частично биографического характера. Автор «социального и политического романа», как он сам определяет его в подзаголовке, выступает не только летописцем филиппинской жизни 40-х годов, но и ее объективным критиком.

Эрнандес скончался в марте нынешнего года, не дожив нескольких лет до семидесяти. Выходец из так называемого среднего класса, он на всю жизнь связал свою судьбу с рабочим движением. В середине 20-х годов «парень из Тондо», с рабочей манильской окраины, стал профсоюзным деятелем и одновременно выступил как поэт, навсегда оставшийся верным родному тагальскому языку, хотя многие из его собратьев по перу стали писать на английском. Около десяти лет Эрнандес издавал на тагальском языке еженедельную газету «Мабухай», писал стихи о своих соотечественниках, удачно дебютировал как рассказчик. Его книги патриотических стихов «Филип-

пины» и «Коричневая кожа» удостоились высшей литературной премии довоенных Филиппин — «Премии Содружества».

С самого начала войны он присоединился к антияпонскому движению филиппинского Сопротивления, принимал активное участие в боевых действиях. В создавшейся в послевоенные годы обстановке продажности и коррупции проамериканских правителей страны, всеобщей подозрительности и доносов, чему немало способствовал достигший к этому времени филиппинских берегов дух маккартизма, Эрнандеса, бывшего в то время манильским муниципальным советником и национальным президентом Конгресса рабочих организаций, арестовали и обвинили в «мятеже против законного правительства». Последовали шесть долгих лет тюрем и концлагерей, допросов и очных ставок, каждодневных издевательств и пыток.

Тюрьма стала, по словам Эрнандеса, его «башней из слоновой кости». Несмотря ни на что он продолжал настойчиво писать. Уже в 1952 году была закончена большая поэма «Свободный народ», посвященная освободительной борьбе филиппинцев в годы второй мировой войны. В тюремной камере Эрнандес создал цикл стихов, составивший основу его лучшей поэтической книги. (Она была издана в 1961 году под названием «Клочок неба»). Там же у него созрел и замысел романа «Хищные птицы». Сразу после «условно-досрочного» освобождения в июле 1956 года Эрнандес приступил к его осуществлению. Нельзя не сказать о том, что этому освобождению во многом способствовала та широкая кампания, которую вели деятели культуры и литературы разных стран в его защиту. «Спасем Амадо Эрнандеса!» — провозгласил в 1952 году Назым Хикмет, которому филиппинский художник близок и своими творческими устремлениями, и своей общественной деятельностью, и своей многотрудной судьбой.

В 1959 году в тагальском литературно-художественном журнале «Ливайвай» («Рассвет») появились отдельные главы романа Амадо В. Эрнандеса «Хищные птицы», над которым он продолжал работать еще долгие годы. Он пишет несколько пьес, роман о тяжелой крестьянской доле — «Крокодиловы слезы» (1962). Основные литературные премии Филиппинской республики не раз присуждаются Эрнандесу. Однако выпустить в свет такой роман, как «Хищные птицы», ему не удается: не находится издателя.

Только в 1969 году, в условиях резкого усиления антиамериканских выступлений в стране, книге удалось все же увидеть свет. Критика и читатели приняли это выдающееся явление тагальской филиппинской литературы как правдивый и страстный документ, как «наш роман о нас». Писатель своего народа и своего времени, Амадо Эрнандес, в отличие от некоторых собратьев по перу, не увещевает там, где надо обличать, не льет слез тогда, когда надо бороться.

В этом сложном романе с более чем тремя десятками действующих лиц перед нами предстает филиппинская действительность предвоенных и военных лет во всей ее сложности. Автор не только был участником и свидетелем описываемых событий, но заявил себя в эти годы крупным общественным деятелем, сложившимся писателем, обладающим большим и разнообразным жизненным опытом. Едва ли не впервые в филиппинской литературе, тагальской и английской, Эрнандес решает философский вопрос об отношении человека и общества, личности и класса в конкретной исторической ситуации.

Перед главным героем романа — Мандо Плариделем, руководителем социалистов и партизаном антияпонского Сопротивления,— жизнь часто ставит неожиданные вопросы, решать которые приходится, исходя из обстановки. Эволюция забитого слуги Андоя, отверженного, парии, каким появляется в начале романа Пларидель, раскрыта во всей глубине, сложности и противоречивости. И когда в последние месяцы 1944 года мы видим осужденного на смерть Мандо Плариделя, сознательного, убежденного бойца, в нем нелегко признать прежнего Андоя. Между этими двумя полюсами будто проходит целая вечность

Мы видим, как шаг за шагом Пларидель осознает свою собственную ответственность за судьбы страны, осознает себя продолжателем дела борцов за ее освобождение, совершивших революцию 1896—1898 годов и установивших первую Филиппинскую республику. Видим, как от общих рассуждений о добре и зле, о жизни «человека среди людей» он приходит к мысли о единстве в борьбе людей труда.

Автор проводит своих героев через цепь конкретных исторических событий. Перипетии войны и мира помогают ему наглядно показать роль и место в этих событиях различных классовых групп филиппинского общества, подчеркнуть диаметрально противоположные интересы. Антиподом Плариделя Эрнандес выводит главного «хищника», Дона Сехундо Монтеро,— расчетливого индивидуалиста, типичного представителя реакционной паразитирующей элиты, богатого помещика и главу тайного синдиката контрабандистов. Вокруг Монтеро собирается свора хищников разного калибра: картеж-

ник-епископ Димас, его партнер, судья Пилато, бравый генерал Байонета, управляющий провинцией, как своей вотчиной, губернатор Добладо, сенатор-крючкотвор Ботин, капитан Пугот, коллаборационист, сотрудничающий с японскими оккупантами, подручный Монтеро. Их в равной мере устраивают и американские и японские захватчики, им не знакомы чувства истинного патриотизма, они заодно с любыми эксплуататорами и колонизаторами. Это носители определенных моральных норм, само существование которых в условиях суровой борьбы нищего народа Эрнандес рассматривает как преступление против человечности, вынося по сути дела обвинительное заключение всему их классу, классу хищников.

Крупный общественный деятель, непременный участник филиппинского «Союза гражданских свобод», он занял видное место и в филиппинской литературе, создав выдающиеся образцы тагальской прозы и поэзии, став законодателем тагальского литературного языка, возможности и достоинства которого уже не нуждаются после него в особом доказательстве.

Творчество Амадо В. Эрнандеса всеми нитями связано с такими корифеями филиппинской литературы, как Франсиско Балагтас и Хосе Рисаль. О его последнем художественном произведении можно сказать словами Рисаля: «Жить — значит быть среди людей, а быть среди людей — значит бороться».

**В. МАКАРЕНКО**

## ВСЮ ЖИЗНЬ ОН ШЕЛ В ГЁТТЕРВАЛЬД...

**David Scheinert. Une rose pour dix epines. Paris, Editions Seghers, 1968.**
**David Scheinert. L'homme qui allait à Götterwald. Théâtre. Paris. Del Duca, Editions mondiales, 1970.**

Давид Шайнерт работает в бельгийской литературе уже четверть века. Ему принадлежат около десятка книжек стихов, шесть романов, сборник новелл, два томика эссе, книги прозаических и поэтических переводов на фраицузский язык. Своей задачей писатель считает всестороннее изображение современника, «человека, носящего на себе печать своей эпохи и вылепленного своей средой». Этого человека порой «мучит ревность, манит наслаждение, берет за душу песнь соловья, осаждают заботы, терзает необходимость зарабатывать на жизнь, и существование его зачастую зависит от настроения хозяина... Он бастует, его хватает полиция, он негодует или смиряется, он вступает с судьбой в схватку или подчиняется ей, а то и просто начинает по-волчьи от отчаянья выть...» Так писал Шайнерт в небольшом маиифесте, которым сопроводил он в 1962 году один из своих романов.

Тогда же Д. Шайнерт говорил, что единственной верной, по его миению, дорогой в литературе является та, которую проложил Сервантес и Диккенс, Бальзак и Толстой, Костер и Эльсхот, Роже Мартен дю Гар и Шолохов.

Эти убеждения подкреплены творчеством Шайиерта.

Его книги всегда повернуты лицом к современности. Роман «Государственный переворот» (1950) — острый, памфлетный портрет фашиствующего диктатора, обобщеиная биография самовлюбленного палача и трусливой буржуазии, приведшей его к власти. Переведенный у нас роман «Длинноухий фламандец» (1961) рисует современного Тиля Уленшпигеля, истинного сына Фландрии, дерзкого и несгибаемого борца против гитлеровских оккупантов. Роман «Болезнь доктора Лорея» воссоздает политическую и нравственную атмосферу Брюсселя 1950 года, рисует классовые бои, глубокие личные и общественные конфликты, раздирающие людей, когда еще мучительно ноют рубцы иа теле народа, страдавшего под фашистской пятой в течение четырех лет оккупации и трагически воспринимающего весть о том, что Соединненные Штаты начали грязную войиу в Корее. Вышедший в 1968 году роман Шайиерта «Времеиная тишина»—отличиый образец современной социальной фантастики, роман-притча, клеймящий империалистическое варварство в области государственности, науки, культуры, человеческих отиошений.

Своеобразиа поэзия Давида Шайнерта. Это написанные свободным стихом гражданские и философские раздумья, это сатирические и лирические песеики в народном духе, пронизанные антибуржуазной иитонацией, крепко сколоченные, со звонкой рифмой, задориые и остроумиые, как частушки.

Последняя киига стихов бельгийского поэта, изданная в конце 1968 года, называется «Одна роза на десяток шипов». «Один поэт на десяток лавочников»,— словно бы уточняет автор в песенке, которая говорит о людской неблагодарности, о иелепой иеустроениостн окружающего мира. А рядом с этимн горькими стихами — веселая песенка о солнечиом утре, о солнце и весне — и о пролетариате, которого поэт именует королем...

Постояиная тема творчества Д. Шайнерта — интернациональное братство людей доброй воли и труда. В сборнике «Одна роза на десяток шипов» читатель найдет стихи о России Достоевского и о Советской стране, о Болгарии, о сражающемся Вьетнаме и Хо Ши Мине. В своей излюбленной манере, в длинных ритмизованных строках широкого дыхания, иногда напоминающих библейские версеты, Шайнерт дает поэтические зарисовки современного капиталистического города; взволнованными ритмами он старается запечатлеть одышку буржуазной цивилизации, сложиость и тра-

гичность бытия трудящегося человека. Фламандские пейзажи бросают тревожные отблески на эти невеселые верлибры, на пересыпанные внутренними рифмами строки о ночных непонятных звуках, о чьих-то шагах в тишине, заслышав которые поэт вспоминает друзей, погибших на последней войне, павших на поле боя и в лагерях смерти. Запомнятся читателю строки о невидимом огромном колесе, колесе цивилизации, что, вращаясь, вовлекает в свой бег и мужчин, и женщин, и стариков, и молодежь, и вот уже люди сами начинают подгонять это неумолимое вращение...

Но щедра интонационная палитра поэта — рядом мы прочтем гимн благотворному ясному небу, творчеству и любви, увидим стихи о том, как поэт обретает слова, которые греют, и мысли, которые жгут, как обретает он силу воспеть для себя и для людей молчаливость мечты и притягательность горизонта... И порадуемся еще одной песне — «Песне товарищей»: «Своими собственными словами, лишенными тайны, я скажу, как я вам обязан, пролетарии... И разве мог бы мечтать я о новых стихах, если бы розы, мои любимые розы, не были выращены вашими руками»...

В нынешнем, 1970 году Давид Шайнерт издал пьесу «Человек, который шел в Гёттервальд». Одиссея «маленького человека» двадцатого столетия показана средствами современного западного театра. Условность пронизывает пьесу от начала до конца; трагизм ситуаций раскрывается фарсовыми приемами.

Мелкий чиновник Жером всю жизнь мечтает уйти из города, оборвать путы семьи и службы, раствориться в природе. Он рвется в Гёттервальд, в этот «Лес богов», где побывал он уже однажды в лихую годину войны. Там стоят столетние деревья, туда не доносится грохот безумного мира. По-настоящему Жером живет только этой мечтой; реальная жизнь его тускла и ничтожна.

Кохинхин, его начальник по службе, тиранит его. Жена и дочь его не понимают. Старая дева, мадемуазель Жермиаль, сослуживица Жерома, мстит ему за то, что он не видит, как она в него влюблена. Она крадет и выбрасывает в урну папку с делом за номером 546; дело это закрыто, оно никому никогда не понадобится, но числится оно за Жеромом, и Кохинхин категорически требует, чтобы Жером его разыскал, и тот сбивается с ног, разыскивая злополучную папку, и умирает от сердечного приступа, и на похоронах Кохинхин в прочувствованной речи говорит о прекрасных качествах покойного, а Жером тем временем тихонько выбирается из гроба и, незаметно пробившись сквозь толпу коллег, уходит прочь в Гёттервальдский лес, и с ним уходит мадам Люсьена, его давняя подруга, а папка, которую нашел в урне старьевщик и которую теперь Жером отказался у старьевщика взять, опять отправляется на помойку...

Но сюжет этот, изложенный мною, выстраивается для зрителя лишь тогда, когда пьеса закончена; сюжет можно воссоздать лишь ретроспективно. Эпизоды детства и старости, юности и зрелости Жерома, смерти его (вернее, многих смертей и многих воскрешений) перетасованы драматургом, как карты в колоде. Вскоре после смерти Жером предстает перед нами мальчишкой, а вот он — солдат (очевидно, на фронте второй мировой войны), и его гонит в бой лейтенант Кохинхин, которому после войны суждено будет стать его начальником в канцелярии. И вот Жером в плену, в немецком лагере, а вот он в лесу после побега... И везде он — этакий мечтатель и чудак, похожий на героя чаплинских фильмов, простой человек, которому война ни к чему...

Пьеса Д. Шайнерта лишена того заряда гнева, который отчетливо ощущался в его романах и стихах. Впервые обратившись к драматургии, писатель кое-что заимствовал из поэтики театра абсурда; пожалуй, это и помешало автору «Человека, который шел в Гёттервальд» создать героев сильных, задорных и гневных. Но гуманизм Шайнерта-драматурга не подлежит сомнению. Этот гуманизм дышит отвращением к миру, где страдания людские возведены в закон.

**МОРИС ВАКСМАХЕР**

# ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

## АВСТРИЯ

### СНОВА ОБ «УТЕЧКЕ УМОВ»

Каждый год в ФРГ из Австрии переезжает значительное число деятелей науки и культуры, а также выпускников технических вузов страны. Обучение каждого из них обходится австрийскому государству минимум в 16 тысяч западногерманских марок. Австрийская «экономическая помощь» ФРГ в виде «утечки умов», как отмечают обозреватели, составляет около 800 тысяч марок в год. За границу уезжают не только молодые специалисты. По данным «Цукунфт», с 1954 по 1964 год Австрию покинули 22 профессора и 79 доцентов.

«Утечка умов» связана, по мнению обозревателей, с низкой зарплатой, установленной для деятелей науки и культуры, а также с ограниченными возможностями для исследовательской работы в Австрии.

Пресс-служба так называемой Австрийской народной партии (АНП) считает, что эти трудности можно преодолеть, если привлечь в экономику Австрии иностранный капитал. Австрийская прогрессивная печать, в свою очередь, уже давно бьет тревогу по поводу «перенасыщения экономики иностранным капиталом», справедливо опасаясь, что это может поставить под угрозу политическую независимость страны.

## АНГЛИЯ

### ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Лондоне прошел цикл вечеров, посвященных Ленинскому юбилею. Первой состоялась лекция английского режиссера и киноведа Айвора Монтегю на тему: «Ленин и кино». Положив в основу известные высказывания Ленина о киноискусстве, Айвор Монтегю выделил два основных момента: влияние Ленина на становление советского кино и образ создателя социалистического государства на экране. Вечер открыл советский посол в Великобритании М. Н. Смирновский.

В заключение многочисленным зрителям, заполнившим аудиторию, были показаны фрагменты из историко-революционных фильмов о Ленине, а также хроника и документальные ленты.

### ЧТО ПЕРЕДАЮТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ?

Редакция газеты «Таймс» провела эксперимент: поручила трем журналистам в течение недели каждому непрерывно смотреть одну из телевизионных программ. Двое из них смотрели программы, передаваемые по каналам государственной корпорации — Би-би-си, третий изучал передачи коммерческой телевизионной компании «Индепендент телевижн». Цель эксперимента — по возможности объективно оценить язык и содержание программ.

По словам журналистов, на экране телевизора за неделю «погибает» немало народу. При этом, пишут участники эксперимента, нельзя не отдать должного изобретательности авторов программ: за 108 часов и 10 минут непрерывного бдения перед телеэкраном людей отправляли «на тот свет» выстрелами из ружья и пистолета, ударами ножа, меча, копья, стрелы, людей распинали на кресте, заражали бубонной чумой, они гибли от радиации; некоторые попадали в смертельные объятия гориллы или гибли, пожираемые крысами.

«В начале эксперимента я решил, что нужно держать при себе кусок пластилина, чтобы занять руки и не поддаться искушению запустить в экран чем-нибудь тяжелым»,— писал журналист, смотревший программы «Индепендент телевижн».

Как сообщает печать, бывший министр внутренних

дел Джеймс Каллагэн совещался с руководителями Би-би-си и «Индепендент телевижн». На совещании, в частности, шла речь о необходимости сократить число программ, содержащих сцены насилия и секса. Выступая позднее в палате общин, он признал, что в стране высказывается «серьезная тревога» по поводу содержания телевизионных передач. Каллагэн признал также, что многие передачи изобилуют бранными выражениями.

## БОЛГАРИЯ

### ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Болгарии прошла Неделя детской книги и искусства; на торжественном открытии Недели были объявлены премии за лучшие произведения для детей, созданные в 1969 г.

В области поэзии первую премию получил Николай Зидаров за сборник «Песня ведет нас», вторую — Леда Милева за сборник «Мальчонка в шапчонке», третью — Надя Кехлибарева за «Глобус сказок».

Первая премия в области прозы присуждена Рангелу Игнатову за книгу «Неуловимый Шишко», вторая — Ивану Василеву (посмертно) за книгу «Как разговаривают облака», третья — Станиславу Стратиеву, автору «Одиноких ветряных мельниц».

### ПАМЯТНИК ЕЛИНУ ПЕЛИНУ

Как сообщает еженедельник «Литературен фронт», в стране состоялись торжества, посвященные открытию памятника выдающемуся мастеру болгарской литературы Елину Пелину. В городе, носящем его имя, прошли литературный вечер и торжественная сессия городского народного Совета. Памятник был открыт в заключительный день празднеств в присутствии сына и дочери писателя.

В праздничные дни работала книжная выставка болгарских и зарубежных изданий Елина Пелина.

На национальной художественной выставке, посвященной Ленинскому юбилею, демонстрировалась картина художника Александра Поплилова «Встреча Ленина с Димитровым» (на снимке).

*(Еженедельник «Литературен фронт»)*

## ВЕНГРИЯ

### ПЛЕНУМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

В Будапеште состоялся пленум Союза венгерских писателей, на котором с докладом выступил председатель Союза Йожеф Дарваш. Рассказывая о пути, пройденном венгерской литературой после освобождения страны Советской Армией, докладчик отметил, что самыми плодотворными были последние 14 лет. В эти годы литературная жизнь и творческие поиски писателей основывались на принципиальной политике, выработанной Венгерской социалистической рабочей партией. Большинство писателей, сказал Йожеф Дарваш, поддерживает генеральную линию партии, считая, что она отвечает национальным интересам венгерского народа.

Об укреплении связей между партией и писателями на пленуме говорил секретарь ЦК ВСРП Дердь Ацел. Он подчеркнул, что творческое многообразие современной венгерской литературной жизни гармонически сочетается с пропагандой идей партии.

На пленуме было избрано новое правление Союза венгерских писателей в составе 47 человек. Председателем Союза вновь избран Йожеф Дарваш, генеральным секретарем — Имре Добози.

### ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ НА БАЛАТОНЕ

Венгерский курортный городок Балатонфюред превратился недавно в поэтическую «столицу» Европы. Сюда съехались более 70 поэтов зарубежных стран, чтобы обсудить волнующие их проблемы, закрепить дружеские контакты, налаженные около 4 лет назад на первой поэтической встрече в Будапеште (см. «Иностранную литературу» № 2, 1967). Советскую поэзию на балатонском форуме представляли А. Вознесенский, Р. Рза, С. Кирсанов, М. Квливидзе, В. Ковач, М. Луконин, А. Лупан, Б. Окуджава, Б. Шинкуба.

Конференцию открыл председатель Союза венгерских писателей Йожеф Дарваш, затем с докладом выступил венгерский поэт Иштван Ваш, который сделал обзор основных течений и тенденций в послевоенной поэзии. Его дополнили три реферата: «Мир, война и поэзия», «Поэзия новой техники» и «Новая техника поэзии». По этим темам развернулась оживленная дискуссия.

Что значит быть современным поэтом, в чем его общественное призвание? Каково влияние научно-технической революции на поэзию, какова между ними взаимосвязь? Чему они должны служить в современном мире? Поискам ответов на эти вопросы посвятили свои выступления поэты из Франции, Англии, Советского Союза, Италии, Румынии, Венгрии, Польши, Болгарии и других стран.

Поэт — не просто поэт, но такой индивидуум, который наделен общественной функцией, заявил итальянец Марио Рамус. «Именно поэтому ошибочна всякая концепция,—сказал он,—не учитывающая содержания стиха». Эту мысль конкретизировал бельгиец Давид Шейнерт, который считает, что современным и революционным может быть только содержание стиха. Венгерский поэт Янош Секей отметил: «Языковая структура, лишенная выражения истины как конкретного факта,— не поэзия. Нельзя оперировать словами так, будто они лишены значения».

Полное единодушие проявили участники конференции при обсуждении проблем мира и войны. Английский поэт Роберт Грейвз решительно осудил американскую агрессию во Вьетнаме и Камбодже, назвав ее «полицейской акцией». К нему присоединились в своих выступлениях француз Жорж-Эммануэль Клансье, канадец Кеннет Маккробби и другие. Фини Пентти Саарикоски заявил, что главная задача современной поэзии состоит сейчас в том, чтобы добиться прекращения американской агрессии в Индокитае.

Подводя итоги трехдневной конференции, которая продолжала свою работу в Будапеште, генеральный секретарь Союза венгерских писателей Имре Добози подчеркнул: «Нас очень много, и мы слишком отличаемся друг от друга — нельзя рассчитывать на то, что в ближайшем будущем мы станем мыслить одинаково. Однако гармония многообразия возможна».

## ДРВ

### В ЧЕСТЬ ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

Ханойское издательство «Су тат» выпустило сборник под названием «Будем идти всегда по пути великого Ленина», в который вошли 13 статей о Ленине и ленинизме, написанные покойным президентом Хо Ши Мином в период с 1924 по 1967 год.

Вышел специальный номер журнала «Ван хок», посвященный Ленинскому юбилею. В номере помещены статьи вьетнамских и советских авторов о значении ленинских идей для современного искусства и литературы. В числе последних публикаций — книга о детстве В. И. Ленина. Ленинскому юбилею посвящают свои работы художники, скульпторы.

В городах и сельских местностях республики прошел кинофестиваль художественных и документальных

Обложка книги «Детство Ленина» работы художника Фам Хо; книга выпущена издательством «Ким Донг».

фильмов о Ленине. Зрители увидели ленты «Семья Ульяновых», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Рассказы о Ленине», «Аппассионата», «Человек с ружьем» и другие.

## ГДР

### ИНТЕРВЬЮ С ГАНСОМ ВЕБЕРОМ

Ганс Вебер, автор романа «Прыжок в гигантское колесо», принадлежит к поколению писателей, которое выросло в новой, демократической Германии. Он был учителем, затем — студентом Литературного института в Лейпциге. С 1965 года Ганс Вебер пишет книги для детей и юношества. Недавно Вебер написал пьесу для телевидения «Следуй за звездой».

«В своих прежних произведениях вы преимущественно занимались проблемами воспитания и образования молодежи, используя свой педагогический опыт. Затрагивает ли ваша пьеса эти проблемы?» — спросил писателя корреспондент газеты «Берлинер цейтунг».

«Сначала я даже собирался продолжить в этой пьесе действие романа «Прыжок в гигантское колесо»,—

ответил писатель.— Я хотел проследить дальнейший путь своего молодого героя, который в романе показан с детских лет до начала педагогической работы. Но я отверг этот замысел, потому что решил поставить в пьесе серьезные философские проблемы. Мой герой — молодой учитель — сразу сталкивается с трудностями. Ему приходится воспитывать в себе волю, выдержку, чувство такта, он должен сам непрерывно учиться, чтобы выполнить ту основную задачу, которой решил посвятить жизнь: воспитание молодого поколения, поколения 2000 года.

Герой романа «Прыжок в гигантское колесо» жил в мелкобуржуазной среде. Мне нужен был новый герой, тесно связанный с рабочим классом. Именно таким героем, человеком иной закалки, человеком, который способен выполнить возложенные на него задачи, является молодой учитель Фред Гертинг».

Ганс Вебер сказал далее, что использовал в качестве названия пьесы часть изречения Леонардо да Винчи: «Следуй за звездой, и ты не свернешь с пути». Это изречение Фред Гертинг услышал от своего воспитателя — старого коммуниста Штейнбрука. Оно стало лейтмотивом всей его жизни.

### «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» — РЕАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Известные кинорежиссеры Вальтер Хейновский и Герхард Шойман, чьи антифашистские фильмы «Смеющийся человек» и «Президент в изгнании» с успехом прошли в Советском Союзе, выпустили новый фильм — «Человек без прошлого».

Герой фильма — реальная личность: Хорст Рудольф Юбелакер, родившийся в 1936 году. Он не был членом гитлерюгенда и не служил в вермахте. Однако, несмотря на сравнительно молодой возраст и отсутствие боевых заслуг, Юбелакер является теперь одной из главных фигур в правлении «Землячества судетских немцев». В фильме широко использованы кадры кинохроники второй мировой войны, на фоне которых показано, как формировался характер Юбелакера. Режиссерам удалось заснять Юбелакера во время интервью с ним, а также в различные неожиданные для него моменты. Все это и особенно книга Юбелакера «О проблематике Мюнхенского соглашения в наше время» дает представление о том, как выглядит типичный реваншист 70-х годов, воспитанный в условиях разлагающего влияния пропаганды ненависти к социализму и реванша в Западной Германии.

Режиссеры знакомят зрителя и с «воспитателями» Юбелакера. Один из них — Рашхофер, ныне профессор международного права в Вюрцбургском университете. При Гитлере он писал инструкции по пропаганде нацистских идей в Австрии и Чехословакии, а в 1944 году участвовал в подавлении Словацкого национального восстания. Второй «воспитатель» — профессор того же университета Хейде, близкий друг небезызвестного Штрауса, который в свою бытность военным министром произвел Хейде в бригадные генералы. Хейде во время войны командовал десантниками и получил от Гитлера «Железный крест с дубовыми листьями».

«Наш новый фильм зовет к бдительности перед лицом разгула реваншизма и неонацизма в ФРГ,— сказал Г. Шойман.— Мы посвятили его 25-й годовщине освобождения Германии от фашизма героической Советской Армией».

### ПРАЗДНИК КНИГИ

Германская Демократическая Республика занимает одно из первых мест в мире по количеству выпущенных книг. Начиная с 1945 года в ГДР было издано более 110 тысяч названий книг тиражом 1800 миллионов экземпляров. Эти данные были опубликованы прессой ГДР в связи с традиционной «Неделей книги», которая в этом году прошла под знаком празднования 25-летия освобождения немецкого народа от фашизма.

К этой дате издательства выпустили много новинок. Среди них — двухтомник произведений советских авторов — участников Великой Отечественной войны, сборник «Первый момент свободы», в котором 23 писателя ГДР делятся своими воспоминаниями о майских днях 1945 года. Много интересного содержит также документальный сборник «Участники движения Сопротивления в Германии 1933—1945 гг.».

«Неделя книги» по традиции открывается в тот день, когда в 1933 году на берлинской Оперн-плац фашисты сожгли произведения Генриха Манна, Бертольта

---

Кадр из фильма «Человек без прошлого». В центре — Рудольф Юбелакер, справа — Рашхофер, слева — Хейде.

*(Газета «Нейес Дейчланд»)*

ги. Из современных авторов постоянным спросом пользуются Монтале, Квазимодо, Унгаретти. Из иностранных — Неруда. Стихи, как правило, покупают только для подарка».

«Паэзи иуови»: «Поэзию покупают очень плохо, круг любителей стихов крайне узок. Кроме того, большинство тех, кто ею интересуется, делает это главным образом из стремления уйти от действительности, из снобизма, а не в силу подлинной потребности, культурных запросов. Некоторых поэтов читают потому, что они в моде,— например, Превера...»

В заключение газета с горькой иронией вопрошает: а может быть, итальянским поэтам стоит переключиться на сочинение текстов для эстрадных песенок?

## КАМЕРУН

### СИМПОЗИУМ В ЯУНДЕ

Симпозиум, посвященный традиционной музыке Африки, проходил под эгидой ЮНЕСКО в камерунском городе Яунде. В нем приняли участие видные специалисты из Ганы, Сенегала, Либерии, Судана, Замбии, Уганды, Того и Центрально-Африканской республики, а также зарубежные эксперты. Участники симпозиума обсуждали важные проблемы, как-то: характеристика африканской музыки; источники африканской музыки; ее роль и функции в обществе; влияние африканской музыки на музыкальное творчество других стран; влияние на африканскую музыку музыкальных культур извне; распространение африканской музыки. Обсуждались также вопросы постановки и распространения музыкального образования в Африке.

Работа симпозиума, как отмечают обозреватели, была весьма плодотворной. При обсуждении названных выше вопросов было установлено, что во многих областях изучения африканской музыки еще имеются существенные пробелы. Для дальнейшего изучения африканской музыки симпозиум учредил специальные комиссии. В задачу этих комиссий входит также поощрение систематического музыкального образования в Африке.

## ЛИВАН

### ПРИСУЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Ливанское «Общество друзей книги» наградило Премией президента республики, которая присуждается за совокупность произведений, опубликованных на арабском языке, поэта Булоса Саляму. Поэту, которому сейчас 68 лет, принадлежит около пятидесяти сборников стихов, а также интересные очерки и мемуары.

Ливанская пресса сообщает также о присуждении премии Саида Акля историку Эмилю Адде за его труд «финикийцы и открытие Америки». Как сказано в решении жюри, автор приводит убедительные доказательства в пользу того, что именно финикийцы были первооткрывателями американского материка.

## МОНГОЛИЯ

### НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Немалая часть книжных изданий года нынешнего и будущего, как сообщает печать, посвящается 50-летию Народной революции в Монголии. К юбилею, который будет торжественно отмечаться в 1971 году, известные монгольские литераторы создают новые произведения. Уже вышел из печати роман Ц. Цэдэнжава «Девушка с реки Ероо». Над романом «Губернатор Сандо» работает лауреат Государственной премии МНР Б. Ринчен. Вскоре выйдут книги писателей — ровесников революции: Л. Вангана, Даньяла, Ж. Пурэва, Б. Бааста.

Заинтересуют читателя, по мнению обозревателя газеты «Утга зохиол урлаг», две книги о новой Монголии. Первая будет называться «Моя страна»; в ней будут собраны рассказы о встречах с аратами, рабочими, небольшие художественные произведения, писательские размышления о жизни и труде в социалистической Монголии.

Во второй книге слово предоставляется зарубежным гостям: здесь читатель найдет статьи, путевые заметки, рассказы, стихи иностранцев — в том числе журналистов, писателей и поэтов,—посетивших Монголию.

### ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОПЕРА «АМАРСАНАА»

Освободительной борьбе монгольского народа против маньчжурских завоевателей XVIII века посвящена новая опера монгольского композитора Б. Дамдинсурена «Амарсанаа». Героическое прошлое родной страны, пишет рецензент газеты «Новости Монголии»,— неисчерпаемый источник вдохновения для творческих работников. Авторы либретто С. Дашдоров и Д. Намдаг совместно с композитором обратились к героической странице далекого прошлого монгольского народа — народному восстанию 1754—1758 годов, во главе которого стоял айрат — монгольский князь Амарсанаа. Порвав с маньчжурскими правителями, беспощадно эксплуатировавшими страну, грабившими ее богатства и расправлявшимися с населением, князь стал на сторону повстанцев. Гарнизоны чужеземных войск в Западной Монголии были разгромлены мужественными повстанцами. И только ввиду значительного превосходства сил оккупантам удалось подавить и потопить восстание в крови. События тех далеких лет и легли в основу либретто оперы.

Монгольская пресса дала высокую оценку спектаклю, премьера которого состоялась на сцене Государственного театра оперы и балета в Улан-Баторе. Народный артист МНР У. Пурэвдорж, по отзывам критики, создал впечатляющий образ храброго вожака народных масс Амарсанаа. Партию княж-

ны Гэрэлгуа тонко и лирично ведет заслуженная артистка МНР А. Загдсурэн. Массовые сцены спектакля, поставленные главными режиссерами театра Д. Лхасурэном, производят большое впечатление. Для изображения жизни и быта монголов тех далеких времен удачные решения и яркие колоритные краски нашел художник спектакля Д. Сухбаатор.

«Наш народ всегда боролся за свободу, за светлое будущее,— сказал режиссер Д. Лхасурэн.— Никакие запреты, никакие репрессии не сломили его мужественного духа. Постановочный коллектив посвящает новую работу приближающейся знаменательной дате — 50-летию Народной революции в Монголии».

Сцена из балета «Клементина».
*(Еженедельник «Польское обозрение»)*

## ПОЛЬША

### СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ЗАПАДНЫХ И СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ

В Зелёна-Гуре состоялся XIII съезд писателей Западных и Северных земель Польши, в котором приняло участие более 150 писателей со всех концов страны. Главной темой обсуждения на съезде были общественные процессы, которые за минувшую четверть века привели к обширным преобразованиям на возвращенных землях, вновь обретших польскую государственность.

Член Политбюро, секретарь ЦК ПОРП тов. Зенон Клишко приветствовал собравшихся на съезд писателей. Он говорил о том, что литература Народной Польши не должна отставать от изменений, постоянно происходящих в обществе.

Выступивший затем Председатель Союза польских писателей, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Ярослав Ивашкевич говорил о том, что сегодня уже невозможно подразделять польскую литературу на литературу Западных, Северных и Центральных земель. Существует одна, единая польская литература и единое содружество польских писателей, которые трудятся на благо родины.

Доклад на тему «Культурная жизнь и творчество — фактор национальной и общественной интеграции на Западных и Северных землях» сделал профессор Владислав Маркевич. С речами выступили писатели Збигнев Залуский, Хенрик Ворцел, Януш Конюш и другие.

От имени Союза писателей СССР съезд приветствовал Сергей Сартаков.

Делегаты съезда приняли участие в работе большого книжного базара в Зелёна-Гуре, побывали на промышленных предприятиях.

### НОВЫЙ БАЛЕТ: «КЛЕМЕНТИНА»

В Государственном Силезском оперном театре в Бытоме состоялась премьера балета выдающегося современного польского композитора Петра Перковского «Клементина». Прототипом главной героини балета стала Клементина, внучка короля Яна Собеского, младшая дочь его сына Якуба. Она была замешана в крупной политической интриге, которая в свое время привлекла внимание почти всей Европы и закончилась обручением польской княжны с претендентом на трон Англии и Шотландии Яковом Стюартом. Этому браку всячески препятствовали английский король Георг I и его союзник, австрийский император Карл IV. Однако польскую княжну поддерживали папа Клеменс XI и некоторые европейские монархи.

Эта история была положена в основу либретто Оли Обарской; в нем пришлось ограничиться лишь несколькими историческими личностями. В постановке использованы разнообразные танцевальные номера, гармонично вплетающиеся в действие и естественно связанные с развитием сюжета, пишет рецензент «Польского обозрения».

Первая картина открывается балом, где представляются кандидатки в жены Стюарта; эта картина превращается в эффектный дивертисмент, изобилующий французскими, шотландскими, русскими, испанскими танцами, которые лишь на короткое время прерываются сценой «заговора» и завершаются эффектным вальсом Клементины Собеской.

Балет создан почти в классическом стиле: немного пантомимы и множество отдельных танцевальных номеров. Музыкальный язык прост и доступен. Все эти

достоинства позволяют надеяться, пишет в заключение рецензент, что балет «Клементина» займет прочное место в репертуаре музыкальных театров.

### ВЫШЕЛ СБОРНИК ЕГИПЕТСКИХ РАССКАЗОВ

Под названием «Скорпион» в Польше издан сборник рассказов восемнадцати современных писателей ОАР. Книга выпущена в соответствии с соглашением между союзами писателей обеих стран о взаимной популяризации их культур.

В Польше популяризацию культуры арабских стран осуществляет кафедра арабистики Варшавского университета, готовящая специалистов арабского языка и литературы. Недавно по инициативе кафедры было издано исследование Юзефа Белявского «История арабской литературы».

## РУМЫНИЯ

### РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ

Встречи писателей и деятелей искусств с читателями и зрителями становятся в последнее время новой традицией культурной жизни Румынии. По всей стране прошли литературные вечера, читательские конференции, творческие концерты. По сообщениям печати, интересно и плодотворно проходила читательская конференция в Брэиле, на которую приехали известные прозаики Захария Станку, Фэнуш Нягу, Николае Бребан, поэты Адриан Пэунеску и Траян Яику, критики Джордже Маковеску и Джордже Ивашку.

Итоговая встреча под названием «Весна социалистической Румынии», организованная Союзом писателей Румынии совместно с Государственным комитетом по делам культуры и искусства, Союзом композиторов и Союзом художников, состоялась в бухарестском концертном зале «Атенеум». На ней выступили деятели искусства и литературы; поэты разных поколений читали свои стихи.

### КНИГИ ЭУДЖЕНА БАРБУ

Эуджен Барбу, известный советскому читателю по роману «Северное шоссе», выпустил новые произведения: роман «Князь» и сборник рассказов «Муки святого Себастьяна».

«Князь» — роман исторический. В кратком вступительном слове Э. Барбу пишет о том, что стремился «достоверно воспроизвести эпоху фанариотов... и поэтому использовал отрывки из древних церковных книг, летописи, подлинные документы — личные письма и официальные бумаги» и что «этот роман — синтез сказки и лирического произведения». Писатель воссоздает красочные картины из жизни при дворе фанариотов, празднества, религиозные обряды.

На этом ярком фоне, пишет критик Г. Димисяну в еженедельнике «Ромыния литерарэ», прослеживается эволюция характеров нескольких персонажей, сложных, противоречивых натур, людей своего века: князь — умный, циничный самодержец, Оттавиано — хитрый и властолюбивый придворный, и другие.

В сборнике «Муки святого Себастьяна» напечатаны как уже известные, так и новые рассказы Барбу. Поразительна близость прозаика к описываемому им миру городской или сельской среды, пишет критик Т. Тихан в журнале «Стяуа». По его словам, Э. Барбу — не холодный, безразличный наблюдатель, а всегда — участник действия. Писателя привлекает анализ психологии героев, манера поведения, жесты, особенности речи, за которыми порою скрываются человеческие драмы, трагедии. По мнению Т. Тихана, в рассказах Э. Барбу, как и в некоторых произведениях Д. Р. Попеску, Ф. Нягу, М. Преды, И. Лэнкрэжана, «ощущается полемический дух».

### ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ЛЕГКОЙ МУЗЫКИ В БРАШОВЕ

30 юношей и девушек из 26 стран Европы приняли участие в III Международном фестивале легкой музыки, проходившем в городе Брашове в живописных румынских Карпатах. Каждый участник фестиваля исполнял две песни, в том числе — одну румынскую. Пресса СРР назвала брашовский фестиваль «подлинным праздником песни».

Главный приз фестиваля — «Золотой олень» — получила Тереза Штейнмец, молодая певица из Голландии. Обладательницами приза «Серебряный олень» стали Анджела Симиля (Румыния) и Лиза Марке (Бельгия). Болгарская певица Паша Христова была удостоена «Бронзового оленя».

Фестиваль легкой музыки в Брашове принес награды и многим другим исполнителям. Дипломы конкурса получили — Бернадетт (Шотландия), Галина Ненашева (СССР) и Дойна Спэтару (Румыния). Специальную премию жюри получила норвежская певица Лилиан Харриет. Премии Союза композиторов Румынии за лучшее исполнение румынской песни удостоена Жюли Саже (Франция). «Премия за популярность», учрежденная брашовским муниципалитетом, присуждена Джо Доллаиу (Ирландия). Певица из Швейцарии Фраисин отмечена «Премией молодости», учрежденной брашовским университетским центром.

## СИРИЯ

### ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ НА ЯЗЫКЕ ДРЕВНИХ

«Маалул» означает «выздоравливающий». Старики деревни Маалюля, приютившейся на отвесном склоне горы, рассказывают, что сюда издавна приходили больные, которых исцелял чистейший горный воздух. Неповторимые климатические условия, древние монастыри, пещеры, своеобразная планировка жилищ — все это делает деревню Маалюля, расположенную в 60 километрах от Дамаска, привлекательным туристским объектом.

Однако главная достопримечательность состоит в том, что эта деревня — едва ли не единственное место, где сохранился живой арамейский язык, тот самый, на котором говорило в древности подавляющее большинство жителей Палестины и Пальмиры. Арамейцы пришли на территорию Сирии с Аравийского полуострова более 15 веков назад. Здесь возникло несколько государств, центрами которых были Дамаск, Алеппо, Хама и другие города.

Население Маалюли составляет сейчас около трех тысяч человек, половина из них говорит на арамейском языке, половина — на арабском.

## США

### «ХЕМИНГУЭЙ — НАЧИНАЮЩИЙ РЕПОРТЕР»

Когда восемнадцатилетний Хемингуэй стал в 1917 году репортером газеты «Канзас сити стар», ему вручили редакционную памятку с четырьмя правилами: «Предложения должны быть короткими. Первые абзацы должны быть короткими. Язык должен быть выразительным. Оценки — положительными, а не отрицательными». Став известным писателем, Хемингуэй сказал однажды: «Это были великолепные правила, они научили меня писать». Однако он никогда не принимал предложений переиздать его ранние рассказы и репортажи, считая их стилистически несовершенными.

«Репортажи для «Канзас сити стар» представляют несомненный интерес. Наблюдать процесс становления гиганта всегда поучительно»,— заявил профессор университета Южной Каролины Мэтью Брукколи, являющийся редактором ежегодника «Хемингуэй и Фицджеральд». Первый номер этого издания вышел в августе прошлого года. В нем был напечатан очерк Хемингуэя о Шервуде Андерсоне, публиковавшийся лишь однажды в Париже в 1925 году, и неизвестный рассказ Фицджеральда, а также статьи о творчестве этих писателей.

Недавно в издательстве «Юниверсити оф Питсбург пресс» под редакцией профессора Брукколи вышла книга «Хемингуэй — начинающий репортер. Репортажи для «Канзас сити стар». В книгу вошли 11 неподписанных репортажей Хемингуэя, напечатанных в первые семь месяцев его работы, и статья о нем, написанная в 1936 году коллегой Хемингуэя по «Канзас сити стар» Теодором Брамбеком, с которым в 1918 году Хемингуэй отправился в Италию.

В работе по установлению авторства этих репортажей Брукколи помогали коллеги Хемингуэя по «Канзас сити стар», использована также переписка писателя с родными, которым он посылал черновики своих статей. По заслугам оценили в «Канзас сити стар» и энергию молодого репортера: в то время, когда другим журналистам давали три-четыре задания в день, Хемингуэй выполнял семь. «Эти репортажи,— писал рецензент газеты «Интернешнел геральд трибюн»,— подтверждают талант начинающего Хемингуэя, умевшего живо и ярко описать будничные происшествия».

### ДЖОН ГЕНРИ О'ХАРА: 1905—1970

Умер Джон Генри О'Хара. Вступая в сознательную жизнь, он мечтал «написать великий американский роман». Известность писателю принесла первая же его книга: роман «Свидание в Самарре». За всю жизнь он лишь однажды был удостоен крупной литературной награды — Национальной премии книги за «Дом 10 по ул. Сев. Фредерик». Возможно, поэтому, когда в середине апреля нынешнего года сердечный приступ навсегда оборвал все его мечты, поиски, желания, американская пресса, и в частности, журнал «Ньюсуик», сухо, лаконично констатировали: «О'Хара умер не на вершине славы — его последние романы казались написанными в спешке, а его претензии на современность были однобоки и смехотворны».

Литературное наследие этого выдающегося американского писателя составляют 18 романов, несколько сот рассказов, а также пьесы. О'Хара, по отзывам критиков, был «спокойным и проницательным наблюдателем». Он писал в основном о 20-х, 30-х и 40-х годах — о времени и людях, которых он узнал лучше всего. «Я хочу запечатлеть все это на бумаге, пока могу»,— часто говорил он. Герои его книг — длинная вереница людей, которых он лично «встречал, слушал и помнил»: буфетчики, спортсмены, банкиры, проводники железнодорожных вагонов, кинозвезды, служанки, владельцы шахт, профессора, картежные шулера. Он писал о Голливуде, переживавшем тогда пору своего расцвета, и о дымных барах Нью-Йорка, о мышиной суетности контор Филадельфии и — больше всего — о тесных, опутанных сетями сплетен городках Пенсильвании — этом «микрокосме Америки», откуда О'Хара сам был родом.

## ФРАНЦИЯ

### ПОРТРЕТЫ В. И. ЛЕНИНА В МОЗАИКЕ

В Бьоте — провансальской деревушке, расположенной на Лазурном берегу Средиземного моря, в монументальном здании с большими настенными керамическими панно находится музей выдающегося художника Франции Фернана Леже. В нем собрана значительная коллекция полотен этого художника-коммуниста, воспевшего в своем творчестве труд и разум человека. Созданный вдовой художника Надей Леже и его учеником Жоржем Бокье и переданный в дар французскому народу музей пользуется большой популярностью.

Мастерская Нади Леже, пронизанная светом и солнцем, заставлена стеллажами с разноцветными кубиками

мозаики и белого мрамора. У стены — портрет В. И. Ленина. Удачно схвачен облик Владимира Ильича, его улыбка, особенно глаза, устремленные вдаль. На портрете надпись: «Искусство принадлежит народу».

Недавно в связи с окончанием новой работы художницы в Бьоте побывал корреспондент ТАСС. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина Надя Леже подготовила серию портретов вождя, выполнив их из равеннской мозаики, привезенной из Италии,— трудно поддающегося обработке материала, обладающего удивительной тайной сочетания самых разнообразных цветов и оттенков. Прекрасно овладев материалом, художница, по мнению корреспондента, достигла впечатляющей выразительности.

— Вот уже четверть века я работаю в области портретной мозаики,— рассказала Надя Леже.— Вдохновенный образ Ленина всегда привлекал меня. Моей заветной мечтой стала попытка выразить глубину ленинской мысли, его человечность. Надо признаться, что перед тем как приступить к мозаичным портретам Владимира Ильича, я много думала, тщательно готовила эскизы. Работа увлекла и захватила меня.

Образ Ленина уже десятки лет вдохновляет художников и скульпторов разных стран и народов,— продолжала Надя Леже.— Во Франции, например, хорошо знают мраморный бюст Ленина работы известного французского скульптора Аронсона — он неоднократно экспонировался на парижских выставках. Сейчас этот бюст выставлен в зале Центрального музея В. И. Ленина в Москве.

Остановившись затем перед картиной «Защитники Сталинграда», которую Фернан Леже посвятил исторической битве на Волге, Надя Леже рассказала, каким большим и искренним другом СССР был Фернан Леже.

— По случаю 100-летия со дня рождения В. И. Ленина я хочу выставить несколько его портретов в картинной галерее на бульваре Распай в Париже. И конечно, моя мечта — показать их советским людям в Москве,— сказала в заключение Надя Леже.

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### ПАМЯТИ ИРЖИ ТРНКИ

Скончался известный художник-мультипликатор, Народный артист Иржи Трнка, «человек исключительного таланта и творческого размаха, оставивший после себя необыкновенное по масштабам, а также по многообразию жанров и выразительных средств художественное наследие», как сказано в телеграмме соболезнования, направленной министром культуры Чешской Социалистической Республики М. Бружеком вдове художника.

«В лице Иржи Трнки чешское изобразительное искусство потеряло яркого и самобытного мастера-иллюстратора, рисунки которого поражают высоким художественным уровнем,— говорится далее в телеграмме.— Всесторонние достижения Трнки в области кукольных и рисованных фильмов навсегда останутся в анналах чехословацкой и мировой кинематографии. Творчество основоположника «чешской школы» мультипликации восхищало представителей этого жанра киноискусства во многих странах. В его произведениях оживал чарующий мир, полный фантастики и поэзии. Он приблизил и открыл как детям, так и взрослым сокровища, таившиеся в недрах нашего народного искусства, в наших самых ценных духовных и художественных традициях.

Не менее значительно наследие Иржи Трнки и как художника театральной сцены. Велик его творческий вклад в дело пропаганды чехословацкой культуры на мировом форуме».

По сообщениям печати, пражская Студия кукольных фильмов переименована в Студию имени Иржи Трнки. На фестивале фильмов для детей и юношества в Готвальдове в качестве главной премии будет присуждаться премия имени Иржи Трнки.

### ЮБИЛЕЙ СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Словацкий национальный театр отметил свое 50-летие. Первый спектакль на сцене театра состоялся в марте 1920 года.

За полстолетия Словацкий национальный театр показал своим зрителям немало произведений словацкой, чешской и мировой классики, а также современных чехословацких и зарубежных авторов. В годы второй мировой войны, отказываясь служить фашистской пропа-

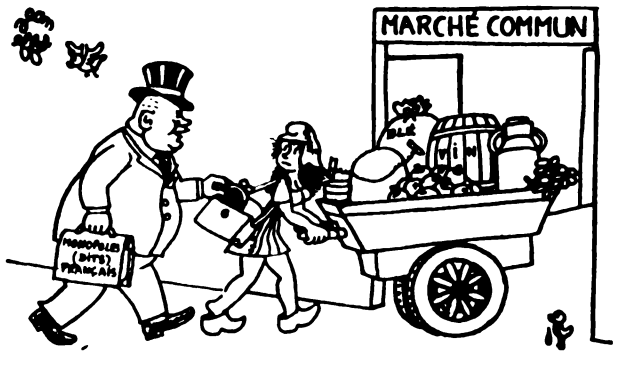



Рисунок Жана Эффеля из книги «Перелистывая историю Франции от Народного фронта до наших дней». Над дверью надпись «Общий рынок». На портфеле господина в цилиндре написано: «Монополии, называемые французскими».

*(Еженедельник «Франс нувель»)*

ганде, коллектив театра ставил произведения Мольера, Шиллера, а также словацких классиков.

На сцене театра получило развитие словацкое оперное искусство. Выдающимся событием считается постановка оперы Сухоня «Крутнява» («Водоворот»), состоявшаяся 10 декабря 1949 года.

Здание Словацкого национального театра расширяется и модернизируется. Вскоре это будет одно из самых современных театральных зданий в Европе со зрительным залом на 650 мест и стереофонической аппаратурой.

## ЧИЛИ

### ПРЕМИЯ ПОЭТУ

Печать сообщила, что недавно известному чилийскому поэту Никанору Парре была присуждена Национальная премия по литературе. В интервью журналистам поэт рассказал, что первая его книга — «Безымянные песни» — вышла в 1937 году. Литературная известность пришла к Никанору Парре только в 1954 году, когда он выпустил сборник «Поэмы и антипоэмы», удостоенный вскоре первой премии Общества писателей Чили. Стихи этого сборника были переведены на многие иностранные языки.

Никанор Парра побывал в Советском Союзе, где работал над переводами русских и советских поэтов. В результате этой поездки появилась антология переводов русской и советской поэзии, включающая произведения 35 поэтов,— единственное такого рода издание в Латинской Америке. Поэт выпустил также сборник стихов «Русские песни», в которых нашли свое выражение впечатления о Советском Союзе.

## ШВЕЦИЯ

### ВЫСТАВКА «ГОГЕН В ОКЕАНИИ»

В Национальном музее Стокгольма состоялась выставка «Гоген в Океании», на которой были представлены произведения художника — картины, резьба по дереву, скульптура, керамика, а также связанные с его творчеством предметы быта из Перу, Японии, Египта, Индии, Персии, с Явы и Полинезийских островов. Организаторы выставки поставили целью, как пишут обозреватели, выявить экзотические истоки творчества Гогена, показать связь между так называемым «примитивным» искусством и мастерством французского художника.

...На всю жизнь Гоген сохранил воспоминание о красочных тканях, пестрой одежде и керамике индейцев Перу, хотя покинул эту страну в семилетнем возрасте. Образцы индейского искусства он видел также в доме родителей в Орлеане, в парижском музее Трокадеро, в музее католической миссии на Таити. Неизгладимое впечатление на художника произвели скульптуры острова Пасхи.

В одном из залов музея экспонировался макет хижины на Таити. Оружие и амулеты маори, блюда, резные кокосовые орехи помогли воссоздать обстановку, в которой работал Гоген. О влиянии восточного искусства на художника напоминали персидские миниатюры, скульптуры Египта и Индии, фотоснимки яванского храма в Боробудуре, японские эстампы.

По мнению обозревателей, замысел выставки достиг своей цели благодаря искусному сочетанию произведений Гогена и предметов, окружавших его и вдохновлявших его творчество.

## ЮГОСЛАВИЯ

### МАВЗОЛЕЙ НЕГОША ОТКРОЕТСЯ В 1971 ГОДУ

Как уже сообщалось (см. «Иностранную литературу» № 8, 1969), на вершине горы Ловчена в Черногории будет сооружен мавзолей великого черногорского поэта Петра-Петровича Негоша. В мавзолее предполагается установить скульптуру Негоша работы знаменитого югославского скульптора Ивана Мештровича. Создавая памятник Негошу, Мештрович писал, что «у него перед глазами стоит не владыка Черногории, а великий поэт, своим творчеством прославивший родину и ее свободолюбивый народ».

В Югославии был объявлен конкурс на лучший проект мавзолея Негоша и создано отборочное жюри. Победителем конкурса стал проектный институт «Донат» из Задара во главе с его главным архитектором Гарольдом Билиничем.

Корреспондент телеграфного агентства Югославии взял интервью у председателя жюри Велько Милатовича. Милатович рассказал, что в настоящий момент детально разработана научно-техническая документация мавзолея и проведены предварительные работы. Скульптура поэта выполнена из гранита и весит 26 тонн; подготовлены гранитные и мраморные плиты для внутренней отделки мавзолея. На вершину горы к мавзолею будет вести туннель длиной около 140 метров.

По предварительным подсчетам, стоимость строительства составит 12,5 миллиона югославских динаров. Больше половины этой суммы — добровольные пожертвования различных учреждений и отдельных граждан Югославии. В мавзолее будет находиться почетная книга с именами всех предприятий и отдельных лиц, прямо или косвенно участвовавших в строительстве.

В. Милатович сообщил, что мавзолей Негоша предполагается открыть осенью 1971 года, когда будет отмечаться 120-я годовщина со дня смерти поэта.

## ЮНЕСКО

### КОНВЕНЦИЯ В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В здании ЮНЕСКО в Париже состоялось совещание экспертов и юристов почти

Макет мавзолея Негоша. *(Газета «Политика»)*

---

из 40 стран — членов ЮНЕСКО, где речь шла о разработке проекта конвенции, предусматривающей меры, направленные на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности.

Как указали участники совещания, вышеназванные незаконные действия — одна из главных причин оскудения культурного достояния многих стран. В этих условиях только широкое международное сотрудничество может действенно защитить культурные ценности. Согласно проекту конвенции, государства-участники обязуются всячески препятствовать незаконному вывозу культурных ценностей, используя все имеющиеся в их распоряжении средства, способствуя, по мере возможности, реставрации поврежденных произведений искусства. Конвенция предусматривает также создание национальных спецслужб по охране ценностей, а также выдачу специальных удостоверений на их вывоз. Эксперты, в частности, предложили ввести паспорта на каждое произведение искусства, что дало бы возможность определить его происхождение.

Проект конвенции, подготовленный правительственными экспертами, будет представлен в октябре с. г. на рассмотрение Генеральной конференции ЮНЕСКО.

* * *

Печать разных стран сообщает о волне ограблений музеев, галерей, церквей и других хранилищ произведений искусства.

Израильские захватчики, оккупировав арабскую часть Иерусалима, принялись грабить культурные ценности, созданные на арабских землях. В самом городе, как сообщают корреспонденты западных агентств, действуют уже сотни «антикварных» магазинов, в которых продаются редкостные произведения древнего искусства. Израильские оккупанты нарушают тем самым международную Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Крупнейший «черный рынок» произведений искусства древности существует в Англии. Его оборот составляет 40 миллионов фунтов стерлингов в год! Во Франции обнаружены банды грабителей, которые «специализируются» на похищениях произведений искусства древности.

Греческие власти потребовали, чтобы лондонский Британский музей вернул бронзовую статуэтку крылатой амазонки, украденную на острове Самос в годы второй мировой войны. Как выяснилось, дирекция музея не располагает никакими документами на этот экспонат.

Недавно Турция предъявила иск одному из музеев в Бостоне (США) в том, что его руководство приобрело незаконным путем 137 произведений античных ювелиров. Оказалось, что этот американский музей заплатил за них 100 тысяч долларов, даже не поинтересовавшись, каково их происхождение.

По сообщению французского еженедельника «Экспресс», существует подпольная международная организация, которая занимается хищением культурных ценностей в странах Азии и Африки и их сбытом в США, Западную Германию, Англию и Францию. В Западной Европе действует тайная организация торговцев произведениями древних мастеров. От этой преступной деятельности особенно страдают Греция, Турция, Непал, Камбоджа, а также некоторые африканские государства.

# Авторы этого номера

**НИКИФОРОС ВРЕТТАКОС** (род. в 1912 г.).

Известный греческий поэт, участник Сопротивления; дважды был удостоен Государственной премии — за сборник стихов «Гримасы человека» в 1941 г. и «Стихотворения. 1929—1951» в 1956 г. Теме Сопротивления посвящены его книги «Героическая симфония» и «33 дня», вышедшие в 1945 г.

Перу Н. Врettакоса принадлежат поэмы «Роберту Оппенгеймеру» (1954), «Моя мать в церкви» (1958), поэтические сборники «Стихотворения» (1955), «Время и реки» (1957), «Глубина мира» (1960) и другие произведения.

В нашей стране в русском переводе издана его «Лирика», стихи печатались в «Иностранной литературе» (см. № 11 за 1959 г., № 3 за 1965 г.).

После переворота 1967 г. и прихода к власти фашистской хунты поэт живет в эмиграции. Публикуемое стихотворение было напечатано в кипрском журнале «Неа эпохи» (1969).

■

**ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ — JOHANNES BOBROWSKI** (1917—1965).

Выдающийся немецкий поэт и прозаик (ГДР) Иоганнес Бобровский представлен в этом номере циклом стихов из сборников «Реки страны теней» («Schattenland Ströme», 1962) и «Признаки грозы» («Wetterzeichen», 1967).

Перу И. Бобровского принадлежат произведения в прозе: роман «Мельница Левина» («Levins Mühle», 1964) — реалистическая картина жизни Западной Пруссии конца прошлого века, книга рассказов «Бёлендорф и праздник мышей» («Boehlendorff und Mäusefest», 1965), роман «Литовские клавиры» (опубликован в нашем журнале № 4 за 1969 г.), эссе, статьи и переводы.

И. Бобровский — лауреат литературных премий: имени Генриха Манна, Немецкой академии искусств, премии западногерманской «Группы-47», а также австрийской и швейцарской литературных премий.

■

**МИШЕЛЬ БЮТОР — MICHEL BUTOR** (род. в 1926 г.).

Французский писатель и эссеист. Получил известность, как один из основоположников и теоретиков возникшего более десяти лет назад литературного течения под названием «школа иового романа». Тогда же вышел его роман «Изменение» («La modification», 1957), который вызвал большой интерес, много споров и статей во французской прессе, в частности, «Юманите» отметила, что из всех экспериментов представителей «нового романа» поиски М. Бютора наиболее интересны.

Первое произведение, которым он дебютировал в литературе, был психологический роман «Миланский проезд» («Passage de Milan», 1954), затем вышли романы «Времяпрепровождение» («L'Emploi du Temps», 1956) и «Ступени» («Degrés», 1960) (глава из этого романа была напечатана в нашем журнале в № 1 за 1963 г.).

В последние годы М. Бютор написал пьесу «Ваш Фауст» («Votre Faust», 1967), роман «Портрет художника в облике молодой обезьяны» («Portrait de l'artiste en jeune singe», 1967), стихи и несколько томов литературно-философских эссе.

В этом номере мы начинаем публиковать роман «Изменение», получивший одну из основных литературных премий Франции — премию Ренодо.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 08059. Сдано в производство 26/V-1970 г. Подписано к печати 7/VII-1970 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 28,32. Зак. 1867.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394